

ISSN 0130-7673

# НОВЫЙ МИР

8

---

1995



НОВЫЙ МИР

1995

# НОВЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ  
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 8(844)

Август, 1995 г.

## УЧРЕДИТЕЛИ:

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «НОВЫЙ МИР»,  
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«БАНК „САНКТ-ПЕТЕРБУРГ“»

## СОДЕРЖАНИЕ

ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ — Окнами на юг. Эскиз к портрету «новых русских»	3
ИГОРЬ МЕЛАМЕД — В час разомкнутых объятий, стихи	43
АЛЕКСАНДР ЛАВРИН — Если в небо уйдет вода, стихи	45
ИЛЬЯ ДАДАШИДЗЕ — И шелестят нестройные оливы, стихи	47
НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР — Роман воспитания	49
АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ — Некто, отлученный от уроков, стихи	93
ВЛАДИМИР ГОЛОВАНОВ — Летучая мышь и другие, стихи	96
ПЕСТРЫЕ ИСТОРИИ — Игорь Мартынов. 199... Хроника; Василий Кляков. «Будте любезны!»; Александр Ганкин. Бин хаер; Мари-на Филатова. Мама; Игорь Кузнецов. Птицы ночи	98
ЮЗ-ФУ — Строки гусиного пера, найденного на чужбине. Послесловие Льва Лосева	124
<b>ПУБЛИЦИСТИКА</b>	
ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ — Разрушительные тенденции в русской культуре	131
СЕРГЕЙ КИРИЛОВ — О судьбах «образованного сословия» в России	143
<b>ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ</b>	
ТАТЬЯНА МОРОЗОВА — В институте благородных девиц	160
<b>ЭКОЛОГИЯ РОССИИ</b>	
МИРНЫЙ АТОМ — ЗА И ПРОТИВ. Отклики на статью А. В. Яблокова «Ядерная мифология конца XX века». Вступительное слово С. Залыгина	188
Ю. ВЕРЕТЕННИКОВ, А. ЛЫСОВ — «Тихий Чернобыль»	196
<b>ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА</b>	
ВЛАДИСЛАВ КУЛАКОВ — Стихи и время	200
ДВЕ РЕПЛИКИ О ВРЕМЕНИ И СТИХАХ. Юрий Кублановский. «...знать, что это стихи»; Ирина Роднянская. Проблема все же есть...	208

(См. на обороте)

## СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

### ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛЛА МАРЧЕНКО — И духовно навеки почил? 215

### КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 218

Александр Соколянский. Шаблоны склоки и любви.

Анатолий Кузнецов. Парадоксы Альфреда Шнитке.

С. Ларин. Без прикрас и умолчаний.

### ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ГРИГОРИЙ ШУРМАК — Третье рождение Бориса Пастернака 227

ЕВГЕНИЙ СТАРИКОВ — Держатели хартленда или обитатели острова? 235

### КОРОТКО О КНИГАХ:

Виктор Бердинских. — Энциклопедия земли Вятской. ♦

Михаил Бутов. — В. Д. Конен. Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. ♦

Юрий Кувалдин. — Марк Фрейдкин. Опыты 242

### РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ:

Рената Гальцева. — Е. А. Ефимовский. Встречи на жизненном пути; Е. А. Ефимовский. Статьи 247

КНИЖНАЯ ПОЛКА 251

ПЕРИОДИКА 253

SUMMARY 256

### УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Наш индекс **70636** в каталоге издательства «Известия» (спрашивайте во всех отделениях связи).

Если вам удобно самим приезжать за номерами журнала, не оплачивая почтовые расходы, вы можете оформить подписку на «Новый мир» непосредственно в редакции по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. «Пушкинская», «Чеховская», «Тверская») с 10 до 18 часов, кроме пятницы, субботы и воскресенья. Здесь же можно приобрести отдельные номера журнала.

*В розничную продажу «Новый мир» не поступает, наложенным платежом не высылается.*

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner, D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218) и Акционерное общество «Международная книга» через своих контрагентов в соответствующих странах (их адреса можно узнать в А/О «Международная книга»: 117049, Россия, Москва, ул. Большая Якиманка, 39. Факс (095) 238-46-34. Телефон (095) 238-49-67. Телекс 41160).

Из общего тиража Институт «Открытое общество» выписывает и направляет ежемесячно в библиотеки России и ряда стран СНГ 10 тысяч экземпляров журнала «Новый мир».

---

---

## ЗОЯ БОГУСЛАВСКАЯ



# ОКНАМИ НА ЮГ

*Эскиз к портрету «новых русских»*

**А** летом все перевернулось. Быть может, сказывалось последнее десятилетие века, а может — жара, озоновые пятна на небе? Столица наполнилась слухами. О грядущем разорении, когда голодные безработные пойдут громить прилавки, о зимнем беспределе в торговле по причине закрытия всех границ, об эпидемиях, нищенстве, постоянных разборках бандитов меж собой (с применением автоматов и взрывных устройств). Но больше всего времени уходило у столичных граждан на выражение недовольства. Бранили правительство, власти всех уровней: за сгоревшие сбервклады, акции, за отпуск на свободу цен, за очереди на поезда, автобусы, за газетное и телевранье. И главное — что никуда не достучишься. Все это поднимало в воздух гул поношений, агрессии, от которых нормальному пешеходу было не скрыться. Но все же, наряду с появлением неведомо откуда расплодившихся торговшей и воротил (которые-де обзавелись особняками с бассейнами вокруг Москвы и путешествуют в иномарках), наряду с теми, про кого говорили, что это они, «новые русские», продали российскую недвижимость иностранцам и масонам, появились и те, кого редко причисляли к «новым русским». Стал оперяться, подавать голос молодой народец — технически подкованный, с компьютерным кругозором, болтавший на чужих языках, как на собственном, который мог поговорить хоть с американским сенатором или французским фирмачом, хоть с любым отечественным начальником запросто, веско, как будто знал ту правду, которую искали все и никто не находил. С помощью таких спецов (нового разлива) возникали в России новинки, леденящие душу простого смертного. Дети уже не играли в солдатики и «казаки-разбойники», а в одиночку развлекались компьютерными играми, у людей завелись телефонные трубки, позволявшие какому-нибудь пацану или малявке говорить (с любой точкой мира) из магазина, даже из парикмахерской (сидя в бигуди). А о новшествах в медицине, диагностике на расстоянии, всяких томографиях, ультразвуке и операциях без разреза нашенскому человеку и подумать было невозможно.

С необыкновенной скоростью менялся («к лучшему ли?») фасад московских улиц, внутреннее обустройство помещений, и уже, к примеру, на Тверской, как грибы, выросли фирменные магазины, пятизвездочные отели со швейцарами у дверей, а еще того непонятнее («откуда только деньги эти берутся?») — засланные к нам с Запада роскошные рестораны, казино, всевозможные агентства по иностранному туризму. И все же самым непривычным для населения было засилие импортного продовольствия, которое приобрести можно было в любом магазине с набором неизвестных россиянам фруктов, овощей, сортов рыб и вкусовых добавок. Молодые москвички мечтали теперь о фирменных шмотках, парфюмерии от Эсте Лаудер или Нины Ричи и, вырядившись в юбки, прикрывавшие пуп, носили мусорные свалки, малолетних бродяжек на улицах и вокзалах, грубый произвол разгуливавших преступников, вымогавших деньги. И женщины и мужчины с наступлением темноты боялись насилия, соб-

ственных подъездов и лифтов, уже не надеясь на защиту властей. И все же по непонятным причинам эта смертельно опасная, ежедневно приносившая чудовищные новости столичная жизнь несла в себе заряд энергии. Энергии, рождавшейся, быть может, от остроты восприятия сиюминутного, не обеспеченного будущим бытия, словно у зрителей, просматривающих «крутой» детектив с собственным участием.

Впрочем, тем летом, три года назад, москвичи еще плохо понимали, куда все клонится, многие уповали на то, что «они «поперестраиваются» го-дик-другой, поотбивают печенки — и все вернется на круги своя».

Но не вернулось.

## 1

Душным бензиновым рассветом от московской платформы № 15 отправлялся крымский поезд. У атакующих вагоны не было беспечной лени прежних дней, той нагловатой уверенности, что на юге некоторым гражданам позволено не только расслабиться, но и *преступить*. Непривычны были тщательно упакованные неподъемные сумки, словно перед таможенным досмотром, отрывочные напутствия провожающих.

— В случае чего — возвращайся, — добавил он нервно, перебрасывая ее сумку на площадку вагона. — Билет — при тебе.

Муська рванулась обратно, обхватила его плечи, замерев губами у виска.

— Ну что ты психуешь? Какие-то две недели! Не успеешь добраться — обратно ехать.

Поезд трогался, кто-то посадил ее на подножку, пряди спутанных волос запрыгали.

— Виктор! — вдруг заорала, перекрывая шум поезда. — Виктор! Все — нормально!

Дома Виктор Михайлович жадно припал к ледяному нарзану из холодильника, чуть сполоснул под краном лицо, шею и помчался в свой офис.

Через полчаса, сидя в изрядно потрепанном джипе, он уже думал о вчерашних переговорах со швейцарской фирмой (какая, черт, толковая была эта французская дилерша с глазами навывкате), которые сулили немалую выгоду. Не без гордости просчитывая свою роль в этом партнерстве, он пытался сосредоточиться, но привкус незнакомой зависимости от чего-то постороннего, вроде бы незначашего, подмешивался к радостному настрою, портил блюдо.

В сущности, отъезд Муськи был кстати, Виктор Михайлович был перегружен (расписан по часам и минутам), но странно прилипчивы были мысли (не отступавшие) об этой вроде бы ненагрузочной сожительнице, подхваченной им то ли на вокзале, то ли на какой-то тусовке между двумя танцами, которую он вот уже год как пригрел.

Муська была нетребовательна, легко переносила его постоянное отсутствие, ей незнакомы были понятия скуки, ревности. Напротив, она расцвела, на щеках проступил румянец, появилось в ней и некое изящество манер, позволявшее его коллегам задерживать вольно бегущий взгляд на ее фигуре. Но внезапно, два дня назад, словно помешавшись, Муська стала рваться в дорогу. Не слушая его доводов, она ссылалась на подругу Гелену из Синего Берега, которую непременно следовало повидать. «И еще море, сам понимаешь, что для меня значит. Море!!» — твердила она, и даже вскользь брошенная Виктором Михайловичем приманка: через месяц (не более) вырваться вдвоем на юг (пусть и не в то же место, где они уже были однажды вскоре после знакомства и где было им так здорово), осталась без внимания. Муська уложила мгновенно, пихнув в лилово-потасканную сумку — неизменно через плечо — самое необходимое, потом, спохватившись, стала искать коробочку с позолоченными клипсами-«будильниками» и майку, на которой черно-желтая надпись английской фирмы «Romantica» призывала не опасаться секса.

Так и не избавившись от неприятного осадка, Виктор Михайлович легко взбежал по лестнице небольшого особняка на Чернышевской, с ходу включился в переговоры, и к полудню уже были решены важнейшие вопросы контракта со швейцарцами. Как и следовало ожидать, соглашение было подписано. Прибыль в контракте получилась значительной, ибо девиз шефа — «придуманное нашими мальчишками стоит дорого» — потихоньку начал осуществляться. Часам к двум он окончательно пришел к себя, и его неожиданно захлестнуло почти забытое чувство свободы.

Вечер он начал с того, что обзвонил прежних приятелей, прошелся по арбатским забегаловкам, в одной из которых, встретив знакомых циркачей, приятно закусил и выпил, и под утро проснулся в доме новой приятельницы из вчерашней компании.

«Ему б кого-нибудь попросе, а он циркачку полюбил», — слышался ее голосок сквозь плед воды из ванной, очевидно не раз отработанный припев после удавшейся встречи.

Не скроем, Виктор Михайлович был рад легкому приключению, словно требовалось ему еще одно подтверждение, что ни от чего он не зависит и, когда надо, может соответствовать любой женщине. Ощущая бодрость и самоуважение, по возвращении домой он принял решение съездить в командировку, которую все отодвигал, и через пару часов, отдав секретарше последние распоряжения, вылетел на объект в северном направлении.

Неделя в областном центре, напичканном оборонкой, который трясло от грядущей конверсии, с застигнутыми врасплох и уже не надеявшимися на его прибытие коллегами вновь утвердила его в мысли, что дела вдали от столицы движутся быстрее, с большим размахом и сложные проблемы здесь рассасываются безболезненнее. «Надо, надо отрываться от центра», — думал он (решив напоследок заскочить в натуральное хозяйство завода) под равномерный перестук колес вагончика узкоколейки между пунктом N и пунктом X.

В Москву он прилетел днем, в квартире беспрерывно звонил телефон, обрывающийся то автоответчиком, то факсом, сбивать хороший настрой не хотелось (и без этого он знал, что необходим самым разным людям и организациям), но вот длинными звонками прорвалась междугородка, и Виктор Михайлович пружинисто кинулся на ее зов.

Да, это была Алушта. «Соединяю с Синим Берегом», — сказала телефонистка и переключила линию. Прокуренный женский голос принадлежал Гелене. Без предисловий она заявила, что «хуже нет, как быть вестником таких кошмарных новостей», «обрушивать на голову ни в чем не повинного человека неприятности», но другого выхода она не видит, поэтому она «информирует» (так и сказала), что ее подругу, а его хорошую знакомую Людмилу Гуцко убили во время разборки с поножовщиной на третий день ее прибытия. Сама Гелена при этом не присутствовала, хотя подробности ей известны. Еще она добавила, что пыталась ему дозвониться несколько дней подряд, но оказалось, что Виктор Михайлович в командировке, поэтому хоронить пришлось без него.

— Извини, дорогой, — перешла она на «ты», — жара здесь несусветная, ждать невозможно. Ты ж понимаешь, каково это? Весь ужас достался мне одной. — Не дав ему опомниться, она пояснила, что все «было сделано как надо», «уж ради близкой подруги я расшиблась в лепешку». — Не дергайся, — заторопилась, — возьми себя в руки. Местные власти пошли мне навстречу. Теперь Людмила лежит с матерью рядом, на алуштинском кладбище. Ты же понимаешь, все входили в положение, мол, «такая юная и столь безвременно».

— Кто? Кто убил?! — хрипло вырвалось у Виктора Михайловича.

— До конца не выяснили, — отозвалась Гелена, — улик маловато. Ты же знаешь, какое в наше время расследование? На весь Синий Берег три милицейских лба, людей с верхним юридическим и вовсе раз-два — и об-

челся. — Она помедлила. — А переносить дело в область, так кому нужна эта огласка?

— Разберемся, нужна или нет, — не узнал своего голоса Виктор Михайлович. — Адрес! Адрес свой дайте!

— Ты что? Никак ехать собрался? — ахнула Гелена. (С чего это? Связь-то незаконная, копеечная.) — Не психуй, подумай хорошенько, стоит ли так растравлять себя?

Он вылетел первым самолетом (какая цена была тому билету на коммерческий рейс, он не вникал), голова была несвежей, остро тянуло к алкоголю. «За что это ее? — стучало в мозгу. — Чуть какая-то! Захотелось девчонке к морю на десять дней. Тихая, безобидная... — Вспомнились в утреннем разговоре Геленины интонации: «Ты же понимаешь?», сходные с Муськиными, и внезапный, плохо мотивированный ее отъезд. — Нет уж! Что-то здесь не состыковывается».

Виктору Михайловичу не доводилось сталкиваться с убийством, и чувство омерзения, неведомой злобы на то, что какие-то авантюристы (типа Гелены), распорядившись Муськиной жизнью, впутали его в эту непотребную историю, охватило его. Звериное, неподконтрольное шевелилось в груди, сбивая трезвость мысли, — такого он не знал за собой. Когда-то он жил в убеждении, что вообще в природе нет конфликтов, которые не могли бы быть улажены без варварского насилия, и коли уж насилие существует, то улаживали совершенно не те, кому положено, а просто безграмотные идиоты. Потом, когда прогремели первые залпы междоусобиц и распространялись все шире, вспыхивая в разных регионах (да и за пределами нашего отечества тоже), ему попались письма Альберта Эйнштейна. Ученый утверждал, что в самом человеке есть некая потребность в ненависти и разрушении. В обычное время, уверял сей гений, это чувство пребывает в скрытом состоянии и проявляется только в аномальные периоды, но может быть очень легко разбужено и доведено до массового психоза. Себя Виктор Михайлович причислял к нормальным людям, не подверженным психозу, однако же сейчас, при первом столкновении с агрессией, он думал, подавляя боль, только о мести и ни о чем другом. Найди он виновника Муськиной гибели, собственноручно бы расправился. Больше всего остального Виктора Михайловича выводило из равновесия отсутствие должной информации и в связи с этим потеря времени, которое можно было использовать в самолете, обдумывая ситуацию, чтобы по прибытии сразу же действовать, взять обстоятельства за горло.

В симферопольском аэропорту несколько дюжих молодцов кинулись с предложениями отвезти в любой пункт побережья. Он назвал Синий Берег в районе Алушты, и тот, что был первым, — широкоскулый, спокойный парень с кошачьей гибкостью движений, — повел его к своему такси, по дороге запросив немислимую цену. Виктор Михайлович сразу согласился и, уже сидя в новеньком «Москвиче», с трудом отыскал в кармане брुक записанный по телефону Геленин адрес.

Проехали молча километров семь. Виктора Михайловича почему-то подташнивало (не сам вел машину), он предпочел бы остановиться на минутку, однако приказал:

— Гони, что тянешь, как неживой!..

Таксист промолчал, а вскоре внезапно притормозил.

— Секундочку обождите, — показал он на свежепобеленный дом. — Канистру надо прихватить, горючего не хватает. — Он выскочил из машины, потом обернулся: — Ты посиди спокойно, если кто подойдет с вопросами, скажешь, мол, Ромка вернулся — и все.

— Не буду я сидеть, — дернулся вслед Виктор Михайлович. — Душотища тут.

— Как знаешь. — Парень с удивлением смотрел на пассажира. — Заболел, что ли? Тогда пошли.

В доме было прохладно, можно было дышать. Роман сразу же отлучился, чья-то рука из-за двери просунула пару пива.

— Пей, — вернулся водитель, — сейчас горячее забросят. Напарник мой повез родственников на похороны.

Виктора Михайловича все же достало тошнотворное недомогание, — в машине он еще как-то терпел, храбрился, — выскочил в сад, его вывернуло наизнанку. Вроде бы полегчало, и пиво показалось вкусным, натуральным.

— Не дергайся, — пронаблюдал состояние Виктора Михайловича Роман, залпом выпивая второй стакан пива. — В темноте плутать — какой резон? Лично мне адрес, который ты сунул, неизвестен. — Он не отрываясь смотрел на пассажира. — Советую тебе расслабиться. Все равно ехать не на чем, бензина километров на двадцать, не больше.

— Ты что, за дурака меня держишь? — возмутился Виктор Михайлович. — Поехали немедленно!

— Глянь на себя в зеркало, — оборвал Роман, — ты ж белый, как простыня. Тебе отлежаться надо. Как только рассветет, так мы и двинемся. — Он скосил глаза на часы. — Вот-вот поминки в кабаке кончатся, они все и припрутся сюда.

От глупой, непредвиденной волокиты все запылало внутри Виктора Михайловича, сопротивляться не было сил, но все же он решил показать характер.

— Сказано — поехали, какой бензин! — заорал он как можно убедительнее. — Мы с тобой про бензин договаривались? Мы о *срочности* договаривались. Твои тысячи я принял без звука, чтобы еще этим вечером на месте быть. Ясно? «Заночуем», — передразнил он. — Двигай дальше без остановки насколько хватит бензина, а там я от тебя пересяду!

Роман нарочито медленно стал доливать им обоим.

— Пойми, за ночь ничего не переменится, абсолютно ничего. В такую жару у нас все спят. Ты же сам видишь. — Он усмехнулся. — Ух ты, какой крутой! Орет, будто у него зарезали кого.

— Именно что зарезали, — сник Виктор Михайлович. Он оперся о спинку дивана, ноги подкосились. — В том-то и штука...

Роман кинулся к нему, придвинул кресло. В голове Виктора Михайловича явственно раздался звон, прервавшийся грохотом.

Выпадая из времени, Виктор Михайлович отчетливо видел совершенно разных людей, но вроде бы тесно связанных меж собой. В ночную дремоту врывались возгласы, названия, бурные всплески восторга, будто выигрыш крупный или матч передавали по ящику, шелестели купюрами, шел пересчет, дележка. «На мои гуляют, — вдруг осознал он. — Я перед вылетом всю наличность сунул в бумажник... Обобрали, подонки...»

Как только рассвело, двинулись в дорогу. Виктор Михайлович отошел, силы вернулись, он вспомнил про ночное гулянье и решил заглянуть в бумажник. Несколько пачек оказались распечатанными (вот-вот, так и знал), он украдкой пересчитал наличность, но странно, все было в целости. Когда водитель все же нашел указанный адрес, они вышли, Виктор Михайлович протянул ему четыре крупные купюры.

Роман помедлил, ощупал деньги, будто проверял на фальшивость. Потом задумчиво протянул их пассажиру обратно.

— Не возьму, — начал он вдруг хохотать (как бы ни с того ни с сего развеселился, черт). — Ох... Люкс! Класс! Кто поверит! Ха-ха! — перегибался таксист от веселья. — Уж извини, начальник, когда играть стали всерьез, я взаимно у тебя прихватил без спросу... Что, думая, будить чело-века. Тридцать штук всего-то и взял. Если б продулся, не видать бы тебе твоих башлей. Ох! Ха-ха. Люкс! Но я, представляешь, *выиграл!* И по-крупному. — Он захлебывался от хохота. — Может, потому и выиграл, что на



*твои* играл, фортуна ко мне повернулась! Ничего себе, а? Так что, считай, и ты выиграл. Должок я, конечно, подложил еще ночью, а эти — твои! — Он с трудом унялся.

Виктор Михайлович вразумительно наблюдал (не жаловал игроков и авантюристов), как Роман запер машину, проверил дверцы, багажник.

— Пойдем посмотрим, туда ли тебя доставил, — бросил на ходу. — Что-то сомнение у меня родилось. Вроде я уже как-то сюда наведывался. А может, показалось. Если уеду, а не туда прибыли, останешься посреди жары.

Роман вспомнил, что не так давно вез сюда парочку, настроенную весьма решительно. Из их разговора следовало, что хозяйка этого дома, проявив недюжинную предпринимательскую инициативу, открыла небольшую контору брачных услуг. И те объявления, которые время от времени возникали на страницах местной газеты («Блондинка среднего возраста ищет обеспеченного, здорового брюнета, 186 см, желательно иностранца, но в крайнем случае можно и после инфаркта»), — дело ее рук. Отчетливо вспомнил таксист и то, как возмущались пассажиры машинами сотрудниц брачной конторы, которые «химичат и за большие бабки передвигают в списках страждущих познакомиться порядок очередности». Из беседы сидевшей в машине парочки явствовало, что у владелицы брачного предприятия, очень красивой бабенки, бывает не только большой навар, но случаются и крупные неприятности. Все это, промелькнувшее в мозгу Романа, стоило выяснить, ибо преступление, ради которого прибыл москвич, приобретало теперь несколько иной оттенок.

Дом, на манер украинской мазанки окруженный вишневыми и сливовыми деревьями, оказался не заперт, водитель пошел искать хозяев, а Виктор Михайлович, протиснувшись в невысокую дверь внутрь дома, огляделся и вздохнул свободнее. На печке остывал круглый хлеб, прикрытый вышитой кружевной салфеткой. По новым светлым обоям тянулись фотографии: конопатая девочка с венком белесых волос держится за руки родителей, морячок в первом звании со смазанным подбородком испуганно уставился в объектив, наполовину накрытая волной женщина заслонилась от брызг. Эта фигуристая, обаятельная красота баба остановила равнодушный взгляд Виктора Михайловича, почувствовавшего в ней опасность. «Гелена», — твердо решил про себя и отвернулся. Немного выше были развешаны любительские снимки предков: высокая старуха с маленьким стариком, их родичи. Поодаль, на совсем крошечном цветном прямоугольнике, разглядел он Муську, с грустью смотрящую на паренька, темнокудрявого, в фирменных джинсах, явно неместного происхождения.

— Гелена, — позвал он негромко, нетерпеливо направляясь в глубь сада. (Сбежали, что ли, как крысы?)

— Вы кто будете? — окликнул его из-за колодца светловолосый перепачканный грязью парень, вытаскивавший ведро.

— Мне — к Гелене, — отчеканил Виктор Михайлович. — Она — в курсе.

— А я — нет! — отозвался парень, переливая воду в кадку, из которой торчал шланг. — Здесь, между прочим, я — хозяин.

— Ух ты, какой важный, — возник в дверях Роман. — Ты лучше послушай человека.

— У Гелены жила знакомая из Москвы, — сдерживая себя, пояснил Виктор Михайлович, — что-то произошло с ней, — он не желал признавать факт Муськиной смерти, — хотелось бы послушать информацию...

— Жену у него убили, понимаешь? — без обиняков сообщил Роман. — Где хозяйка?

— А хоть бы их всех поубивали, — не обращившись бросил хозяин. — Если больше вопросов нет — можете проваливать. Я вас, граждане, не держиваю.

— Есть! — подошел Роман поближе. — И серьезный такой вопросик. У тебя в доме жила приезжая, ее, говорит пассажир, убили. Муж он ей, специально из Москвы ночью прилетел по вызову твоей Гелены. Так вот, он очень интересуется: как это посреди отдыха девку молодую уколошили? И за что? Пока он не получит ответа на свой интерес, мы не уедем. Понятно говорю? Или еще объяснить?

— Я не милиция, — сбавил тон светловолосый. Он отключил поливальный шланг, закрутил воду. — Понятия не имею, чем тут занималась ваша телка. — Он пристально посмотрел на Виктора Михайловича. — Может, она сбывала столичные шмотки. Или просто на пляже загорала. Какое мое дело, чего они не поделили?

— Именно что на пляже загорала, — убежденно согласился таксист. — На пляже.

Парень кивнул, не спеша достал пачку «Винстона», убедился, что в ней пусто. Воспользовавшись моментом, Роман поманил хозяина глазами, потом они о чем-то поговорили и, кивнув гостю: «Присядьте, мы — на минутку», — оба мгновенно испарились.

Упоминание о пляже резануло Виктора Михайловича воспоминанием о прежней жизни. Перед глазами всплыла та совместная с Муськой неделя, украденная у судьбы поздней осенью, когда под предлогом трехдневной конференции в Сочи он надумал рвануть на Пицунду в корпус. Уже изрядно потрепанные (а когда-то мечта московского истеблишмента) корпуса эти еще в том, прошлом, сезоне резко отличались от доступных среднему завлабу ведомственных домов отдыха; теперь же, судя по рассказам очевидцев, за какие-то месяцы грузино-абхазского противостояния, все перевернулось. На Черном побережье желанным и безопасным казался только Крым, но надо же так случиться, что именно в нем Виктору Михайловичу сегодня пришлось окунуться в пошлость будничного убийства, которое опутало его, повязало, напрочь отделив от юга, моря и тех (незнакомых ему по почерку) новых отдыхающих, что и сейчас гуляли здесь напропалую. Не своею волей он оставался чужим толпе людей, наслаждавшихся небывалым воздухом шального переходного времени, когда пришла в городок заграница с сигаретами, фирменными напитками, пиршественным набором украденной у кого-то гуманитарной помощи. И от острого одиночества и воспоминания о крае разрушенной красоты, невозвратности счастья тех дней в малахитовом рассвете Пицунды, где так много было придумано полезного для их фирмы на горных тропах к Храму, глаза Виктора Михайловича увлажнились. Слезы, будто подступив к сердцу, отозвались новым приступом нестерпимой боли.

Он не обманывал себя: будь у них с Муськой хоть малейшее желание отвлечься от вековечно-прекрасного занятия для двоих, они уже тогда бы заметили признаки грядущих потрясений. Уже тогда, на мелком бытовом уровне, начинались первые толчки землетрясения, которое вскоре поглотит бесценные дары рук человеческих и столетиями отрегулированный ритм существования.

Однажды в Гаграх, куда их перебросили из Пицунды по охраняемой и уже порой обстреливаемой дороге, разнесся слух, что на рынке учинилось побоище между неизвестно почему столкнувшимися группами. Выглядело это так, словно мужчины решили покидаться арбузами, горшками, бутылками, и в какие-то считанные минуты все пространство торговли было превращено в свалку. Одного увезли на «скорой», остальные уползли и разбежались. Рассказывая о столкновении, многие смеялись, другие злословили. А дорога была уже небезопасна, служащие и продавцы из прилегающих сел отказывались ехать на работу, перевозить товар местного урожая. Казалось, припоминал Виктор Михайлович, во время их с Муськой переселения на дороге всего-то и было с десяток мальчишек с автоматами, одетых в маскхалаты, остановивших их машину при переезде реки Бзыбь, пристально, с подозрением, вчитывались они в документы, ощупывая

взглядами фигуры отдыхающих. Их почти пародийные действия вызвали у Виктора Михайловича улыбку, чуть не стоившую ему насильственного выдворения из машины. Правда, по прибытии в Гагры сразу же объявили нечто вроде комендантского часа. Заметно оскудело питание, после десяти вечера выходить за ворота санатория не рекомендовалось. Но русскому курортнику, пытавшемуся урвать последние путевочные денечки на пляже, во всем этом не было охоты разобраться. А извечное наше «авось» — «обойдется», «уляжется» — помогало привычному бездействию. Впрочем, испокон веков людям свойственно было веселиться и гулять рядом с бедой, устраивать пиры во время чумы, а иные наши соотечественники, бывает, особенно ликуют, когда беда обходит их, накрывая соседа. Бог мой, какими детскими играми покажутся нам, сегодняшним, те осенние дни рукопашных боев на рыночном уровне в Гаграх! Но мог ли ведать наш герой, что рыночная драка перерастет в кровопролитную братоубийственную войну, которая унесет десятки тысяч жизней, вовсе не причастных к войне людей, превратит в руины древнейшие сооружения, устоявшие в бурях прежних веков?

С не меньшим удивлением вспоминал сейчас Виктор Михайлович и то, как смело тогда пошел на любовную авантюру, искал номера в корпусах, пренебрегая пересудами о них с Муськой. Что заставило его рисковать положением, имиджем ради все не курортной, не шикарной девицы, казавшейся случайно прибывшей к его дому неудачницей? Что привлекло его в сей унылой, редко улыбающейся особе с неизменно тоскливым вопросом в голубых глазах? Помнится, его изумило, как в считанные дни она освоила пляжную моду сезона, умение поддерживать разговор, вести себя с достоинством, неприступностью. Ему бы поинтересоваться, что, в сущности, представляет собой свалившаяся на него девица? Откуда явилась, на что рассчитывала в Москве? Но он посчитал это излишним. Не в его правилах было лезть в душу, не любил, когда и ему поверяли тайны. «Легче, легче надо жить, чересчур мы, русские, надрывно-высокодумны, тяжеловесны, как танки», — часто ерничал он в разговоре с сотрудниками. Они пересмеивались, конечно, шеф их был редкого обаяния мужик, однако же и головокружительной целеустремленности.

На самом деле, с тех пор как оторвались от него Руфина с Дашкой, он порешил отсечь все помыслы о новом браке, даже серьезной привязанности. «В жизни не должно быть того, что тянет к земле, отрывает от стремительного движения», — уверял он себя. И похоже, действительно целиком был погружен в пульсирующий ритм обновления и предпринимательства, когда с восьми утра в шахматной комбинации (безумие его юности) ведешь тщательно продуманную, невидимую атаку на выгодного партнера, порой отступая, чтобы потом занять еще более выгодное поле и продвинуть фигуры вперед. Ну что ж, жена Руфина, отдаляясь все больше от его интересов, в конце концов сама выбрала Соликамск. Это она потащила за собой дочь в город экологического бедствия, сказав, что «исследования причин загрязнения питьевой воды» не менее важны, чем «создание компьютерных систем». Его настойчивые письма оставались без ответа. Для них он перестал существовать. Но так или иначе, это была *его* семья. А сейчас о чем, собственно, речь? Крошечный отрезок жизни с Муськой, захвативший какие-то три сезона: осень, зиму и весну — и вот он увяз, увяз накрепко. Не умел он совладать с обыкновенной уголовщиной, не знал, как ориентироваться в мире хамского панибратства, непредсказуемой безалаберщины. Мысли плавилась, доставала жара, и что-то еще накатывало опасное. Будто мчался на него вагон, сошедший с рельсов.

Да, той прошлой золотой осенью, когда никому и в голову не влетало, что в стране начинается все всерьез и вот-вот разразится трагедия, он ощущал особый подъем духа. В считанные вечерние часы перед заплывом и ужином, скрываясь от посторонних глаз в беседке вьющегося винограда, он придумывал уйму нового, как будто его мозг, омытый кислородом, работал в удесятяренном режиме. В голове раскрутилась идея создания при

фирме нового исследовательского Центра, в котором с любовью, толково выращивались бы кадры молодых профессионалов высшей квалификации, с компьютерным мышлением. Он уже представлял себе специально оборудованный блок, где в каждой комнате разместятся четыре машины — рабочие станции, обставленный нарядно, чтобы радовался глаз, с настенной живописью и уголками отдыха (кофеваркой и сэндвичами). Центр наберет платных слушателей со всех концов страны, чтобы, окончив курс, они вернулись на места и работали как специалисты высших квалификаций. В его воображении возникала продуманная схема компьютерных систем страны, что позволит шагнуть вперед на несколько десятилетий. Почему подобная идея зародилась именно тогда, между пляжем и беседкой? Казалось, все противилось концентрации мысли, напротив, он ощущал непривычную раздвоенность. Его плоть, его физическая оболочка вибрировала под ее пальцами, поднимая волну горячей радости, а мысли с необъяснимым постоянством влекли в стремительный поток предположений. Он снова был во власти своего демона, который всегда соблазнял его ошеломляющим счастьем гонки, реализации идей, без которых не было для него полноты жизни и наслаждения.

На самом-то деле Муську он никогда не брал в расчет. Живет себе, излучая прелесть женского безразличия к предпринимательству, общественным запросам. Его это устраивало. И в тот день, перед наступающими сумерками, глядел он на заходящее в дымку розового облака солнце, думая, что завтрашний день будет ветреным и парус его виндсерфинга наконец-то взмоет, как вдруг родилась эта идея — создание Нового Центра. Вечером, заложив в электронную записную книжку нужные вопросы и цифры, он едва сдержался, чтобы не сорваться на последний московский самолет. Уже найден был предлог для Муськи: скажет, что засекала их коллега, которая сообщила о ЧП на фирме; сами они-де не могут справиться и лучше, избежав огласки, вылететь в Москву сейчас... Но что-то все же его удержало тогда подле нее.

Курортные впечатления испарились, как только приземлились в столице. Сначала он ринулся к ребятам показывать структуру будущего Центра, и через сутки его поглотил водоворот московской бюрократической неразберихи. Преодолевая ее, Виктор Михайлович выкладывался ежедневно, будто сегодняшний день — последний. Он выяснил, что для утверждения подобного Центра нужна куча предварительных справок, бумаг, только после этого можно созвать Совет директоров и утвердить его. Пока он не заглядывал вперед, зная, что самым сложным будет подбор преподавателей — ибо это должны быть не просто высокие профессионалы, но и опытные организаторы учебного процесса.

Настал день, когда предварительные документы были собраны, дата созыва Совета директоров назначена (а нетерпение гнало придвинуть ее возможно ближе), но внезапно появилось осложнение. Его заместитель по коммерции Володя Мадунин выяснил, что любая учебная деятельность требует получения *специальной* лицензии. К этому они не были готовы, на переделку документов могла уйти уйма времени. Кто-то предложил «обойти» препятствие, а не перепрыгивать через него» и заменить слово «учебный» на «тренинг». Тогда в готовых к сдаче документах надо будет сделать лишь небольшую поправку. Итак, возникло окончательное название — «Научный тренинг-центр» (НТЦ). Виктор Михайлович был несказанно счастлив. Он справедливо полагал, что только сразу, с наскока можно использовать единственный шанс, реализовать идею, чтобы успеть запустить проект НТЦ и к концу года уже выпестовать первых специалистов.

Так и получилось, Центр раскрутился, и все было бы у него о'кей, если б не этот звонок Гелены.

— Ты не поверишь, — ворвался в сознание Виктора Михайловича голос Романа, сокрушая поток воспоминаний. — Этот гад слинял. «Я толь-

ко «Винстон» курю», — передразнил он голос мужа Гелены, — прождал этого подонка, эту хамскую мафиозину двадцать минут. Машина простаивает, навару ни грамма. Спрашивается: кто мне возместит убытки? Я — не Рокфеллер, не Боровой, мне простаивать — без штанов остаться. Ясно тебе?

— Ясно, — уныло принял на свой счет случившееся Виктор Михайлович. Какая-то фальшивинка слышалась ему в тираде водителя. — Подкинь, если не против, до милиции.

— До милиции? — оживился Роман. — Ну конечно, это именно то место, где меня давно ждут. Привет, господа менты, Роман Дубилин явился с повинной! — Он скорчил гримасу, затем, помолчав, бросил уже на ходу: — Ну, хрен с тобой, не психуй, поехали. Видно, судьба мне с тобой вожаться. Не зря же я простоял здесь. — Он открыл машину, когда сел, вздохнул: — Но учти, считаю долгом предупредить: ничего у тебя с ментами не получится.

Виктору Михайловичу уже все было без разницы. «Лишь бы действовать, — стучало в мозгу. — Отбросить унижительную пробуксовку». Невмоготу было человеку, привыкшему безостановочно крутить педали, приводя в движение механизм огромной мощности, наткаться на грубую неисполнительность, мелочевку, которую дельный сотрудник сковырнул бы в пять минут, одним ногтем. О чем, собственно, речь? Разобраться, жестоко наказать виновных. Внезапно он подумал: какая насмешка судьбы — воскресни Муська, вряд ли б меж ними что-либо изменилось, он не может стать другим. Ситуации, в которые он попадал, выбирала его натура. Как тогда, когда семья уехала в Соликамск, он не стал провожать их в аэропорт, посчитав это зряшной потерей времени — отговорить все равно не удалось бы.

В душном затишь отделения милиции дежурил совсем юный, прыщавый парень, мощный торс и шея не соответствовали маленькой голове. За ним, на стене, висел плакат с давно устаревшими аббревиатурами, призывающий беречь природу, под стеклом лежал пожелтевший прошлогодний календарь, составленный из портретов звезд советского экрана. Казалось, все здесь нарочно внушало посетителю: «Оставь надежду всяк сюда входящий».

«Время остановилось на прошлом сезоне, — раздраженно растревлял себя Виктор Михайлович, — и сидящему здесь правоохранителю невдомек, что преступный мир уже захватывает власть в их городишке, вот-вот грозя смести вольное безделье здешних блюстителей порядка».

— Честно сказать, первый раз слышу о деле Людмилы Гуцко, — сразу же отозвался прыщавый дежурный. Голос у него оказался тонким, с легкой шепелявостью. — Видно, оно не начавшись тут же и закрылось. — Он побарабанил пальцем по столу. — А тот, кто наверняка в курсе этой истории, сержант Рулев, — того нема. Бригада выехала в санаторий «Залив».

— Изнасиловали кого? — полюбопытствовал Роман.

— Если бы, — широко улыбнулся дежурный. — Машины у поляков обчистили. Ночью поносили аккумуляторы, боковые стекла, ну и барахлом, естественно, не побрезговали.

— Найдут, — убежденно хмыкнул Роман. — Если бы наших, а то иностранцев.

— Надо найти, — веско подтвердил дежурный, но тонкость голоса не подкрепляла этой вескости. — Машины у них застрахованы. Ох, какой убыточной валютой пахнет... — Он присвистнул.

— Что за машины? — вяло поинтересовался Роман. — Марки, спрашиваю, какие?

— Не обязан отчитываться, — отрезал дежурный. — Тебе не положено знать.

— Да ладно прикидываться! Не в курсе — другое дело.

— В курсе. Три «мерседеса», одна — «тойота-кардинал». На этом «кардинале» они и накрылись. Только дотронулись — сигнализация завопила. Чувствительность у тачки — высший класс.

— Ну и что?

— Что-что... Отдыхающие повыскакивали, бросились за ними. Пришлось им крупные детали побросать в кустах.

— Побросали?.. — засомневался Роман.

— Ага. На одном аккумуляторе отпечатки остались. Весь район обшарим, а найдем. — Он посмотрел со значением на Романа. — Сейчас наш Рулев пыгается уговорить поляков. Пусть еще пару дней здесь отдохнут — зачем же иск подавать?

— Знала шпана, что делала, — усмехнулся Роман. — Перед самым отъездом грабатули.

На столе зазвонил телефон, дежурный лениво потянулся к трубке.

Виктора Михайловича уже трясло от негодования. «Поляками, вишь, озабочены, а тут насильственная смерть. И никто ухом не ведет».

— Это что за лавочка?! — заорал он не своим голосом. — Среди бела дня человека пришили, а милиции плевать? Так я это не оставлю!

— А что вы можете? — не обратил внимания на его крик дежурный. — И вообще, откуда я должен знать о вашем убийстве? Родители не объявились. Время упущено.

— Если родных нет, то и концы в воду? Ошибаешься, командир, еще кое-кто остался.

Молодой милиционер посмотрел на бешеные глаза посетителя.

— Может, случай у вас действительно серьезный, — почесал он затылок. — Только вы же сами виноваты. Где вы пропадали целых десять дней?

Роман дернулся в нетерпении.

— Придется тебе, москвич, здесь подождать. Я поехал. Да не расстраивайся ты так! — тронул он Виктора Михайловича за плечо. — Все образуется. Накручу пару сотен км — вернусь. Вот те крест, вернусь.

Приемная опустела.

Летали осы, стучаясь о мутное стекло, изредка звонил телефон. Являлись и пострадавшие. Преодолевая отвращение, Виктор Михайлович наблюдал разъяренных покупателей, которые учинили расправу над двумя подростками, а теперь требовали суда. Дело разгорелось из-за фальшивой водки, которую они обменяли на дефицитные стиральные порошки в магазине «Уют». Перемазанные грязью пополам с кровью, герои скромного бизнеса долго запирались, наконец, расколовшись, признались, что наклейки на бутылках им сделали в ларьке кока-колы. Вслед за ними вбежала рыдающая молодка, у которой сперли сумку в автобусе. Еще кто-то требовал объявить розыск, кто-то пытался найти сбежавшего из дома пацана.

Виктора Михайловича мутило все больше, бесполезное сидение вызывало саморазрушительную злобу. Нестерпимо доставала жара, пить хотелось до умопомрачения. И все же он приказал себе не расслабляться, выстоять до конца. В какой-то момент остро засосало под ключицей, он прикрыл веки, и медленно, как из тумана, выплыли сцены их совместной с Муськой жизни, ненужные мысли и подробности.

Казалось, Муська заполняла собой ничтожно малую, несущественную часть его бытия. Всего-то и вспоминались мгновенные и необходимые ему провалы в топкую вязь секса, или залитый солнцем номер дома отдыха с тенями ветвей на стене, или сумрачное зимнее утро, когда он опоздал проснуться. Тогда, вскочив как шальной, он стал метаться из душа в кухню, хватал вещи, на ходу сглотнул кофе, затем, так же не глядя, вдел в рукава куртки сонные руки. Он страшился не поспеть к началу переговоров, где должен был сделать следующий, решающий, ход, чтобы «Тренинг-центр» стал реальностью. Они уже закупили семь современных компьютеров — рабочих станций. Вышло, что создание первого класса обучения стоило в год пятьдесят тысяч зеленых, подготовка каждого поступившего — двести

долларов в день. После первой неширокой рекламы в их отдел регистрации начали звонить желающие; как и предполагал Виктор Михайлович, стоимость для них не была проблемой. Их направляли фирмы, которым позарез нужны были подобные специалисты. Особенно много звонили из городов ближнего зарубежья, где разработка компьютерных систем и овладение информационным пространством еще только начинались. Однако сложности возрастали в основном направлении работы их АО: все более жестко надо было действовать, чтобы увеличить свою долю на рынке сбыта, где конкуренты уже пытались серьезно потеснить их.

И позднее, когда Муська начала работать на их фирме, она его тоже мало занимала. Она стояла как бы в стороне, ей до лампочки были заботы НТЦ, ее порывов делать что-то хватало пока на официальный график обязанностей. Правда, в самое последнее время бизнес вроде бы начал притягивать ее. Но что-то в ней сопротивлялось...

Уже за полночь, иногда в подпитии (необходимость пить вечерами с партнерами и гостями входила в дежурный ритуал переговоров), он ей что-то рассказывал, заполняя пустоты молчания. Про каких-то преподавателей, которых наконец нашел для Центра, и что один из них уже составляет программы, а другой подбирает слушателей, что милые девочки из их офиса Вера и Лена бегают по выставкам молодых художников и уже выбрали «шикарные» картины, которые украсят коридоры и комнаты нового блока. Из его рассказов получалось, что все у них увлечены НТЦ, как маленьким ребенком, который растет на глазах. Теперь, полагал Виктор Михайлович, оставалось выбрать для нового Центра первые, наиболее перспективные технологии, по которым существует дефицит специалистов. И сегодня они приняли решение о первой, которая называлась что-то вроде: «Проектирование компьютерных сетей в связи с обновлением систем управления во всех сферах современного общества». Муська теребила его, напоминая, что давно пора спать, но Виктор Михайлович не унимался. Он злился на «болвана» Володьку Мадунину, который «так и не сумел заказать достойную рекламу на первом канале ТВ, из-за чего фирма понесет большие убытки», недоволен был тем, что компания N их опередила броским офисом на Ордынке, куда «заказчики сами текли рекой». Но, в общем-то, он был весел, жизнь доставляла ему удовольствие.

Слышала ли его Муська? Понимающе кивала, не отводя глаз от его лица, вроде бы ловила каждое слово.

Были нечастые выходы в свет.

Однажды, возвращаясь домой из офиса, он принял решение взять ее с собой на прием. Прием официальный, с отечественными чиновниками, по случаю заключения контракта на крупный заказ. Муська умела собраться мгновенно, в этом надо отдать ей должное. Сквозь прищур Виктор Михайлович оглядел ее, прикинув, как будет смотреться его партнерша в новом американском ресторане, где требовалась куча купюр высокого достоинства, чтобы даже просто кофе попить, как отнесутся к его спутнице чиновники и воротилы бизнеса. Тугое плиссе зеленых шорт в виде юбочки открывало по-детски тонкие ноги, перелив шелка особенно подчеркивал персиковый тон лица, ярко-голубых, будто всегда влажных, глаз. На шее поблескивала тонкая серебристая цепочка, и Виктор Михайлович впервые заметил, что шея у Муськи длинная, а плечи покатые, как у балерины.

— Блеск, — оторопел он. — Откуда ты взялась такая?

Она поняла его правильно:

— Глядеть надо было лучше.

— А шорты-то, шорты, — хохотал он, представляя лица некоторых гостей при Муськином появлении. — Ну и ну! То-то будет шок, когда ты возникнешь среди них.

Она стояла хмуро отвернувшись, с флаконом духов «Опиум», которые надоумили Виктора Михайловича подарить Муське к Новому году бабы из офиса.

— Кто-то зависит от мнения других, а кому-то наплевать, — внезапно заявила она.

— Вторые давно вымерли, как майские жуки, — схватил он ее за руку. — Бежим, опаздывать не полагается.

— Как майские жуки... — Она подошла очень близко, все еще держа флакон. Его обволокло запахом яблочного сока, он приподнял ее, точно зеленую лампу с абажуром, переставил к самой двери.

Но в тот раз Муська с ним никуда не поехала. Вдруг ей расхотелось. Она городила какую-то чушь, он бушевал, давил, не признаваясь себе, что испытывает облегчение.

— Ну, бог с тобой! Вернусь — мы закатимся куда-нибудь поужинать, — отступил он. — Только обещай, что останешься в том же виде. Не вздумай переодеваться! — крикнул он, уже предвкушая встречу с коллегами и с легкостью теннисного мяча преодолевая по две ступеньки их крутой лестницы.

Перепады его настроения подчас настораживали Муську. Он мог явиться домой в восторге от самого себя (выгодный контракт, перспективная поездка), а мог и мрачнее тучи.

Муська не задавала вопросов. Но в тот раз он вернулся непривычно, тяжело пьяный, одежда была в липкой грязи, колено и локоть разбиты. Не раз, видно, грохнулся, пока добрался. Она его раздела, уложила. В постели он долго ворочался не засыпая, в мучительном бормотании кого-то запугивал.

Утром, бледный, протрезвевший, после двойной крепости кофе он задумчиво произнес:

— Дождались. Рэкет наехал.

У Муськи оборвалось дыхание.

— Есть особая прелесть, когда вымогатель выступает в образе интеллигента, — сказал он. — То-то наши повеселятся.

— Что они задумали?

Увидев ее непривычный испуг, он не стал продолжать. Но чуть позже, кружась вокруг него, она все узнала.

Утром, когда Виктор Михайлович собрался на работу и вывел машину из гаража, рядом притормозила «вольво». Из нее вышел мужчина, предложил поговорить: «В моей машине или в вашей, на выбор». Подошедший был одет в мягкое серое пальто модной длины, его острый, вздернутый подбородок касался верхней складки белоснежного шарфа. Прямые светлые волосы, запах дорогого одеколона, кожаная, с дырами автомобильная перчатка, снятая с протянутой руки, — ничто не настораживало. Виктор Михайлович взгляделся внимательнее. Теплые улычиво-добрые морщинки вокруг карих глаз, покровительственный жест, приглашавший в машину, вызывали доверие, но он предпочел разговаривать с джентльменом в своей машине. Удобно расположившись рядом на переднем сиденье, так, что хорошо был виден заостренный профиль, упругий подбородок, чуть заложенная за ухо прядь волос, он расстегнул пальто, потом, подумав, закурил и приготовился слушать.

— Мы давно следим за вашим бизнесом, — начал собеседник, доброжелательно улыбаясь, — как хорошо и успешно вы развиваетесь. Взять хотя бы, к примеру, ваш последний контракт, безусловно сулящий неординарную выгоду. Хотелось бы помочь вам и дальше сохранять потенциал, даже, быть может, способствовать продвижению на более высокий уровень.

Виктор Михайлович заскучал, в офисе его ждали люди, напрашивавшегося в партнеры владельца «вольво» слушать расхотелось. Но тот вдруг добавил:

— Однако у вас есть и серьезные проколы.

— Какого рода? — удивился Виктор Михайлович.

— Вы недостаточное внимание уделяете вопросам безопасности. И личной, и финансовой.



— Откуда вам это известно?

— Узнать не трудно. Вы стали заметными на отечественном рынке. На вас многие зарятся. Не исключено, что вы можете попасть в такую ситуацию, что на вас налетит мошकारа.

Виктор Михайлович почувствовал холодок в груди, теперь он осознал, что разговор не случаен, что этот мягкий с виду джентльмен с хорошими манерами получил задание и просто так его не выпустит.

— А «мошकारа» — это кто?

— Ну, завелись такие в мутной воде сегодняшней демократии, люди со шрамами, крепкими бицепсами, в общем, дерьмо народ. Они привяжутся, достанут...

— Ну и что?

Собеседник помолчал, достал из кармана белоснежный носовой платок, высморкался. На платке, к изумлению Виктора Михайловича, размазалась кровь.

— С утра привязалось, — пояснил он, — осложнение после гриппа.

— Сочувствую, — пытаясь внутренне собраться и выиграть время, бросил Виктор Михайлович. Он уже физически ощущал присутствие этого человека, исходившую от него опасность, словно ошупывал металл оружия или спускового крючка взрывного устройства. — Ну и что эти люди со шрамами?

— Ничего. — Собеседник скомкал платок кровью вовнутрь и спрятал в карман. — Будут кусать, пока не задушат.

— А вы кто? Какого рода помощь предлагаете?

— Конечно, решение нами продумано. С этой целью я с вами и встретился. Вы можете иметь дело с культурными людьми, которые хорошо понимают, что бизнес надо поддерживать. Страна без бизнеса пропадет, поэтому мы всячески готовы способствовать его процветанию. В нашем лице вы имеете дело именно с такими культурными, обязательными «опекунами». Мы будем вас охранять, оберегая от всяческого жулья и мелких прохвостов. Подумайте.

Взгляд собеседника затвердел, как будто бы оживление, доброжелательство были эпизодической ролью, которую больше не было необходимости играть.

— В вашем распоряжении два дня, — добавил он, застегивая пальто и приоткрывая дверцу машины.

— Сколько будут стоить ваши услуги? — как будто уже вступая в сделку, поинтересовался Виктор Михайлович.

— Мы провели исследование, нам известны ваши обороты, у нас есть точная информация и о том, что проходит через российский бизнес, и о том, что уходит за рубеж на офф шор.

— Лихо работаете. Но все же во что вы цените вашу опеку?

— В этом квартале — двадцать тысяч наличной валютой, в дальнейшем будем договариваться.

У Виктора Михайловича достало самообладания не выдать себя, не взорваться от наглости рэкетиоров — итоги мысленного подсчета годовых потерь были убийственны.

— Понимаю, — кивнул он, выпуская из машины радетеля их безопасности. — Я обсужу ваше предложение с партнерами.

— Через два дня на этом же месте, — помахал тот рукой и пересел в «вольво».

Муська быстро соображала. Ей знакомы были подобные гримасы фортуны, она верила, что проблемы для того и возникают, чтобы их преодолевать.

— Что будешь делать? — спросила. В свое время она бесповоротно решила, что в отношениях с Виктором Михайловичем не стоит обнаруживать что-либо из ее прошлого опыта. — Ты согласишься?

— Не знаю.

— А разве есть другой выход?

Виктор Михайлович задумчиво оглаживал подбородок то ладонью, то тыльной стороной руки, как будто проверял, достаточно ли гладко выбрит.

— Наверно, есть. Думать надо.

И он думал. За несколько часов, подключив знакомого журналиста и спеца их фирмы, как-то сумевшего выскочить из мафии, он установил, что большинство крупных компаний, которые начинали зарабатывать деньги, сразу же сталкивались с рэкетом. Выяснил он и то, какая в этом случае была отработана методика. Вечером, позвонив домой из офиса, он сказал, что вернется поздно, и назвал две фамилии, которым надо было дать номер его мобильного телефона и обычного в офисе, где он будет находиться в ближайшее время.

Муська прогуляла собаку, сварила борщ, на второе потушила мясо с овощами. В ней остро нарастало беспокойство: случившееся вчера могло стать роковым для всей карьеры Горчичникова, с рэкетирами шутить не приходится, и хеппи-энда в случае отказа не будет.

Около часа ночи она услышала, как подъехала машина.

— Ты что-нибудь решил? — спросила у двери.

Ему явно не хотелось возвращаться к утреннему разговору, но все же он бросил:

— Пробую выпутаться.

— Выпутаться? — Муська похолодела. — Ты считаешь, что это возможно?

— Рискну. Нам некуда деться — это полная потеря инициативы и крах.

— Они же не отстанут!

Виктор Михайлович прошел к себе в кабинет, за дверью все замерло, потом она услышала, как он включил ксерокс, и тут же методично зашуршала бумага. Миновало часа три, уже близился рассвет.

— Свари кофе покрепче, — сказал он, входя на кухню.

Теперь Муська ни о чем не спрашивала, она видела: он принял решение.

— Вариантов мало, но все же они есть.

— Безопасных? — опустила глаза Муська. — Только, ради бога, не надо борьбы! Борьбой уже все по горло сыты.

Он посмотрел с интересом.

— Сегодня по ящику инструктировали, — засуетилась она, — «если вас возьмутся грабить или кто нападет, только не оказывайте сопротивления. Когда их больше, они уже скрутили вас и угрожают, соглашайтесь на все. Жизнь — дороже».

— Так и сказали: «на все»?

— Еще говорили о профилактике: цепочка на дверях, не открывайте на звонки посторонним, не знакомьтесь на улице...

— Значит, на все соглашаться? — усмехнулся Виктор Михайлович. — А потом?

— Потом посоветовали: «Запоминайте все, до мелочей, если останетесь живы — обязательно приходите и расскажите нам».

— Интересно. — Виктор Михайлович пил кофе, медленно цедя, словно обжигаясь, губы его сделались тонкие, как шнурок. — И очень даже. Значит, выходит, бьют, режут, насиляют малолетнюю дочь на глазах, а ты хорошо запоминай, не рыпайся, а потом доложи им в подробностях?

Муська молчала. В ее воображении проносились сцены драк, разборки, рассказы по телику об убитых в подъездах, офисах, автомобилях, — похоже, он не осознавал, какая ему грозила опасность.

— Ты им ответишь завтра? — отвернулась она к плите, пряча лицо от его взгляда.

— Конечно.

Он накинул плащ, забрал кейс, на ходу впихивая в него пачки сданных ксерокопий. От дверей вернулся.

— Ты помолчи сейчас, можешь и не слушать. — Он сел, облокотился на стол. — Мне надо еще раз вслух порассуждать, просчитать варианты. — Он открыл кейс, вынул электронную записную книжку. — В сущности, их четыре. Первый, — начал он набирать, — сказать, что у меня уже *есть* «крыша». Что существует договоренность с другими людьми и мы в прикрытии не нуждаемся. В этом случае... Что происходит в этом случае? — поднял он глаза, не видя Муськи. — В этом случае они начнут проверять. Источник информации, очевидно, у них серьезный. Они могут докопаться. И все равно проверить утечку денег по всем каналам — непросто. Предположим, на это уйдет время, но рано или поздно они все равно дойдут до правды. Их мальчики этого zelo не любят, они поступят круто. Рассмотрим другой вариант. На самом деле обратиться к «авторитету», пусть организуют свою команду и возьмут нас под охрану. Эта ситуация пахнет теми же деньгами, которые просит «джентльмен», если не большими. Есть также вероятность, что обе силы, которые дают на нас, войдут в соприкосновение, начнется перетягивание каната, которое тоже ничего хорошего не сулит. Наконец, третье: то, чего ты боишься, — начать борьбу. Отказаться платить рэкету, сообщить в нужные инстанции, прося у них защиты, и посмотреть, как будут развиваться события. Пусть в развитии событий возникнет необходимость кое в чем помочь правоохранительным органам. И мы им поможем. Наконец, последнее, как советует ученый специалист с телевидения, — *согласиться*. Отстегнуть «джентльмену» двадцать тысяч зеленых и жить спокойно до следующего раза. — Он спрятал электронную книжку, встал. — Конечно, есть и пятый. Забыть и наплевать.

Зазвонил телефон, Муська не шелохнулась. Виктор Михайлович дернулся к двери:

— Меня нет ни для кого! — Крикнул, уже выбегая из комнаты: — Если что срочное — обязательно запиши, скажи — я перезвоню.

Муська едва успела к телефону. Твердый голос с начальственным оттенком сказал:

— Напомните господину Горчичникову, что его завтра ждут в одиннадцать ноль-ноль.

— Кто?

— Он знает. Была договоренность.

«Забыть и наплевать». Муська с жесточением начала мыть чашку из-под кофе, протирать стол. От них так просто не вывернешься.

Она помнила во всех деталях еще свежий случай. Вроде бы приключение, которое она безуспешно постаралась выкинуть из головы.

Виктор Михайлович отсутствовал. Он был в одной из своих бесчисленных командировок, когда будто с неба свалилась в Москву Гелена. Муська ей дико обрадовалась. Подрута прикатила в связи с операцией мужа. Тот нажил то ли грыжу, то ли аденому простаты и был прооперирован в Боткинской больнице. Поселилась она в гостинице «Якорь», и они с Муськой встречались ежедневно. Неделю спустя Гелена предложила Муське навестить Геннадия:

— Операция прошла благополучно, его уже перевели в палату. Закинем передачу (там с четырех до семи), потом махнем куда-нибудь, отметим.

Часов в пять Гелена заехала на такси, у нее было отличное настроение. Из нее сыпались новые анекдоты, они хохотали до упаду. О муже Гелена, видно, уже мало беспокоилась, а может, после напряжения расслабилась, ее и понесло. После анекдотов стала перечислять новые места, где можно хорошо посидеть. Таксист, лысоватый, молодой, с зачесом редких волос с одной стороны на другую, встретил в разговор и мрачным, зауробным голосом предложил погулять вместе. Подружки не отреагировали, и он, отсвечивая красным свитером спины и везя их с че-

репашей скоростью, все бубнил, что есть где-то уютный ресторанчик с домашними блюдами и дискотеккой. Гелена презрительно поглядывала на него, шепотом делясь с Муськой своими планами на будущее. Она сказала, что уже заимела собственную контору, купила «Москвич». О конторе распространяться особо не стала, только упомянула, что связана ее новая деятельность со службой знакомств. Ей этого мало, хочет также открыть на Синем Береге небольшой ресторан или вступить в долю — ее знакомая Фаина держит кафе на набережной. Планы эти оборвались на полуслове: перед машиной на шоссе появились четверо странно похожих друг на друга здоровенных мужиков. То ли голосуя, то ли напрашиваясь на разговор, они преградили дорогу. Оказалось — другое. Как таксист ни сигналил, те не убралась: хочешь — наезжай, хочешь — останавливайся. Пришлось тормозить. Самый молодецкий из голосующих, со спущенной на глаза челкой, открыл переднюю дверцу и молниеносно оглушил таксиста. Остальные выволокли его из машины, сбросили в кювет. После этого один из нападавших, бородатый, в плотно застегнутой черной стеганке, сел за руль, другой устроился рядом, двое оставшихся потеснили подруг. Подруги не рыпались. Молча сделав два поворота, выехали на незнакомое шоссе, опять стали петлять. Прошло минут сорок, Муську от кружения стало отчаянно тошнить. Остановились, ее вырвало, когда поехали, все началось снова.

— Знаешь, мне надоела эта телка, — сказал тот, что сидел сзади, — пусть здесь отдохнет. *Толку* от такой все равно не будет.

Гелена мгновенно придвинулась к мужику, которому «надоела телка», расстегнула верхние пуговицы платья. Потом, влезши к нему на колени, томно заворковала:

— Что уж останавливаться, голубок, нам с тобой надо *побыстрее*.

А через минуту, зажав в темноте Муське рот ладонью, кокетливо заинтересовалась:

— Ехать-то долго будем, соколики?

— Почти приехали, — сказал тот, что за баранкой.

Полузадушенная, с ноющей тяжестью под ложечкой, Муська плохо помнила, как втаскивали ее в загородный дом, где она поскользнулась на паркете и где неприятно слепила глаза шестирожковая люстра. Проснулась она ночью оттого, что какой-то мужчина стаскивал ее с дивана, освобождая место. Он помог ей подняться, затолкал в машину и ушел. Сквозь полузабытье услышала вопрос водителя:

— Говори адрес.

Она назвала.

Вечером следующего дня появилась Гелена.

Без всякой лакировки и припудривания, с предельной откровенностью Гелена поведала ей о последних событиях: о том, чем кончилась ночная история на шоссе, а заодно и о своей новой деятельности, которая дала ей «такую богатую тренировку в обращении с кобелями».

— Неплохие, в сущности, мальчики, — подвела она итог ночному происшествию. — Ничего такого особенного не сделали. Конечно, я их обслужила по полной форме. (А куда денешься?) Но зато и отъехала не с пустыми руками. — Гелена сняла жакет, засучила рукав кофточки, на кисти поблескивали небольшие часики со сверкающими подлинностью камешками. — А еще в гостинице оставила... палантин, из норки. Ну как? Ничего себе, а?

— А если краденый? — У Муськи еще плохо шевелились губы, казалось, вместе с вывернутым желудком иссяк и голос.

— Это их проблемы.

— Интересно, что стало с придурком, — помолчав, сказала Муська, — которого они из такси выбросили?

Гелена пожала плечами:

— Знаю, что тачку ему подбросили. Придет в себя — успокоится. Выручку не забрали, самого не покалечили, так, оглушили немножко.

Муська слушала затаив дыхание, и ужас отступал. Ее Гелена была с ней, целая и невредимая. Сейчас, после пережитых потрясений, глядя на спутанные волосы подруги, она думала, что нет у нее более близкого человека. Что было бы с ней в той машине, не прикрой ее Гелена, — валялась бы на шоссе. И вместе с благодарностью тоскливое, неподвластное чувство омерзения охватывало ее. Неужто никогда уже не будет хорошего? И для Горчичникова она тоже лишь временная спутница, удобно вписывающаяся в распорядок его перегруженного работой дня?

— Разве сравнишь твое сегодняшнее положение, стабильное, обеспеченное, с тем, что тебе предстояло с Френсисом? — словно уловив ход ее мыслей, спросила Гелена.

— Это разные вещи.

— Не ерунди. От такого не отказываются. — Гелена обвела глазами богато обставленную комнату, множество флаконов и коробочек на трельеже, тонкое постельное белье.

— Ничего мне этого не надо.

— А что надо?

Муська задумчиво взъерошила волосы, накручивая прядь на палец.

— Будешь смеяться, но мне надо *его*. Самого его, Виктора.

— Ну знаешь... понять тебя трудно. То за московского фирмача цепляешься, то рвешься уехать — жизни нет без испанца.

— Жизни нет все равно. — Муська перестала накручивать прядь на палец. — Что-то сломалось. Если б не это, давно все бы было, как я хочу. — Она поднялась с постели, нацепила красный халат. — Ты-то довольна?

— Мне нравится это занятие, — блеснула зубами подруга. — Брачую, поняла? Теперь я — фирменная сваха. И уже заметная. — Она шелкнула пальцами.

— Много их переженила?

— Больше, чем думала.

— А почему? Сколько стоит у тебя устроить жизнь?

— По-разному. Последний верх был такой: за телефонное знакомство с качественным клиентом — две с половиной тысячи зеленых. Если все получилось — еще десять. — Она накинула жакет, собираясь уходить. — Выпить у тебя не найдется?

Муська подошла к серванту, распахнула дверцу, внутри поблескивал бутылками бар. Гелена выбрала «Золотое кольцо», откупила.

— Будешь? Ну конечно, сегодня тебе не надо.

— Скажи, — вдруг обняла ее Муська, — ты только брачуешь или и просто так — тоже можно?

— Все можно, — засмеялась Гелена. — Свобода! — Она опрокинула рюмку, закусывать не стала. — Знаешь, это дело такое — приходится удовлетворять спрос разных людей. Когда поработаешь с сексом, весь спектр свойств человеческих предстанет. Секс проявляет индивидуум, как ничто другое. — Она снова взялась за бутылку, но, подумав, отставила. — Сейчас у меня уже трое помощников. Информация на клиентов — в компьютере, сложилась обширная картотека, из которой можно составлять пасьянс для чего угодно. Для фильма, шоу или для политической конференции, предвыборного митинга... — Она потрянула волосами. — Бизнес, с которым не соскучишься.

— А не боишься?

— Боюсь, конечно. Ну и что? Сейчас каждый должен бояться. Пока хранит судьба. Ну и спецхрана тоже необходима. Вокруг конторы всякое бывает, тут тебе и месть кровная, и дедушки с бабушками отлавливают непутевых деток своих. В основном проблемы с контингентом по низким ценам. Практически за двадцать пять кусков можно купить адрес понравившегося мужчины. Или женщины. Характеристики не требуется. Приходит, допустим, гражданинка лет тридцати семи, и после того, как она изложила свои потребности (так сказать, свою фиолетовую мечту), мы предоставляем ей пять-шесть досье с фотографиями. А дальше — рулет-

ка. Какие меж ними возникнут междусобойчики? Да и внешность — тоже загадка. Вдруг пойдет мода на брюнетов, коренастых, среднего роста, а с женской стороны на стриженных под мальчика и худых как щепки. Предсказать невозможно.

— А как насчет заграницы? Допустим, уехала она с американцем. Ты потом имеешь сведения, куда твоя деятельность привела?

— Да ты что! Разве кто признается, что ошибся? Очень редко это бывает. Между прочим, есть страны, в которых сумасшедший спрос на наших баб. Не из-за красивых глаз, а просто претензий у наших меньше. Мы ведь привыкли обслуживать мужиков, молиться на них. Поначалу-то все кадры женского пола в восторге. А как же? Мужья не пьют, не бьют, в обращении вежливы. Ну а удачные, счастливые «финалистки» «акклиматизации» там, на Западе, делятся ровно пополам. Одни приспособятся даже к плохому, а другие взбунтуются от полного комфорта.

— Какая, к черту, может быть удача от чужого выбора? Как много всего должно совпасть, чтобы новая жизнь понравилась?

— Ошибаешься, подруга, — махнула рукой Гелена. — Очень даже не много. Захочешь избавиться от своего Горчичникова — я его мигом пристрою. Желающих на него пруд пруди. Ха-ха!

Муська подошла, уткнулась носом в теплую шею Гелены:

— Что бы я без тебя делала?

После отъезда Гелены Муська заскучала. Английский, бесцельное брожение по улицам, вечерами книги, видик. Это если особо интересные кассеты подкинут. В их офисе была запутанная система обмена, при которой сотрудниками отсматривались по ходу работы почти все новинки пиратского видеобизнеса.

Виктор Михайлович на сей раз не задержался в дальних краях, его появление (вскоре после Гелены) сгладило в Муськиной памяти следы прошедшего на шоссе. Обо всем, что случилось с ней, она умолчала.

Дня через четыре Муська писала подруге: «В. М. пробует влиять на меня в смысле самоусовершенствования личности и приобщения к полезному труду. Безусловно к полезному, но, увы, влиять бесполезно. Это даже не смешно. По-моему, он созрел, чтоб меня выпнать. Не хотелось тебе говорить, но наши жизни в смежных комнатах (как бы и вместе, и врозь) пересекаются только ночью. Я пользуюсь полной свободой, не отчитываюсь ни в чем. Но он, конечно, более уверен в себе. Он привык быть любимым, побеждать. Похоже, он способен страдать лишь от нехватки времени или неработающего телефона. Я — часть его суток. Пусть. Меня это не колышет. Деньги для него — тоже способ избежать зависимости. Все, что ему не интересно, его раздражает, он отфутболивает это немедленно.

— Не правда ли, я не нагрубочный? — говорит он мне поздно ночью. — Лишен чувства собственности, не задаю вопросов? К примеру, чем ты занимаешься весь день?

— Угу, — соглашаюсь я. — Образец великодушия.

— Я не позволяю плохому настроению, зависти, ревности взять надо мной власть. Поняла? Это моя установка.

— Поняла. А что делать, допустим, с неудачниками? — посылаю я пробный шар, чтобы сбить его олимпийское спокойствие. — С теми, кому не дано?

— Плыть по течению.

— Допустим. А как ты поступишь, если надо кого-то вытащить? Или чтобы тебя вытащили?

— Никак. Я сам справляюсь со своими бедами. Попытки помогать мне обычно только мешают.

— Не все же такие неуязвимые. Что делать со слабыми, пусть дохнут?

Он огорчается.

— Зачем ты так? Лично я убежден: несчастье ни с кем не поделишь. «Неси свой крест и веруй» — так, кажется? Человек изначально обречен

на непонимание. Индивидуальную реакцию на несчастье ни объяснить, ни предвидеть невозможно. — Он молчит задумавшись. — Мудрость природы, все как-то происходит само собой.

Потом он пошел в ванную, начал бриться. Я видела, как он подставлял лезвию то щеку, то подбородок, перекатывая язык. В какой-то момент это заканчивается, и он досказывает свою мысль:

— Если в нашу память мы заложим с тобой лишь минуты нашего счастья и успеха, можно будет противостоять и несчастью. Ты не согласна? Преступно самокопание, когда человек сам себе ломает психику. Нельзя же всегда думать о неизбежности смерти, потере близких? Тебе так не кажется?

Честно признаюсь, я просто была поражена. Такой длинной тирады я от него еще не слыживала.

— Нужна просто терпимость. Ко всему, — ответила я, не умея выразить то, что пронеслось в моей башке. — А забывчивость — это, извини, уже из другого ряда.

Вот такие, дорогая моя, веду иногда разговорчики по ночам».

И все же забывчивость тоже спасала. Виктор Михайлович не числил ей, что не пошла на прием, как не помнил, что, вернувшись, забыл о своем обещании вместе поужинать. Он грохнулся на кровать и мгновенно уснул. А Муська сидела с блокнотом в кресле, и переливались в лучах лампы ее зеленые шелковые шорты и серебристая цепочка.

Однажды он рассказал ей об отце. То ли в продолжение разговора о «забывчивости», то ли случайно.

Старший Горчичников был крупным кардиологом, спасшим десятки пациентов, от которых отказались другие врачи. И вот теперь он сам умирал. В урологическом отделении чужой больницы, после удаления почки, еще не старик, он лежал в реанимации, опутанный проводами, слезы выдавливались отяжелевшими веками на щеки, подбородок. От бессилия. Виктор Михайлович не мог смотреть, как боль сломила этого сильного человека, ничего не оставив от его властной, гордой независимости. Отец отказывался от обезболивания, терпел, но вынужденная неподвижность, прикованность к капельнице не давали облегчить страдания хотя бы переменной позы. «Отпусти меня, — попросил на третьи сутки, с трудом справляясь с голосом, — отключи провода». — «Потерпи, потерпи еще немного. Скоро станет легче», — приказывал сын, хотя знал, что операция прошла неудачно. Горло перехватывал спазм бессилия, слова утешения застревали. «Не станет, — тихо произнес отец, — отпусти меня».

Не умея быть полезным, Виктор Михайлович отказывался принять безвыходную очевидность, искал новые препараты, терзал врачей, требуя созвать новый консилиум, порой осознавая, что только мешает работать.

После кончины отца болевой шок долго не отпускал, около года прошло, прежде чем Виктор Михайлович вернулся к норме. Ни на работе, ни с друзьями он не говорил о происшедшем, сообщив о факте отцовской смерти, когда все кончилось.

Муська что-то промывчала. Ей удивительна была его откровенность.

...Властный женский голос вернул Виктора Михайловича к реальности. Мутные стекла окон, прошлогодний календарь.

— Эй, Васек, — обратилась к дежурному, как к хорошему знакомому, вошедшая бабенка. — Здесь у тебя москвич не возникал?

— Вон сидит, — вяло откликнулся тот. — А тебе чего?

— Так это ж я его вызывала! Эй, Виктор Михайлович! — Она ошупала его взглядом. — Нечего вам здесь ошиваться, пойдете! Гелена я.

Он не двинулся, сразу узнав в вошедшей роскошную купальщицу на фото, которая заслонялась от морских брызг, потом в памяти возник го-

лос, сообщивший по телефону в Москву о Муськиной смерти. При взгляде на оранжевый сарафан Гелены, с низким зазывным декольте, на эту избыточную красоту, заполнившую собой все пространство убогой приемной, он ощутил прилив безудержной враждебности.

— Объявились? Не поздновато ли? — хмуро буркнул, глядя в сторону.

— На кой ляд ты тут торчишь? — накинулась она, вроде бы по-родственному укоряя Виктора Михайловича. — Сидеть в участке — это же форменный перевод времени. Поехали!

Он молча поднялся, двинулся за ней.

— Заедем ко мне, я тебе все выложу в деталях, а там решишь сам. — Она шумно вздохнула. — Конечно, на могилу с тобой съездим.

Виктора Михайловича передернуло от ее панибрательства.

— Эй, потерпевший, — остановил их дежурный. — Что командиру-то сказать? За тобой же машина вернется?

— Пусть отваливает, надобность отпала, — распорядилась Гелена. — У меня у самой тачка.

Виктор Михайлович приостановился, вспомнив, что задолжал водителю, из памяти вынырнуло лицо Романа, спасительное, доброе.

— Скажешь, пусть найдет по тому же адресу, что из аэропорта привез, — приказал дежурному. — А в милицию к вам я еще вернусь, понятно? Так и передай начальнику.

Гелена только ухмыльнулась.

За желтым зданием милиции, в тупике, Виктор Михайлович сразу увидел новенький, стального цвета Геленин «Москвич» и окончательно пришел в себя.

— Что ты тут мелешь? Про какую могилу? — с силой развернул он к себе женщину. — Почему меня из милиции уволокла?

— Отпусти, дурачок, — попыталась она вырваться. — Да отпусти же, говорю тебе! Дома во всем разберемся. — Она глядела на него с жалостью и недоумением. — Может, ты и сам не захочешь больше в милицию.

Гелена дернула дверцу «Москвича», отключив завопившую секретку, взялась за руль.

— А сейчас — чтоб тихо! Понял? Выяснить я с тобой ничего не намерена. Когда водишь машину, отрицательные эмоции опасны. — Она плавно тронулась. — Не думала, что ты такой сокол. И наперед советую: лучше возьми себя в руки, а то влетишь в историю. Нет Людмилы. Убили. Понял?

Ехали молча, у переезда пришлось постоять.

— Сколько раз ей, дуре, говорила, — закурив, прервала молчание Гелена, — угомонись. Все у тебя сложилось с Виктором (с вами то есть). Не суйся в такие рискованные дела. Не раз приходилось спасать ее.

— Какие дела? — Терпение Виктора Михайловича было на исходе. — У вас все какие-то намеки: «влезешь в ситуацию», «не суйся». В чем дело-то?

— Остынь. Договорились, что дома, — значит, дома. И вещи ее тебе отдам. А уж дальше — твои заботы. Хочешь, на кладбище свожу, пока не стемнело? Стемнеет — ходить туда не рекомендуется.

Виктор Михайлович сдался. Без напряга она вела машину, плавно вписываясь в повороты, выгадывая горячее на спусках и перед светофорами.

— Профессионально водишь, — бросил, незаметно тоже соскользнув на «ты».

— Так я ж профессионал и есть, — кивнула Гелена. — С такси не так давно соскочила — теперь у меня своя контора, так сказать, «товарищество с ограниченной ответственностью».

— А у самой хотя бы ограниченная осталась? — скаламбурил.

— Осталась.

— Тогда ответь: почему убийца гуляет на свободе? Почему позволила дело закрыть?

— Все узнаешь в свое время.



Больше не проронили ни слова.

Войдя в этот дом во второй раз, Виктор Михайлович обратил внимание на искусно вышитые покрывала на кроватях, рукодельные полотенца с мережкой, висящие над дверью. На столе и подоконниках, в вазах чешского стекла появились свежесрезанные гладиолусы.

— Муженек старается, — перехватила Гелена его взгляд. — Выращивает для продажи. После операции тяжелая работа ограничена. Пить будешь?

— Буду.

Он не боялся опьянеть, главное — не попасть под влияние этой женщины. С изумлением Виктор Михайлович наблюдал, как плавится его воля. Столько времени просадил, а не сдвинулся с мертвой точки. «Только не поддаваться», — подумал, отодвигая уже во второй раз наполненную рюмку.

— Не собираюсь я тебя спаивать, — опять подловила течение его мыслей хозяйка. — Помянуть-то Муську надо? Вот ведь как получилось.

Когда все же допили бутылку, она поднялась и тут же вынула из серванта «Золотое кольцо» (правда, уже ополовиненное), затем не спеша извлекла из холодильника пару «Фанты» и «Пепси».

Снова выпили. Виктор Михайлович чувствовал усталость, глотал спиртное без удовольствия. Обычно для него не составляло проблемы перепить любого. Но этого мешало сегодня. Казалось, силы оставляют его. «Отчего устал? — удивлялся. — Может, неспроста?»

В какой отличной форме он был к моменту, когда они только начинали бизнес и удалось зарегистрировать фирму! Плавал кролем на уровне второго разряда, занимался альпинизмом, а уж свой ежедневный джоггинг не пропускал ни в какую погоду, даже в заграникомандировках...

— Все равно докопаюсь, пусть не надеются, что им все с рук сойдет, — отвечает он на очередную байку Гелены.

— Это точно, — поддакивает она, наполняя опустевшую рюмку москвича. — Людмила о тебе много рассказывала. Про твою успешную работу, твой авторитет в компании. Говорила, сколькому научилась и как ее пристроил. Конечно, ты — завидная фигура для любой нашей барышни, ничего не скажешь. Да ты и сам знаешь. Только удивлялась она, расслабиться не умеешь.

— Это факт, — как бы плывя в блаженном успокоении, но не теряя контроля, соглашается Виктор Михайлович. — Знаешь, нас было шестеро, тех, кто это придумал. Потом бизнес всех спеленал. Талантливых, энергичных, с большой перспективой, слабовольных — всех. Бизнес подчиняет себе без остатка. Это как наркотик, из него не выскочишь.

— Логично, — соглашается Гелена, — по себе замечаю.

— Муське, наверно, скучно бывало, — продолжает рассуждать Виктор Михайлович, — такого рода деятельность, как наша, отбивает охоту и к досугу, и к развлечениям. Перестаешь чего-то остро желать. Хочешь только успеха, видеть результат.

Он поискал на столе, чем бы закусить, к выпивке были предложены только мандарины, он очистил один.

— Постепенно выбываешь из тусовок юности, говорить с прежними друзьями о постороннем уже неохота. Свое предприятие — это вроде секты. Посвященные интересны. А так — гульнешь раз в три месяца, обойдешь однокашников, вспомнишь о красотах, что радовали глаз. Но это так, для разрядки.

— Муська хвастала, будто твоя фирма набрала невиданную силу в научных разработках. Деньгу зашибаете, разъезжаете по миру.

Виктор Михайлович промолчал. Ему не захотелось рассказывать, какой ценой ему далась фирма. Как пришлось раскидать людей, отставших по уровню, исключить зависть, привычное мышление и штампованные решения. Через что пришлось пройти, чтобы уладить дела с ракетом. Похоже, что и не уладили до сих пор.

— Моя жизнь — это работа, — пробормотал вяло, — остальное приходится приспособлять.

— Так и загнать себя можно. — Гелена смотрит на него с нежностью, алым пламенем горят ее щеки, влажно блестят глаза. — Что ж это — работа, работа, а жить когда? Крутиться стоит, чтобы «жить и наслаждаться».

Он прикрывает веки.

— А я только и живу, когда работаю.

— До поры до времени!

— Резонно! Зато сегодняшнее время — мое. — Виктор Михайлович поднимает глаза, усмехается. — Последние месяцы что-то стал чувствовать возраст, к концу дня нет прежней выносливости.

— Не ерунди! Муська говорила, ты и сейчас взбегаешь на пятый без лифта. Тебе сколько? Сорок два? Или побольше?

— Все — мои! «Мои года — мое богатство».

Гелена начинает хохотать, все заливицей, уже не умея остановиться. Ах, как ей идет смех.

А Виктор Михайлович вспомнил, как совсем недавно, рассмеявшись на трибуне во время конференции, внезапно был охвачен непонятной вязкостью сознания, чуть не согнавшей его с трибуны. Или, к примеру, когда, потеряв контроль над собой, так постыдно орал на сотрудников. Никогда не случалось этого прежде.

Шел очередной понедельничный брифинг. Из тех, что обязательны, но, как правило, безрезультатны.

— Господа, — обратился он к сотрудникам ведущих отделов, — мы явно сдаем позиции. Все это чувствуют? Может, кто-то хочет возразить? Нет? Значит, соглашаетесь. Следовательно, надо бросить все, забыть о доме и дамах, бассейнах и барах...

— А что стряслось? — поинтересовался его правая рука Алочкин, похожий на промокнувшего воробья и обладавший способностью пунцоветь по каждому поводу. Ему поручено было отвечать за «паблик релейшн» НТЦ.

— Ничего, — едко прищурился Виктор Михайлович. — По утрам имею привычку включать телевизор, а едуци в машине, глядеть по сторонам. Допустим, вчера над мостом, по дороге в аэропорт «Шереметьево», наткнулась на гигантский плакат объединения «Тоннель», по которому бежит мерцающая цветная дорожка. Реклама о них не сходит по ящику, еженедельно — статьи в родном «Коммерсанте», «Деловых людях». «Тоннель» — вездесущ, всепроникаем. А где наша фирма? Кто написал о создании «Тренинг-центра»? Уникального организма, не имеющего пока аналогов?

— В «Интеграторе», — сказал Алочкин. — И еще... Вы не читали?

— Нам не нужен лишний шум, — добавил Виктор Михайлович двумя тонами ниже, — но скромные наши достижения на международных выставках в разработке новых проектов кто-то же должен озвучивать? А то следуешь по маршруту...

— Не по тем маршрутам едете...

— Не тот канал ящика включаете...

— Газеты у вас не наши... — с разных сторон посыпалось как град.

— Допустим. Но какие газеты упомянули (не говорю — проанализировали) наши успехи на Лондонской выставке? На Международной выставке электроники в Сокольниках?

— «Совершенно секретно», — сострил Володя Мадунин, его зам по коммерции и связям с общественностью. Он слыл асом в деле составления документации и прогнозирования, был рыжеват, с небольшой плешью и розовым отливом кожи. Меж собой его звали кто — «Мадонной», кто — «Марадоной».

— Виктор Михайлович, ты справедливо нащупал наше слабое место, — встал он, гася улыбку. — Однако посмотри на ситуацию с другой стороны. В нашем отечестве, как это ни парадоксально, при несформи-

рованном еще предпринимательском престиже, отсутствие рекламы иногда лучшая реклама. Это известно. Наши достижения как бы попадают в скрытый дефицит, а мы — в разряд таинственно преуспевающих организаций, механизм которых непонятен, а потому притягивает. Есть же престижные области, в которых реклама вообще запрещена. Нуждается ли наш НТЦ в...

— Не нуждается, — как эхо подхватило несколько молодых голосов.

— Вздор, — раздался с места голос зама по маркетингу Кати Лебедевой. Вытянутая как шланг, она медленно расправляла искусственную орхидею на лацкане красного жакета, радовавшего глаза окружающих облегающими свойствами материи джерси. — Дело только в уровне. И в качестве рекламы. Вы скажете, у нас, мол, и никудышное дешевое изделие могут разрекламировать так, что удается продать втридорога. Ан нет. Современного потребителя на мякине уже не проведешь. Он сам научен обманывать, хитрить, неподкрепленной рекламе он не верит.

— Отчасти это так, Екатерина Гарриевна, — уже не скрывая веселого настроения, заметил Алочкин. — И все же я бы предложил...

— Посмотрим несколько роликов, — мрачно перебил Мадунин, славившийся помимо всего прочего еще и любительскими кинозарисовками. — Их тут четыре. Что понравится, то и запустим в качестве рекламы. Будут вам и телепрограммы, и беговая цветодорожка на Новом Арбате.

— А во что обойдется проволочка? — вскипел Виктор Михайлович. — Что вы делали все это время?

— Форму искали, — прошептал Алочкин, краснея.

— Нашли?

— Сейчас увидим. Не стоит так нервничать, шеф. В конечном итоге...

— Что означает — «конечном»? — вдруг заорал Виктор Михайлович (вот тут-то он и сорвался). — Может, подскажешь, что произойдет в нашем благословенном отечестве в течение месяца? Дня? Часа? — Он бушевал еще минут пять, сотрудники недоуменно переглядывались — подобное было в диковинку.

А Виктор Михайлович, вернувшись в кабинет, долго не мог прийти в себя, голова налилась тяжестью, и вечером, отказавшись от машины, он пешком вернулся домой.

— Ну вот и пицца, — входит в его мысленное пространство Гелена.

Шипит сковорода, запах жареных помидоров повисает над столом, мгновенно погружая его в мирный быт и семейное благополучие.

— В сущности, мои ребята — это уникальное явление, — проглотив ароматный кусок, говорит он Гелене. — Высокий профессионализм плюс сверхпреданность своему предприятию — вот что станет двигателем прогресса в нашей стране.

— А что взамен? Какие купюры? — издевается Гелена. Губная помада уже смыта вином, лицо помятое, мешочки под глазами.

— Какие? Приличные! Да пойми, заработок для них — не главное. Тут, повторяю, важнее их привязанность к общему делу.

— Так не бывает! — весело сверкает глазами Гелена. — Деньги, господин хороший, всегда главное. Оставь своих ребят разочек без зарплаты, а другие пусть предложат им двойную, посмотрим, кто у тебя останется.

Виктор Михайлович не реагирует, он уверен, что его команда даже от нокдауна не распадется. Был один такой момент, когда банк прекратил кредитование и, казалось, их ждет полное банкротство. Но ребята скинулись, бросив в котел все собственные сбережения, и фирма выжила. А теперь их компания разрослась филиалами в разных странах и ближнем зарубежье, запущен НТЦ. Заказы фирме поступают бог весть откуда, не успеваешь выполнять.

— Мы имеем дело только с надежными людьми, поняла? И довольно, — ставит точку на абстрактной части беседы Виктор Михайлович. — А теперь выкладывай начистоту: сама-то ты наверняка знаешь, за что ее убили. Какие дела вы тут проворачивали?

Гелена смотрит очень внимательно, глаза заволакивает жалость.

— Ну, слушай, коли ты такой дотошный. — Она умещает свое крупное туловище в узковатом кресле, щелчком выбивает сигарету из пачки и прикуривает, демонстрируя полные руки, покрытые шелковистым загаром. — Людмила наша классно плавала, знаешь? С ума сходила по морю. Может, рыбой была в прежней жизни, а? Уплывет с утра, от берега не видно. Потом вылезет из воды, обсохнет, минут пять на солнце полежит — и обратно. Прямо страсть была к воде. Как-то увидел ее заплывы местный красавчик, Тимошка, представительный такой парень, волосатый, как обезьяна. Профессиональный пловец. Он стал гоняться за ней. Она в воду — и он тоже. Повадился загонять ее в море все дальше. С берега выглядело, будто дельфины заигрывают людей. Видал когда-нибудь? Потом уже и по вечерам Тимошка все больше за ней ухлестывал. В тот раз, на танцах, Муська его по-крупному отшила. Она это умела. Да еще выставила перед всеми круглым дураком, выразившись в том смысле, что, мол, он в умственном отношении от обезьяны недалеко продвинулся. Тимошка смерил ее взглядом и ушел. А позже, сильно поддав, явился. Захотел подсесть к ее столу, а его не принимают.

Гелена сглатывает новый кусок пиццы, Виктор Михайлович больше не притрагивается. Рассказ не рассеивает его подозрений.

— Он ее силой... тащит от стола, — словно не зная, чем закончить, скороговоркой продолжает Муськина подруга. — Представляешь? Можно ли Людмилу заставить, если она не хочет? Так вот, он ее выволок... тут уже, конечно, все по-крупному пошло. — Сигарета давно потухла, Гелена не замечает этого, глаза устремлены вдаль, за окно. — Рассказывали очевидцы, будто Людмила прямо-таки взбесилась, разодрала ему лицо до крови... — Она замолчала.

— Ну и что? — в нетерпении подстегнул ее Виктор Михайлович.

— Что—что, он ее выволок из ресторана, так она, говорят, достала из сумочки острый предмет, пырнула его, он завопил. Когда ребята выбежали вслед, никто даже и не понял, что же произошло. — Гелена перевела глаза на Виктора Михайловича, подперла щеку. — Честно говоря, не было такого серьезного повода — в живот нож всаживать. — Темные, дерзкие глаза не отпускают Виктора Михайловича. — Ты-то хоть знал, что она в сумке ножичек носила?

— Зачем?

— Думаю, для самообороны.

— А потом?

— Говорят, она его только чуть задела, а он руку перехватил, нож выпал...

И опять явилось у Виктора Михайловича смутное ощущение, что история чересчур плавно пересказывается, словно выученная.

— Вырвалась она от Тимошки, в морду ему плюнула. Так он ножик поднял и всадил ей в горло по самую рукоятку, — уже деловито, скороговоркой докончила она. — Вот такие дела.

У Виктора Михайловича выступают капельки пота. Гелена переживает, пока он оботрет лоб.

— Соображаешь, как все получилось?

Да, Виктор Михайлович соображал. Чем больше соображал, тем больше настораживался.

— А что следствие?

— Стали разбираться, у кого был нож, кто первый начал. Полубовно решили, что Тимошка защищался от ее нападения. Не замышлял, а убил. Куча свидетелей, все до одного подтвердили. — Она закуривает новую

сигарету от старой, в темных глазах затухает возбуждение. — Ему повезло, конечно, что ее рассматривали как приезжую (от городка оторвалась), а его — как здешнего. Вырос у всех на глазах. На чьей стороне в таком раскладе будет общественность?

— При чем здесь общественность? — совсем опешил захмелевший Виктор Михайлович. — Где же, черт возьми, правосудие?

— А что правосудие? По-твоему, после эдаких скользких-то обстоятельств стоило дело затевать? — Она стряхивает пепел. — Послушай, какой из Тимошки убийца? Смех один, ты б на него только посмотрел. — Гелена шумно вздыхает. — Зачем ты ввязываешься? — шепчет она доверительно. — Ее с того света не вернешь.

— По твоей логике, домогания этого ублюдка — не в счет? — Подозрительность Виктора Михайловича просыпается с новой силой. — Суд будет, обещаю тебе! Не удастся по чьей-то воле убийство списать.

— Не будет суда. Говорят тебе, слава богу, прикрыли дело. Кому надо (из начальства) — на лапу дали и списали этот инцидент, чтобы память Людмилы не осквернять. И еще одного из их компании пришлось тоже подмазать. А тому, кто особо из-за нее суетился, по-другому рот заткнули. Пойми, всего лишь «трагическая случайность», умысла не было. — Гелена отбросила окурок подальше. Виктор Михайлович выдохся, спорить дальше смысла не было. Он сделал вид, что доводы Гелены его убедили. («Что-то не так, что-то не состыковывается», — стучало в мозгу.)

Все же остатки пиццы, уже чуть остывшей, оказались вкусными, недомогание, тошнота медленно отступали.

— А для чего ты ее из Москвы вытащила? — спросил немного погодя. — Какой такой срочный у тебя повод был?

— Так это ж она сама попросила! — удивляется Гелена. — Она давно предупредила: «Как вода прогреется до девятнадцати градусов, так немедленно и вызывай». Понимаешь? «Немедленно!» Я и вызвала.

— Врешь! Что за вызов нужен в июне купаться? — снова теряет самообладание Виктор Михайлович. — Что вы тут натворили? Почему она как полоумная собралась и рванула из Москвы? — Глаза его темнеют, пальцы впииваются в полное женское плечо. — Все равно до всего докопаюсь. И не надейся провести меня.

— Ох-ох, какие мы нервные. — Благодушная улыбка играет на губах Гелены, и снова этот дерзкий изумленный взгляд. — Для чего, мой хороший, ты все знать хочешь? Что тебе это даст? — Она берет его за локоть, как бы удерживая от необдуманных порывов. — Уверю, ничего для тебя светлого не приоткроется. Ее нет, понял? Езжай себе спокойноенько домой в свою процветающую компанию и говори спасибо, что тебя в эту мутную историю не стали впутывать. Вот такое огромное «спасибо» скажи. — Она развела руки на всю ширину. — А то привлекли бы тебя, к примеру, свидетельствовать: в каком качестве ты Людмилу в Москве держал? И почему без прописки? Кто она тебе? Потягали бы тебя месяца два, и летел бы ты из всех своих начальственных кресел. Ясно?

— Меня не запугаешь! — перехватывает Виктор Михайлович руку женщины. — Пока правду из тебя не вытряхну, не отпущу. Говори лучше: кто у нее тут был?

— Ну ты уж совсем того, — сердится Гелена. — Не было никого. Отвяжись! — Она пытается вырваться, но Виктор Михайлович цепко держит ее локоть. — В одном ты прав: тебя она в расчет не взяла. Отпусти, говорю.

— Кто это был? — Виктор Михайлович не узнает своего голоса. Рука его непроизвольно выкручивает руку Гелены. Та вскрикивает. — Раз ты настаиваешь — лопай! Ну был. Был иностранец один. Только убери немедленно свои грабли. А то, честно говоря, у меня тоже лезвие припасено. — Гелена поправляет сбившуюся бретельку под оранжевым сарафаном. — Парень этот года два назад появился. Эдакий Гребенщиков испанского разлива. Когда он слинял, Людмила очень надеялась на его возвращение, ждала вестей, а потом отчаялась, в Москву укатила поступать в медицин-

ский. Кто думал, что он снова объявится? Пришлось мне ей сообщить. — Гелена вытаскивает сигарету. — Откровенно скажу тебе, не предполагала, что она так быстро среагирует. Особо-то и переживать не стоит. Тебя она очень уважала, клянусь, она тебе вот так благодарна была. А эти амуры еще за год до тебя начались, понял?

— Ну, пусть так, — бледнея, соглашается Виктор Михайлович. — И где же был этот испанец, когда Муську убивали?

— Да не был он! И отстань от меня. Кончен разговор. Откуда мне знать, что меж ними происходило? За день до драки этот Френсис ни с того ни с сего опять исчез. Чокнутый какой-то! Или прикидывался. Скажи на милость, зачем мне эта грязь? У меня своих дел по горло.

— Не верю! Поняла? — вскакивает Виктор Михайлович, чувствуя, что теряет остатки терпения. — Все чушь собачья! Поехали на кладбище!

Гелена вздыхает, медленно сдвигает грязную посуду на поднос.

— Ладно, сам увидишь — цепляться перестанешь. Только не переживай ты, ради Христа. Все как надо сделали.

Она скрылась в соседней комнате, вернулась с Муськиной курткой, лиловой сумкой на молниях, потом начала извлекать содержимое. Вид этих вещей, как бы подтверждавших реальность случившегося, поразил Виктора Михайловича больше всего прежнего. Он узнал торчащие из сумки Муськины бермуды, купальник-бикини, из внутреннего кармана куртки Гелена извлекла билет на поезд.

— И в обратный конец сохранился, — посмотрела она на еще более побелевшего Виктора Михайловича. Затем, щелкнув замком маленькой сумки, вытащила из нее щетку для волос, набор косметики, наполовину уже бывшей в употреблении, деньги. «А серьги-будильники, а документы?» — почему-то мелькнуло у Виктора Михайловича.

— Вот, — Гелена помахала пачкой денег, — пять тысяч. Все ее, так сказать, достояние.

«На что же она жила здесь неделю?» — опять невпопад пронеслась мысль у Виктора Михайловича. Он не мог заставить себя произнести ни слова.

В дверь неожиданно постучали, ввалился Роман.

— Ну как, разобрались? — сразу же загремел он. Струйки пота стекали со лба, сам он дымился, как чан с картошкой. — Куда едем? Решили? Сейчас гроза полоснет, уже гремит.

— На кладбище, — овладев собой, приказал Виктор Михайлович, машинально нащупывая бумажник во внутреннем кармане. — И вообще, учти, до самого отлета будем с тобой ездить. — Ему категорически не хотелось влезать в Геленин «Москвич». — Пока у меня не возникнет окончательная ясность, ты работаешь со мной. Понял? За башлями я не постою.

— Может, перекусишь? — показала Гелена водителю на пиццу. Она явно тянула время.

— Никаких перекусов! Уж сколько часов все закусываем и запиваем, — оборвал Виктор Михайлович.

— Да, вот что я подумала... — Гелена сняла с вешалки зонт, засунула босые ноги в лодочки. — Может, стоит еще к Фаине заскочить? Именно она в тот вечер с Муськой в ресторане была. Проходила потом как главная свидетельница. Захочешь, так она тебе всю сцену в деталях опишет. Как, а?

Роман одобрительно закивал. Раз пассажир серьезный, надо все сделать как положено. Он уже и сам начинал втягиваться в расследование.

Виктор Михайлович сразу же согласился: хоть кто-то живой заговорит кроме этой бабищи.

— Кстати, Фаина тебе подтвердит, сколько мы тебе в Москву названивали. И домой, и на работу. Пока твоя секретарша не разъяснила, что ты — в командировке.

Отъехали в предгрозовой темноте. На набережную проезд запрещен, двинулись вдоль пляжа пешком.

Торговая точка Фаины звалась «Ротонда», очередь к ней была видна еще издали. Подойдя ближе, Виктор Михайлович понял, что продавали там сахарную вату — новое лакомство, появившееся на Синем Береге в нынешнем сезоне вместе с другим ассортиментом нового времени. Небезразличным взглядом Виктор Михайлович оценивал новую реальность городка, казалось, знакомого ему до мелочей с детства, когда его, как многих московских детей, вывозили в крымские пионерлагеря. Теперь он не мог постичь, откуда берется такое количество импортного товара, который размещался прямо на земле, в коробках, на ящиках и вешалках. Кто завозит все эти пачки «Мальборо», «Винстона», греческих сигар, каким макарон и как доставлялись костюмы от «Адидаса», сумки «Гуччо», туфли «Саламандра», уж не говоря о батарее бутылок со спиртным и соками из Греции, Испании, Голландии, Израиля? Кто переправляет коробки с апельсинами, бананами, финиками, киви, что растут бог весть в каких краях? Все это, увиденное и услышанное, раздражало Виктора Михайловича полной нелогичностью, бесхозяйственностью.

— Понаехало народа, — перекрывая шум, наклонился он к Роману, — откуда все взялось — непостижимо.

— Время качнулось, — объяснил Роман. — В какую сторону — не знаю. Теперь каждый может челноком смотаться хоть в Грецию, хоть на Канары или в Штаты. Тысячами зелененькие гребут.

На ближних подступах к Фаининой «Ротонде» гремел динамик, в витрине зазывно поблескивали бутылки с зарубежными наклейками. «В сиреневый туман мой милый уплывает, а в небесах горит полночная звезда. Кондуктор, погоди, кондуктор, понимаешь...» — перекрывал голоса людей знакомый шлягер прошлого сезона.

— Эй, где хозяйка? — просунул голову в дверь кафе Роман.

Никто не отозвался.

«Кондуктор, погоди, кондуктор, понимаешь, я с милым расстаюсь, и, может, навсегда...» «Смена вех, — стучало в мозг Виктора Михайловича, — перевернулась страна».

Гелена зацепилась за знакомую официантку — красотку с выкрашенными по моде, в два цвета, волосами, на макушке торчал синий бант.

— Минутку потерпите, — обернулась она к Виктору Михайловичу. — Сейчас Фаина подойдет.

Посетители расхватывали шары сверкающей ваты, внутри кафе к ней полагался еще стакан сока или вина. Торговля и здесь шла бойко, товар не кончался. Красотка, только что калякавшая с Геленой, ловкими движениями размешивая и накручивая лакомство, быстро обслужила четыре столика, потом выжидательно облокотилась на буфетную стойку. Никакой Фаины не было. Минут через десять, когда Виктору Михайловичу уже надоело созерцать синий бант официантки, ее передник и туфли на уродских, вернувшихся из шестидесятых, платформах, внезапно (он прозевал этот момент) за стойкой появилась буфетчица. Седая, коротко стриженная, с молодым ожесточенным лицом. Виктор Михайлович сразу угадал в ней хозяйку, Фаину.

— Вот, москвичок хочет с тобой покалякать, — негромко позвала ее Гелена, скосив глаза на своего соседа.

Фаина не отреагировала. Ее внимание целиком было поглощено сифоном с газировкой, который дал течь. Вода капала на пол, растекаясь под столы.

— Хороший знакомый Людмилы Гуцко, — громче уточнила Гелена, — Виктор Михайлович.

Фаина справилась с сифоном, молча устремилась к выходу.

— Пошли, — шепотом приказала Гелена.

На улице буфетчица уставилась на Виктора Михайловича не говоря ни слова. При ярком свете ее седина, бледно-ожесточенное лицо резко контрастировали с худыми, почерневшими от загара, сильными руками и острыми коленками, хмурый, исподлобья взгляд не сулил консенсуса.

— Перед кладбищем решили к тебе заглянуть, — со значением и чуть заискивая проговорила Гелена. — Разбъясни Виктору Михайловичу, как все получилось. Мужчина Муське не посторонний, приехал из столицы. Имеет право знать подробности. Все-таки ты проходила как свидетельница.

— Ваши подробности мне не нужны, — с ненавистью разглядывая Фаину, выступил вперед Виктор Михайлович. — Почему убийца на свободе гуляет? Как это вдруг закрыли дело и всю вину спихнули на потерпевшую Гуцко? — вот что меня интересует. И предупреждаю: я этого так не оставлю. Добьюсь возвращения дела на следствие либо в области, либо в Москве.

Фаина равнодушно глядела мимо, как будто впервые слышала о Людмиле, очередь ручейком текла от них к прилавок с сахарной ватой. Обслуживание шло бесперебойно, но в какой-то момент из кафе послышались выкрики, мат. Фаина вбежала обратно, видно было, как она подскочила к спорившим, поперла на скандалистов. Через минуту все улеглось, дебоширы нехотя ретировались.

Вернувшись, хозяйка приняла ту же позу, что и раньше, взгляд ее неподвижно уперся в очередь, беседа явно не клеилась.

— Скажи человеку, — уже не без раздражения, будто к глухой, обратилась к ней Гелена, — нет смысла в обжаловании дела, никуда его передавать не нужно. Подтверди хорошему знакомому Людмилы, что дело напроць закрыли. Если честно, его ж просто замаяли. Для его же и Людмилин пользы. И поехали! А то нам поздно будет на кладбище.

Фаина перевела взгляд на Гелену, затем на Виктора Михайловича, словно выходя из летаргического сна, и вдруг ее прорвало:

— Ты что несешь?! Какое *дело*? Куда его надо передавать?

Гелена уставилась на нее:

— Известно какое.

— Что ты мужику шарики крутишь? — Буфетчица сплонула под ноги, смерила презрительным взглядом Виктора Михайловича. — Не было никакого убийства. Понятно? *Не было*. Обычная ресторанная разборка. Подрались из-за вашей сучки столичной, которая на иностранца упала. И разошлись. И похорон никаких не было. Ясно? — Она насторожилась, услышав шумную возню в кафе. — Я вашу Муську после того вечера и в глаза не видела. Ни живой, ни мертвой. Улавливаете? Исчезла она.

Виктор Михайлович ошалело глядел на Фаину, на Гелену.

— Может, она в Москву вернулась, может, еще куда подалась, — уже не глядя добавила хозяйка кафе. — Исчезла — и все.

— Аферистки! — заорал Виктор Михайлович. — Не верю ни одному слову! Все — подтасовка, уголовщина ваша... — И в тот же момент что-то случилось с его сознанием, оно поплыло, кружась, колени подогнулись, и лишь подхватившие его руки Романа не дали его телу распластаться на земле.

— «Скорую» вызывайте, «скорую», — бросилась в кафе Фаина, — что вы рты поразевали?!

## 2

Муська писала Гелене месяца два спустя:

«В двухэтажной квартире на берегу моря, которую арендует Френсис, комната у меня замечательная, как я и мечтала, — окнами на юг. Когда приступы донимают его, мчусь по лестнице вверх-вниз, мочу полотенца в



горячей воде, обкладываю ему грудь, спину. Помогает. В первые дни приезда в Малагу все было нормально. Казалось, все уже позади. И эта наволочь, чудовищное вранье перед отъездом. Поверь, милая, стоило так дорого заплатить за то, что я — с ним здесь. А потом (не буду называть своим именем) открылось другое. Френсис исчезал с первыми лучами солнца, уверяя меня, что его встречи — это «старые счеты», «прежние дружки достают», «тебе к ним не надо» или еще того обиднее: «Не хочу, чтобы знали, что ты из России...» И после всей этой сумасшедшей беготни (по лабухам и забегаловкам) он подхватывает грипп и вот уже три недели болеет. Сначала он и подняться не мог, потом стал донимать кашель. «Подумаешь, — говорю, — что тут такого? Вирус, поваляешься — и пройдет. Мы же вместе, каждый час — для меня счастье». — «Вирус?» — переспрашивает.

Ты пойми, Гелена, лежать он не любит, дергается. Теперь, чтобы смыться на свои мужские тусовки, час собирается с силами, подолгу стоит перед зеркалом, злится. Говорю: «Вылежи, куда тебя несет?» А ему, видите ли, «время от времени надо разогреваться». После таких «разогревов» сваливается как мешок, затихает, полуприкрыв веки, с наушниками и плеером. Похоже, плеер он не отключает даже ночью. Все чаще его одолевает странное любопытство к моему прошлому. Он требует рассказов. У Френсиса приличный русский, но все же, играя словами, я легко увожу его от правды. Как понимаешь, сочиняю небылицы. Слышит ли он меня?

Ну, пока! Он зовет, закончу позже...»

Закончить письмо не пришлось — кислород перекрыли.

Муська не вникала в странную перемену, произошедшую в испанце во время болезни, она праздновала победу. После издевательской волокиты в Москве, когда писюха секретарша учиняла допрос об отношениях с иностранцем («истинных» мотивах ее отъезда) или требовала кучу идиотских справок, подтверждавших законность их намерений, какое значение имели проблемы со здоровьем? Деньгами? Одно то, что теперь московским канцкрасам их не достать, было счастьем. Когда хворобы Френсиса пройдут, он осуществит свой план — откроет таверну на набережной. Здесь всегда будет к столу живая рыба, выловленная накануне, и живая музыка. И каждый русский — приезжий ли, здешний — сможет прийти, чтобы отведать вкусной рыбы и послушать игру ее Френсиса. «Как же повезло этой Муське из Синего Берега!» — подумают они. А потом пойдут дети, и ему не понадобятся его прежние дружки. Ну, может, только пара лабухов, что работает с ним. А тех, что таскали его на тусовки, слава богу, становится все меньше. Какой-то один еще звонит регулярно, но стоит подойти Муське — вешает трубку. Что ж, разберемся, кто кого.

«Ты не думай, что это я так, — часто вспоминала она его слова перед первым отлетом из Крыма. — Ты — это серьезно». Сколько раз она прокручивала мысленно те десять минут перед разлукой, которая длилась так долго.

Накануне они прощались в дискотеке, и теперь на людях (ребята из группы уже грузили вещи в автобус) Муська почувствовала фальшь ситуации.

— Ты поймешь все позже, — пробормотал, резко потянув ее в тень громадного платана. — Кое-какие проблемы придется разбросать. Я постараюсь вернуться поскорее.

Она не поверила. Из-за бугра в Россию не убегают. Он еще потоптался в кружевной тени развесистого дерева, потом добавил:

— С бумагами я справлюсь, труднее будет с окружением.

Не совсем поняв про «окружение», она махала вслед автобусу. Слез не было, она благодарила судьбу за выпавшие две крымские недели. Как бы сложилась ее жизнь, не затащи ее Гелена в тот вечер в «гадюшник» (так она называла местную дискотеку). Покурили у стенки, уже собрались перебраться в другое место, когда ввалились импортные красавцы.

— Ха, — прыснула Муська, — испанцы! Сейчас на них наши путаночки кинутся.

Минут через пять, пропустив первый танец, к ней из той группы уверенно двинулся молодой, с белозубой улыбкой сеньор. Тощий, высокий, он чуть сутулился, на приветливом, нежно-девичьем лице поблескивали узкие глаза. Как отплясали, так он и приклеился сразу. Назвавшись Френсисом, объяснил, что приехал с музыкантами из Барселоны, мечтает поглазеть на Россию, послушать народные мелодии, побывать в «знаменитых на весь шарик Ливадийском дворце, Бахчисарае и обсерватории». Из Муськи поперла испанская эрудиция, а у него оказалась с собой уйма международных хитов в кассетах. В тот же вечер он все подарил Муське — «чтобы облегчить чемодан», а на другое утро сговорились погулять по набережной. Погуляли, повеселились, она опять обворожила его своей особенной любовью к Каталонии, своим восхищением «поэтом камня» Антонио Гауди («который так трагично погиб под колесами трамвая»), и все планы испанца рухнули. Какие там ливадийские дворцы! Две недели они ничего не видели вокруг.

А потом все кончилось. Автобусы отъехали, испанцев не стало, и город для Муськи опустел, как для чеховских сестер, когда ушла бригада Вершинина. Вместо духового оркестра по динамику запустили ненавистный ей сейчас сезонный шлягер: «Он смотрит ей в глаза и руку пожимает, а в небесах горит полночная звезда, кондуктор, погоди, кондуктор, понимаешь, я с милым расстаюсь, и, может, навсегда». Муська впадала в тоску, от обступившей пустоты сдавали нервы. «Расстаешься, и качай отсюда, — думала. — Теперь уж все».

И вправду Френсис слинял начисто, его как отрезало. Та единственная открытка с видом на залив, пришедшая с оказией, — не в счет. В ней не было информации, похоже было на первую страницу разговорника: «Здрасьте! Как живете? Что нового?» Но на время Муська все равно воспряла. Туристов из Испании в Крыму было навалом — из Барселоны, Мадрида. Она торчала на аэровокзале, на пирсе, в дискотеке, знакомилась, расспрашивала. Мало ли с кем еще ему удастся переслать письмецо? Потом отступила, заставила себя выкинуть эту блажь из головы.

Вскоре у Муськи сделался настоящий срыв, депрессия скрутила ее начисто, она вышла из нее с острым отвращением к своему городу, вообще к югу, к курорту с этим мерзким интимом, возбужденной наглостью предложений и пустых слов. Уехать! Немедля. Куда угодно.

— Поступай в московский институт, — сказала, подумав, Гелена. — Шансов — ноль, потому как ты все перезабыла, но в столице и без института найдешь чем отвлечься.

Муська послала документы во Второй медицинский и поехала сдавать. (Потом-то ей пригодился месяц обучения азам первой помощи.) В Синий Берег возврата не было, никто там о ней не плакал. Предки умудрились родить ее в сорок с хвостиком. Стоило ей подрасти, как отец нашел тепленькое местечко в лесничестве под Новочеркасском, где они с матерью обосновались. Они звали ее, иногда подкидывали деньги, но, в сущности, предки зажили собственной, подчиненной возрасту жизнью. Дочь им не отчитывалась.

Прибыв в Москву, Муська продралась (без особого напряжения) сквозь громадный конкурс и, к изумлению всех знакомых, поступила. Дорога в светлое будущее была распахнута настезь, но тут возникло непредвиденное препятствие. Отчаянная, не без авантюрной жилки студентка первого курса не переносила вида и запаха крови. Она оказалась «профнепригодной» для данной специальности. Для Муськи это было посылнее шоковой терапии. Она негодовала, пыталась заставить себя, резала руку, всаживала шприц в ляжку. Странно (но факт), когда у самой текла кровь — все нормально, у других (на перевязке ли присутствует или в операционной) — в обморок падает.

Пришлось расстаться с медицинским. Отбросив мысль о возвращении, Муська в тот же день пошла искать работу. По объявлению, через фирму «Заря», Людмила Гуцко устроилась ухаживать за тяжелой старухой. Старухина дочка (тоже старуха), измучившись от бессонных ночей, материнских пролежней, кормлений, с испугу положила сиделке очень высокую (почасовую) зарплату с выплатой каждые пять дней.

Этой зарплаты с лихвой хватило не только на то, чтобы снять комнату и безбедно прокормиться. Муська приобрела фирменные джинсы, английскую майку с шикарной надписью и заветный кассетник. Зачем ей понадобилось по сто раз прослушивать одни и те же его записи? Остаток заработка Муська отослала Гелене в счет денег, которые та одолжила ей на дорогу.

Новые джинсы и майка придали уверенности, когда Муська уселась на высокий вертящийся стул в баре гостиницы «Тройка». Она заказала крепкий коктейль, огляделась и через полчаса закадрила мужика. Внимательно осмотрела: стертое лицо, тусклый взгляд, но аккуратный, обходительный — сойдет для времяпрепровождения, ничего подозрительного. Парень сразу же дал понять, что ночевать ему негде, и Муська, войдя в положение (хорошо ей знакомое), притащила его, уже изрядно поддавшего, в свою снятую в хрущевке комнату, угостила остатками вина и постелила на диване. Однако в темноте, без лишнего заверений, постоялец полез на нее, умело заломив ей руки и не тратя лишнего времени на разговоры. Муська истошно завопила. Перепуганный гость врезал ей:

— Спятила, что ли? Зачем зазывала, сволочь?

Она завопила пуще.

— Чокнутая! — оглушил он ее по темени. В тумане полусознания она видела, как он натягивал штаны, смывался.

Утром хозяйка с брезгливым прищуром заявила:

— Чтоб духу твоего не было. Поняла? Через час. Я тебе комнату на учебу сдавала, а не блядовать, ясно?

— Ясно, — подтвердила Муська и начала собирать вещи.

Остаток денег хозяйка не вернула, пришлось в темноте пешком, с полной сумкой добираться на очередное дежурство к старухе. При одной мысли о ее пролежнях, страшном запахе Муська затосковала, но деваться было некуда.

Когда она вошла в знакомую комнату, старухина дочка раскачивалась из стороны в сторону, подвывая, спертый воздух был насыщен лекарствами.

— Скончалась мама, — прервала она раскачивания. — Утром скончалась.

Муська подошла к покойнице, потопталась, испугавшись приблизиться вплотную. Потом спросила старухину дочку, не надо ли чего. Та замахала на нее: чего уж, мол, теперь, оставь меня одну. Она пошарила в сумке, протянула нераспечатанную пачку денег:

— Бери. Здесь — все.

Муська поблагодарила, но уходить медлила. Ей вдруг стало жаль покойницы, ее неприспособленной к жизни дочери. Она подняла разбросанные вещи, укутала старуху-сироту шерстяным платком.

В столь позднюю пору искать ночлег смысла не имело, ночь была ясная, и Муська, подхватив неподъемную сумку, побрела к Курскому вокзалу — перекантоваться до утра и кстати почитать объявления. Объявлений на вокзале — как на бирже. Выяснилось, что требовались санитарки, грузчики, помощники и секретарши со знанием английского, компьютерная молодежь, девушки на конкурс для гостиничного сервиса. Муська выписала три телефона по уходу за стариками и вдруг выдохлась, обмякла, будто из баллона воздух выпустили.

В огромном зале было набито битком. Люди спали в ожидании билетов, состыковок с другими поездами. Их куда-то несло с насиженных мест, но большинству ехать было некуда. Муська поинтересовалась у си-

девшей напротив женщины с шумной семьей из трех поколений, есть ли шанс достать билет до Симферополя. Семейка дружно заготовила: билеты в южном направлении были распроданы на много дней вперед. Но прелесть (по их мнению) «переходно-коммерческого периода» состояла в том, что, «если очень постараться, достать можно все». Правда, суммы, которую запросит перекупщик, наверно, хватит и до Канарских островов. «В один конец, — сострил мужчина, — но возвращаться ведь не обязательно?»

«Ничего себе», — подумала Муська, устраиваясь. Она положила сумку под голову и отключилась, не сумев стереть возникшую в воображении картинку пляжного отеля на Канарских островах.

Утром, дождав пирожок с повидлом (угощение шумной семьи), Муська решила без паники обдумать свою дальнейшую жизнь. Сидела она долго, ничего нового в голову не приходило, она поискала глазами автомат: пора было звонить по объявлениям.

Она поднялась, с трудом водрузив на спину (уж в который раз!) неподъемную сумку. Перед ней стоял пижонской экипировки тип и крутил на пальце ключи от машины.

— Ты-то что здесь делаешь? — поинтересовался.

Муське было не до амуров (теперь случайные знакомства вызывали омерзение), она резко отвернулась, прикидывая, какой из ближних автоматов еще работает.

— На вокзал-то как ты подзалетела, беби? — с насмешкой оглядел мужчина место ее ночлега. Глаза у него заблестели.

— Кажется, вы куда-то направлялись? — огрызнулась Муська. — Опоздаете!

— Уже опоздал, — вздохнул он. — Прямо трагедия.

Муська не поверила, ей было хорошо известно, что у подобных мужчин (опаздывают они или нет) трагедий не бывает. У таких типов при любых поворотах истории все равно все «хокей».

— Клиент потерялся, — задумчиво произнес мужчина, продолжая вертеть брелок с ключами. Уже забыв о Муське, он что-то прикидывал в уме — напряг мысли отражался на лбу. Через мгновение он встряхнулся, двинулся обратно к перрону. Возвращаясь, вспомнил о Муське, догнал.

— Ну так как? — спросил. — Чем здесь торчать, не лучше ли поработать? Вижу, что ты с образованием.

— Образование требуется? — зло прищурилась Муська. — А я подумала, в кино сниматься или манекенщицей. Или, может, за так?

— Для начала предлагаю подежурить у телефона, — не обратил он внимания на ее тон. — По телефону-то умеешь говорить?

Муське надоела эта канитель. Развернувшись, она двинулась прочь вразвалку, не спеша. Но он уже привязался. Догнал, отобрал сумку.

Дом Виктора Михайловича Горчичникова оказался просторным, с размахом. И сам он тоже — мужчиной с кругозором. Знакомый блеск в глазах (свидетельство беспредельной жадности жизни) потухал редко. Крупного помола, не прижимистый, он легко расставался с деньгами (хотя шальных у него вроде бы не было), не спрашивал, на что и как она тратит выданное, не был капризен в еде. Она быстро осознала, что им владела одна, но «пламенная» страсть — его дело. Одержимость бизнесом выражалась в череде ставок, отступлений, выигрышей, непрерывных попытках оседлать будущее. Ему надо было что-то преодолевать, кого-то обходить на поворотах — по телефону, на деловых и личных встречах. Он то конфликтовал, то шел на компромиссы, то предлагал новые условия, пока не достигал необходимой договоренности, — короче, по мнению Муськи, Виктор Михайлович беспрерывно варил бульон. Отведенное ему время, как правило, полностью покрывалось рабочим днем — приемом посетителей, переговорами, выездами на места, сидением по многу часов в офисе, изучением бумаг и деловыми застольями до той

поздноты, когда даже развлекаловка ночного ТВ уже выдыхалась. В редкие часы, когда он бывал дома, уйма времени уходила на телефонные разговоры. Телефон владел им, как живое существо, обладая множеством функций, он был его записной книжкой, памятью, оценкой сделанного за день и, конечно, регистратором всевозможных сообщений. По мнению Муськи, телефон опутывал Горчичникова, как спрут. У нее было ощущение, что автоответчик, предлагавший оставить информацию и записывавший ее, вступал с Виктором Михайловичем в какие-то свои, неведомые другим отношения, почти интимные, к которым Муська не была причастна. А эта «моторола», которая позволяла уединиться с абонентом в любой точке и которую, как любимую потаскушку, можно было брать с собой повсюду! Это было посильнее, чем соперница или любовь Ромео и Джульетты. Муська не намерена была вникать в смысл его бесед, ревновать, она улавливала интонации, то напряженно-деловые, то кокетливые, понимая, когда он подыгрывал собеседнику, а когда ставил его на место. Иногда ей было интересно следить за выражением его лица, отгадывая характер, возраст человека на том конце провода, который почему-либо раздражал, веселил или вызывал зевоту у Виктора Михайловича.

— Ты бы мне хоть анкетку заполнила, — как-то, усмехнувшись, полуобнял он ее за плечи посредине выпавшего как редкая удача совместного просмотра фильма «Девять с половиной недель» по видеку, который, казалось, уже настроил обоих совсем на другое. Но он повторил: — Анкетку, пусть на примитивном уровне: дата рождения, родители, образование...

— Отдел кадров нервничает? — разозлившись, отключила Муська видеку. — Пусть не беспокоятся, у меня все нормально. Родилась в Крыму, предки живут в Новочеркасске. По гороскопу Телец, май семидесятого. Образование неоконченное высшее.

Через какое-то время, когда она уже овладела секретарским стилем непринужденной и вместе с тем информационно насыщенной телефонной болтовни, выучилась готовить суп, сочные мясные котлеты — чтобы таяли во рту, бегать с мраморным спаниелем по окружным дворам, натягивая поводок, сортировать почту, отличая важную от второстепенной, Виктор Михайлович заявился в одну из пятниц, вечером, в особенно приподнятом состоянии духа.

— Прекрасные новости! — воскликнул он, стоя в дверях. — Знаешь, подыскал тебе великолепную комнату. Еще договорился, что с понедельника зачисляешься на скоростные курсы менеджмента. Представляешь? Удача потрясающая! — Он скинул куртку, подошел. — Через пару месяцев освоишь экономику, компьютер, одновременно английский, статистику. И все это — по новейшей методике. Каково? Закончишь курсы, зачислим слушателем в «Тренинг-центр», у нас там появился классный преподаватель, то, что нужно. Он и бревно выучит.

Муська замерла у окна, забыв поздороваться, губы задрожали.

— А меня вы спросили? — прошептала. — Вижу, за меня все решили? Может, все-таки не все?

— Ну знаешь... — Он обиженно пожал плечами. — Не хочешь — как хочешь. Ты человек свободный. Про комнату все же подумай, жаль упускать. — Он не спеша прошел в кабинет и без паузы начал слушать запись автоответчика, а затем отзванивать.

Обдумывая новые обстоятельства, Муська поставила на стол ужин, заправила овощной салат, потом не колеблясь сняла с полки сумку и уложила вещи.

— Счастливо оставаться, — сказала, войдя к нему в кабинет и переждав, пока он отсмеется с кем-то по телефону. — Съезжаю. Что касается английского, то я, к вашему сведению, его уже знаю.

Он не стал задерживать ее. Холодно глядя вслед, он невольно отметил, как медленно, а потом все ускоряя темп отпечатывался перестук ее каблучков по лестнице, как бешено хлопнула парадная дверь.

В тот вечер Муська кружила по Москве, вспоминая, как после смерти старухи попала на вокзал. Ей не хотелось анализировать случившееся, обида захлестывала ее. Сейчас она думала не столько об устройстве на ночлег и полном отсутствии перспектив, сколько о реванше. Как сделать, чтобы он проклянул тот день, когда выставил ее? Чтоб мучился, звал обратно, а она была бы непреклонна. Так ничего и не сообразив, она взяла себя в руки, все взвесила и решила: интересно все-таки подглядеть за ним и узнать, каково ему в пустом доме. Неужто и вправду без разницы, живет она с ним или нет?

Под утро (уже измученная недосыпом и неизвестностью) Муська все же подкралась к дому Горчичникова, поднялась на первый этаж. Она видела из окна, как он плелся к гаражу, вывел машину. Выражение лица различить не удавалось, но походка, вялая, потерявшая упругость, позволяла надеяться, что и ему не по себе.

Вечером она снова вернулась, чтобы, затаившись в простенках гаражей, уловить момент, когда он вернется. В этот раз он прошел совсем близко от нее, чему-то улыбаясь и тихонько насвистывая. «Дура, набитая опилками», — подумала о себе Муська. Для Виктора Михайловича прошел обычный загруженный до предела рабочий день, удачный ли, безытоговый, но так или иначе день этот подошел к концу. Его насвистывание взорвало Муську, ей захотелось ударить его, но главное — исчезнуть, согнуться, лишь бы не попасться на этой унижительной слежке. Плевать, пусть варится в собственном соку.

— Ну что ты прячешься? — вдруг полуобернулся он в Муськину сторону, уже запирая ворота. — Лучше бы призналась, что поступила глупо, что сама себе враг, но что, мол, такую Бог создал, а? — И опять знакомый брелок с ключами вертелся на его пальце, переливаясь в свете фонаря. — Учиться ей, видите ли, неохота, авось как-нибудь так выплывем. Надо, милая, иметь мужество признавать ошибки, понятно? — Он обнял ее за плечи, повел к подъезду.

Дома, кинув на кресло дипломат и шляпу, помог Муське раздеться, усадил.

— А если ты хочешь серьезно, то не знаю, что с тобой делать. — Он задумчиво разглядывал кончик ботинка. — В жены ты мне не годишься, я тебя не люблю. Да и ты ко мне особой страсти не испытываешь. Так? В экономки тебе не с руки, да и рано. — Ему стало жарко, он расстегнул ворот рубахи, освободил галстук. — По гороскопу ты кто? Забыл. А... Теллец. Значит, «к концу недели счастливая любовь, неожиданные новости, успехи на поприще бизнеса». — Он расхохотался своей шутке. — Хотел тебе помочь, но ты не даешься. — Он взял ее за подбородок, поднял опущенную голову. — Ну? Что будем делать?

— Кинусь на остросюжетные курсы, — процедила Муська.

Через минуту злость и обида отступили. Она распаковала сумку и, внимательно оглядев себя в зеркале, направилась в ванную.

Спустя месяц Муська втянулась в занятия, успешно осваивая законы экономики, новую технику. Иногда она появлялась в НТЦ, чтобы понаблюдать, как новый преподаватель учит поступивших, забегала и во вновь оборудованное помещение фирмы. Глаз радовала темно-вишневая, итальянского дизайна мебель, из живых березок аллея в кадках, она наслаждалась кайфом удивительного сервиса: посылкой факсов, электронной почтой, ДНЛ, ксерокопированием. Получить дымящийся кофе из автоматической кофеварки не составляло проблемы. И все же к самой деятельности фирмы она была равнодушна. Уже через месяц Муська совмещала занятия на курсах с работой. Об отселении в снятую комнату речи больше не было. Они перешагнули черту раздельности.

Как-то, примчавшись днем, он упомянул о приеме в ресторане, обронив что-то о необходимой парадной экипировке: «Купишь вечернюю шмотку и еще что-нибудь», и выложил на это солидную сумму. Муська

насторожилась («длинные тосты, официальщина, все друг друга обнюхивают — тоска»), она вспомнила ночные гуляния с Френсисом, быть может, ей пора выходить на люди, освобождаться от наваждения. Она вертелась перед зеркалом в новом платье, с удивлением обнаруживая незнакомое лицо взрослой, привлекательной женщины, и внезапно в ней вспыхнуло желание нравиться. Для бодрости она глотнула шампанского и, когда Виктор Михайлович вернулся, уже отбросила последние сомнения. С недоумением он прислушивался к ее голосу, напевавшему веселую мелодию, пока она наводила марафет.

После этого банкета случайное их сближение обрело постоянство, они спали уже в одной постели. Муське нравилась грубоватая быстрота его движений, мощная безальтернативность секса. Его стремительность походила на пеленание младенца, когда руки матери уверенно собирают, группируют тельце новорожденного в вытянутый тугой кокон.

Были ли для него их отношения только «разрядкой», или их обоюдная одержимость становилась ему все необходимее? В себе Муська не пыталась разобраться. Что связывало ее с Виктором Михайловичем? Ей все еще далеки были и стиль, и цели его жизни. Ради чего надрываться и перенапрягать себя с утра до вечера? Деньги, карьера, власть? — задавалась она вопросом. Как бы и то, и другое, и третье, но было что-то еще в подобной необъяснимой одержимости, какая-то иная пружина толкала этого мужчину на конвейер, где каждый раз он рисковал сломать себе шею. Живя с ним рядом, Муська не могла не ощущать притягательность этого безостановочного темпа жизни, этого безудержного стремления к цели и уверенности в поступках. Но подчас что-то находило на нее.

— Тебе не хочется сбежать на время от родного коллектива? — спрашивала.

— Смотря для чего.

— Ну хотя бы на недельку остановиться, побыть одному.

— Естественно, хочется, — смеялся. — Они мне все осточертели, впрочем, как и я им. Но, понимаешь, это, как сказал какой-то умник о женщинах: «Ах, и с ними невозможно, и без них никак нельзя».

— Еще как возможно, — не соглашалась Муська.

Ей казалась однообразной эта жизнь в окружении вечно спешащих мужчин, карьерно озабоченных женщин. С тех пор как она работала среди них, старательно выполняя заданное на день, она вроде бы чувствовала себя спокойной. Кончились идиотские комплексы, страх неизвестности. Но все равно она словно выполняла повинность, ей было смертельно скучно, пока поздно вечером он не возвращался домой.

Вскоре Муська приспособилась жить своей отдельной от него жизнью. Комнату, которую он ей отвел, она оборудовала на свой лад. Привычные книги на полке, словари (уже бесполезные). Сборник рассказов и пьес Чехова, «Сага о Форсайтах» Голсуорси, два желтых томика Агаты Кристи. На самом верху, рядом с английским разговорником, водрузила для форсу толстый сборник Ахматовой и для себя — тощий молодого поэта Игоря Иртеньева, которого видела однажды по ящику, лохматого, веселого. Пока он читал стихи наизусть, она чуть от смеха не упала со стула. А вообще-то современную литературу она не хранила, прочитывала и раздарила.

Через какое-то время Муська привязалась к Виктору Михайловичу всерьез. С нетерпением ожидала его появления. Уже без насилия над собой она обвивала руками его шею, вдыхая запах дорогого одеколona («После бритья») в предчувствии его власти над нею.

В последнем письме, перед вызовом Гелены, Муська посетовала: «Как счастливо, без проблем, могло все получиться у нас с В. М.! Подумать только: дом, машина и такой мужик рядом. Люкс! Правда, изредка меня охватывает досада, что существование мое до сих пор все еще — отражение его жизни, почти бесцветное, словно я согласилась на игру без воображения. Дорогая моя подруга, увы, я так и не смогла выбить из башки воспоминания. Мне то и дело слышится шум раковины, которую мы вылови-

ли в море и передавали друг другу, и плеск нашего крымского прибора, который так любил Френсис, наши сумерки, когда пустели лежаки, а его спина, пятнистая от острой гальки, закрывала меня от ветра. Что с этим делать? Как забыть? Больше всего не хватает мне наших с ним нескончаемых разговоров на ломаном русском и испанском обо всем на свете».

Гелена не удивлялась. Муське был дан талант восторга. Она умела радостно подхватить любую мысль, порыв этого испанца. Заходя на пляж после работы, Гелена наблюдала, как в тесноте одного лежака, прильнув друг к другу, они могли часами судачить о проходящих курортниках. Кто, к примеру, вон тот, вытянутый в струнку старик, зачем тащит эмалированные ведра и мешковину? А эта, рыжая, кем приходится здоровенному дядьке, который толкает ее в воду? И так часами, до умопомрачения.

Тогда, после отъезда Френсиса, втайне надеясь на его возвращение, Муська всерьез взялась за испанский, приобрела новые солидные словари. Вскоре она уже могла читать не очень сложные книжки, болтать на бытовые темы. А потом, когда он совсем отказался от нее, все исчезло. Она ко всему потеряла интерес, не умея свыкнуться с мыслью об окончательности их разрыва. Оказалось, память не отступила даже перед новой жизнью с Виктором. Но постепенно и незаметно чужое, нежеланное становилось все ближе, и через какое-то время пустоту свободного пространства заполнил новый хозяин.

Весть Гелены о возвращении Френсиса будто соединила электроды. В какие-то жалкие мгновения еще возникали мысли о Горчичникове, покалывала совесть при мысли о его разочаровании в ней, даже презрении, но это так, отголоски ветра, который умчался. Муська сознавала, что поступает неблагодарно, подло. Но что за сантименты? Она ринулась в Синий Берег не рассчитывая, безрассудно — что будет, то будет... И потом, когда она снова увидела Френсиса, она уже почти не вспоминала о многих месяцах, прошедших без него, об оставленном в Москве доме. Словно все это было не с нею, а с кем-то другим. И чтобы Виктор Михайлович не вешал на нее небылиц, гадливо не морщился при одном упоминании ее имени, надо сделать так, чтобы она для него исчезла. Исчезла навсегда. Чтобы он напрасно не высчитывал, когда она говорила ему правду, когда врала.

\* \* \*

Наступил момент, когда Френсис уже не мог подняться. Была середина июня, в Нерхе (на юге Испании, неподалеку от Малаги) жара наступит рано. В том сезоне курорт наводнили немцы и скандинавы. Квартиры несусветно подорожали. Муська в панике замечала, что деньги с каждым днем тают, как и он сам. А денег надо было много: аренда квартиры, дорогие лекарства, питание, но в особенности помощь врача и медсестры. Знакомый доктор, который взялся здесь лечить Френсиса, делал все, пытаясь приостановить болезнь. Но особого улучшения не было. Френсиса ежедневно, в особенности по ночам, трепала лихорадка, зуд по всему телу заставлял до крови раздирать кожу. Муська приходила в отчаяние.

— Наверно, в городе, дома, тебе будет лучше? — закинула однажды удочку. — Перебраться не сложно, я все равно никуда не денусь, буду поблизости.

— Оставь... — бросил он. — А тебе что, не нравится здесь? Что ж, уезжай.

— Нравится, не нравится — умрешь со смеху. Нужна больница — там настоящие специалисты.

— А что, дела так плохо? — поднял он равнодушные глаза.

— Да нет же. Просто поправка идет медленнее, чем могла бы...

— Не все ли равно, где наступит конец, — возразил, прикрывая тяжелые веки, — в бархатной Нерхе — не худший вариант.



Теперь, впадая в полузабытье, он часто разговаривал с каким-то Фредом. Муська предположила, что это тот самый америкашка, который выступал с ним последние годы. Татуировка «F + F» на плече Френсиса закрепляла мысль об их союзе. Упоминался концерт в сказочном городке Уангорелла, закольцованном в золото песка, где всю ночь нарядная толпа кружит на каруселях и где имели они «бешеный успех». В другой раз, в ночном бреду, он вспоминал совместное турне с Фредом на яхте, вдоль пляжей, где был их «плавающий рай», и то, как они причаливали к каждой таверне, играли там и балдели.

Муська изнывала от ревности к его горячим денечкам без нее, ей снились так и не сбывшиеся прогулки с Френсисом по Барселоне и то, как он показывает ей тот знаменитый храм «Саграда Фамилия» («Святое семейство») скульптора-поэта Антонио Гауди, репродукцию которого возила всегда с собой; воображение дразнили головокружительные танцы в местных рок-клубах по вечерам, когда проваливаешься в неведомое и пьянеешь от счастья.

В бреду Френсис вскрикивал, греб руками. «Что же это, кто ты?» — спрашивала она себя, обливаясь невидимыми слезами. Ее мальчик, ее любовь. В последние дни он отошал до неузнаваемости, ее пальцы легко касались ребер. Теперь, когда он пытался дотянуться до туалета, синий, переливающегося шелка халат, который так шел к его шее и плечам, висел, как на чучеле.

Муська совсем выдохлась от его признаний, уже с трудом перенося запах экземных ран, которые не затягивались. Теперь-то ей открылась правда. Она вспомнила сотни мелочей, непонятных, неожиданно раздражающих, которые она приписывала иностранным привычкам. И то, как мужчины смотрели сначала на него, когда они стояли рядом, и всегда здоровались с ним первым, как опускал он глаза, стоило кому-то обратить внимание на женщин, его всегдашнее внимание к собственной внешности — одежде, волосам, и то, как тщательно повязывал шейный платок. Ее охватывала паника, она думала о том, как ужаснулись бы, узнав правду, ее родные и подруги (в первую очередь Гелена). Надо быть современнее, успокаивала она себя, терпимее. О скольких знаменитостях, да и просто прекрасных, талантливых знакомых из шоу-бизнеса, балета и спорта судачили *про это*. А рядом кое у кого из них появлялись семьи, росли дети. Как-то Френсис сказал ей: «Те, кто в меньшинстве, всегда будут отзывчивее к чужой боли. Они-то знают по опыту, что значит быть гонимым». Муська с удивлением переспросила: «А тебя кто-то гонит?» — «Нет, конечно».

Сейчас, сидя рядом с ним, она уже твердо знала: не могли их отношения быть подстроеными, фальшивыми. Что угодно, только не это. Но чаще она спрашивала себя другое: кто тот ублюдок, о котором Френсис думает неотступно, исступленно в эти последние дни своей жизни? Она вслушивалась в его бред о веселом непотребстве на концертах, о тусовках в открытом ими бистро под названием «Тяжелый рок», и всегда в его бреду присутствовал этот тип, «владевший электробасом, как маг», «танцевавший, как бог». В том клубе они плавали в бассейне, шаяла от сигарет и случайных партнеров, которых «на другой день можно было и не узнать».

Приходя в себя, он бормотал: «Несколько человек исчезли... Я не задумывался. Понимаешь, это же игра... Фантастические ощущения, касания в воде». Его голос то возникал, то затухал — скрипучий, незнакомый. «Кто-то в темноте тебя любит, особенная нежность, ни с чем не сравнимая, ни к чему не обязывающая»... Он оправдывался: «В мужские клубы тебя бы не пустили. Там женщины не нужны». Лоб его покрывался обильной испариной, лицо искажала гримаса. «Сейчас все лопнуло». «Мы стали бояться свободной любви». «Все, все умерло для нас»... «Секс умер».

И в то ничем не примечательное утро стояла жара, сильный ветер бил в жалюзи, непрерывно и громко шурша перекладами. Когда она вернулась из аптеки, он попросил апельсиновый джус.

— Что это, — спросил, — ураган? За окном? — Он смотрел на нее строго, с пронзительной нежностью. — Знаешь, — произнес, — я ведь с ума сошел, увидев тебя... я понял, *что* пропустил, какая безумная участь. Поверь, я отчаянно сопротивлялся. Мне думалось: какое я имею право, почему ты должна отвечать за мою жизнь? Я говорил себе: поздно, моя жизнь *ее* не вмещает. Но все оказалось не так. Я не смог *преодолеть* тебя. Ты все вытеснила... А потом... болезнь, кто ее мог предсказать? О, Боже. Прости меня ради Христа.

Он смотрел на нее. Ясно, не моргая.

— Жизнь прекрасна и в непогоду. В ней, слава Богу, есть все. — Голос его окреп, одышка исчезла. — Живи, дорогая. Из каждого дня возьми все, что можешь...

Выпростав руки из-под одеяла, он снял с пальца кольцо, попробовал перекинуть через голову цепочку с крестом, не смог, закашлялся. Так и затих с раскрытым ртом.

Она застыла возле него, забыв, где она, что ей предстоит. Потом сняла с него нательный крест, спрятала кольцо. Под подушкой обнаружила конверт с надписью: «Родителям».

Родители Муську не интересовали. Но она машинально, не осознавая окружающего, все выполнила. Когда его предки появились после похорон, она хмуро наблюдала их суету. Как собирали его вещи, больше всего заботясь, чтобы все записали в бумагу, почему-то важную для них, и чтобы в ней не было сказано о диагнозе. Им была нужна официальность, подтасовка, они ее получили: «Смерть наступила в результате отека легких, осложненного сердечной недостаточностью». Его предки хотели избежать неприятностей, расходов, огласки. Вот на это, чтобы не было огласки, они кинули достаточно баксов.

Больше Муське в Нерхе делать было нечего. Она должна была найти быстро «Тяжелый рок». Там у нее было дело. Последнее.

Она оставила целый день для этого последнего дела. Кто его знает, может, бродяга Фред уже сменил площадку и выступает совсем в другой стране? Последние дни агонии Френсиса, как и смерть его, не обнаружили присутствия друзей. Что было в этом лабухе, ради которого Френсис удрал от нее, сжигал все мосты? — думала она в самолете на Барселону. Теперь-то она попадет в город своей мечты. Одна, без него.

Муська шла по барселонским улицам, которые столько раз видела во сне, люди готовились к празднику, сооружали помосты, ставили разрисованные палатки. Косо шел дождь. Стволы незнакомых деревьев с желто-оранжевыми, как свежий паркет, макушками тянулись вдоль пляжа. Электричество только вспыхивало в домах. Муська торопилась. Ей требовалось достаточно времени, чтобы не скомкать долгожданную встречу.

Быстро оказалось не на окраине, а прямо в самом центре, его непривычно яркое для утра освещение было видно издали, откуда же доносилась тягучая музыка. Предчувствие чего-то тяжелого охватило Муську, не без труда она протиснулась в помещение через поток пестрых босоногих молодых людей, с серьгами в ушах, в приметных майках и джинсах. В зале звуки музыки, уже не замутненные городским шумом, были чисты, трагичны. Высоко на помосте, почти под потолком из-под груды венков, букетов был виден гроб. В ногах умершего стоял портрет. На фотографии он казался подростком — белокурый, с загорелыми скулами и светлыми усами. В руках — электробас, на груди — крест. Под портретом, на полу, стояли две серебряные чаши с купюрами. Входившие клали цветы на гроб, бросали деньги в уже переполненные чаши. Муська всхлипнула (нервы не выдержали), в глаза бросилась посреди других траурная лента

с русскими буквами. Она ахнула, на алом куске материи чернело: «Бесценному другу и музыканту Федору Теркулову — *Фреду*». Русский! О боже! Его половина, его судьба, его любовь к России — вот этот сбежавший в Америку русский?!

— Напоследок ему здорово досталось, -- услышала она рядом густой шепот.

— Но зато погулять успел. Ох и умел Фред расслабиться, позавидуешь.

— Дурак ты! Он же проклят был. Коли уж заразился, сматывайся похорошему. Что, он не мог назад уехать?

— Брось ты, никогда б он в Россию не вернулся.

— Это как сказать. Помню, он признавался: «В Питере были замечательные фаны, знаменитые тусовки и особое, чисто российское размазывание времени. Здесь — колоссальный уровень рок-культуры, наслаждение, роскошь. — И вдруг посмотрел на меня как затравленный: — Вот я и думаю: а умирать где?»

Муська не выдержала. Бесшумно пробравшись к выходу, выскочила на улицу. Нарядный, праздничный город был похож на фарсуэлу — театральный карнавал, который тянется сквозь всю испанскую историю. Здесь, за углом, в парке Сьюдадела, он впервые начался — карнавал музыки, света и танца. Но теперь ее воображение молчало, словно потускнели те оборки на юбках, пышные воланы на рукавах. Словно для нее все кончилось в Барселоне и ничего уже не будет.

*P. S.*

Вернувшись в Москву, Людмила Гуцко долго проверялась по поликлиникам, перебиваясь в снятых на неделю комнатах, чтобы в случае чего не нашли по адресу. Она оказалась совершенно здорова. И наступил день, когда она решила, подошла к знакомому подъезду, позвонила. В квартире никто не отозвался, она подошла к гаражу, заглянула в щелку. Похоже, и он был пуст. Уехал!

Поколебавшись, Муська направилась в главный офис, где располагался НТЦ. По дороге пыталась воскресить прежнее чувство к работе, вспоминая итальянский дизайн, картины молодых художников. У подъезда не было охраны. Подняв глаза, она увидела, что вывеска с названием фирмы тоже отсутствует. Муська огляделась: улица, дом, сквер напротив — все было на месте. Куда делась фирма? Переехала? Обанкротилась? Никто не знал. В соседнем салоне красоты служащие высказывали разные предположения, толком никто не мог сказать о причинах исчезновения офиса, назвать новый адрес или телефон. Муська кинулась обратно, к дому Горчичникова, начала звонить безостановочно. Наконец после долгих предосторожностей и расспросов на площадку вышла средних лет седая женщина. Она сообщила, что Горчичников, как говорят, перенес обширный инфаркт и сдал ей квартиру через посредников. А сам? Сам как будто живет теперь за городом.

— Вряд ли вы его найдете, — развела руками квартиросъемщица, — лично я понятия не имею, где он. Фирма его разрослась, знаю, что где-то в соседнем районе им принадлежит целый трехэтажный особняк. Не думаю, что Горчичников по-прежнему там служит, — добавила она. — Но живет он, точно, за городом. Да разве без адреса его найдешь?

Найти Виктора Михайловича было трудно, но, если очень захотеть, можно обойти всю Московскую область, каждый дом, расспрашивая и наводя справки.

Нашла ли она его?



---

---

## ИГОРЬ МЕЛАМЕД



### В ЧАС РАЗОМКНУТЫХ ОБЪЯТИЙ

#### Темный ангел

В поздний час изнеможенья  
всех бессонных, всех скорбящих,  
в ранний час, когда движенья  
крепко скованы у спящих,

в час разомкнутых объятий,  
в час, когда покой как милость  
всем, чье сердце утомилось  
от молитв и от проклятий,

в тишине необычайной,  
в млечном сумраке над нами  
появляется печальный  
ангел с темными крылами.

Над безумною столицей,  
восстающей из тумана,  
наклонясь, как над страницей  
Откровенья Иоанна, —

не блаженный вестник рая  
и не дух, что послан адом,

не храня и не карая  
смотрит он печальным взглядом,

смотрит с ангельского неба  
в нашу ночь, и в этом взгляде  
нет ни ярости, ни гнева,  
ни любви, ни благодати.

В час, когда укрыться нечем  
нам от родины небесной,  
над жилищем человечьим  
нависая, как над бездной,

как звезда перед паденьем  
наклонясь во мрак тревожный,  
с каждым новым появленьем  
холодней и безнадежней

в час забвенья, в час бессилья  
он глядит на все земное,  
дикие, глухие крылья  
простирая надо мною...

#### Памяти отца

На кладбище еврейском в светлый рай  
тяжелый ветер сор осенний гонит  
с разбитых плит — приюта птичьих стай.  
На кладбище, где больше не хоронят,

вот здесь твоя могила родилась  
вблизи чужой — забытой и умершей,  
где я к тебе приник в последний раз,  
не веривший и плакать не умевший.

Сквозь прах и ветер мне не разобрать,  
не разгадать среди родного мрака,  
какую ты вкушаешь благодать  
у Бога Авраама, Исаака...

Благословив свистящий этот серп,  
сквозь прах и ветер на твоей могиле  
я лишь шепчу: «Да будет милосерд  
к тебе Господь Иакова, Рахили...»

\* \*  
\*

Я — мальчик маленький у зимних окон.  
Соседи в валенках в снегу глубоко.

Замок дыханием отогревая,  
отец у белого стоит сарая.

И куры белые в снегу упорно  
клюют незримые мне сверху зерна.

А в доме печь полна теплом и светом.  
Заслонка звонкая играет с ветром.

Все было так всегда и будет завтра.  
Отец на кухне мне готовит завтрак.

Рукой с прожилкою голубою  
хрустит яичною скорлупою —

такой же белой на его ладони,  
как снег за окнами на голой кроне;

такой же белою, как эти хлопья  
на светлом мраморе его надгробья.

Как часто в сны мои придя из рая,  
ты вновь у нашего стоишь сарая.

Не открывается на двери белой  
замок заржавленный, заледенелый.

Напрасны бедные твои старанья,  
тепло утратило твое дыханье.

Напрасно к ангелу, который рядом,  
ты обращаешься с молящим взглядом.

Крылом сияет он белоснежным,  
с лицом беспомощным, безнадежным.

Пока в обратный путь бездонным снегом  
за белым ангелом идешь ты следом,

я в дикой темени тебя теряю,  
подвластный времени и чуждый раю.

Земную жизнь пройдя до половины,  
я плачу горестно, непоправимо

в ночном беспомыслии, во сне глубоком,  
как мальчик маленький у наших окон.



---

---

АЛЕКСАНДР ЛАВРИН



## ЕСЛИ В НЕБО УЙДЕТ ВОДА

### Темнота

Темнота расставляет посты, а ты —  
Разводящий иль часовой?  
Ибо все, что в развалинах темноты,  
По пятам идет за тобой.

Кто идет? — А идет молодой прибой,  
Шебутной соловьиный шелк,  
Перед злой грозой на террасе пустой  
Белых лилий стеклянный шелк.

Можно пить вино, ну да все равно:  
Если в небо уйдет вода,  
Обмелеет ночь, как речное дно,  
Обнажив якоря стыда.

Оглянись вокруг, подыми ладонь  
С золотым ноготком огня.  
Темнота — это тот же Троянский конь,  
Только сам ты — внутри коня.

И сквозь щель видна пустоты сума,  
Звездной азбукой высока.  
А придет зима — и сойдешь с ума,  
Как с подножки товарняка.

Опускаясь в снег, ты услышишь смех,  
Так похожий на шелест крыл.  
И, закрыв глаза, ты увидишь всех,  
Кого предал ты и забыл.



Ну разве так теряют голову,  
Когда судьба судьбой размолота,  
Когда луна к речному олову  
Свое подмешивает золото,

Когда мерцающий таинственно  
Канал в кипении бушевки  
Напоминает о единственном,  
Кто исчезает без уловки,

Когда вбегаешь поздно вечером  
В подъезд, как в бездну неизбежности,  
И даже гневу бесконечному  
Не убережешь тебя от нежности,

Когда, вернувшись из забвения,  
Долготерпению в награду  
Ты достаешь стихотворение,  
Как проездной билет в Гранаду,

Когда скитаешься без усталости  
Между прихожей и любовью,  
Неизлечимыми безумствами  
Пугая свекра со свекровью,

Когда к трезвону телефонному  
Прислушиваешься, тоскуя,  
И что-то шепчешь мужу сонному,  
Чтоб крепко спал — до поцелуя,

Когда?..

А впрочем, нету повода  
Звонок раскручивать длиннее,  
Чем тот конец ночного провода,  
Уже завязанный на шее.

\* \*  
\*

Холод снов, собачий лай,  
Снега вафельное крошево...  
Не гляди, не вспоминай  
Осторожного прохожего.

Он прошел судьбы вблизи  
Неуклюже, как по клавишам:  
До-ре-ми-фа-соль-ля-си...  
А запнешься — так поправишься.

Может быть, и ты за ним  
Не отыщешь виноватого  
В том, что вечер — словно дым  
Где-то в половине пятого.

Что душа — жемчужный пар,  
Облачко в морозной ауре,  
Что Сиреневый бульвар  
В синеве, как будто в трауре.

Но постой еще чуток,  
Зацепись зрачком за кроны ты —  
Там, где северо-восток,  
Снег лежит почти нетронутый.

Два алмазных волоска  
На снегу сверкают шелково.  
Справа — мертвая тоска.  
Слева — выезды на Щелково.



---

---

ИЛЬЯ ДАДАШИДЗЕ

\*

## И ШЕЛЕСТЯТ НЕСТРОЙНЫЕ ОЛИВЫ

\* \*  
\*

Ах, эти пейзажи в стихах хороши, а на деле  
Глазам примелькались. И, право, душа безразлична  
К сквозным перелескам, где кроны уже облетели,  
К утрюмым станицам, что тянутся к югу привычно.

Ах, это стихам подобает: рыдания и плачи  
Дождя за стеною и жалобы ветра ночного.  
Все это метафоры, все это в жизни иначе —  
Страшнее и проще, без выдумок праздного слова.

Ах, это в стихах интересно: разлад и разруха  
Осенней природы, где глина плывет под ногами,  
Где бьется в стекло, обезумев, последняя муха,  
Где поздно светает и рано темнеет над нами.

Сад .

Э. К.

Тоску, нехватку воздуха, разлад  
Души с больничным быгом, дух карболки  
Не превозмочь, когда б не этот сад,  
Где сдвоенные сыплются иголки.

Там дотемна не молкнет птичий грай  
И шелестят нестройные оливы.  
Эдем мой бедный, мой невзрачный рай,  
Но все равно блаженный и счастливый!

О, Господи! Я ко всему готов.  
Спасибо, что могу без слез и горя  
Глядеть, не тратя напоследок слов,  
На этот сад и дальше — кромку моря.

Там ветер спорит с рябью ледяной  
И гаснет день в беспамятстве привычном.  
И жизнь моя на ниточке шальной  
На сквозняке качается больничном.



## Воспоминания о Язоне

Полуночного ветра сырая струна,  
Причитанья дождя до рассвета.  
Вот он, сумрачный край Золотого руна,  
Малярийное царство Аэта.

Как пустынно вокруг. Ни огня, ни звезды —  
Только волны идут исступленно.  
И скрежещут впотьмах камыши у воды,  
Прорастая, как зубы дракона.

Обезлюдел простор. Аргонавты ушли.  
Миновали века торопливо.  
Только холодом веет от стылой земли,  
Только сыростью тянет с залива.

Только беженки-сосны шумят на ветру,  
Только щепки вонзаются в сушу,  
Чтобы сердце твое обескровить к утру  
И бессонницей выстудить душу.

Обойди нас, преданья недобрый сюжет.  
Нам свои непосильны затеи.  
Что стоять за плечами, когда уже нет  
Ни Арга, ни руна, ни Медеи.



---

---

НИНА ГОРЛАНОВА, ВЯЧЕСЛАВ БУКУР

\*

## РОМАН ВОСПИТАНИЯ

**К**огда мы взяли в свою семью Н., ей было около семи, и она нам сказала, как ее чуть не изнасиловал очередной любовник матери. Он стал ночью тянуть Н. к себе в постель, шепча: «Малюська! Иди сюда!» А мать спала, мертвецки пьяная, конечно... Во дворе про эту пьяницу говорили: «У таких надо варом заливать, чтоб не рожали...»

В нашей семье, любимая и талантливая, Н. расцвела, как волшебный цветок. Она писала маслом, лепила и вырезала из бумаги, как Матисс. А мы тогда еще были так молоды, что не писали прозу. Мы были кто? Обыкновенная советская семья, верящая в светлое будущее, да-да, верящая... Поэтому и взяли девочку с улицы, прямо из лужи. Поэтому и дали своим героям в романе обыкновенную фамилию — Ивановы.

### В начале времени

Долго ли, коротко ли все было вместе: стены, потолок, сияние под ним и два тела — большое и маленькое. Это все жило.

И это было хорошо и просто.

### Появились слова

Вдруг большое тело оказалось очень умным, знало много слов, и смысл их радостно было понимать. Большое тело говорило. Кстати, оно называлось «мать». Мать говорила: «гнида», «свет», «спать», «димедрол», и было ясно, кто — гнида, кто — свет, кто — спать.

Гнида радостно тянула свои ненасытные губы в сторону голоса, запаха и вида матери. Однажды пришел кто-то и принес что-то. Гнида так наелась, что даже забыла, как она любила сосать. Но вскоре грудь вообще перестала давать молоко, и наступила первая большая голодовка.

### Как появились день и ночь

Во время первой большой голодовки Гнида кричала и кричала, потом замолкла.

От большого крика время разделилось на день и ночь. У нее появилось много болезней. И ее переложили из одной комнаты в другую: в белой комнате была белая постель и люди в белой одежде. И звали ее вдруг Настя. Так получилось, что Гнида и Настя — это одно и то же.

### Всеобщее разделение

Мелькнула еще одна правда — что мать отделилась от нее. В это время в квартире появился дядя Вася. Он был отдельным человеком, но когда однажды ушел, то мать ушла искать его. Их не было много дней, и для Насти наступила вторая большая голодовка.

### Пакетный суп

Во время второй большой голодовки Настя вышла на кухню, и глаза ее сразу нашли то, что искали.

— Есть хочешь? — спросила соседка, про которую мать Насти говорила «старая колода». — На! Ешь суп пакетный.

Настя поняла, что пакетный суп со звездочками — самое вкусное на свете, самое красивое и самое доброе.

### Появилась Доходяга

Скоро мать принесла маленький сверток, в котором был ребенок. Насте сказали, что у нее родилась сестра, но между собой мать и дядя Вася звали ребенка одним словом: «Доходяга».

Доходягу положили на пол рядом с Настей. И Настя крепко прижимала сестру к себе, чтобы согреть ее холодную кожу и холодные кости. Потом дядя Вася опять ушел из дома, и снова за ним ушла мать. А Настя кормила Доходягу размоченным хлебом, который она придумала воровать у голубей. Один раз голубь чуть не сбил ее с ног. И тогда Настя пошла к булочной. Люди оттуда выносили хлеб с запахом, как от пакетного супа.

Это было очень красивое место. Она взяла в обе руки по буханке и услышала:

— Деньги где? Нету? Нехорошо это — безобразничать! Сколько тебе лет — четыре?.. Денежки у мамы возьми...

Настя не знала, почему нехорошо то, что хорошо для нее и Доходяги. Не стала она ходить в булочную, потому что нашла лоток, где торговали молодые практикантки. У них был чай, яйца и пакетные супы. Пришлось Насте научиться быстро брать суп, пока девушки не заметят.

### Превращение Доходяги

Вдруг из деревни появилась бабушка Доходяги — мать дяди Васи. Она сказала, что его посадили в тюрьму.

— Прощайся с сестрой — я увезу ее к себе в деревню, — сказала бабушка.

Стало понятно, что Настю никуда не увезут. Она заметалась. У нее была голубая стеклянная собачка — раньше она служила ножкой для бокала, но давно уже стала единственной игрушкой в доме.

— Возьмите! — решила пожертвовать Настя для Доходяги. Но бабушка ни за что не хотела брать.

— В дороге иголка и та тяжела.

Тогда Настя выбежала на улицу, нарвала репьев и незаметно для бабушки прилепила сестре на костюмчик несколько штук. На память.

Без Доходяги Настя чувствовала, что никому не стала нужна. Эта мысль была плохая, и от нее сделались судороги, и временами Насти уже не было. И она очнулась в больнице. Когда она вышла из больницы, за ней неотступно следовала собачка — небольшая, белая, худая и с репьями на хвосте. Настя поняла, что это Доходяга превратилась в собаку. Настя стала кормить собаку, играть с нею и во сне согревала ее своим телом.

### Как сделать людей хорошими

Настя поняла, что люди становятся хорошими, когда ссорятся. От них в это время можно что-то получить. Она поняла это на всю свою жизнь. И совсем скоро сама научилась ссорить мать с соседками. Стоило лишь сказать матери, что соседки жучков из своей муки сыплют в их шкаф, как мать шла и рассыпала их муку по кухне. И обнимала дочь. А Настя потом говорила соседке, что мать обзывает ее старой колодой, и соседка утешала Настю чем-нибудь вкусным. Сухарями. Один раз «старая колода» разрешила посмотреть мультяшки.

## Предсказание «колоды»

Однажды мать сильно оттолкнула «старую колоду» от раковины на кухне, а та пообещала подать в суд.

— Я — колода, а ты — лучше? Да посмотри на свой нос — через Волгу мост! Весь распух от пьянок-то. И как он у тебя еще не провалился...

— В глаза-то наплюю тебе сейчас, — сквозь умыванья плеск пообещала мать.

— Не героисся! Не героисся! Вот нос провалится, тогда...

Но мать уже не слушала, ушла вытирать лицо. После этого мать оделась красиво и куда-то зачем-то ушла. А Настя все сидела и представляла, что у матери провалится нос, если на переносицу что-нибудь упадет. Но мать пришла домой целая и невредимая. Они легли спать, а ночью у нее провалился нос, хотя ничего не падало. Совершенно ничего.

Мать не выходила из комнаты. Знакомые тети приносили ей еду, от которой немного перепадало и Насте. Это было не самое голодное время в ее жизни. Вдруг пришли алименты. Восемь желтых новых рублей. Их принесла почтальонка, которая потом и вызвала «скорую». Мать увезли в больницу, а Настя накупила пакетных супов и целых три свежих сладких булки. Она ела булку, приговаривая: «На, рот, на, желудок, на, моя собачка!» Собака красиво хватала хлеб на лету, как в цирке.

## Культурный герой

Во дворе был пацан шести лет. Этот Антон оказался большим занудой, потому что говорил о невкусных вещах:

— Это мяч-глобус. Евразия — самый большой материк. От восхода солнца до темноты наш глобус поворачивается. — Он крутанул мяч, а Настя поняла, что она от восхода солнца до темноты думает о еде.

Антон наконец начал самый нужный разговор:

— Пойдем со мной в булочную, а?

И он рассказал, что там висит объявление: «Отбор хлеба производится с помощью бумаги и вилки». Антон боялся ходить в булочную. А вдруг он задумается, забудет заплатить — и на него тотчас накинута большой лист бумаги и начнут тыкать в него вилкой, отбирая хлеб.

Антон еще не сказал Насте самого сокровенного. Он думал, что в мире есть кое-что, о чем никогда не говорят, но о чем надо догадываться. Он догадывался, что дело хождения в булочную нужно совсем не потому, что там хлеб (его родители могли бы купить сами). Это дело — опасное, а человеку должно пройти разные испытания. Иначе почему бы мама и папа так гордились, что он ходит в булочную, и говорили об этом такими важными голосами.

— Антон, давай мне *денюшки*. Сегодня злая булочница, но я тебе куплю хлеб...

— А вот и воровка пришла, — радостно сказала булочница. — И тебе не стыдно?

Настя разжала перед ней пальцы с красивой мелочью. Она решила — еще много раз будет ходить с Антоном за хлебом.

— Сорок восемь — половину просим, — закричала она, и собака, которая ждала ее у магазина, тоже нечто пролаяла, похожее на «сорок пять — мой закон не изменять».

Антон отдал Насте половину булочки и решил также поблагодарить беседой. Он хотел объяснить, как Земля вращается вокруг своей оси.

— Смотри! — Он повернул мяч-глобус. — Земля повернулась — и наступила ночь.

## В рабстве

Земля повернулась, и наступила ночь. Настя сидела на скамейке. Доходяга убежала с другими собаками искать, а вокруг нечего было найти.

Подошла женщина, и при свете фонаря ее металлические зубы страшно сверкали и пугали Настю. Но есть хотелось сильнее, чем пугаться.

— Пойдем, у нас согреешься. Одеядло я купила двуспальное. Тяжелое, как трактор. Проснешься и думаешь: трактор наехал на тебя.

И женщина вдруг пошла шикарней походкой, запев:

— Килька плавает в томате, ей в томате хорошо...

Настя пошла следом, пришла за женщиной в квартиру и обрадовалась: там работал во всю мощь телевизор.

— Ха-ха-ха! — услышала Настя и поняла, что в квартире еще есть кто-то, и это — дядька. И точно: скоро послышался звук дребезжащей посуды, и в коридор вышел мужик, почти старик, пронес на кухню кастрюльку дрожащими руками.

— Пап, смотри, кого я привела.

— Кого ты привела, Фая? — спросил он неожиданно сочным голосом. — Мать-то уж наводит справки.

Настя зачастила: нет, никто не ищет, разве что Доходяга — это маленькая собачка...

Настя прошла за тетей Фаяй в кухню и села поближе к помидорам. Вдруг тетя Фая схватила старика за шею и начала душить, приговаривая: «Отдай трешку, отдай!» — «Я один у тебя, Фая!» — выл и хлопал отец.

Дочь отца задушила и бросила посреди кухни. Потом она достала у задушенного трешку, мягую-перемятую, а Настя за это время проглотила один помидор не жуя. И внутри пищевода у нее стало что-то неправильно. Поэтому она не заметила, когда старик встал и начал наливать ей суп, капая на стол самые вкусные, самые жирные капли. Настя ела и поглядывала на стену: там висели, змеясь, прозрачные трубочки с огромными иголками на концах. Некоторые иголки были в крови. Настя видела в больнице эти капельницы, но почему они здесь? Изнутри пошел испуганный голос, когда он вышел наружу, получилось «спасибо». Больше всего ей хотелось убежать отсюда в уютную, домашнюю ночь.

— Спасибо в карман не положишь и в стакан не нальешь, — ответили ей сразу старик и Фая.

И с тех пор после каждого завтрака слышала она эти слова. Привыкла к ним. Привыкла и к тому, что из капельниц нужно делать разных чертей и рыбок — белых, розовых, голубовато-зеленых. Копыта она делала из резиновых трубочек. «Хвост разрежь под абажурки!» — учила тетя Фая — сама она из-за дрожащих рук уже не могла ровно что-то разрезать. Но вскоре Настя начала придумывать. В благодарность за разрешение смотреть телевизор рыбкам она приделывала роскошные хвосты, похожие на локоны принцессы из сказки, или вставляла в их блестящие прозрачные животы маленьких рыбок-деток. Потом она придумала делать рыбок с рогами, рыбок в шляпах, и все это раскупалось на рынке, а тетя Фая становилась все добрее к Насте и однажды купила ей даже вишен. Себе и отцу она неизменно покупала водки. стакан водки в ее башке превращался в туманные мечтания.

### Жизнь двора

Семейство Ивановых вышло во двор: у Сонечки — кулек с куриными косточками, похожий на раскопанное обрядовое захоронение вождя какого-то разумного куриного племени. Антон нес плошку с молоком, которое медленно покачивалось всем своим круглым белым телом.

— Тетя Паня, вы не видели? — Антон вдруг замер, почувствовав, как плоть ветра переливается по двору (а дворничиха тетя Паня вскапывала клумбу). — Не видели вы кошку Безымянку? — Антон волновался — он ждал от жизни приключений и боялся: если тетя Паня точно знает, где кошка, тогда уже будет не так интересно.

Безымянка была любимицей двора, потому что шкура ее казалась сшитой из разных кусков — рыжего, белого и черного, а ведь считается, что такие кошки-богатки приносят счастье. Но тетя Паня бездомных кошек вообще не любила и посоветовала скормить косточки собаке.

— Это собака Насти, не верящей во вращение Земли, — пояснил Антон.

— Какое вращение Земли! Да она, она же неумоя, эта Настя. — Тетя Паня называла «неумоями» все живое и неживое, если это быстро пачкается или плохо отмывается. У тети Пани не было своих детей, но было свое мнение о всех детях двора.

— Зато этим девочкам хорошо, — завистливо подумала вслух Сонечка, — у них собачка!

— Должен же быть с ними кто-то умный, — отбил атаку папа Иванов.

— Когда я была маленькая, умела считать только до двух! — сказала Сонечка, желая подчеркнуть свой ум, ведь ей уже исполнилось немало — целых пять лет.

Антон нашел семейство шампиньонов и вырыл два бело-розовых красавца гриба: огромный и поменьше, Персей и Андромеда, да, потому что папа в отпуске и читает вслух про них... Персей Богоравный... Антон хорошо приотптал ямку, чтобы там выросли другие грибы.

— Правильно, — похвалил отец. — Мы должны быть гуманной частью природы.

Мама же Иванова спросила у тети Пани: почему так странно одета Настя — юбка на резинке вокруг шеи... Как пончо... Для тепла? Кто у нее родители?

— Да Наська-то вроде кошки Безымянки. Мать у нее в тюрьге. Трезвитель по ней плачет.

— Вытрезвитель? — поправил Антон. — Она что — пьет?

— Нет, за ухо льет.

Мама Иванова сказала: если Олю, подругу Насти, помыть, она бы ничего, хотя и поленькая. А Настю уже не отмыть? — спросил Иванов-папа, в замешательстве потянув в рот сухую проволоку бороды. Просто Настю дольше мыть придется, но — тоже не все потеряно. В том-то и прелесть жизни, что всегда не все потеряно, — эти слова были начертаны улыбкой, вдруг разгулявшейся между усами и бородой. А Настя, конечно, это прочла и подошла так близко, что стали видны червяки на ее щеках — точечные кровоизлияния, сосуды так лопаются, когда печень совсем сдает. Ивановы подняли глаза кверху, где вдали, на высотном доме, бежали буквы рекламы: «...ЫСТАВКУ ФОТО-78... ДРАГОЦЕННОСТИ — ПУТЬ К СЕРДЦУ ЖЕНЩИНЫ...» Вот призывают покупать драгоценности, в то время как... В тысяча девятьсот... дренесоветском году Ивановы вплотную столкнулись с голодной слюной Насти. И стали расспрашивать про то, ходит ли Настя в школу.

«Ученье — свет, а неученье — чуть свет и на работу... Как я вот. В школу она пойдет через две недели. Если пойдет...» — думали Ивановы.

Люди шли по двору — это все были хорошие люди. Видя Настю опаленной, с потрескавшимися руками, они иногда кормили ее. Тетя Паня часто кормила. В последний раз это было под Новый год, елку ставили, и вдруг Настя схватила петушка, стеклянного, хрум — и сжевала, за леденец приняла, такой красивой игрушки — и нет...

— А дереву больно? Почему оно наткнулось на ограду? — спросил Антон, показывая место, где древесина срослась с острой пикой.

Тогда Соня шепотом спросила то, что нужно было прокричать во весь голос или даже передавать по световой рекламе: «А почему Настя голодная?» Ивановы сначала решили отвлечь ребенка: что это там дымится?

Кратер вулкана по имени Канализация, ответил Антон.

Мама Иванова наконец перешла к делу: спросила у Насти, чем же та питается.

— Соседка витамины дает. А сама она в день по пачке съедает.

— Автамины едят они, правда, — подтвердила тетя Паня, а Ивановы стали глазами говорить друг другу что-то, потом появились слова:

— Вот почему толстая — обмен веществ сорвала...

— Мама! — испугалась вдруг Сонечка. — Неужели у нас на клумбе так грязно, что черви завелись?

На лопате тети Пани энергично извивался длинный розовый червь. Но тут всех отвлек молочный пакет, который сам шел по тротуару. Это кошка Безымянка вытащить голову из пакета не может. Пока Настя снимала пакет с кошкиной головы, та послушно стояла, а Ивановы не могли понять, почему девочка возится так долго. Наконец они догадались, что руки у нее совсем ослабли. И Антон нагнулся — быстро разорвал пакет. Вот что, сказала мама Иванова, пойдёмте накормлю всех пирожками с мясом. Тетя Паня тут же с вопросом: где они мясо берут? Мише дают в издательстве. Иногда.

Тетя Паня не отставала: мол, смотрите, у Насти ведь никакой памяти — где пообедает, туда же и ужинать идет. Но Настя уже вошла в подъезд и ковыляла по лестнице — на ногах у нее золоченые босоножки, от матери остались. Как у Олимпии на картине Манэ, думал Миша, очень вульгарно на ребенке. А Настя первой вбежала в квартиру — и на кухню. Схватила банку — что там? Тушенка — пожары тушить?

В комнатах Настя увидела стеллажи книг от пола до потолка. Она поняла, что находится на границе неизвестного пространства. Обычно она сразу замечала все выгоды нового места — так пчела-разведчица видит, медоносное или нет вот это поле. Уже и в комнатах пахло пирожками, но Антон ходит и на картины показывает: Пикассо, девочка на шаре, Матисс — танец... А Сонька вообще напевает. Хотелось дать ей в лоб.

### Настя моет руки

Кухня. Стол. На нем — пирожки. За столом — Ивановы. Настя моет руки. Она моет их в раковине под струей холодной воды.

— Вчера в это время дали горячую, может, и сейчас дадут? — воркует Света.

— Ты ищешь в социализме закономерностей? Не ищи. Их нет, — отвечает Миша.

Антон же смотрит на Настю, которая моет руки в раковине. Но это ведь на самом деле она моет их в реке. И вот уже Антон видит, как пол-реки стало коричнево, а Настя все моет и моет, уже вся вода в реке стала коричневая, уже и Волга стала коричневая, а там и Каспийское море почернело.

### Девочка из лужи

— Это я лужу перегоняла. Она во-о-он где была, а я ее во двор.

— Пикассо бы умер от зависти, глядя на твои руки. Девочку на шаре он написал, а девочку из лужи — нет, — серьезно заметил Миша.

— Лужа мне нужна во дворе — на плоту кататься...

— Мама, а нам можно — на плоту? — хором спросили Антон и Соня.

Настя взяла кусок пирога, бросила его к себе в желудок и сказала: только босиком нельзя на плоту, она вот занозу уже посадила. Света вдруг вспомнила, как она сама любила на плоту — в возрасте Насти... А Настя брала в обе руки по пирожку и глотала, говоря:

— Антон, у тебя сто танков, и у меня сто. Кто победит? Ага, не знаешь, сдаешься! Значит, я победила.

Антон решил тоже загадать загадку:

Шумит он в доме и в саду  
И в дом не попадет.  
И никуда я не иду,  
Покуда он идет.

— Это пьяница, — отвечала Настя. — Он шумит, в дом его не пустят... А яблоки можно? — И она стала брать из корзины яблоки и откусывать из двух рук сразу.

— На букву «д» — дождь, а не пьяница, — спорил с нею Антон.

Но Миша в это время решил достать занозу из Настиной ноги.

— Ой, жмет что-то... опять жмет!

Пришлось уложить ее на диван, плачущую.

— Вкусные пирожки, а так много съела, что даже невкусно стало! — передразнил ее Антон.

Таково соотношение Ада и Рая, объяснил детям Миша, всякое чрезмерное удовольствие приводит к неудовольствию. Настя вдруг вскочила и убежала на улицу, там она обмакнула палочку в пролитую белую краску и нарисовала танцующего человечка — такого она видела у Ивановых. Все время думала об этих Ивановых, а у них продолжалось ворчание Антона: все яблоки эта Настя съела, никому не оставила. Не надо жадничать, стала защищать Настю Света, организм у нее этого потребовал — фруктов.

— Я не жадничаю, но она все съела.

В раскрытое окно донесся Настин голос:

— А мы сегодня ели мясо! Да, мясо, сегодня ели «мы».

— Миша, неужели ты ничего не понял? — Света повторила: — «Мы» ели.

Он пожал плечами и лег на диван. Эх, эти мужчины — нервы у них, как стальная проволока. «Мы... мы... мясо... мясо», — доносилось со двора.

— А еще гуманная часть природы. Вставай!

Все им вставай да вставай... Жена слишком существовала в его жизни, она мелькала так, что все ее мелькания сливались в одно беспрерывное мелькание. Миша вздохнул и встал: мол, мы, конечно, немного хуже тех, кто лучше нас, и немного лучше тех, кто немного похуже... Он пошел узнавать, почему мать Насти посадили, а ребенка никуда не пристроили, в то время как люди должны быть гуманной частью природы.

— И тут ему катаклизмы жизнь прописала, как клизмы, — сочинял он на ходу.

— Вот это совсем другое дело, — ответила жена.

Миша, несмотря на свою ассирийской формы бороду, был еще так молод, что не знал: нельзя в стихах словами бросаться, ибо они действуют на... воздействуют, в общем. А может быть, смутно он предчувствовал, какие катаклизмы их ожидают впереди...

### Нищие духом

Время для Миши со свистом пролетало мимо ушей — только он вернулся домой, а жена уже сводила Настю к врачу и даже купила антибиотики для уколов. Пока шприцы кипятились, Настя стояла перед танцующими человечками Матисса:

— Свет такой... такой...

— Не свет у Матисса, а цвет. Кстати, как ты меня зовешь?

— Цвета.

Света знала, что это нелегко будет исправить, — бабушка Миши, например, до сих пор зовет ее именно так: Цвета.

Настя вдруг спросила про портрет:

— Марина Светаева — это кто вам будет?

Собака зарывала в это время под детский коврик пирожок с мясом. Примесь фокстерьера давала себя знать — те любят рыть норы. Свете бы эти заботы! Врач сказал: косоглазие Насте исправлять, зубы — тоже... Какие имена у собак бывают? Нора? А что, хорошее имя, Настю уговорим... Глаза и зубы расставить по местам...



— Кто там кого лупит? — вскочил Антон. — Настя опять...

— А чего... они меня обзывают: нищая да нищая!

— Самы они нищие... духом... про таких говорят: «На этом природа отдохнула». Иди я укол сделаю! — Света уже принесла шприцы.

Света дала Насте свою шерстяную кофточку.

— Настя, обещай, что не будешь больше драться с подругами! А?

Настя пообещала, при этом почувствовав, как вбивается этой клятвой — клин, отделивший ее прошлое от ее будущего, одну часть жизни — от другой, словно что-то острое Настя вбила в один момент своей судьбы, немножко больно даже... значит, надо быть хорошей и не бить никого... а как это никого? Неужели никого? Кого-то можно за что-нибудь?..

— Как быстро Настя убежала, — удивилась Соня.

Миша мрачно заметил: если бы девочки не убежали, они бы проели его, Мишу, насквозь! И вышли бы из его организма вот тут — в левом боку. Он ткнул пальцем в левый свой бок. Ну и характерец у этой Насти! Вон во дворе — она же просто сметает зазевавшихся. Но вот вдруг замерла, повернула к подъезду и, кажется, взлетела по воздуху на четвертый этаж. Что случилось?

— Ага! А вдруг... вы передумали? — Настя прошла и села на диван с таким видом, словно она всегда здесь сидела.

Из дневника Светы: «Настя сломала руку: с чего ее кости будут крепкими, если она никогда не ела досыта! «А все чертик виноват — черный! — говорит она мне. — Выбрось его, Цвета!» Черный каслинский чертик спокойно стоит на шкафу... Но почему-то я взяла его и в самом деле выбросила в форточку».

### Йог Андрей

— Можно я у вас посижу — обтеку? — Йог Андрей принес огромную сумку минеральной воды для Насти, и пот лил с него так, словно йог Андрей весь хотел перейти из твердого состояния в жидкое.

Когда-то йог Андрей вместе с Мишей закончил университет, но сейчас он работал грузчиком в магазине медтехники. Во-первых, причиной была его убежденность, что при плохом правителе стыдно делать карьеру, а во-вторых, с ним случилась странная история. На пятом курсе Андрей женился на однокурснице-грузинке, и его Диана оказалась ревнивой до предела. Он не мог задержаться даже на пять минут — скандал: «У тебя другая. Я покончу с собой!» — и все такое прочее. Он звонил ей домой, даже если задерживался на работе на полчаса, но однажды шел через улицу, в голове перебирал какие-то рифмы, и тут, конечно, машины, одна из них сбила йога Андрея. Очнулся в больнице утром. «Звоните скорее моей жене!» — закричал он. Позвонили — никто не брал трубку. Диана уже написала записку: «Я знала всегда, что ты уйдешь от меня к Ней!» Она повесилась. Но каждую ночь являлась Андрею во сне, говоря: «Пусть моя смерть всегда будет укором».

Он стал напиваться вечерами, чтобы спать без снов, в итоге его уволили с нескольких работ подряд, и пришлось уйти в грузчики. Но однажды возле своей двери Андрей нашел котеночка, черного, как глаза его покойной жены. Йог Андрей обрадовался, что засыпать будет не так страшно — в ногах живое существо все-таки. И он взял котеночка. Это оказалась кошечка. Он назвал ее Дианой, конечно. Жизнь стала налаживаться. Во-первых, жена не снилась уже ему, а во-вторых, он завел себе женщину. Снова писались стихи. Однажды он даже взял и пропылесосил всю мебель, правда, после того, как кошечка Диана лапой за штанину притащила его к пылесосу. И вот под Новый год йог Андрей привел свою женщину домой.

— ...новое стихотворение, но я его не писал, просто два дня был словно на небе и мне — продиктовали... Ну, после я изменил кое-где запятые...

— На небе ведь запятых не знают, — отвечала женщина, снимая пальто.

И тут кошечка Диана бросилась на нее и стала рвать колготки гостьи вместе с кожей ног. Крики, кровь, женщина вскочила на диван и приказала запереть Диану в ванной комнате. Что и было проделано. Ночью Андрею приснилось, что кошечка повесилась в ванной комнате и когтями написала на стене кровью: «Я всегда знала». Но он во сне покрепче обнял свою женщину и забыл про сон. А женщина забыла про Диану и пошла утром умыться. И тут на нее снова накинулась разъяренная кошка... Так кончился роман.

### У психоневролога

— Как зовут твоего котеночка, девочка?

— У меня собака, зовут ее... Нора...

— Это она тебя исцарапала?

Шоколад ее «исцарапал», диатез, аллергия, печень ничего не выносит, аллергический гепатит называется...

— А руку где сломала?

— Тихий набредет, а быстрый налетит, — выпалила Настя, прежде чем Миша успел своим интеллигентным голосом что-то как-то...

— Скажи, как можно назвать врача, когда к нему обращаешься?

— Гинеколог, — снисходительно пожала плечиком Настя.

— Мм... А как ты узнаешь, что наступила весна?

Настя начала сочно описывать кошачьи свадьбы.

— Н-да... Что такое физиономия?

Настя зачастила: вспомнила все от рожи до хари, включая морду и моську, рыло и ряшку. Психоневролог удивленно смотрела на Мишину бороду ассирийской формы, с симметрично уложенными завитками, потом — в его очки оправы «директор», наконец спросила, кто у нас в стране самый главный.

— Ленин!

— То моська!.. То Ленин, когда на самом деле Брежнев. Откуда это «рыло», если человек звучит гордо, папаша?!

Миша серьезно вступил в спор: человек ДОЛЖЕН звучать гордо! Но! Пока не звучит. Долго ли, коротко ли он говорил, но очнулся, когда услышал грозное: «Не дам я вам разрешения в нормальную школу!» Тут он понял, что говорил не то, а если то, то не там и не тому.

Человек должен звучать гордо?

— Ну, Цвета заболевает, когда узнает!.. И что меня наумило? Я ведь знала, что Ленин умер, но если говорят все время по радио: «Ленин жив».

Настя была такой силы холерик, что, тараторя, не могла идти в ногу с Мишей, а забегала вперед и возвращалась, снова убегала, и так все время.

Миша не замечал особенностей проходящего мимо них пейзажа — у него внутренний пейзаж был достаточно богат. Но даже он замер вдруг у киоска с марками: карликовые березы, ели, сосны — в горшках.

— Смотри, Настя, вот бы такой сад иметь на балконе — все маленькое, и ты среди них, как Гулливер.

— А кто это — Гулливер?

Миша начал рассказывать про Гулливера и предложил, кстати, проехаться до магазина «Кругозор». Сели в автобус, Миша красочно описывал Насте кораблекрушение, а тут — билеты спрашивают. Контроль! Настя жестом глухонемой стала чуть ли не царапать Мише шею — он догадался ответить ей такими же вымышленными жестами. Их пропустили.

В магазине «Кругозор», который Миша звал «Кругослеп», потому что там обычно не было ничего, расширяющего кругозор, на этот развилась в три узла завязанная очередь за Гюго. «Одолжите девочку», — страстно прильнула к Мише дама из первого узла. Он не успел кивнуть, как Настя уже побежала с дамой и вскоре вернулась с двадцатью копейками — на мороженое дали. Но Миша с видом сомнения листал книги с философской полки и ничего не замечал вокруг. Тут и другая дама поманила Настю, попросив снять панамку, и — после покупки двух экземпляров книги — тоже вручила ей премию в размере двадцати копеек. Так Настя стала переходить из рук в руки. У нее уже монеты не помещались в кулаке, когда продавщица заметила, что валом повалили родители с одинаковыми девочками. Что за времена такие — заставляют ребенка торговать собой! Так закричала продавщица. Чей это ребенок? Настя взяла Мишу за руку и вывела, как слепого. В любую ситуацию она входила легко, как нож в масло.

— А почему Гюго не дают сразу по две штуки? — спросила она.

— А чтобы не спекулировали!

— Про каждого человека так и подозревают?

— Про каждого!

Да, печально жить, когда тебя все время подозревают, потому что — все дефицит... А у иностранцев тоже? Нет? Значит, там человек уже звучит гордо? Да, сказал Миша, но и нам надо работать, чтоб не было дефицита. Насте очень захотелось работать, например книги делать. Она могла бы рисунки рисовать в книги. Ей так сильно захотелось рисовать, что кулак разжался и послышался комариный звон оброненной монеты.

Из дневника Светы: «Сегодня смотрели с Настей Пикассо. «Цвета, а если я вырасту художником номер один, как Пикассо... короче, ты будешь рада?» — «Если даже номером сто один, как Ван Дейк, которого мы вчера с тобой купили...» Настя сразу вспомнила автопортрет Ван Дейка: «Это у которого рука свисает интел... (не смогла выговорить), короче, свисает... так свисает»...»

### Писатель К-ов

— Папа, папа, вставай! Скорее! ты уже поспал, папа! — просила Соня.

— Что опять случилось?

— А во сколько лет можно целоваться? Ты уже проснулся?

— Нет, я сплю, и мне снится кошмар: дети не дают спать...

И тут три звонка, хотя к Ивановым звонить дважды: это пришел писатель К-ов с женой, которая имела прозвище Дороти Донаган.

— А почему вы звоните трижды? — удивился Антон.

— А это чтобы вы пришли в опупение, — серьезно ответил К-ов.

— Вы что... забыли семнадцатую заповедь: не вводи в опупение?! — спросил не менее серьезно Миша и позвал с кухни Свету, ведь чтобы купить Насте кровать, постель и одежду, она продает сережки этой Дороти, которая уже смахивает — подумать только — слезу.

— Вообще-то золото уже не носят, а носят платину, но... у нас нет денег на нее. — Дороти уронила и вторую слезу — сколько их у нее запланировано?..

### Сонечка

— Мама, бутылки-то молочные вымыла я, можно подарить Дороти — пусть купит себе платье... платины...

Писатель К-ов срочно перевел разговор. Как давно он здесь не был, как давно, а Фауст — все же имя, дорогой Антон! Антон ранее полагал, что это — фамилия. Соня опять решила участвовать в беседе:

— А у меня были гниды, скажи, папа!

Папа сказал, что гниды, конечно, никого не унижают, но и не возвышают. Просто фауна из волос Насти перекочевала, обрить пришлось.

## Настя

— А я уже читать умею! — похвасталась Настя.

— Ну, прочти, что у меня на лице написано! — Писатель К-ов говорил голосом под Смоктуновского и смотрел взглядом под Янковского.

Настя прочла у него на лице, что она никому не нужна. Эта мысль была плохая — она не помогала выживать.

— У вас написано то же, что у Ван Дейка — на автопортрете, но только рука не свисает интел...лигентно, а в кулак сжата. — Она пригвоздила его и замолчала громче всех — огромный аденоид не давал ей дышать свободно, и Настя все время как бы пыхтела.

В это время Света ушла на кухню ставить чайник, и писатель К-ов пошел вслед за нею, напевая, и посмотрел на Свету, безнадежно далекую от совершенства, а с Настей на руках и ногах она еще более удалилась от...

На секунду он показался Свете стариком с мефистофельскими складками на лице. Его глазами Света увидела Настю:

1. Голова обрита.

2. Глаз заклеен бинтом.

3. Рука в гипсе.

4. Во рту аппарат для исправления зубов.

— Брежневская дочь коллекционирует бриллианты, а ты продаешь единственные сережки ради девочки с помойки! Кому это нужно?! Зачем?

— А зачем пишешь?

«Для денег», — пальцем по муке написал К-ов на столе кухни.

— Для денег иди натягивай струны! Не струны в душах людей, а карниз такой есть — струна. Для штор. Шабашники к нам пришли с дрелью, за десятку две штуки сделали...

## Дороти

Дороти уже сидела в Светиных сережках, а рядом с нею курила сестра Миши — Людмила Архипова и своим прекрасным низким голосом (за что ее прозвали Охрипова) хвасталась: все, что сейчас на ней, связано ее руками.

— Мне бы маму такую! — восхитилась Дороти.

Света внутренне ахнула: если Архипова и старше, то года на два всего. Ну и Дороти! Небось брякнула и сама кается сидит. И Света с междометиями кинулась гладить рукав связанной золоткой кофты. И тут Дороти повторила: ей бы маму такую!

Света ждала, что сейчас Архипова ответит как следует, даже писатель К-ов понял, что жена его переборщила, и стал срочно забинтовываться своим длиннейшим шарфом, потом перетек в плащ. Архипова же в ответ на все встала во весь свой великолепный рост и красиво прошла по комнате походкой манекенщицы. Дороти оказалась ниже ее на голову, а писатель К-ов даже ниже жены. И хотя он взял в руки трость, а в губы — трубку, росту от всех этих манипуляций не прибавилось. Но рост писателя К-ова не сам по себе был наказанием, конечно, а лишь как причина его комплекса сверхчеловека.

— А гены-то! — пылко напомнил на прощанье писатель К-ов и кивнул на Настю.

Света поморщилась. Все мы, конечно, говорим банальности, но именно как банальности, а писатель К-ов — с выстраданным видом.

— Что такое гены? — сразу же спросила Настя.

— А это когда тебе хочется беситься вместо того, чтобы сидеть спокойно, — это и есть гены, — ответила Света. — Миш, почему писатель К-ов еще ничего такого уж великого не написал, а ведет себя словно знаменитость какая-то?

— А это магическое поведение. Он думает: буду вести себя как знаменитость — и тогда напишу великое... что-то. Им. Да...

## Внучка графини-бабушки

— Дороти все еще говорит, что она внучка графини-бабки?

Дело-то в том, что Света, Лю, так звали сестру Миши, и Дороти жили когда-то в одной комнате университетского общежития. Иногда к ним приезжали родители, в том числе к Дороти — старушка-уборщица, которая, сильно окая, говорила: «Учись, учись, доченька, — белый хлеб на черный день готовь...» А когда доченька ее решила, что белый хлеб на черный день ей обеспечит писатель К-ов, то пришлось отбить его у жены. Она оделась во все черное, сказала К-ову, что из Франции ей две урны прислали. Погибли родители. Якобы в командировке. И писатель К-ов ее стал утешать, а уж она ему про бабушку-графиню... про фамильную библиотеку...

— Мать, налей еще — чай у тебя хорош, прямо на редкость! — Это Лю прервала историю про внучку-графиню.

А Настя думала: вот для чего ей пригодится история про графиню-внучку — для будущего... мало ли чего в жизни пригождается. Так, собрав на этот раз всю свою мудрость, Настя села рисовать — копировать «Автопортрет» Ван Дейка. Она думала, что рисование — это тоже белый хлеб на черный день.

## Соседка Нина

— Люблю эти две полосы на фасаде: белая и черная, как инь и ян, как добро и зло, как Пушкин и Дантес... — Йог Андрей умолк, потому что Света прямо в руки ему положила замороженный кусок мяса.

— Прокрутите мясо, мужчины! А то заведетесь сейчас про свою йогу!

Это про какую — про бабу-ёгу? Только Настя это произнесла, как в проеме кухонной двери выросла вдруг соседка и настороженно оглядела всех — не про нее ли говорят тут?

— Ниночка, как съездила отдохнула? — засуетилась Света, понимая, что соседка будет недовольна появлением на кухне собаки.

Но Нина в первую очередь была недовольна Светиной неблагодарностью:

— Я вам тут огурцы оставляла — нашли?

В это время йог Андрей повернулся к Нине своим аскетичным лицом, полным красивых костей, — она сразу же решила присоединиться к веселью, к пельменям и вынула из сумки несколько груш.

— Бутылку-то тоже доставайте! — проронил йог Андрей, в последний раз проворачивая ручку мясорубки.

— Вам бы хорошо в торговле у нас работать, предчувствовать ревизии. Ивановы говорят, что вы — гений. Это правда?

— Да, я гений, вот — рука гения, вот — нога, а вот так гений пьет из стакана. — Он уже налил себе из бутылки и выпил.

— Не выйогивайся! — строго заметил Миша. — Настя чтоб вино не... заметила...

Нина внимательно и в то же время незаметно для всех осмотрела тело Андрея со всех сторон: вены уже набухшие, конечно, а зубы? Ну-ка анекдот им... ха-ха-ха! Да, и зубки-то тоже... не в комплекте, недешево встанут коронки нынче...

— В коридоре у нас сейчас видела жучка синего цвета, — сообщила Сонечка, всегда желавшая общаться.

— Кыш-кыш! Идите в комнату — сейчас принесу вам пельмени!.. — Света замахала руками на детей и устало сообщила гостю: — Бонна опять заболела, приходится самой все...

Когда дети вышли из кухни, взрослые успели быстро чокнуться, причем Нина просунула руку между Светой и Мишей: нельзя чокаться супругам — деньги не будут водиться!

— А, чего там, все равно мы уже разорены революцией. — Миша махнул рукой и чуть не разбил бокал.

Нина вздрогнула. Ивановы живут здесь уже несколько месяцев, и она привыкла к некоторым их играм, к тому, например, что есть бонна, но она всегда «заболела», однако... за это!.. Могут и посадить ведь! Ишь революцию высмеивают... Она была старше их на десять лет и еще застала ночные аресты... Чтобы срочно перевести разговор, она побежала в свою комнату и вернулась с синим плащом для Насти — после стирки он ей мал, а девчонке в самый раз будет.

### Разговор

- Настя, ну почему у тебя такие грязные ноги? — спросила Нина.
- Так я ведь везде хожу.
- А руки почему грязные?
- Но я ведь все трогаю.
- Хорошо. А шея-то почему грязная?
- А я кувыркаюсь.
- Молодец! — закрыв глаза, сказал Насте йог Андрей.

Радости от похвалы у Насти было столько, что не обхватить руками, — она даже примерилась, но нет, не смогла обхватить, так и пошла в комнату, неся впереди себя на вытянутых руках огромный кусок радости.

- Нирвана, — выдохнул йог Андрей.
- От плаща у Насти нирвана...
- Да нет... Жизнь с Настей теперь... будет приближаться к нирване, — сказал йог Андрей.

Но нирвану пришлось пока отложить. Пельмени-то все слиплись! По двое! Как варить? Света заметалась по кухне, побежала в комнату, стала делать замечания всем детям, в квартире запахло грозой.

### Василий

— Запомни, Настя, дядя Вася сочиняет сказки и пиццы — ух какие вкусные пиццы он сочиняет! Только мама... считает, что это яд... — Антон с надеждой посмотрел на дядю Васю — если тот возразит, то начнется спор, а спор — это разве плохо, это почти приключение, только в виде слов таких интересных.

Дядя Вася оправдал надежды Антона, ринулся в это приключение:

— А надо говорить себе про пиццу: это салат! Ем пиццу, но воображаю зеленые, овощи, салат, все ведь от мозга зависит...

— А ты полон идей! — заметила Света.

— Что делать — это форма моего существования, — захохотал Василий, и Настя подумала: какое у него грудастое лицо: щеки, как груди, трясутся, не Василий, а Васишна это, тетя Фая таких толстых звала на «шна», точно — Васишна!

— А я так говорю: «Яд! Ну что ж, давай с тобой поборемся, яд! Кто кого».

Настя уже поняла, что это медоносный гость, но кто он — друг, родственник или?.. Ах, земляк! Из одного с Мишей места под Одессой, так, но, кажется, моложе много?

— Раньше-то Миша был на десять лет меня старше — теперь, надеюсь, тоже... А пицца сегодня знаете с чем — с загадкой! Маленький, удаленький, сквозь землю прошел — красну шапочку нашел. Что это?

— Гриб! — Антон, довольный, развалил свою улыбку во все стороны — рад, что приключения в виде слов начались.

— По рельсам прошел — ничего не нашел. Что это?.. Сдаётся? А это — трамвай, да, он ведь ничего не находит... — Включилась в игру Настя.

У Василия был «лягушачий глаз»: он не видел то, что лежит, ему нужно было, чтоб предмет двигался — тогда-то он уж его сразу замечал. И сейчас в поле его зрения оказалась Настя, и Василий загреб было девоч-

ку, чтоб приласкать, но Ивановы закричали: осторожно! Он осторожно, как дуновение, достал из кармана шоколадку и вручил детям, успев при этом раскрошить ее. Он не умел рассчитывать свои силы и уже много чего так вот раскрошил у Ивановых. В детской он сломал шкаф, который с тех пор звали «шкаф, который сломал Василий». Он сломал кресло, точнее — винт регулятора в нем, и с тех пор кресло выбрасывало гостей, как катапульта. Однажды соседка Нина попросила Василия помочь перенести стол, он взялся за него двумя пальчиками, и тот буквально на глазах рассыпался на шесть частей.

— Что за жизнь, — пропыхтел Василий, — стоит мне в автобусе сделать глубокий вдох, соседи кричат, что я хам и всех растолкал.

Света, которая жалеет всех, кто живет с нею в одно время и в одном месте, всегда скажет что-нибудь ласковое мужчине, например: «Где это выдают такие широкие плечи?!» И вот сейчас нашла время напомнить Василию о женитьбе:

— В старости будешь говорить внукам: «У меня была такая грудная клетка, такая грудная клетка, что в автобусе — после глубокого вдоха — хамом обзывали». А внуки: «Что такое автобус, дедушка?»

— Увы, они будут спрашивать: «Что такое *грудная клетка*?» — предсказал фантастическое будущее Миша.

### За счет других

Мише всегда скучно было решать задачи про юннатов.

— Мне казалось, что два отряда посадили грядки, а потом заспорили, кто больше старался, подрались и две грядки вытоптали...

Света мыла посуду и телепатировала Василию, чтобы он шел домой, хотя она прекрасно знала, что об этом можно лишь только мечтать. Хорошо, что Настя пока его занимает — показывает носки и варежки, запасенные на зиму. Она уж и гладит шерсть, и прижимает к себе: наконец-то у нее на время холодов есть защита! И тычет Васишне в лицо, чтобы он тоже ощутил...

Соня поставила пластинку с песенками, Антон взял в руки «Фауста».

— Мне Цвета это все связала!

— Настя, ты раз в пятый это говоришь, а я не могу из-за тебя сдвинуться с первой страницы «Фауста»...

— А тебе какое дело — кошка тапочки надела...

Свете пришлось вступить в перепалку:

— Настя, если не будешь вести себя хорошо, я тебе посуду не разрешу мыть! Как можно грубить — вы должны любить друг друга!

Она свирепо призывала детей любить друг друга.

### Оно

— Ох, Настя! Какое ты все-таки оно! — польхнула Света, узнав, что в классе та украли шоколадку. — Куски яблока валяются, как будто в семье миллионеров ты, Антон, растешь!

— Света, ты устала? — полуспросил Миша. — Воровство ведь тоже из мифа, трикстер... вспомни... должен был перемещать элементы вселенной.

— Устала. Да, я устала: белье прокипятила, в магазины сходила, полы помыла...

— Цвета, я больше не буду, прости меня! — И Настя завывала, выдвинув из нижней губы корыто, — клин клятвы опять больно уколол ее куда-то, и в то же время она подумала, что если сквозь слезы смотреть на мир, то он становится очень интересным, надо бы нарисовать, и она тут дала волю рыданиям, стали слышны внутренние всплески, словно там, внутри, целое море слез, бурлит, шумит, вот-вот выплеснется наружу и все затопит.

## А в это время...

...директор знаменитого гастронома в Москве закапывал глубоко под землю свои миллионы, а в резиновой камере Лефортовской тюрьмы (так называемой «резинке») московские кагебешники избивали диссидентов (но лишь тех, чье имя не было широко известно за рубежом, то есть за кого не могли заступиться на Западе). Если мы поставим посредине Мишу со Светой, возмечтавших отучить Настю от воровства, то контраст будет огромен в обе стороны. Директор гастронома украл миллионы таких шоколадок, за какую ругали Настю. Но и диссиденты из-за своих благих порывов страдали в миллион раз сильнее, чем Света с Мишей.

Но... обо всем *этом* они прочтут лишь десять лет спустя. А пока-то что же отвлечет их от тоски в этот холодный октябрьский вечер, что или кто развеет их отчаянную тоску? Да уж у жизни нашлось средство, хотя и не сразу. Сначала жизнь пыталась лечить простыми лекарствами — лучом солнца там, улыбкой Сонечки, сентенцией Антона о том, что люди должны раз в день сильно задумываться, что такое хорошо, что такое плохо: так вот сесть и думать, думать...

И тогда жизнь применила к Ивановым сразу два сильнодействующих и отвлекающих средства: приход Льва Израилевича с бутылочкой коньяка и появление тети Пани. Причем тетя Паня, как вепрь, ворвалась. Это слова Антона, который тут же Сонечке объяснил, что вепрь — это дикая свинья.

## Добрые дела

— Я вам, Света, давала фартук? — заполошно спросила тетя Паня, словно речь шла о жизни и смерти.

— Ну! Тетя Паня!.. Фартук всего лишь, а я уж думала, за вами гонятся убийцы, — меня бросило сначала в жар, потом в холод...

— Потом в сверхплотное состояние, наконец — в сверхпроводимое. — Это уже вышел Миша.

— Но я записываю! В тетрадь. Все добрые дела! — возмутилась в ответ тетя Паня. — Уже к вам к пятым захожу — никто не сознается ведь! Люди ведь такие: я шесть фартуков сшила, а записано пять! Если уж подарила кому, так обратно не вырвешь, во люди-то! (Тут она спохватилась, что не то сказала, и поправилась.) Не учтешь уж... в тетради... У меня по годам. На каждый год отдельная тетрадь добрых дел.

— Одно доброе дело осталось незаприходованным, значит, внутри лучше, чем снаружи. Сделали больше добра, чем записали, — пытался по-своему утешить ее Миша, представляя, как тетя Паня грозно закричит на Господа Бога: «А это доброе дело мое ты учел? А тетрадь добрых дел за последний год ты видел, нет?!»

Тетя Таня не поняла, о чем он, и затеребила свой фартук, тогда Света перевела ей Мишины слова так: «*Внутри* вы лучше еще!»

— А на вас-то фартук — записан? — спросил Антон.

— Во! Точно! Его-то я и не записала! — И тетя Паня побежала вон, чуть не сбив с ног гостя, подходящего к двери Ивановых.

## Лев Израилевич

Да, это был он. И дворничиха с ходу ему объяснила: она записывает добрые дела из такого расчета: пять сама делает, так в ответ одно — бывает — получает... добро...

— Вот бы заглянуть в эту ее книгу добрых дел! — задумчиво сказал Лев Израилевич, когда тетя Паня простилась.

— Я думаю, там чисто, ничего не записано, — ответил Миша. — Тогда почему она прибегала? А чтоб кусочек энергии от нас оторвать...



Да, не будем о ней, а будем о... Достоевском! Так сказала Света, но Лев Израилевич достал пачку индийского чая, и она послала Антона ставить чайник.

— Подождите, это слишком высоко! — закричал гость.

— О Достоевском — слишком высоко?! Ах, нет... живем высоко, у вас дыхание перехватило... понятно... значит, коньяк сначала? Ну, вы нас балуете... — Света уже достала свои любимые (свадебный подарок) «ситцевые» чашки, которые доставала лишь для дорогих гостей.

— А выгодно она делает добрые дела: то домоуправше, то паспортистке дарит фартуки, — заметил Миша задумчиво.

— Опять! Ты позволил ей присосаться, поставляешь ей энергию, не вспоминаяй... Миша! Лев Израилевич, какой у вас свитер! Откуда? Женщины вам вяжут?

— Вяжут. А что с ними делать! — И он разлил коньяк прямо в ситцевые чашки.

— Это Лев Израилевич, как всегда, после бассейна, — пояснил Антон Насте.

— Я полный... хлорки... ох, льют ее!.. — Он вытер слезящиеся глаза. — Безобразия прямо... Почему давно не был? — продолжал он. — А, писалось, наверно. — (Докторская диссертация то идет, то нет, объяснил Антон Насте.)

Миша мрачно листал подаренные тома «Индийской философии». Чем ценнее подарки Льва Израилевича, тем сильнее он подозревал гостя во влюбленности, взаимности и так далее. Вечно эти книголюбы и холерики где-то знакомятся.

— Вы девочку взяли? — второй раз спрашивал Лев Израилевич у Миши, и губы его так сильно сжимались и разжимались при этом, словно он с огромной силой бросал их друг на друга.

Неужели будет отговаривать? Взяли, а что?

— Мы там приготовили мешок всего... постельное белье, кофточки... Вы бы приехали да увезли, а?

Света улыбалась, Света обещала приехать, Света резала колбасу на закуску.

— А кто сидел рядом с Львом Израилевичем на последнем заседании у книголюбов? — спрашивала она. — В синей кофте и с крашеными волосами!

— Неужели с крашеными? — изумился Лев Израилевич.

— А вы что, не заметили?

— Мы, мужчины, ведь не воспринимаем внешне, мы больше внутренне... свечение... Свечение от женщины усиливается или уменьшается... А это кто вас так написал — Настя?! Где я уже видел такие облака, показывающие кукиши, — у Пикассо? — И тут он почувствовал, что свечение от Светы усилилось. И Миша это понял, поэтому срочно обнял жену: вот она у него какая, взяла девочку, научила рисовать...

— Вам нравятся мои доски? А некоторые говорят... ярко чересчур. — Настя принесла из детской еще несколько работ, несколько своих «яркостей».

Вот один человек видит в картине красоту, а другой — не видит. Что это значит? Значит, она внутри нас, красота-то, в душе, говорил Насте Лев Израилевич. Выпили за красоту.

— Ты какие книжки любишь читать, Настя? — спросил он.

Пока что она еще над «Пеппи» засыпает, призналась Света. Свечение усилилось, заметил Лев Израилевич.

— А можно... я сделаю набросок ваш... для портрета, дядя Лев?!

#### О законах

— Цвета, Цвета! А как нарисовать это? Ну-у кааак?..

Что же это? Оказывается, Настя видела... увидела... нет, не подглядела, а так вышло, что... в общем... нет, не так! С самого начала. Ведь в

комнату соседки Нины дверь *всегда* заперта! А тут была открыта. Ее ветром-сквозняком открыло... Окно было настезь, когда Настя вбежала, чтобы узнать, что случилось. Вбежала и замерла. Чуть не умерла, как Настя говорит. Нина за ноги изо всех сил держала йога Андрея, который хотел выброситься в окно. Хорошо, что он не успел. Оказалось: Нине тополь мешал — ветками своими лез в окно. Свет-то нужен... На самом деле, Света уж не стала Насте этого говорить, тополь служил Нине поводом для близкого знакомства с тем или иным мужчиной. Нина сама даже этот тополь под окном поливала-удобряла, чтоб рос побыстрее, давал листья пожирнее. Потом она звала знакомых якобы ветку отпилить, а сама в это время сильно держала человека за ноги! Потом, когда все отпилено, она еще и за талию мужчину как бы поддерживает — обычно. И уж тут либо сразу произойдет то, что должно было произойти, или... какое-то уже начало положено, так говорила Нина Свете. И хоть нынче Настя все испортила, забежала, заорала, бог весть что подумала. А Настя потому так закричала, что ей показалось, Нина и йог Андрей должны сейчас вместе вывалиться и погибнуть, но не в окно вывалиться, а в другое, странное и страшное место, в окно бы — так еще ладно... Она не могла сказать, что именно ей почудилось страшное, но и не могла забыть потом это происшествие, вот и собиралась написать картину. Но картина никак у нее не получалась.

— А это кинематографично! — сказала Света. — Есть, Настя, разные виды искусства, и каждое живет по своим законам! Сцена с окном — не для живописи, а для кино. Или для театра. У всех видов искусств — свои законы... — Она бы еще и еще говорила, не замечая, что Настя скучает, но тут суп с кухни подал голос своим вскипанием.

Я думала, размышляла Света, что русло жизни должно с годами расширяться, как река, и что Настя вольется естественно, как ручей в речку... Вместо этого она, как плотина, перегородила русло жизни! Врет, ворует, я ночи не сплю...

### Отец лжи

И верно: грустна наша Россия-матушка! Когда кто-то у Ивановых рассказал, что врач, ставя диагноз «мания преследования», пишет вместо «агенты КГБ» — «агенты ФБР», Миша заявил:

— Тот, кого в Евангелии назвали отцом лжи, все-таки покажется менее ловким, чем КГБ. В нашей стране отец лжи и есть КГБ...

Муж Лю, бравый подполковник Архипов, разъяснил, что пишут «ФБР» вместо «КГБ» потому, что боятся международных проверок, ведь слишком яркая статистика боязни КГБ будет, если все точно записывать! Дороти переключила всех на другую, хотя и тоже грустную, тему:

— В смятении чувств я надела левую линзу на правый глаз сегодня, и сразу так плохо мне стало, так дурно...

— Ахматова бы нынче писала не «на левую руку надела перчатку с правой руки», а «на левый глаз я надела линзу с правого глаза», — сразу подхватила разговор Лю.

Пришел йог Андрей, уже нетвердой походкой.

— Ежик-девочка, хочешь играть в двенадцать записок? — предложила синяя Настасья, дочь Дороти, тоже Настя, только в синем платье.

Света сжала в руке бокал — вдруг на «ежик-девочку» Настя обидится, ведь у нее только-только вырос на голове этот ежик, которым она так гордится.

Но Настя не обиделась, она захотела играть и даже написала такие записки: «Следующая находится там, где не ступала нога человека», «Клад находится между небом и землей». Словно ей не семь лет, а все семнадцать! Но у детей так и бывает. Это у взрослого все определено, он привязан к возрасту, а ребенок — то взрослый, то дитя, и переходы от идиотизма к разумности возможны каждую минуту.

— Тепло, холодно! Холодно, Соня, а еще сундвиник! — руководила Настя поисками клада.

— Не сундвиник, а сангвиник, — поправил ее Антон. — Ты думала что: от сунуть и двинуть это? Хм-хм...

Света думала, что Настя сейчас огреет за его хмыканье, но она вдруг запричитала, как в сказке:

— Антонушка, братушка, интровертушка, выгляни на бережок самого себя, ищи получше снаружи, а не внутри себя!

Вот пример Настиной ускользаемости от любого окончательного мнения о ней. Она еще так много раз уйдет, изменяясь по собственному разумению, рванет вперед... «Еще ее картины так обгонят время, что будут мне непонятны».

— Цвета, а кто такой... этот... отец лжи? Черт? А-а...

Света вернулась своим вниманием к застолью: там все еще правит бал новость про КГБ — ФБР. Но пора, пора жарить пирожки с мясом!..

Опираясь на свой душевный опыт, Света делает верный прогноз на будущее: да, Настя станет знаменитой как художница... Но дело в том, что есть будущее — и есть послебудущее время в жизни Насти. Ее судьба не описывается в системе времен русского языка, слов не хватает просто, приходится новые рождать на ходу...

Если Настя говорит «диктатор», значит, имеется в виду диктор радио. Вместо «ютюдник» ей слышится «ютюдник», так она и пишет в дневнике: «Мне купили ютюдник». Лето и моро — это лето и море. А что такое «каки»? Света не сразу поняла, что это союз «как и» (бабочки, каки цветы...).

### Серебряные ручки

Что это слышится в квартире Ивановых — прерывистое, нервное, переходит от крика к причитанию, от напева к скороговорке, потом слышны просто отдельные слова: моя, где, серебряная?

Это Настя потеряла ручку. Света купила три немецких ручки: они были гранено-серебряные, как марсианские стрелы. И было сказано в магазине, что каждый шарик может провести линию длиной в три тысячи метров! Настя сразу на своей ручке сделала ножом зарубку-нарезку, чтоб никто ее шариком не исписал линию в несколько сантиметров, чтоб она сама все три километра провела этой драгоценной немецкой красавицей. Но ручка ее потерялась. А Света видела, что кошка Безымянка несла в зубах что-то блестящее, проскользнула в кухонную дверь. Она гнездо вьет для будущих котят. Иди, Настя, поищи ручку на кухне. Пошла Настя на кухню раз, пошла другой, потом пошла в третий раз и закричала: «Ура! Нашла! Моя, с зарубкой!»

Тут заплакал Антон: он тоже потерял ручку. Настя ему ободряюще говорила: мол, ищи, брат, получше, всегда можно найти, если искать как люди, снаружи, а не внутри себя... Наверное, тоже кошка утащила.

— А кто-то в это время уже провел ручкой первые сто метров! — как бы в пространство сказал Миша.

Антон понял, что все над ним смеются, а ведь он ничего плохого не говорил, просто хотел опыт провести: сколько метров напишет шарик, если обвести все линейки в тетради...

Антон решил выть внутри себя: найти самый глухой угол внутри себя, забиться в него и там выть, чтоб папа не смеялся над ним.

### Умнее всех

«Как всегда, я умнее всех», — думала Настя.

Как всегда, Настя оказалась умнее всех: она нашла способ сделать ручку Антона — своей (провела ножом нарезку-зарубку и на ней, и все!). Но Света уронила пробку на кухне, полезла ее искать под шкаф, а там серебряно блестяла ручка. И она была с зарубкой. В самом деле кошка Бе-

зымянка построила себе великолепное гнездо из немецкой ручки, жеваной бумаги, двух тряпочек и трех перьев голубя. Безымянка оказалась превосходным архитектором: Нимейер или Корбюзье позавидовали б ее идее совмещения несоместимого, а уж Гауди бы прямо закричал: моя идея, плагиат, караул, грабят!

— Миша! Миша! Иди сюда! Скорее! — закричала Света.

— Скорее?! — оскорбленно переспросил он, словно этим словом его призывали на что-то страшное, словно его пригласили украсть что-нибудь.

— Цвета! — прибежала на кухню Настя. — А вы, когда были маленькие, об камень огонь зажигали, да?

А был солнечный осенний денек с зайчиками: зайчики от лужи бегали по стене кухни Ивановых. Или это Настина ручка в руках Цветы пускает их? И в такой день мир напал назло и коварно на Настю. Мир иногда бывает специально плохой, специально против. Иногда, конечно, он специально «за». Вот когда она придумала ручку Антона «зарубить» ножом и выдать за свою! Казалось, само время-пространство покровительствует ей: на кухне есть нож, нет Ивановых в эту минуту... а чем все кончилось?! Ивановы не дают ей быть хорошей — взяли, чтобы мучить ее. Ведь когда у нее была ручка, она была лучше. «Чтоб сделать меня лучше, мне нужно что-нибудь давать в руки».

— Как же так? — вопрошала Света у Насти. — Почему теперь две ручки с зарубками, а?! Ты украла у Антона ручку... сделала зарубку...

— А Антону выгодно мое воровство, да! Он будет впредь... внимательнее, бди...тельнее. Он развивается...

Миша сунул ей бумагу, карандаш: пиши расписку, что больше не будешь воровать! Эту расписку можно на стену повесить, чтоб... видели!

— Ага! Расписку! А потом что — на магнитофон будете записывать? А еще после что — на видеомангитофон запишете и по телевизору?!

Света и Миша, переглянувшись, молчали. Миша и Света, Заумец и Главздравсмысл, хором закричали:

— Ты что, планируешь надолго вперед воровать, да? — это Света, Главздравсмысл.

— А по телевидению показать выгодно — за это платят больно много! — вступила в разговор Настя.

Глупые Ивановы еще не знали тогда, что деньги за выступление по советскому телевидению получить ничуть не легче, чем рукой радиоволну поймать.

### Обмены

Свою злополучную ручку Настя невзлюбила и поменяла ее на пудреницу, которая была у Лады. Зачем пудреница, восклицала Света, когда есть в квартире большое зеркало, на стене висит, как раз на уровне роста Насти, специально так повесили!

— Как ты не понимаешь? — ехидно вставил Миша. — Если из зеркала кто-нибудь полезет, то Настя успеет захлопнуть пудреницу, и все! В пудренице есть крышка.

Настя в ужасе посмотрела на Мишу и убежала гулять с пудреницей. Там она поменяла ее на серебряную цепочку. Цепочка была с пробой!.. Света просто ошалела: такая дорогая вещь! Где же Настя ее взяла? Со Славкой поменялась? А где он взял? Во Дворце Свердлова нашел на полу? Во время киносеанса? Надо пойти и проверить... спросить. Она ушла. А Настя колебалась: говорить или нет, зачем цепочка. Ведь все пьют, кругом пьют по-черному, а Ивановы никогда почти не выпивают, так, пригубят если... она уж видит. Но! И они ведь могут запить вдруг? А тогда она цепочку дорогую продаст и на эти рубли будет еду покупать. Но если Ивановым сказать всю правду, они что? Получится, что она им только напомнила! Что можно и запить... Запросто напомнила. «Сама же и буду себя винить после». Миша скажет: кстати, можно ведь и запить.

— Цвета, что тебе сказал Славка?

— Что нашел во Дворце... Слушай, Настя, ведь если так *дело* пойдет далее, то у тебя к весне — в результате всех этих обменов — будет дача!!! Нельзя же, а? За какую-то ручку, шариковую, рублевую, — дача!

Но сама при этом она понимала, что Настю не остановить. Одна надежда пока на то, что круг знакомых ее ограничен и жизнь сама прекратит цепочку выгоды... Но пока жизнь ничего не прекращала, потому что вскоре Настя принесла импортную новую сумку. Где взяла? А поменяла на цепочку. Вот.

— Знаешь! Так уж нечестно! Отнеси ее обратно, а? Она очень дорогая вещь, сумка. Настя, ты меня поняла?

— Да, — сказала Настя, надела пальто, добавила: — Прощайте! — и хлопнула дверь.

Таких дураков, как эти Ивановы, много на свете, а сумка-то у меня одна, думала Настя, выбегая из подъезда. Весь светодень она носилась по городу, раза два подходила близко к дому Ивановых, а когда совсем стемнело...

### Настю похитили

Дорогой читатель! Ты уже покачал головой и усомнился в таланте авторов романа: мол, все те же старые романские приемы завлечения читателя — погони, похищения... тому подобное. Но что нам делать, если Настю в самом деле похитили? Кто? Зачем? В том-то и неожиданность, что не кто, а что... старая жизнь похитила ее. Зачем? А вот сейчас вы это узнаете.

Настя только уселась на скамейку отдохнуть. И вдруг поняла: здесь живет тетя Фая! А вот и сама тетя Фая — откуда ни возьмись. Подошла к Насте, потрогала воротник пальто.

— Новоселиха? Матушка ты мое! Дед мой помер. Пойдем ко мне?

Настя побежала впереди тети Фаи. Чувство пермского подъезда у нее было развито удивительно. Она не только не запиналась в полной темноте, но еще и тараторила при этом:

— Приутили и выгнали! — Настя так и произносила «приутили»: она думала, что «у» от «утенок гадкий», которого в сказке все не любили... — Всю свою сучность они показали мне... (а слово «сучность» она тоже произносила именно так, с буквой «ч», думая, что оно от слова «сука», «сучьи дети»).

— Ах, сердце занялось... — бормотала тетя Фая. — Вот они, ученые-то люди! Вышарили девку. Простые-то так не сделают, нет. Народ, он не такой...

Настя сразу заметила, что квартира изменилась: стены выпученные, в клопных веснушках. Или ей после квартиры Ивановых здесь так?.. Память вытолкнула, как Настя здесь делала чертиков и рыбок, чертиков и рыбок... Тетя Фая включила радио и укорила его:

— Ты утром говорило, что снега не будет, что ветер стихнет! А ничего не потеплело. Зачем ты меня обманываешь?

Ответило радио:

— ...честь и совесть простого народа. В эфире передача пермского радио «Писатели у микрофона». Выступает писатель К-ов...

— Добрый вечер! — немного не своим голосом начал писатель. — В литературе сегодня чувствуется забота партии о нас, молодых...

Ничего себе, подумала Настя, писатель К-ов старше Цветы на десять лет, а считает себя молодым писателем... у Ивановых он критикует эту партию, а тут благодарит... А Настю приучают правду говорить еще...

Тут тетя Фая выключила радио.

— Ой, скота, скота... Вышарили девку. — Она пощупала пальто и поморщилась: — Шерстишка-то плохонькая, никто не возьмет.

Но Настя уже не слушала ее — она сомлела, задремала. Тетя Фая бросила на пол фуфайку, Настя повалилась на нее и захрапела.

Утром тетя Фая начала упрекать радио: оно говорило, что хлеб не подорожает, а хлеб подорожал ведь! В ответ послышался голос артиста Леонова, сдобный такой, какой у него бывает в ролях пьяниц. Голос сказал:

— Курица свежая... и яйца свежие, вчера еще были в жопке... рынок — это рынок...

Настя открыла глаза и увидела, что «Леонов» сидит здесь и считает деньги. Красные его глаза окружены коричневыми кругами, как на иконах. Будто он что-то вредное для здоровья, но полезное для народа вытерпел.

— Теть Фай, где мое пальто? Пойду я...

— Шелупонь! — басом крикнул «Леонов», и она поняла, что надо молчать.

— Няргушу-то пите? — с пермским акцентом спросила тетя Фая.

— Какую няргушу? — спросила Настя.

— Брага. Мужики ее выпьют и няргают, стонут. Куда ты, Наська, без пальто пойдешь! Холод ведь... замерзнешь. Вон у тебя что с носом — по этим соплям можно в *окиян* выплыть.

Тетя Фая сказала «*окиян*» и «сопли», Настя вспомнила, как плакала Сонечка: «Ага, у меня сопля, а у принцесс не бывает соплей!»

Значит, продали на рынке Настино пальто и купили еду: курицу, яйца... ну и ну! Показали что? Свою сучность... Ивановы, конечно, дураки; дураков, конечно, много, но все они злые, а Ивановы — добрые дураки.

Настя заскулила и сразу же увидела, как над ее головой навис огромный кулак «Леонова». Она замолчала. Но из кулака вдруг на нее посыпались... семечки.

— Дай девке хлеба-то! — сказал он тете Фаяе.

— А пошел ты! — отмахнулась она.

— Пошел бы я, да очередь твоя... — «Леонов» сам протянул Насте кусок.

Два паучка опустились к Насте на плечо. Она осторожно стряхнула их, но паучки не стряхнулись, они повисли на паутинках перед носом Насти, как две добрые вести.

### Слово к читателю

Наш терпеливый друг! Тебя ждет здесь небольшая неожиданность. Дело в том, что следующие восемнадцать страниц романа пропали. Их сжевала кошка, обустроивающая гнездо для своих будущих котят. Она сжевала их очень добросовестно — в вату такую бумажную превратила. И мы не помним, о чем там шла речь, зато хорошо помним выражение кошачьей морды: «Какая обида! Они еще чем-то недовольны! Я стараюсь, строю дом, жую эту мерзкую бумагу, рожаю им первосортных котят — чего им еще-то!.. Не ценят меня!»

Конечно, мы могли бы заново придумать эти восемнадцать страниц романа, но тогда бы читатель так и не узнал, что горести случаются не только с героями, но и с самими авторами!

И оказалось, что восемнадцати страниц — увы — нет, а есть бумажная вата... мы ее всю по миллиметру перебрали и нашли несколько недожеванных кусочков, которые разгладили и расшифровали, дополнив по смыслу недостающие слова. Вот они:

1. Чего-то тетю Паню сегодня не видно — наверное, сидит, добрые дела записывает в тетрадку (Света? Антон?).

2. Заварку в тарелку с творогом! Ты чего, Света! Думаешь, вечно тебе будут всякие Львы Израилевичи чай дарить? Вечно, думаешь, возле тебя будут крутиться пожилые мужчины? (Миша).

3. Настя пишет поздравительную открытку в тюрьму матери, восклицательные знаки выводит с такой любовью красной пастой, что получа-

ются настоящие сердца, а точка выглядит каплей крови, капнувшей из... (дневник Светы?).

### Тебя ждут дома

Света проснулась, когда солнце уже пускало зайчиков по стене. Опять долго не могла встать с постели. «Где ее искать?» Она наконец поднялась, взяла в руки будильник и уронила его на пол.

— Все валится из рук-ног... Антон, мусор уже ждет тебя на кухне. — Она говорила про мусор при соседке Нине, чтоб та видела: Света еще беспокоится о чистоте, она еще не сдалась.

Но соседка так довольна была, что нет Насти, что в квартире стало одним человеком меньше, что и насчет мусора не ругалась.

— Интересно, на какое время она ушла от нас? — в который раз спросила Света у мужа.

— На долгое время, близкое к бесконечности, — ответил он.

Прошло долгое время, близкое к бесконечности, — десять дней. И Света решила идти в милицию. Дежурный милиционер встретил ее жалобами: за ночь два трупа, три ограбления, две квартирных кражи и одно нападение на таксиста. Все как на Диком Западе, сказала Света. Что?! Милиционер на секунду отключился. Потом дернулся, открыл глаза:

— У вас-то что? Повторите.

Света покусала губы и ничего не сказала. Надо через два часа прийти, когда новая смена будет, свежие головы...

Дома сильно пахло вареной рыбой. Света прошла на кухню: там в кастрюле рыба кипела так, что давно сошла с костей. Миша в это время вышел из туалета с «Наукой и жизнью» в руках, весь взволнованный изобретением лазерного скальпеля, который режет без крови.

— Значит, скальпель и лазер — хорошие? — спросила Сонечка.

— Он не хороший и не плохой. Все зависит от человека, который его использует... Мне на работу пора, вечером обсудим.

И тут раздался звонок: Настя без пальто и в порванной одежде!

— Я знаю: вы меня искали! — зачастила она. — И машину послали, да? К подъезду тети Фаи. А я читать умею. «Тебя ждут дома» — там написано. Большими буквами.

На самом деле Настя даже догадалась, что на машине было написано не для нее, но предлог-то нужен был для возвращения.

— Почему ж ты долго не возвращалась? — спросил Миша.

— А они меня не пускали без пальто. Холод... Простые люди, хорошие. Народ...

На колленке, в дырке, у Насти была нарисована грустная рожица. Чем же? Ну хорошо, все же рисовала... Но пальто! Но деньги! Ивановы только что купили Сонечке диван, потому что она выросла из своей детской кроватки. А где теперь взять на пальто Насте?

Миша совсем в другом направлении мыслил:

— Вот что! Скульптор-то Веденев хочет нашу семью лепить!.. Так надо ему сказать, чтоб фигуру Насти сделал съемной. Она то уходит, то приходит... Как она уйдет, мы снимем ее вот... а вернется, ее фигуру поставим снова... на постамент...

Но Настя! Но диван! Но сердце Светы!

Она закрыла дверь и увидела, как оглаживает Настя новый диван, сил уже не оставалось на борьбу. Она махнула рукой — спите вдвоем, девочки! И девочки — Настя и Соня, — довольные, вскоре заснули в обнимку. А потом сколько визгов было, когда в бане все увидели, что тела обеих девочек покрыты розами лишаев. Почти что сплошь... Их выгнали сразу же. А лечение нитрофунгином так длительно, а нитрофунгин такой ядовитожелтый, он никогда не отстирывается. В итоге ядовито-желтыми стали простыни, пододеяльники, наволочки, ночнушки, футболки, трусики и прочее, и прочее. Света сняла с руки обручальное кольцо, схватилась за

сердце, надела обратно. Что же продать, чтоб купить девочкам по футболке, по смене белья? Лев Израилевич предлагал тетради заочников проверять — в педу... придется взять эту работу на дом... меньше читать детям... И из завтрашней зарплаты купить пальто Насте, а то она ходит в демисезонном, а уже пошли сопли...

— Сопли — значит, живая! Если есть сопли, значит, ребенок точно живой! Успокойся, — говорил Миша. — Купим пальто, куда ж деться...

### Поступки в древней Советии

— Неужели ты, Цвета, думаешь, что пальто можно купить в магазине, когда сезон?! — воскликнула Настя и дернула плечиком.

Да, Света так думала. И в субботу они отправились туда. Но перемерили не менее двадцати пальто — все были либо длинные, либо коротки, либо широки. Рядом ходил растерянный мужчина с девочкой возраста Насти. «Русский лес, — уныло повторял он. — Русский лес».

— Неужели не найдется одно нормальное пальто? — спросил Миша у продавщицы и потребовал заведующую.

Заведующая выскочила, стала хватать пальто с вешалки по пять-шесть штук сразу и сбрасывать их на пол. Она кричала:

— Я звоню им, звоню! Сколько можно везти к нам это гунье! В гуньях-то нынче никто уж не ходит!

Покупатели разбежались. Света начала говорить Мише: люди хотят разнообразия, вот и ходят в магазины, но покупают все только на рынке.

— Да-да, — подтвердила Настя. — Мама Лады после работы обходит все магазины... И получает, это, разное... впечатление...

Миша представил себе зарубежного рабочего, который за пять минут может купить в своем магазине все. Бедняга! Он не успевает получать разнообразные впечатления... Надо на рынок, что ж... нечего делать...

В трамвае была такая давка, что Света решила ублажать мужа какими-то щербетами про Карлсона, который говорил в таких случаях: «Дело житейское».

— Конечно, он не ездил в наших трамваях, Карлсон! Поэтому так и говорил про все: «Дело житейское», — фыркнула Настя. — А если б поехал, уже никогда бы так не говорил... Он же на вертолетике летал!

— Но Малыш научился у Карлсона этому, хотя не летал на вертолетике, как Карлсон.

— У Малыша была отдельная комната, Цвета! Ничего себе бедное семейство в Швеции — шесть комнат у них.

— Цена дрына, — объявила водитель трамвая, что в переводе означало: «Центральный рынок».

Там иней покрывал прилавки и волосы продавцов. И было там все, чего не было в магазинах. Стояли рядами фарцовщики с перекинутыми через руку пальто.

— Это хочу! — закричала сразу Настя и остановилась.

«Это» стоило полторы сотни, а у Ивановых было в два раза меньше.

— Не могли, что ли, полторы взять! — зарыдала Настя.

— Будешь так себя вести, перекину через руку тебя и продам за полторы сотни, — решительно ответил ей Миша.

Настя замолчала. И тут нашли подходящее пальто. С неба шел снег, пухлый, красивый.

— Успокойся! Купили же! Наступило же это прекрасное мгновенье. — Света заставила себя улыбнуться.

— Мгновение скорее незабываемое, чем прекрасное! — Миша тоже заставил себя улыбнуться и вдруг понял, что он свободен, что может успеть зайти в «Кругозор» и купить что-нибудь почитать. Света уверяла, что поздно, но он побегал бегом.

— Купить-то все равно нечего... — начал он говорить Свете дома. — Крупницы информации растворены в море мифологии.



— Да, и мы должны выхлебывать все море, чтобы выпарить эти крупички, — ласково поддакивала ему жена.

Всюду в квартире Ивановых разбросаны стиральные резинки, и на каждой нарисован ручкой огромный глаз. Так Настя помечает свои резинки. Это называется: у нее все приготовлено для рисования! И так отовсюду смотрят глаза, словно кто-то наблюдает за жизнью семьи.

Привели Настю в художественную школу.

Директор-отставник в кителе а-ля Сталин зачесал при Мише расческой свои властные брови а-ля Брежнев.

— У нас. Так. Не рисуют. — Он отстранил рукой рисунки Насти. — Просто Матисс какой-то. Безобразный. Но... ничего. Это у нее пройдет.

Ивановы решили отдать девочку в художественную школу. Тогда они будут уверены, что *это* у нее уже не пройдет.

### Влияние

— Ваша светлость! — Соседка Нина на кухне так обращалась к Свете, когда хотела сообщить какую-нибудь гадость. — Почему Соня-то у булочной стоит? Зубы уже стучат, замерзла вся... стоит. Говорю: ну, пойдем домой! Не идет.

— Ничего не понимаю. Она час назад отпросилась погулять во дворе... побегу узнаю... Темнеет ведь.

Сонечка в самом деле стояла у булочной и слизывала языком слезы со щек. Оказывается, вчера она покупала хлеб и некий мальчик выпросил у нее сдачу — двадцать копеек. Он обещал за это сегодня ей рубль принести. И вот она ждет рубль. Поверила! Да не в том беда, что поверила, а в том, что все это от Насти, ее влияние, тоже даром рубль захотела! Выгоды ищет девочка! И это дочь, родная... Плачет, что нет рубля... А ведь это Света должна плакать, что дочь такая растет... Света привела Соню домой, причитая: Настя, потом Соня все нервы вытянут из родителей! Миша сразу запел:

— Настя — за Соню, Соня — за Антона, тянут-потянут — вытянули нервы!.. Свет, ты бы хоть соседку поблагодарила: она за Соню заперезживала... Ничего не ценишь! Еще бы десять минут, и застыла Соня в лед бы...

— Папа. — Соня взяла отца за руку. — Давай сходим вместе к булочной! Вдруг тот мальчик пришел и рубль принес! Он ведь обещал мне!

— Он обязательно придет и принесет, просто заигрался, забыл. А ты иди, постой. Даже если ты застынешь и превратишься в статую из льда, он рубль вернет.

### Тетя

— Здравствуйте! Мы — ваша тетя. — Дама в мехах с девочкой, почему-то убого одетой, стояли на пороге. — А где она?

— Вам Нину? Нет? А кого? Настю? Она гуляет, а что? — Света ничего не могла взять в толк: если это тетя Насти, то где она была, когда мать девочки посадили в тюрьму?

Гости успели как-то мгновенно пройти в комнату и сесть на диван.

— А у вас взять-то нечего совсем! — сказала тетя. — Да, трудно нынче с мебелью. Столько у вас книг — не бойтесь с ума сойти? Мандельштам... Это кто? Сколько стоит? У-у. — Меха заходили от смеха на даме. — Такие деньги вы за книги отдаете! Ну, это хорошо! Значит, деньги у вас есть! Жинсы же можно вместо этой книги... хорошие жинсы...

— Джинсы?

— Мы-то все имеем: машину, ковры, золото...

Вдруг Антон начал тоже про золото: мол, мама вот на днях нашла золотые часы, да-да, настоящие золотые, Настя просила их, но нет, мама решила сдать в милицию. И сдали в милицию!

— А это не вымысленность? Вымысленность, конечно! Кто ж сдает золото в милицию нынче!.. Ну, у нас все есть... муж таксистом.

— Вы Настю забрать пришли? — обрадованно сказал Миша. — Денег у вас много, а нас она плохо слушает...

— Вы наши деньги не считайте! — резко ответила дама. — Все они менингитные! От пьяниц дети менингитные рождаются... — Вдруг взгляд ее загнулся за угол, что б разглядеть все, что есть в другой комнате.

— У Насти столько болезней! — заговорила горячо Света. — Хронический пиелонефрит, хронический аллергический гепатит, хронический аппендицит. Аденоид огромный, надо вырезать, операцию... И гланды... тонзиллит первой степени. Ревматизм. Что еще? А у нас денег нет ее в санаторий повезти...

— Нет-нет, нам она не нужна. Мы так... познакомимся. Мало ли, но видим — взять с вас нечего. Вот! — Дама протянула Соне старую матрешку — при открывании та оказалась пустой, бездетной.

Миша уже изнемог от их присутствия, взял в руки будильник. Но гости были не из тех, кто понимает какие-то намеки. И тут вдруг девочка толкнула Соню в бок и прошепелявила:

— Лысая башка, дай пирожка!

— Лысая, потому что Настя уходила бродяжничать, потом всех наших заразила вшами, лишаями... ужас! — Света пустилась в подробности.

Тут дама решительно начала прощаться.

— Какие пузатые глаза сделались у тети, когда ей сказали: берите Настю себе! — рассказывала вечером Сонечка самой Насте.

— А, — махнула рукой Настя. — Знаю я их! Теперь и вам свою сучность они показали вот...

### Кто кого имеет

— Так джинсы хочу, Цвета! — ныла Настя, вся в поисках резинки с глазом, наконец нашла и села рисовать. — Импортные джинсики такие!

Но тут звонок на дверь, и Настя сорвалась открывать.

— Цвета! Там йог Андрей, у него борода крупинками и шишка стоит!

Света представила, как шишка на лбу стоит — как банка (она часто ставила Насте банки). В это время йог Андрей успел раздеться.

— Дядя Андрей, а правда, что джинсы в Америке дешевые? — кинулась к гостю Настя (может, при нем Ивановы ей не откажут и купят).

— Ты хочешь их иметь, Настя? Но ведь и *они будут иметь тебя!* Да-да. Ты должна их стирать, беречь и прочее. Чем больше одежды, тем больше ты должна ее обслуживать. И в конце концов... — Тут он уронил голову на стол и замолчал.

— Цвета! А когда я прославлюсь, ты у меня будешь ходить только во французских платьях, как Дороти! Да-да.

Кто бы еще сумел так вырлиться из тушикового диалога! Настя — гений общения.

Настя уже сделала набросок Андрея и фломастером рисовала крупинки бороды, йог уверял, что фломастер пахнет спиртом — нельзя ли его выпить тоже?

### Педагогика Светы

— Слушай, Миш, если бы не этот проклятый атеизм, окрестить бы Настю... и тогда мысль об аде каждый миг сдерживала бы девочку... Но ведь из партии тебя исключат, меня... с работы выгонят, из школы!..

— Бог — как педагогическое средство! Ты думаешь, что говоришь? Оскорбление просто для Бога... Если уж Бог — то верить, а не так... практически, примитивно, — ты чего, подумай!

— Да... ты прав, что-то я не то... Надо уж простое какое-нибудь средство. Вот попрошу написать ее на бумажке «вспыльчивость» и заставлю сжечь бумажку. На чем сжечь? А на газовой горелке...

И написали, и Настя сожгла и два дня была спокойной. А на третий...

## Мама?

— А можно, Цвета, я буду звать тебя мамой?

Света замерла с торжественным лицом дипломата — как при вручении верительных грамот.

— Но... ведь тебя растила же... родила твоя мама! — растерянно отвечала Света. — Надо подумать... немного.

— Чего думать-то! Цвета! Не та мать, которая родила, а та, которая воспитала, правда?

Настя отрывала лепестки от цветка в горшке и слюнями приклеивала себе на ногти: цветочный маникюр.

— Мама так делает, такого цвета! — похвасталась она.

— Какая мама? — переспросила Света.

— Ну, моя мама! Родная мамочка! — любуясь ногтями, отвечала Настя.

Света снова замерла, но с кислым выражением лица — вручение верительных грамот не состоялось. Света вышла в другую комнату, чтобы там незаметно вытереть слезы. Из-под Настиной подушки торчал уголок конверта. Это было письмо от Настиной матери. «Кровиночка моя! Настенька! Милая! Птичье молоко ты мое! Как я по тебе соскучилась! У чужих людей живешь, сиротиночка! Горек хлеб-то чужой, я знаю, милая моя рыбочка! Я о тебе каждый день думаю, звездочка! Алименты я перевела сюда, когда выйду, куклу куплю...» Кто передал ей это? Что теперь делать?

## Расисим и опять Настя

Что делать, что делать — вслух бормоча «что делать», Света прошла на кухню. Настя подсказала:

— В школу сходи. Короче, Расисим просит, чтоб ты зашла. Со мной не соскучишься!

Еще новости! А Свете до вечерней смены час остался. Надо успеть. И она побежала. Расисим — это Раиса Васильевна (в Настином произношении). Она ведет в обе смены, значит, кого-то заменяет. Света внутренне приготовилась ко всему.

— Ваша Настя вчера еще украла у девочки шоколадку. А вы в школу не шли... С первых дней, с рождения надо воспитывать!

— Дело в том, что, когда она родилась, нас не было рядом...

— Что-о?

— Ну, мы — опекуны... Разве вы не знаете?

Расисим вдруг обняла Свету и доверительно засмеялась: когда никто в классе не сознался, она сказала, что сейчас всех на рентген поведет и там просветят животы! Настя сразу созналась.

— Блестящий ход, — рабски восхитилась Света, но сразу же пожалела об этом, потому что Расисим подкачалась энергией в этот миг и с новой силой стала учить Свету:

— Вы ее завтраком не кормите, что ли? Почему она все время есть хочет? — Расисим даже перстом погрозила, как будто Света была первоклассница. — Взяли ребенка, так кормите как следует.

И вдруг Расисим начала странно отдаляться — это Света падала в обморок. К счастью, сзади был подоконник, и она даже увидела краем глаза, как по двору медленно идет кошка, похожая на Безымянку.

— Вам котенок не нужен, Раиса Васильевна? — вдруг спросила она.

— Звонок, мне пора, — ответила та.

Свете тоже было пора бежать на свою работу. И она опять побежала. Успела выдать учебники своим вечерникам, и тут к ней зашла Лю с двойняшками: там, в соседнем магазине, импортные детские футболки дают!

— Ты думаешь, в футболках счастье! У тебя сыновья не читают, а ты все об одежде!

— Ну! Я хотела тебе как лучше!.. — Лю повернулась и пошла, а ее сновья схватили коробку канцелярских кнопок со стола и, конечно, тут же ее всю рассыпали.

— Лю! — Света догнала Архипову. — Подожди! Ты меня извини... У меня с Настей так плохо... Делаешь добро, а выходит...

— Я смотрю, ты в процессе делания добра совсем озверела!

Света вернулась в свою библиотеку, собрала кнопки, потом закрылась на крючок, раскрыла первый попавшийся том Чехова и вдоволь поплакала над ним. Вместе с Антоном Павловичем она сопротивлялась тому ходу вещей, когда пропадает что-то неповторимое, творческое, что дается один раз... словно это обещано было навсегда... кем-то.

— Ты знаешь, что такое «Тени исчезают в полдень»? — спросил ее Миша на пороге. — А это Настя взяла без спросу твои тени! Но это не все. Еще что такое «Тени исчезают в полдень»? Это картина, да-да! Собирайся, идем в кино.

### В погоне за счастьем

Соседка Нина запнулась в коридоре о Настин портфель. Миша сразу спросил: почему Настя так плохо воспитывает свой портфель — никогда он не уходит сам на место, а это и есть невоспитанность, нужно сейчас же провести с ним беседу... Вместо этого Настя сделала лицо, утомленное Мишиними шутками, и отпросилась к соседке в гости — помочь стряпать пельмени. Света строго наказала, сделав губы кувшинчиком, не есть много: пельмени, Нина говорит, свиные, а в этом месяце уже трижды вызывали «скорую» к *ее величеству печени* Насти Ивановой.

— Я — Новоселова!

— Удочерим, — пообещал Миша.

Сразу же из Нининой комнаты послышалось: «Лаванда-а! Горная лаванда!» Видимо, такой шум помогал стряпать. Вдруг прибежала Настя с усталым лицом мудреца: будут ли давать ей материальную помощь в школе, если ее удочерят? Нет? Ну, тогда не нужно... вон сколько вещей купили Насте на двадцать рублей помощи! Она убежала. Снова донеслось: «Лаванда-а!» Света наскоро записала в дневнике: девочка рассуждает слишком по-взрослому, но в чем-то она и права — денег совершенно ни на что не хватает. Настя упала на диван и убила Свету своим умирающим видом.

— Да здравствует немытье пола? — спросила Света, привыкшая к тому, что в день, когда нужно мыть, Настя разыгрывает что-нибудь вроде приступа болей в желудке.

— Как мне тошно, Цвета. Я съела пельмень... счастливый. С солью. Думала: счастье будет...

С ее-то печенью съест комок соли! Света лихорадочно перебирала: вызвать рвоту, поставить клизму, дать желчегонное? Что еще-то, что?

### Фантазии Насти Новоселовой

— Я сегодня упала в обморок... из-за нее. Эту ногу, растущую из клю-чицы, она у Дали украдала... — Света раздевалась и смывала косметику.

— У Босха! Это Дали у Босха взял, я могу показать, — выскочила из детской Настя.

Тот, кто не отбрасывает тени, был изображен Настей как бы слегка растерянным, с поднятыми руками — так в кино сдаются немцы в плен русским. Черный цвет на красном фоне — это Настя взяла от икон, конечно.

— Нарисуй ему еще запах изо рта... шоколадный. Как у той шоколадки, что ты украдала... у девочки в классе! — не очень уж зло сказала Света, но еще и не очень по-доброму.

— Лопни мои глаза, чтобы я еще когда-нибудь красть буду! — начала клясться Настя, а глаза ее говорили: нужны вам мои клятвы — ешьте их. — Цвета, а у дьявола бывает запах изо рта? Серьезно?

— Не знаю, никогда не видела его...

— А я тоже не видела, но голос черта мне всегда вредит — возьми да возьми, Настя, то и это... Теперь я ему не поддамся, вот увидишь!

### Но всех милей

— Инстинктивно (так Настя звала Инну Константиновну) опять тетради потребует! — Она бешено приводила в порядок свои тетради и вдруг закричала на одну из них: — Дура! Блинов объелась! — (Света узнала интонации Расисим.)

— Спрячь ее скорее. — Миша даже прервал свое лежание на диване и пошел в магазин, чтоб только разминуться с инспектором по опеке.

Инна Константиновна посмотрела на Свету так, словно не Света была Глаздравсмысл, а она, инспектор по опеке, Инна Константиновна, а Света словно была сейчас... Заумец некий...

— Да! — обрадованно вдруг захлопнула тетрадь Насти Инна Константиновна. — У меня вашу Настю просит артистка ТЮЗа, я сказала ей, что у вас трудности материальные, а она сама вяжет, все сама! Одинокая и обеспеченная.

Новости... просят... ребенок ведь не котенок, чтобы из рук в руки! Конечно, Инне Константиновне хочется общаться с артистками ТЮЗа, а не с простыми обывателями, как Ивановы, все это понятно, но... Нет, пока Света еще поработает ради Насти, она вот тетради заочников взяла в педу. Инна Константиновна тогда взяла повышенные тона в беседе:

— Значит, ремонт пора вам сделать. Ребенок должен расти в уюте.

Света энергично заявила: ну, тогда пусть инспектор по опеке проявит заботу, где девочки алименты, почему до сих пор ни копейки, ремонт требует средств... Инна Константиновна поняла, что проще отстать от этих Ивановых, а то с них требуешь, а они тут же начинают с нее требовать, пусть уж живут как хотят. Когда Инна Константиновна ушла, Света сказала:

— Надо вот портрет Инны Константиновны... сделать. У нее же тичиановское такое лицо... В смысле «Любовь земная»... Да?

— Я заметила — тичиановское, но... внутри-то у нее и не Босх, словно Лактионов какой-то, да? Цвета? И я еще хотела сказать тебе, что мне у вас так хорошо, даже засыпать страшно: вдруг я засну и не проснусь...

— Кто тут боится не проснуться? — спросил Миша, возникнув на пороге с полными сумками еды. — И ты, Настя, права — ты можешь проснуться в другом мире. Вчера была в мире, где три солнца, а сегодня — одно... В том мире не было конфет, а здесь вот они!

— А в каком доме мы жили в том мире? — спросила Настя нервно, словно до конца не была уверена, что настоящий, окружающий ее мир прочен.

— Мы жили в доме у моря. Получили его в наследство...

Потом девочка долго писала что-то в своем дневнике. Света подумала: о маме? Надо посмотреть. Но там было написано: «Сегодня я съела три конфеты «Белочка», четыре конфеты «Весна», четыре «Каракум» и одну неизвестную шапочкой». (Это она трюфели имела в виду, догадалась Света.)

— У меня галло...цинации! — вдруг крикнула Настя. — Портфель шевелится!

Портфель Миши на глазах стал съеживаться и оседать. Но ничего странного — он просто оттаял в тепле, кожа-то искусственная. Так что можно засыпать — ночь скорая.

Ночью Настя стала умирать. Ноги посинели. Растянется, растянется — потом резко встряхнется, опять задышит. Света побежала звонить в

«Скорую». Но там сказали, что вызовов слишком много, поэтому нужно дать анапирин — и все. Света вернулась домой: Миша оборачивал девочку мокрой простыней, приговаривая, что Александра Македонского тоже так лечили — мокрыми простынями. Света вспомнила, что Александру эти простыни, смоченные в уксусном растворе, так и не помогли. Она снова побежала звонить, ухнула вниз по лестнице, почему-то формулируя, что Настя — как пульсирующая вселенная (то приходит в себя, то умирает). Возможно, она ловила из воздуха мысли Миши. А если позвонить писателю К-ову, вдруг он со своим авторитетом поможет вызвать врачей?! Трубку взяла Дороти:

— У нашей Насти температура от Шопена падала, — сонно вспомнила она аристократическую деталь. — Да-да, мы ставим ей пластинку с Шопеном, и Настя приходит в себя...

— Ну, у вас всегда есть чему поучиться, — как в бреду бормотала Света.

Света бросила трубку. В «Скорой» опять говорили про множество вызовов и вдруг спросили: «Рвоты ведь не было?» — «Была!» — радостно закричала в трубку Света — на весь микрорайон. «Так бы сразу и сказали! Ждите».

Света подошла к подъезду, а «скорая» уже стояла возле. Две женщины в белых халатах пытались разобрать цифры на табличке. Света подхватила их под руки и бегом потащила вверх. Увидев судороги Насти, врач закричала на Свету: «Где вы были раньше?» Но ведь раньше было много вызовов! Ну уж в этом они, врачи, не виноваты. А Света тоже не виновата. «Если укол не поможет...» — повисла в воздухе страшная фраза. Но укол помог. Через полчаса врачи уехали, повелев наутро вызвать врача. Света заснула раньше, чем ее голова коснулась подушки.

И проспала до обеда. Миша давно отвел детей и ушел на работу, по пути вызвав врача. Его звонок и разбудил Свету сейчас.

— У нас так разбросано... ночь не спали... такой букет болезней! — заметалась Света, убирая то одно, то другое.

— Значит, вы с мужем любите друг друга, — заметил молодой человек, начиная мять Настин живот.

— Какая тут связь: беспорядок и муж?

— Простая. Вы уверены друг в друге. И главное для вас не в порядке заключается...

Такой молодой человек — и так интересно рассуждает. Интересно еще, когда он закончил вуз? Ах, еще не закончил, без году врач... Хорошо в пермском меде психологию дают... Света любила психологию, но...

— Печень сильно увеличена, — частил без году врач, быстро выписав рецепты и направления на анализы. — От газов можно массаж живота по чайной ложке.

— А желчегонные давать по часовой стрелке?

Они были довольны друг другом.

Настя тоже была довольна: в школу не идти. Но из-под подушки торчала записка Миши: «Из Америки в Китай поросенок мчится, и желает он тебе хорошо учиться!» Скоро каникулы, улыбнулась она и задремала.

— А когда я была маленькая, — сказала Соня, — думала, что наша солонка — волшебная! Да, соль ведь там никогда не кончалась. Но однажды я увидела, как мама сыплет в солонку соль... — И она грустно покачала головой — не хотелось ведь расставаться с волшебством в этой жизни.

— Сколько несчастья нам принесла твоя погоня за счастьем! — И Света давала Насте желчегонное, ставила градусник, разводила клюквенный морс.

— А сами-то!.. А вы... Собаку увезли в ветлечебницу и там... сделали укол, чтоб он уснул навсегда. Мне Нина это по секрету сказала.

Тут Света прямо обзглаголела. Они с Настей вместе были, вместе пса потеряли, а теперь что?! Слова соседки стали реальнее реальности! Нина еще сегодня утром говорила на кухне: конечно, делать добро нужно, но уж очень Настя некрасивая девочка. Сколько денег на нее уходит, лучше бы

Ивановы купили лишний кубометр альбомов по искусству... Она поссорить хочет Свету с Настей... чтобы на кухне народу меньше было, когда девочка уйдет. Но... худой мир лучше доброй ссоры. Настя прочла все эти метания на лице Светы и разочарованно отвернулась к стене. Ссора принесла бы ей какую-нибудь да выгоду... от соседки, например! Но Ивановы все наоборот делают...

— Давай градусник. Ого, сорок один...

— А еще я Ладу ненавижу, потому что она лучше учится, умнее! — в стенку подала реплику Настя.

Вошел Миша и пытался понять ситуацию.

— Ха! — сказал он. — Значит, любишь ты глупых? Умных ненавидишь? Все понял. Внимание: я глупый!

Но Настя закрыла глаза, показывая, что она спит.

Света принесла анапирин, но Миша засомневался, согласится ли дитя принять лекарство со столь умным именем — анапирин! Вряд ли, ой ли.

Вдруг из детской донесся крик Антона. И Света схватилась за грудь. Сил у нее так мало. Что там?!

— Я нашел на карте целых три города Сантьяго: в Чили, в Панаме и в Доминиканской Республике!

Миша начал умолять Свету не бегать на каждый крик детей с помертвевшими щеками, ибо девяносто пять процентов криков ни о чем плохом не говорят. Он, Миша, бежит всегда только на второй вскрик, а они повторяются лишь пять раз из ста. Таким образом, девяносто пять процентов нервов остаются сэкономленными.

— Свари кашу на ужин, а? Ты же сэкономил девяносто пять процентов.

### Самое большое вранье

— Цвета, знаете, какое вранье самое большое? Когда детей бросают. Сначала рожают: вы хорошенькие, хорошенькие, — а потом бросают. Вот и наврали!

О чем это Настя? Почему именно сегодня? Надо в окно выглянуть. Но окно было затянуто бельмом изморози, и к тому же пора кур купить. Света вышла на улицу. Во дворе гуляла парочка: рот женщины был похож на расческу с выломанными зубами.

— Я люлю-у! — запела она и осеклась, начинала заплетать ноги, опираясь бедром на своего хилого спутника.

Они скрылись за углом, следом пробежали дети с санками, поднялась в воздух и улетела стая голубей, вспугнутая детьми. И вдруг снова выплыла из-за угла та парочка — видимо, они просто обошли вокруг дома. Но спутник-то был уже другой, а если тот же, то вдруг переставший быть покорным.

— Не кричи, как потерпевший! — укоряла она его.

— Хрен тебе на горло, — случился у него ответ.

Тут снова пробежала стайка детей с санками. Для чего же жизнь показала Свете этот кусок?

— Сбежала ведь! — качала головой дворничиха тетя Паня. — А таких надо расстреливать и не закапывать. А вы Настю кормить должны...

Значит, эта красавица с выломанными зубами — мать Настя? Так вот почему девочка с утра в таком настроении. Но тут же участковая милиционерша взяла под локоть красавицу, и та покорно оперлась на блюстительницу закона своим мощным бедром.

— Я люлю-у тебя, жизнь!.. — пьяно запела она.

— Настя, — говорил дома Антон. — Некоторые матери бросают детей, это так, но ведь некоторые женщины берут чужих!

— Да-да. И знаешь, Цвета, я вырасту, тоже возьму девочку! Чужую. Буду ее растить и любить. Как ты вот. Точно возьму! Точно девочку!

### Вокруг

Вдруг Настя почувствовала, что ей хорошо. А ей когда хорошо? Когда люди вокруг поссорились и обе стороны вербуют Настю в свой лагерь. Тогда они дают шоколад ей и много чего. А вот сейчас стало хорошо, когда пообещала Цвете взять девочку. Словно дали много шоколада, Настя ест, всем дает, а шоколад никак не кончается. Когда она клялась не врать или не воровать, словно острый клин вонзался в тело. А когда пообещала взять девочку, стало хорошо. А поскольку ей хорошего-то хотелось до бесконечности, то она мно-го-мно-го-мно-го раз говорила за эти часы: точно, девочку на воспитание потом возьмет!

### Я тебя поражу

— Настя, можно тебя на минутку? — позвала соседка Нина. — Помоги мне босоножки застегнуть!

Настя с золушкиным видом застегивала ей босоножки, а Нина сушила о воздух свой маникюр. Лицо ее сияло непривычным образом. В чем дело?

— Андрей мне сегодня... сейчас... — прошептала Нина Свете, — сказал, что сегодня меня поразит!

И она кинулась на кухню помогать — в этом и состоял ее подарок на день рождения Свете.

Тут же появился на кухне сам йог Андрей: если можно заказывать, то пусть картофель будет жаренный во фритюре, картофель фри, так сказать. И Света покорно дала Нине масло: фри-фри... А сама про себя возмутилась: если можно заказывать! Когда она и так из последних сил принимает ораву гостей... все им угождай... Как будто еда — такое важное дело у йогов!

### Поразил так поразил

Хотела скопировать икону.  
Взяла доску,  
Прогнала двухвостку,  
Которая мешала,  
Но вместо нее Цвета прибежала:  
«Я тебе помогу, помогу!»  
Ой, не могу...»  
И все наисказала...

Настя сочиняла стихи в подарок имениннице, потому что Антон и Соня уже сочинили.

Гости волновались: где же Миша? А он в «Диете», ушел за вином, пока сядем за стол, он появится. Света даже заклинательным голосом крикнула в сторону «Диетки»:

— Миша, скорее приходи, гости ждут, где ты?!

— Я здесь, — раздалось из шифоньера, и Миша выскочил к гостям (они не знали, что он с фонариком давно сидел в шкафу и читал газету). — Ну, жена, сознавайся: кто из них твой искуситель, а точнее — соблазнитель?

День рождения начался. Произносили тост за Светину основательность, которая с годами не становится тяжеловесной, как у иных (она просто перескакивает из одной основательности в другую, не успев стать тяжеловесной), йог Андрей налил себе сразу два бокала вина и тоже быстро перескочил от одного к другому, но взгляд его стал, однако, тяжеловесным после второго бокала. Нина напряженно сияла, все еще надеясь, что он ее сегодня поразит, как обещал. Близнецы Архиповы, Вадик и Вася, тоже стремились привлечь к себе внимание: они брезгливо ковыряли в Светиных салатах своими вилками, ничего не пробуя при этом.

Нина увидела, что йог Андрей налил себе полный стакан белой (водки) и, чтоб не уронить эту драгоценность, судорожно прижал его к щеке,



а потом на ощупь подвигал емкость ко рту. Выпил. И сразу упал головой на стол. Поразил так поразил, подумала она, камня внутри от обиды. Света одна поняла ее взгляд и подняла тост за дружбу.

Всех привлек шум в коридоре: это близнецы кричали у туалета.

— Ты дурак! — Вадик локтем заехал брату в бок.

— Я — это я, а кто дурак?

— Ты!

В чем дело? Лю хотела прекратить безобразную сцену. В туалете кто-то закрылся? Ну и что, можно подождать.

— Они же у вас ничего не едят! — мимоходом бросил Антон, уносящий на кухню пустые тарелки из-под салата.

— Послушайте! Кто в туалете? Сколько можно там сидеть, — начала возмущаться Лю, постукивая в дверь туалета своим кулачком. Молчание было ей ответом. Тогда она прибежала к гостям и стала всех пересчитывать: — Миша, Света, Антон на кухне, Соня, Настя, синяя Настасья, Дороти, писатель К-ов, Нина, Лев Израилевич... нет йога Андрея, вот что!

— Так меня-то ты почему не сосчитала? — возмутился муж ее Архипов. — За человека не считает, вы подумайте...

— Он повесился! — запричитала Нина. — Он же меня предупредил, а я...

— Что за глупости! Эта русская ментальность! Почему сразу — повесился? — возмутилась Дороти, но в глазах ее был страх — влипли в историю, следовательно будет вызывать и прочее.

— Он на такой тяжелой работе! — продолжала кричать Нина. — Ты вот, Миша, сам в издательстве, а для друга ничего не сделал! Вчера они разгружали на аптечном складе глюкозу, он пришел весь липкий, мешки с глюкозой потаскай-ка... На днях мешки с хлоркой — тоже не радость...

Звонок в дверь прервал ее причитания. Это телеграмма от Василия из Москвы, сказала Света, открывая. Но это была соседская бабушка с Тобишкой. К телефону Мишу, сказала она. Миша страшно удивился. Дело в том, что телефон старушки они дали знакомым со строгим наказом: беспокоить в крайних случаях! Неужели Василий звонит из Москвы, нет... он бы Свету позвал. Именинницу... Из трубки до ушей Миши донесся замогильный голос Андрея:

— Миша, здесь так жарко! Миша, слушай... Я сейчас подъеду к вам...

— Ой, не надо! — Миша натурально перекрестился.

— Но меня все равно повезут... к родителям или к вам. Штраф-то за вытрезвитель я должен... не ночевать же мне в этой жаре!

— Так ты в вытрезвителе! Ха-ха-ха...

— Тебе смешно... Не ожидал...

— Приезжай, Андрей, не обращай внимания на мой смех. Просто тут у нас в туалете кто-то закрылся, мы думали, что там... в общем... Я тебя жду!

Он через две ступеньки шагал к себе наверх, слыша, как Света оправдывается перед соседкой Ниной: ничего они йога Андрея не спаивали, он сам выпить не дурак... в общем, Света была не из тех, кто хорош в споре.

— Тихо! — закричал сразу Миша. — Йог Андрей сейчас приедет сюда.

Тут и йог Андрей с милиционером появились. Миша сунул деньги представителю закона, а Нина сразу кинулась с вопросом к Андрею: чем же он хотел тогда ее поразить? А? Чем, чем... анекдоты Хармса он с собой принес, но где они сейчас... Никто этого не знал.

— Молчать! — крикнул Андрей Нине, когда милиционер простился и ушел, выпив поднесенную рюмочку. — Скажи: «экзистенциализм»!

— Экзистенциализм, — зло сказала Нина и ушла в свою комнату.

Когда близнецы вышли из туалета после долгого сидения там, Архипов спросил Свету: что, здорово они украсили ее день рождения? А если испортили, то не очень, сказала Лю. Если украсили, то сильно, если испортили, то не очень, повторил со значением Миша.

— На своих посмотри! — ответила ему сестра.

### На пиру у феодала

На своих посмотреть — это, конечно, про Настю, которая чавкает, приканчивая под шумок уже третий апельсин, бормоча: здесь столько витаминов. Как древний ящер, она резким движением головы отрывала от сочной оранжевой мякоти кусок за куском и, давясь, глотала, глотала. С локтей у нее уже капал золотистый сок. Потом несколько сладострастных судорог передернули ее маленький организм.

— Почему кошки бегают, а вороны летают? — завела застольную беседу Сонечка, неторопливо очищая апельсин (она могла себе это позволить — не торопиться, ведь ее детство не прошло в борьбе за существование).

А Настя никак не могла оторваться от апельсинов: казалось, что их мякоть поступает ей прямо в кровь и уже растекается по жилам. Она не замечала, что при этом уже икала, как лошадь екает селезенкой при беге. Тогда Миша решил устроить конкурс чавканья.

— Чемпион-чавкун в среднем весе! Советский Союз! — объявил Миша. Надо сказать, что недолго проносила она это звание — до 1991 года, когда Союз распался...

### Чужая

Вдруг нашлись анекдоты Хармса: однажды Гоголь переоделся Пушкиным и пошел в гости в Вяземскому... А что такое анекдоты, Цвета? Анекдот, дитя мое, значит — неизданное. Народ их устно сочиняет. Настя сразу вообразила, как все идут по улице и сочиняют, словно в игре «глухие телефоны»: один несколько слов недослышал, сам придумал и другому пересказал. Получается смешно. Близнецы в это время в детской беспрерывно кричали и вдруг замолкли. Оказалось, что они велосипед сломали — педаль отвалилась и смотрела на всех своим печальным взглядом.

Света не выдержала: зачем было ездить прямо через Мишину гирю!

— Слушай, ты прибирай получше в своем доме! — пригвоздила ее к месту Лю, обнимавшая любимых сыновей.

— А ты? Следи за своими детьми, — проскандировала Света голосом Льва Толстого из анекдота.

— Архипов, пошли отсюда! — Лю схватила сыновей в охапку. — Нас здесь не любят.

Миша стал показывать близнецам, как опасно после еды беситься. Он на колготках показывал, что такое заворот кишок. Вот так кишки переплетутся: в этом месте сразу непроходимость, воспаление — и смерть. На близнецов это произвело сильное впечатление. Они запросились домой. Света думала, что Миша сумел конфликт сгладить.

Но Лю никак не понимала юмора. Она считала, что Миша выгнал их, они еще пожалеют о таком отношении, они думают, что чужие дети лучше родни, но это не так. Пусть они потом вспомнят ее золотые слова: Настя еще бросит их в беде!

### Глобус

— Мама, я так люблю географию, дай двадцать копеек на мороженое — я карту СССР куплю.

— Ты, Антон, правильно делаешь, что серьезно изучаешь свою страну. — Света опять говорила мораль голосом Льва Толстого из анекдотов, но Миша на работе, поэтому она не боялась, что ее высмеют. — Впрочем, посмотри в сумке дяди Левы, там глобус. По-моему, вам... И много чего еще.

— Антарктида похожа на утку! — Антон тянул глобус к себе. — А материки двигаются! Индостан ведь оторвался от Америки и врезался в Европу. Край у нее смялся, у бедной, в складочки. Горы Гималаи.

— Что, сильно двигаются материки? — азартно переспросила Настя, которую волновали только быстрые движения.

Антон важно пояснил: двигаются со скоростью пять сантиметров в год. Ох, Евразия ведь врежется в Австралию.

Света засмеялась: ну да, врежется со скоростью пять сантиметров в год. Обитатели Австралии в страхе разбегутся кто куда...

— Вчера видел лужу, похожую на Южную Америку, — по ней можно было заниматься, как по карте.

Стало ясно, почему Антону вчера пришлось стирать брюки, — он, видите ли, лужу видел, по луже занимался, как по карте. Значит, канализацию где-то прорвало. Света заставила его срочно гладить брюки. И Антон заспешил: хотел начать заниматься по глобусу. Глаженье его напоминало движение континентов: одни складки разглаживались, а другие — появлялись.

— Люксембург такое маленькое государство, что ему карта не нужна, — рассуждал будущий географ.

Из детской донесся грохот, и что-то покатилося по полу, как мяч.

— Глобус сломали? — с надеждой на обратное спросил Антон, поставил утюг и побежал в детскую. — Да! Ну! Голову можно вставить, а кто трещину заклеивать будет? Глобус сломали, все сломали, одну только луну не сломали! Идите в магазин за липкой лентой!

Раздался оглушительный рев. Даже Света понимала, как ему обидно: только подарили глобус, а из-за этой показушницы Насти, которая поставила его на подоконник, чтоб с улицы все видели, — глобус, глобус... и нет глобуса! Но Настя же холерик, начала было Света...

— Холеры все-е... — рыдал безутешно Антон.

— Слезки на колесках! Слезки на колесках! — Сонечка таким образом пыталась напомнить Антону, что он мальчик и должен быть сдержанным, но увидела, что слезки уже не на колесках, что они низвергаются потоком чуть ли не до пола: даже озоном запахло после слез, как после дождя.

— Когда я была маленькая, — традиционно начала она, — я с мамой шла, а сама все думала: если б я не родилась Соней, кем бы я была? Пустым местом? И как бы я жила-была пустым местом?..

### Сладкое лекарство

О, сахар, о, мед! Света вдруг кинулась к сахарнице, как кидаются к колодцу в пустыне, — стала буквально забрасывать себе внутрь ложку за ложкой (песок), потом еще проглотила ложку меда. Настя тут сразу поняла, что у Цветы случилось страшное дело, которое она называет дребезжащим словом «стресс». Стресс — это звучит как «тряс» или как «резь», похоже на шнурок, крепко натянутый — так крепко, что он уже дрожит и вот-вот лопнет. Есть у Цветы еще более страшное слово «дистресс» — оно похоже на дихлофос, а им можно отравиться. И вот во время стресса Цвета ест сладкое, в обычное время — никогда. Настя сразу представила, что сейчас Ивановы на нее закричат, она хлопнет дверью, и только во сне... потом... порой ей будут сниться обрывки ивановских разговоров:

— В картине должна быть какая-нибудь странность...

— Материки двигаются со скоростью...

— Миша ушел внутрь себя...

СТОП! СТОП! СТОП! надо спасти этих Ивановых! Они же без нее, Насти, пропадут... не умеют жить-то! Это им она будет сниться иногда, если вот сейчас, в эту же секунду... что? А вот что! У соседки-то Нины Настя видела на полке липкую прозрачную ленту — целый моток... надо кусочек взять. И склеить этот глобус, тогда Цвета будет довольна, Ивановы — спасены, Настя останется с ними навсегда, а с нею уж они не пропадут, конечно! И когда глобус был склеен, Миша спросил:

— Неужели совесть детей заговорила?

Трещина по земному шару шла страшная, смертьнесущая. Вокруг треснувшего шара-глобуса дети с ножницами и липкой лентой. Сейчас все будет сделано хорошо. И совесть детей чувствуется.

— Назовем ее «Совесть детей», — предложила Настя.

— Лучше «Совесть людей», — отредактировал Миша.

Света впервые видела в Насте такого ребенка, потенции которого так высоки, что скорее можно — нужно — некое мистическое слово типа *чудо*, а не научный термин «потенция» вспомнить. А раз *чудо*, то рядом хочется слово *Бог* услышать. Буквально можно поверить в Бога, глядя на работы этой щуплой девочки. Еще три часа назад она готова была превратить выходной день в кошмар скандалов, а сейчас почти готова картина-предупреждение. У Светы сердце не выдерживает такого перепада, как железо порой не выдерживает перепада температур. Внутри у Светы что-то тоже как бы треснуло и разорвалось, а где взять такую липкую ленту, которая это склеит? Нет на свете такой липкой ленты... А что есть? И Света еще раз зачерпнула ложку меда. И тут вошел Андрей.

— Буйство красок, — равнодушно начал Андрей анализировать новую вещь Насти. — Изумрудный лес, так, рыжие белки, так, желток солнца... От столкновения яркости красок и мятущихся белок картина получилась напряженная... Чья идея?

— Ну, у Босха «Несение креста» так же — краски яркие, радостные, а смысл-то! — Настя в отличие от Андрея захлебывалась эмоциями — даже слюной брызнула пару раз туда-сюда. — Цвета всегда мне на Босха намекала!

Андрей спросил: талант Насти — электричество, так сказать, а где его исток — турбина, которая вращает воду, и прочее? Где причина всего? Как обычная девочка-первоклассница могла придумать такой сюжет, например?

— А! Цвета сказала: бедные белки — глобус-то треснул по тому месту, где леса... — Настя вдруг сама поняла, что турбина ее таланта-электричества пока в Свете.

Как хорошо, что Андрей в этот день к Ивановым явился: Света пришла в себя, а Миша ушел в себя — таким образом, выходной продолжался мирно.

### Последняя новость

Света и Нина продолжили свои кухонные разговоры («Завучу дали звание заслуженного учителя»). — «Понятно, он ставит часы зав. районо, а тот получает денежки...», когда из комнаты донеслись громкие голоса: «Он его убил!» — «Убил его лопатой?» — «Да». В чем дело? Неужели сегодняшняя суббота так и не кончится благобно?! Света побежала узнать: кто кого убил, где? когда? Оказалось, что это Геракл убил Авгия лопатой! Последняя новость, слышали? Антон с удивлением посмотрел на мать: для него эта новость в самом деле была последняя, отец ему только что сообщил. Неужели мама этого не понимает? Мама понимающе кивнула и пошла... в стену. Уткнувшись, она поняла, что все еще нормально, жить можно.

### О плодоносной пустоте

Вечером пришел после бассейна Лев Израилевич. К нему из детской, живописно закутанная в простыню, выбрела Настя со своей новой картиной. Это был просто набросок карандашом на доске: под напором ветра из висящего на улице белья (выстиранное) образовались странные люди — пустые.

— Есть теория о плодоносной пустоте — у буддистов, — начал гость и почувствовал, что от Светы усилилось свечение («Как она любит Настю, если рада похвалам, что ж, надо это учесть, так, через Настю, и мне перепадет... одно-другое свечение»).

Плодоносная пустота, конечно, сказала Света, что-то в этом есть, взять хотя бы этого... великого почтальона, с толстой сумкой на ремне, Гауди, который не кончал архитектурного, впрочем, может, я его путаю с великим художником Руссо, который тоже работал как примитивист... так Гауди хотя бы лепил свои великолепные фантазии на столе, буквально *словами* объясняя, как строить, а Вагнер, тот просто насвистывал музыку (мелодию), лишь в конце выучил нотную грамоту, а так все его помощник, интерпретатор, наигрывал: «Так? Нет? А как?»

Про Вагнера, впрочем, добавил уже Миша, который хотел и далее рассказывать — про дружбу Вагнера с Бакуниным, но Света тут его остановила. Она вчера вот играла с детьми в архитекторов («Свечение усилилось»), Антон сразу предложил баню, облепленную снаружи (по стенам) мыльными пузырями из стекла, переливающимися...

«Свечение усилилось», — взглядом отблагодарил Свету за сопереживание Лев Израилевич, который прекрасно понимал, что Миша ревнует и что для этого у него есть все основания.

Настя выбежала попрощаться с гостем и так кстати загладила неловкость своей болтовней: она на днях болела гриппом и *каждую* ступеньку лестницы полила слезами, буквально каждую!

— Что вы, Миша! Я сам! — Лев Израилевич отбивался от помощи при одевании пальто.

— Да, спасибо, Миша, но я сам... ну!

— Ничего, — говорил Миша, насильно втискивая Льва Израилевича в его пальто, — когда я буду в вашем возрасте, мне тоже станут пальто надевать!

Все смешалось в доме Обломовых: и лицо, и одежда, и мысли, как говорил Лев Израилевич, Света прямо обезглаголела. Что это с Мишей вдруг? И почему Лев Израилевич не ответит ему, хаму, хотя бы так: «Да-да, я все понимаю... надеюсь, я не окончательно дряхл, иначе вы, как интеллигентный человек, мне бы об этом ни гугу!»

Во время Настинного бессмысленного тараторенья Света наконец пришла в себя: ты чего, зашипела она на мужа, как с гостями-то нужно! Миша в ответ показал ей кулак.

— Имейте в виду! — на прощанье попросил Лев Израилевич. — Когда вы ссоритесь, я в это время в параллельном пространстве все чувствую и страдаю.

— Ну? А мы вам будем кричать в параллельное пространство: не страдайте уж очень-то! Там! — Миша охотно переклочился с ревности на всякие параллельные пространства, потому что это по крайней мере интересно, а ревность — это озлобление, скука и не для Миши, нет.

— А ты, Света, в старости замучаешь детей ежесекундной нравственностью, да-да! — говорил Миша.

Света молча оделась и ушла в магазин, а когда вернулась, муж в финской своей дубленке, вывернутой наизнанку, листал «Морфологию сказки»; но каждая сказка начинается с недостачи — яблоки в саду кто-то ворует, пшеницу потоптали... Волк! Пусть волк украдет посох, так-так... а без посоха и елку не зажечь, правда?

— Бороду сбрей, а то вспотеешь: на тебе еще будет борода ватная, — мирно отвечала Света...

### Дед Морозище

— Здорово, Дед Морозище! — зычно приветствовал Мишу глава пермской писательской организации Омлетов. — Я внуков на елку привел!

Миша хотел ответить: «Здорово, графоманище!», но он внутри чувствовал себя уже почти Дедом Морозом, поэтому сделал Омлетову щедрый подарок в виде того, что не сказал ему гадость.

— Разбинтуйте мне конфетку! — кинулась к Мише — Деду Морозу маленькая снежинка с конфетой в руке.

Мише было совершенно некогда разбинтовывать конфету — ему посох спрятать надо, поэтому он попросил Антона помочь крошке снежинке, но та с рыданиями прямо заставила лично Деда Мороза «разбинтовать» ей конфету.

— Негодство! — прошептала Настя и толкнула снежинку локтем.

— Это твой папа? — спросила снежинка. — Тебе повезло! Но я знаю, что если поехать на юг, то можно привезти папу. — И вдруг она топнула ногой и закричала на мать: — Вычеркните в паспортах ваш развод, не могу больше!

Мама снежинки, телевизионщица Сухова, заткнула рот дочери шоколадной конфетой.

Настя покосилась на Свету: может, та тоже даст ей конфетку, но та разглядывала с Сонечкой игрушки на елке.

Подошел Омлетов и запанибратски спросил у Светы:

— У тебя очень красивые дети — где ты таких берешь?

— Если бы нового года не было, то и людей бы на земле не было! — доверительно сообщила Омлетову девочка-снежинка.

— Почему? — не понял Омлетов: у него было лицо упитанного доцента.

Но снежинка вдруг задала совершенно из другой оперы вопрос: можно ли навсегда сохранить воздушный шарик? Миша — Дед Мороз вышел без посоха и тоже сильно заинтересовался вопросом о шарике. Ему вдруг захотелось быть настоящим повелителем ветров и снегов. Он спел басом партию вьюги: ии-ууу-о-ы-и-и-и...

— Де-е-ти! Во-о-олк украл мой волшебный посох (тут снова голос пурги). А без посоха нам не видать и подарков! Одна надежда на вас! Тут где-то должна быть записка от доброй волшебницы...

Антон подал ему нужную записку: «Твой посох в пяти шагах от елки». Дед Мороз отмерил пять шагов — там его ждала в щели пола еще одна записка: «Нужно прыгнуть влево». Миша с гиканьем прыгнул — посох в его руках. Он начал стучать им об пол, но елочка не зажигалась.

— А может, нужно еще головой об стену постучать? — спросил Миша и трижды стукнулся головой об стену: елочка зажглась. — Вы что, заскучали, дети?

— Они не заскучали, они забалдели, а внешне это выглядит одинаково, — ответила ему Света, провожая взглядом женщин, которые побежали от детей в туалет: от напряженного смеха с ними случилось то, о чем в романах не пишут применительно к женщинам (исключение — Рабле).

Миша играл Деда Мороза, как чай пил: он с удовольствием гикал, прыгал, выл вьюгой, проклинал невидимого злого волка, который опять спрятал подарки. В записке доброй волшебницы было указано: «Парами, держась за руки, проползти четыре метра». Дети подозрительно быстро построились и, потяя, поползли к подаркам. И вдруг из пары выскочила все та же девочка-снежинка и спросила у Деда Мороза:

— А есть где-нибудь дома — такие, как с брошенными детьми, но только там брошенные папы, чтобы выбрать получше и непьющего?

Миша вместо ответа сунул ей в руки подарок и поцеловал ручку, как у взростлой дамы. И пошел переодеваться. Только Миша с Антоном вышли из директорского кабинета, как девочка-снежинка подлетела и крикнула:

— А вы были Дедушкой Морозом! Я вас узнала! Я вас знаете как узнала — по тому месту, из которого у мужчин борода растет!

Чего она привязалась к этому месту, из которого борода растет? Антон стал оттирать девочку-снежинку от своего отца, а отец в это время вспоминал, когда же он обнажал свой подбородок — разве что в то время, когда он головой бился об стенку, борода несколько сползла...

— Бывший! Бывший Дедушка! Вы придете к нам домой на елку Дедом Морозом? Или быть дядей?

Миша якобы в рассеянности рванул вперед, и вся семья бегом за ним. Настя вцепилась в рукав Миши, Антон язвил: «Нашла родственни-

ков, дядю еще придумала...» Миша вдруг заявил, что вообще-то восемьдесят процентов населения России — родня Ярославу Мудрому, значит... в самом деле почти все родственники... Света считала, что не восемьдесят процентов, а лишь семьдесят семь... Восемьдесят, утверждал опять Миша. Так в уютных спорах о родстве с Ярославом Мудрым и добрались до дома.

А дома Света спросила Мишу: выпить надо? Нет-нет, не хочется, отвечал он. Дети угостили родителей сладостями из своих подарков, и Света еще раз спросила у мужа, может, все-таки он выпьет? Да ведь он уже сказал, что не хочет, чего это Света?..

— А ты говори, говори! — вот чего это она. — Мне так приятно это слышать.

### О тонкости художников

Настя с утра первым делом закричала голосом своей пьяной матери:

— Дура! Безьямка! Спать не даешь! Как дам под зад... кошатина.

— Настя! — укорила ее Света. — Разве так можно? Художник, тонкий человек, только представь, что Ван Гог бы с утра на кого-нибудь грубо закричал!..

— О да, Ван Гог такой тонкий, что даже пытался зарезать Гогена!

Света была умна, но она забыла, что умна. Вот и сейчас, выпустив кошку Безьямку на улицу, она пошла на кухню и там угрюмо уставилась на градусник за окном, предчувствуя, что день пройдет неважно. А Миша, увидев Свету в таком состоянии, пошел в комнату и «наехал» на Настю: чего это она ест сладости из своего кулька лежа в постели!

— Древние римляне тоже ели лежа, ты сам говорил!

— Настя! И где ты видишь сейчас древних римлян? Они все вымерли! — не растерялся Миша, после чего опять пошел на кухню и озадачил жену заявлением: — А что касается безжалостного Ленина, то он в Россию не с неба упал такой — ты Печорина проанализируй!..

Настя стянула все лицо вниз, превратив его в какой-то рваный ботинок, который просит каши. Лицо Насте еще молчало — в раздумье и ожидании взрослых, без которых рыдать было бессмысленно. И тут в дверь позвонили. Сначала появилась кошка Безьямка с выражением обиды на морде: эх вы, люди, грубые какие, а еще называете себя высшими существами, а как со мною, такую тонкой натурой, обращаетесь! Чуть что — на улицу выставили. Следом за кошкой вошли писатель К-ов и Дороти, которая была вся в конфетти. Прямо с елки, что ли? Нет, просто... в конфетти — нет, это она под компостером сидела, насыпались бумажки, значит. Что же такое случилось у них, что не заметили, как на Дороти сыплются какие-то ничтожные бумажки? Писатель К-ов мял свое пухлое лицо о косяк двери:

— Взялся писать о доярке! Хотя мне это совершенно до лампочки, но начальству нужно... Вдохновение приходит и уходит, а кушать хочется всегда. У меня семья.

Дороти взмахнула руками, чтобы было видно ее новое платье модели «летучая мышь», и все объяснила: доярка не захотела, чтобы про нее писали! Да-да, героиня очерка не согласилась. Закочевряжилась почему-то. И нельзя понять: если просто из скромности, то можно через обком нажать еще... Обком ведь должен создавать свой иконостас. Ван Гога вот не заставляли рисовать колхозников.

— Быть или иметь — вот в чем вопрос! — сказал Миша. — Ван Гог написал же «Едоков картофеля», но сам... — Тут Миша перехватил взгляд Светы, который можно было перевести так: «Как я устала от ссор!» Миша тотчас вспомнил, что для Дороти общение — это обмен общими местами, и продолжил так: — А кстати, почему вы не были на елке в Домжуре? Я там всех заморозил... ах, синяя Настасья там могла бы повеселиться... простужена? Понятно.

— А куда уходит старый год? — спросила Сонечка, всегда желавшая общаться с гостями.

— В дом престарелых... Где старые года все вместе вечность коротают, — с ходу сочинил Миша, для которого общение — всегда сочинение сообщения.

— Ну хорошо, — созрела для общения и Настя, — заставят меня рисовать... дояру... доярку, да... так я с помощью фона уже смогу свое сделать! Штора там в золотых цветах, как на картинах Возрождения, это одно, а если фоном сделать картину «Едоки картофеля», то... ваще оняне!

— Что в переводе означает «вообще нормально», — отредактировал Миша.

Настя подпрыгнула так, что сразу снизу соседки застучали по батарее. Это был тоже способ общения для тети Пани.

### На горку

Настя обещала в каникулы сводить детей на горку, и вот они наконец выбрали день, с утра начали собираться. Причем Антон, как всегда, наполовину одевшись, замер в глубоком раздумье над раскрытой «Жалобной книгой» Чехова. «Ты — картина, я — портрет. Ты — скотина, а я нет». Разве картина и портрет не относятся друг к другу как род к виду, а, Настя?.. Папа говорил, что машина и трактор вот относятся... Антон очень любил надеть одну штанину и что-нибудь осмыслить. Но Настя торопила, и скоро они вывалились из квартиры. У Светы болела спина. Хоть бы дети подольше покатались, пока Света намажет змеиным ядом и полежит. Их не было три часа. Наконец Настин голосок послышался за окном. Почему голосок такой скандальный? Что случилось? И Миша выглянул в форточку: никого, лишь мирно замерзает пьяный на скамейке.

— ...я не понимаю, зачем это Троцкого проклинали за его теорию перманентной революции, а Кубу хвалят, но Кастро именно по теории Троцкого.

Света остановила красноречие мужа и послала его растолкать пьяницу. Во-первых, вдруг он не пьяный, а больной. Во-вторых, пусть дети меньше видят такое. Миша решил по пути и на горку сбегать. Он собирался, в то время как Антон то и дело прерывал одевание размышлениями вслух. Наконец он ушел. И вернулся без детей. На горке их нет. Света тут же забыла про свою спину. Ох эта Настя! Куда они ушли? Позвонить нужно всем-всем...

А уже пятый час вечера. Света в своем сверхпроводимом состоянии рисовала себе все возможные и невозможные ужасы. Можно поехать к йогу Андрею, но в такой гололед транспорт ходит совсем плохо. И все же Света оделась и вышла из дому. На остановке сидел нищий без одной ноги. А у Светы была примета: подай первому нищему! И она подала ему рубль. «Все будет хорошо!» — сказал ей нищий. С сомнением она прошла под крышу остановки. «И за что нам такое страдание?» — прочла надпись перед собой. Число сегодняшнее. Вдруг медленно подполз троллейбус с развороченным задом. Возле самой остановки он дернулся на скользкой дороге, затрепыхался, и тотчас его развернуло поперек проезжей части. Прямо на Свету оскалилась пробоина возле задних дверей. На многих пассажиров это так сильно подействовало, что они стали уходить. А Света осталась, проклиная Настину пьяницу мать, родившую такого расторможенного ребенка. Ну вообще без тормозов! Готова в любое приключение пуститься немедленно. Тут подошел автобус. Света стучится к Андрею. Патриарх лекарственных трав удивился: почему она не звонит — так сильно спешит, понятно, но детей здесь нет и не было.

— Слушай, Патриарх, дай мне вот что... валерьянки или чего. — Света уже вся дрожала.

— Чифирем могу напоить, только сама раздевайся, а то моя Диана...



Чифирь ей был ни к чему. А трав и настоек, значит, нет, выпито уже. Но йог Андрей предложил с нею поехать в милицию. Света отказалась: вид у него уже не самый свежий, только повредить может... А вдруг дети за это время уже пришли домой? И Света побежала к остановке. Она снова час простояла на морозе, глядя на плывущие буквы световой рекламы, и вдруг от ярости включилась в действительность и прочла: «...ЛИЦО НАШЕГО ГОРОДА...» Но у нашего города нет лица, а есть морда... есть харя... И тут подошел автобус. Света вошла и вышла. Не помня ничего, она очнулась уже возле двери подъезда, где дворничиха тетя Паня громко рассуждала:

— Давление? Нет? А что? Настя? Я дам таблетки, немецкое название, аппарат... Его домуправша пила, помогло, паспортистка пила, вылечилась... У нас так не умеют лекарства делать!

«...ЫСТАВКА «КАЖДЫЙ ЧАС НАС ПРИБЛИЖАЕТ К КОММУНИЗМУ»...» — пылала и уплывала световая реклама на высотном доме вдали. Да, ножницы между светящимися лозунгами и учерняющей жизнью стали Свете вдруг сразу видны. А ведь реклама могла бы скоро о выставке Насти Новоселовой вот так... светить...

— Тетя Паня, Настю с моими не видели сегодня? На горку ушли с утра и...

У тети Пани был сильно развит комплекс вахтера: она минуты не могла прожить, чтобы кого-нибудь не ругать. Сейчас же она принялась осуждать Настю: лиходейка, без ума, детей еще взяла... не родится от свиньи бобренок, а родится тот же поросенок... А может, они уже дома? Света побежала бегом, ворвалась, как вепрь, — детей не было. Она сказала Мише, что сейчас сбегает в милицию, и тут же упала без чувств. И тут вошли дети. Они, оказывается, замерзли, зашли согреться во Дворец Свердлова, где у Насти знакомая работает, потом снова на горку... снова греться... и так несколько раз за день... Света встала. А Миша слег. Что-то в спину тоже... того... вступило. Тут в гости пришла сестра Миши со своими близнецами и стала бросать на лежащего брата штирлицевские взгляды: мол, чего это он не вышел, не помог им раздеться. Миша решительно и кособоко прошествовал в туалет.

— Так и ходишь? — спросила ехидно Лю, когда Миша шел обратно.

— Я могу только ходить и лежать. Сидеть, оказывается, не могу...

— А как же ты на унитаз пристроился?

— В позе космонавта: полусидя-полулежа, когда перегрузки действуют в наиболее безболезненном направлении: грудь — спина.

— Вот, Настя, до чего ты человека довела! — радостно вскрикнула Лю.

Миша почувствовал, что сестра доведет его сейчас еще сильнее. Он хотел лечь на диван, но вдруг резко перекосясь в другую сторону и упал, потеряв сознание. Света побежала вызывать «скорую». Когда она вернулась, Миша уже открыл глаза. А когда вошла миниатюрная женщина в белом халате, Миша даже выпятил свою мускулистую волосатую грудь.

— Встаньте! — приказала терапевтесса.

Мини-терапевтесса подбегала к его мышечной громаде и запустила ему пальчики меж ребер. Миша поблднед, задышал на всю комнату, но продолжал улыбаться. Видимо, чтобы исключить симуляцию, терапевтесса неожиданно подскочила высоко вверх, в полете сцепила руки и, уже летя вниз, нажала на череп подозреваемого. Полы ее халата победно развевались. Миша глухо рявкнул и стал оседать.

— Люмбаго, — удовлетворенно сказала терапевтесса. Миша ответил невнятным сипением, после чего лег, несколько усох и стал мутно глядеть в потолок.

— Понервничали, простудились или выпили много, — готовила она уколы, в очередной раз радуясь, что наука оказалась права.

Миша согласно сипел, с надеждой глядя на ампулы, которые могут его спасти от физического и морального падения. После укола стало в

самом деле легче. Он даже встал. Встать было проблемой. Да еще сестра трещит без умолку:

— Ну вот, он вышел походкой Синея бороды — нервный смех меня одолел, честное слово...

Вдруг от этих слов Мишу пронзила такая боль, что он на некоторое время поверил в бога, а может быть — даже в Бога.

Близнецы успели прокатать по коврику в детской банки тушенки. Коврик стал коричневым и жирным. А Лю в это время похвалила своих сыновей за примерное поведение, называя их не акселератами, а почему-то бройлерами. Один из братьев принимал антибиотики. Судя по тому, что мать дала ему таблетку сразу по приходе и вот сует снова, они просидели в гостях уже четыре часа. Миша решил чем-нибудь вспугнуть сестру и запел:

— Доктор Живаго лечит люмбаго-а...

— Ты, люмбажный муж, лежишь — и лежи! — не поняла его замысла Света. Она-то знала, что сейчас Мишиному сердцу достанется за упоминание запрещенной литературы.

— Пижоны! Тебе, Свет, надо мужа разогнуть, а ты небось будешь вечером Пастернака читать! Дают ведь самиздат на ночь, я знаю...

Миша бессильно вытянулся на своем диване. И тут Настя схватила решительно карандаши, подняла с полу резинку с нарисованным на ней глазом в форме пирожка (ее излюбленная форма глаз) — Настя сейчас попробует сделать набросок с тети Люси, да, именно вот сейчас, захотела. И тетя Люся должна молчать, иначе выйдет похоже!

Лю замолчала, хотя сил не было, как ей хотелось высказать все этим родственничкам! Ведь каждую резинку можно разрезать на три части, экономия, а у них целые валяются, и на каждой нарисован глаз, огромный, словно, можно подумать, намекают: КГБ за нами всюду и всегда следит, да!

— Это глаз художника за всем подглядывает. Или — природы... — (Про Бога ей уж лучше и не напоминать, а то тут такое начнется...)

— Тетя Люся, Настя вас похоже так рисует, — заметил Антон и для солидности добавил: — Но не слишком ли красиво? Слащавости мама не любит...

— Ничего! — обрадовалась Лю. — Красота спасет мир! Давай, Настя, работай, желаю успеха! И пусть пятерки сыплются на тебя!..

— Пятерки — это в смысле деньги, бумажные? Нет? оценки... а... Вы, тетя Люся, молчите! Я рот должна рисовать... Кто там звонит? Йог Андрей!

— Откуда и куда так поздно? — строго спросила Света.

— Из рожденья в посмертие, — не моргнув глазом ответил йог.

В уголках глаз у него была такая белая накипь, какая бывает на пути из запоя в белую горячку. Между тем йог Андрей упал на колени перед диваном с лежащим Мишей и начал объясняться в любви другу. Лю подозрительно косилась на эту сцену, Настя рисовала, Миша лежал, йог Андрей на коленях объяснялся в любви, а Свету в этот миг пронзило ощущение блаженства. Ни с того ни с сего! Она примерно так это расшифровала: «Повезло мне: не спилась, как Андрей, не слегла, как Миша, не оболванилась советской идеологией, как Лю... Сплошные плюсы, ни одного минуса! Я счастливчик из счастливчиков...»

— Наиполнейший! Болеть не нужно! — мямлил йог Андрей. — Не дури.

— Патриарх! Ты бы мне помог с лекарствами, — повторял Миша.

— Ты ин-те-претируй, что я говорю... — Йог вдруг заснул, уткнувшись головой в Мишину ногу, во сне пробормотав имя Бродского.

— Ин-тер-претировать! — поправила его Лю. — Пить меньше нужно!

— А ты б выпивала иногда, сестра, а? Трезвость тебя не красит. — Миша вдруг выпалил, хотя обычно с сестрой был осмотрителен: — Наш Патриарх, может, второй Бродский...

— Сбродский! — усмехнулась Лю, — вот он кто, твой Патриарх...

«А я — Патриарх плюсов... одни плюсы», — продолжала блаженствовать Света, радуясь тому, что Миша прямо и резко отвечает сестре.

— Цвета, а можно *клейкопластырь* Мише на спину? — Настя вспомнила, как ей от кашля недавно клеили на грудь перцовый пластырь. — А почему нельзя? Волосы у мужчин, а-а... в-в-в... — (Это она вобрала в себя громко слюну, которая копилась от аппарата для зубов.) — ...в-в-в...

— И это все?! — спросила Лю, увидев набросок своего портрета — видимо, внутри себя она представляла богаче мимикой, чувствами и прочее. — Впрочем, этот вечный наш русский вопрос «И это все?!» утомил.

— Хорошо для надписи на барельефе... могильном. «И это все?!» — вдруг оживленно заметил Миша и даже двинул плечом, подогнул ногу, в общем, сменил немного позу, утомившую тело.

Лю вздрогнула:

— Юмор — это не путь, — сказала она металлическим голосом.

— Но средство, — наугад встрял Антон.

— Средства — это деньги, Антон, — поправила его Настя, уверенная, что уж в этом-то она разбирается, ведь тетя Фая всегда говорила ей: «Средств нет, чтоб купить тебе сладкое».

Света вдруг представила Настю с мозолями на руках от пересчитывания денег. Почему это? А неизвестно почему. Только энергия счастья уплыла от ее тела: руки опустились, недоштопанная наволочка выпала из них. Что это? А это вечер, спать пора, так стучал в окошко зимний ветер, но его речь вполне понимал один только йог Андрей, который похрапывал в такт редким дребезгам оконного стекла.

— Идите домой. — Настя растолкала спящего, но он пошел не домой, а к соседке Нине, которая почему-то была ему нынче рада, начала за стеной визгливо хохотать над рассказами гостя, отчего Ивановым еще некоторое время снились то хохочущие алкоголики на скамейке, то дети на горке, то и вовсе больные в психбольнице.

### Рублев

— Корову жалко!

— Сам ты корова! Антон-батон...

— Ага, ее сожгли для какого-то кино! Она живая была, а кино все равно меньше пользы приносит... людям...

— Антон, на эти деньги, от билетов, можно сто коров купить и вырастить, да!

— Хорошо, Настя! Представь, что твою собачку бы сожгли ради кино, а потом тебе дают деньги — на, купи сто собачек! Ты бы согласилась?

— Но корова-то не твоя была, Антон!

— Все равно она чья-то, — резонно заметила Соня.

Света наконец что-то стала понимать: кино, корова, пожар... Это о фильме «Андрей Рублев», что ли? Успокойся, Светочка, сядь и не кричи! Все уже лучше. Что есть, то есть! Настя так любит иконы, а там... в фильме... И ясно, что втроем Настя, Соня и Антон так замерзли на горке, что журчали носами так, будто уже началась весна. Кто их пропустил в кинозал Дворца Свердлова? Ах, Настинной матери знакомая, все понятно. Настя еще думала, что кино про богатых, потому что называлось «Андрей Рублев». А там сначала некрасивый мужик летел на воздушном шаре. Антон засмеялся, он решил, что это комедия. Он читал недавно про тех, которые из Америки сбежали на воздушном шаре — в богатство на острове... Но Настя не поняла, как именно там все стали богатыми.

Свете хотелось спросить детей: «Вы что-нибудь доброе-то вынесли из фильма, нет?!» А ведь раньше, когда она еще не вышла замуж, Света совсем не считала, что искусство создано для воспитания. Но сейчас она подумала, что уж для нее-то оно могло бы, искусство, сделать исключение и поучить детей: «Берегите мать! Она у вас одна». Очень хотелось такого киноискусства... Настя потом еще поняла, что Рублев так и не станет бо-

гатым — даже к концу фильма она бы вообще его назвала не Рублев, а Копейкин! Потом Настя забыла про деньги, спохватилась, ойкнула: как это она — и забыла! Так жена, бывает, вспомнит, что муж ее изменил ей когда-то, и сразу грозно смотрит на него: мол, вот, иногда я прощаю, но вообще-то смотри!.. Так и Настя себе попеняла: конечно, с таким Рублевым она бы подружилась, но вообще-то без денег что за жизнь такая... бедная... А Цвете Настя сказала, что иконы в конце ей очень понравились. Мол, хотя у Рублева нет ни рубля, но у него есть что-то другое, как у Миши, богатство внутри. Настя была так умна, что знала: скажи Цвете что-нибудь про иконы, про богатство внутри Миши, она и отстанет. Настя уже всегда знала, что такое сказать, чтобы от нее отстали, но еще не всегда умела сказать так, чтобы похвалили.

### Город Пермь

Мишу списали с бюллетеня, хотя ходил он еще несколько «набок». Света в обеденный перерыв решила навестить мужа на работе — она боялась, что он уже там где-то упал и лежит. Был январский день, но ткань небосвода в одном месте была так раскалена, что это позволяло увидеть весь город сразу. Если взять старые районы Москвы, новостройки Комсомольска-на-Амуре и ветхие домишки деревни Чердаково, а после перемешать все это, вот и получится город Пермь. Многочисленные церкви там и тут уже сделали полшага в небытие, но в то же время мерцанием неистаявших куполов еще говорили, что могут возвратиться. Света, конечно, спешила и машинально про себя отмечала, что здесь есть какое-то даже обещание со стороны церкви, надо в этом разобраться бы, но потом, потом, мимо... Город уходил в небытие, но думал, что грубыми наркотическими встрясками в виде стел с перекошенными от патриотизма лицами можно оживить улицы Перми. Новые дома своей одинаковостью с блеском воплощали идею равенства. Таким образом, главным украшением города оказалось солнце, и, конечно, уж оно не сияло одновременно над Пермью и в то же мгновение — над Нью-Йорком, как написал писатель К-ов в своей новой повести. Он так спешил провозгласить, что наши люди в нечеловеческих условиях остаются творцами, что на время забыл про два полушария, про вращение Земли вокруг Солнца, а может, вообще больше склонялся к теории Птолемея о плоской Земле...

### Света плюс Миша

Когда Света подошла к издательству, оттуда доносился какой-то созидательный грохот. Вошла растерянно. Потолочное перекрытие между первым и вторым этажами ходило ходуном.

Света осторожно начала подниматься, опасаясь строительного кирпича по мозгам. На втором этаже не было ни души, только от ковровой дорожки поднимался не то пар, не то дым.

В редакции сидел Миша и с мученическим видом внимал старушке, которая обиженно частила:

— Я участница трех войн: Халхин-Гол, финская, Великая Отечественная и так далее.

— А что так далее? — уточнил Миша, подавая Свете стул.

— Можно я прочту два стихотворения?

— Маргарита Владимировна! Я внимательнейшим образом... Ваши стихи очень искренни, но... «Как хорошо гулять в лесу, когда такая тишина, не слышно выстрелов „Авроры”»... Какая «Аврора» в лесу-то?

— Она всегда в моем сердце. А вы знаете про отрицательное уподобление? «Не стая воронов слеталась...» — Видно было, что старушка прошла царскую охранку, сталинские лагеря, послереабилитационные мучения, все это разрушило ее разум, но сильно укрепило выживаемость. И нако-

нец она привела самый веский довод: — К тому же университетов не кончала.

— Астафьев тоже не кончал, просто талантлив от природы, — сказал Миша, рухнув духом и отчетливо слыша возражения автора:

— Вот и у меня — от природы... Да еще если б вы не уклонялись от своих обязанностей — поработали над моими стихами, а не занимались бы в рабочее время гимнастикой. Конечно, я ничего не могу вам дать, и вы этим пользуетесь!

Света поняла, какой это грохот был слышен, — значит, Миша проводил производственную гимнастику. Она увидела на его столе лист бумаги, а на нем строка, потом еще такая линия... такая кривая засыпания. Видимо, он уже дремал, а ручка сама шла и шла.

— Я вижу, все в порядке, — сказала Света вставая.

— А тебе чего надо?! — закричал на нее закорябанный жизнью Миша.

Она повернулась и ушла, почти не отражая мир со всеми его запахами, красками и шевелениями. Но у ближайшего автомата остановилась и набрала номер редакции:

— Вам позвонила участница татаро-монгольской войны. Я скоро умру, поэтому требую, чтобы вы напечатали мои стихи!

— Света, понимаешь, ее стихи нам рекомендованы с неодолимой силой. Извини меня... Клянусь тебе, я буду становиться все лучше и лучше, а в последние пятнадцать минут жизни буду совершенным, вот увидишь.

*(Окончание следует.)*



---

---

АНДРЕЙ СЕРГЕЕВ



## НЕКТО, ОТЛУЧЕННЫЙ ОТ УРОКОВ

### Эволюция

Когда волнуется народ,  
Кляня традиции и власти,  
И хочет собственный живот  
Публично разодрать на части,

Припомните игру страстей  
И вольности последний выдох,  
Когда в имени Ферней  
Руссо мечтал о троглодитах,

Что-де с дубинкою в руке  
В его родительской Лозанне  
Вздыхнут о голубом цветке  
Смиренномудрые пейзаи.

---

Руссо обдумал новый том,  
Перо испробовал о палец,  
А в это время за кустом  
Уже стоял неандерталец.

Философ подбирал слова,  
Дикарь в кустах жевал травинку.  
Писатель вывел букву А,  
Его герой занес дубинку.

Потом он рылся в сундуках,  
Явив находчивость и смелость,  
И это в гаснущих зрачках  
Зачем-то вдруг запечатлелось.

---

Дрожи, хранительная тьма!  
Вторгайся, свет бесцеремонный!  
Философичная страна  
Отплясывает кроманьону.

В чести мужчины без штанов,  
Везде науки и искусства  
И свежие кочны голов  
Взамен исчезнувшей капусты.

Теперь герой махнет в Париж,  
Усвоит новые манеры,  
Утратит хвост — а там, глядишь,  
Довоплотится в Робеспьеры.

1957 — 1967.

### Савеловский вокзал

Построил помещик Савелов  
Савеловский дивный вокзал.  
На этом ненужном вокзале  
Он сам никогда не бывал.

Поскольку он ездил в карете  
С упряжкой в шестерку борзых

1969.

И смутно мечтал о прогрессе  
Для правнуков дальних своих.

Вот так и стоит на отшибе  
Савеловский дивный вокзал —  
Дар обществу от ретрограда,  
Который любил идеал.

### Разлив

Овчарки со сворок рвались в туман,  
С апреля вошедший в быт.  
Поимкой командовал штабс-капитан,  
Охотник, пластун, следопыт.

И как неуместный фиговый лист,  
Не там прикрывавший срам,  
Плелся в хвосте генерал-штабист,  
Не глядя по сторонам.

Овчарки вели по тропе, по траве,  
По росам иколя вброд.  
Петров-второй шагал в голове  
И честно смотрел вперед.

Но вдруг собак понесло назад  
Мордой — волчком — к хвосту.  
Петров-второй, русский солдат,  
Первым шагнул за черту.

И голос его через пять минут  
Дошел, от тумана глух:  
— Овчарки дальше след не возьмут:  
Явственный серный дух.

Плечами пожал и исчез во мгле  
Охотник, пластун, следопыт,  
И, встав на колени, на волглой земле  
Увидел следы копыт.

Пошли по следам. А сзади скуля  
Овчарки тянули вспять.  
Из-под ног уходила родная земля,  
А где же другую взять?

Кусты, поляна; опять кусты,  
Жалобный плач гудка.  
Стога, поляна, из пустоты  
Свинцом блеснула река.

Вдомек не взял генерал-штабист,  
 Презиравший сей ералаш,  
 Что он, как был, незапятнанно чист  
 Проследовал сквозь шалаш.

И штабс-капитан увидеть не мог,  
 Хоть дело и было днем,  
 Как он сапогом просадил пенек  
 И того, кто сидел на нем.

А тот, кто сидел, повел головой,  
 На коленях поправил листки  
 И взглянул туда, где Петров-второй  
 Шагал над свинцом реки.

Приказом посланные в дозор  
 Солдаты, чеканя медь,  
 Прошли сквозь невидимый глазу костер  
 И чайник, начавший петь.

И только собаки чуяли зло  
 И жадно тянули прочь.  
 А людям и в голову не пришло,  
 Что можно беде помочь.

Кусты, поляна, земли предел,  
 Реки пулевой металл.  
 Туман сгущался, туман тучнел  
 И в почву корни пускал...

1965.

### Школьная уборная

Скребется в трубах пленная река,  
 Свистят питоны, и щебечут птахи,  
 И дразнят любопытство чудака  
 В сосудах парафиновые бляхи.

На гвоздике измазанный диктант  
 Показывает правленные строки,  
 Качается латунный аксельбант,  
 Билет метро висит на водостоке.

А на стенах бушует юный пыл.  
 Здесь некто, отлученный от уроков,  
 Стихами неумелыми снабдил  
 Наивные портреты педагогов.

Заблудший лозунг верной швабры ждет,  
 Он не вспорхнет — замазано окошко.  
 И вот уж юбка мокрая идет  
 И тянется следящая ветошка...

Как я люблю спокойное житье:  
 Долой штаны! Садись, мечтай, отшельник!  
 Здесь возмужал невозмутимый Дельвиг,  
 Нашептывавший Пушкину свое.

1957.





---

---

ВЛАДИМИР ГОЛОВАНОВ



ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ И ДРУГИЕ

Русский романс

Уж снега почти не осталось,  
Народ воробьиный галдит,  
Проезжая девушка Старость  
В горящую печку глядит.

И думает: этой весною,  
Покуда ручьи холодны,  
Пойду запишусь крепостною  
К помещику этой страны.

Вначале прикинусь актриской  
С девическим злым голоском,  
А после — и тихой и близкой —  
Во флигель войду босиком.

И, если удастся прокрасться,  
Ему — удила закусить...  
Ему это дорого дастся,  
А дешево — шапку сносить.

Смотаю его патронташи,  
Борзых по оврагам сморю,  
А ночи, в слезах довенчавши,  
Допразднуют свадьбу мою.

И чашу, что выпить нам вместе,  
По самые губы нальют...  
И он проворонит поместье,  
А прах воробьи расклюют.

Памяти Лермонтова

Я не вижу смысла  
В этой жить стране,  
Надо жить на солнце  
Или на луне.  
На далеких звездах  
Или под травой,  
Если провалиться  
Вместе со страной.  
Где печальный карлик —  
Тоже скорбный раб —  
Выпил горький шкалик  
И совсем ослаб,  
Чтоб не видеть больше  
Ложь и снова ложь,

Горше все и горше,  
А потом умрешь.  
Но не тою смертью,  
Где спокоен сон, —  
Той же круговертью  
Этих же времён.  
Мглой бесчеловечной  
С хрустом сапогов,  
Памятью увечной  
В крошеве мозгов.  
Не отпустит братство  
Братца-мертвеца.  
Рабство, рабство, рабство,  
Рабство без конца.



Летучая мышь позвонит в колокольчик  
И тут же послушает отзвук вдали.  
И тут же в столицу на междусобойчик  
Несутся вампиры, летят упыри.

И в за полночь мглы в декорации дикой  
Каких-то своих грановитых палат  
Без усталости сёрбают чай с костяникой  
И липкие лапы суют в мармелад.

Бесшумно шарахаясь хордами крыльев,  
Разносит записки летучая мышь.  
Раздеты упырки без жестов насильных,  
Заплеваны статуи в мраморе ниш.

Об стенку прижатую давят ведьмачку,  
Стараясь, чтоб был растопыр не крестом, —  
Силком надевают балетную пачку —  
Ведьмачка танцует и вертит хвостом.

В насмешках вся ночь над рассветом нескорым,  
А в три — построенье и смотр всех родов.  
И люстры шарахнутся грохнувшим хором  
Дробиться в перины под смрадом задов.

Наутро блаженство покоя наступит:  
Вот было без крови, а как хорошо!  
Но этим минетчица зуб не затупит,  
И ту темноту не заменит крюшон.

И около ведер с остатками мыла,  
Которыми мылил промежности хряк,  
Какая-то дама цветок обронила,  
И стебель зеленый обвис и обмяк...

А мистики будут наутро встречаться,  
Читая газеты, смакуя отчет.  
Газета придет, позовет домочадца,  
В глаза поцелует, в духовке спечет.

\* \*  
\*

По Далю — «сдырдиться»...  
Представить жутко,  
Но это всех постигло в этой стране.  
(Не всех, а многих, не только здесь, а вообще — сдырдиться.)

Объяснение слову —  
Умереть без покаяния.

И сколько же, сколько  
Миллионов людей этой страны  
Сдырдились?!

Какая тоска  
И какой безымянный позор.

Но Бог нас простит,  
Он особенно любит Россию.  
Сначала Израиль избрал,  
А теперь вот и нас!



---

---

# ПЕСТРЫЕ ИСТОРИИ

ИГОРЬ МАРТЫНОВ



199... ХРОНИКА

**П**олгода на привокзальном заборе бились дадзыбао. Сегодня красная нитрокраска: «Ельцин — враг народа!» Завтра, поверху, фундаменталистски зеленая: «Марина, я тебя люблю!» Полемику оборвал черный автограф: «Здесь был НАРОД». Кругом выбитые зубы, стреляные гильзы, ломтики надкусанной салями...

На обочине тротуара — битый «мерседес». Вмятая фара, гнутый кузов. Около, при полном боевом параде, в тройке, с иконостасом орденов и медалей, торжественно-седой дедушка — давно я не видел столь счастливых дедушек. Прохожих здесь не много, но, останавливая каждого, он тычет тростью в мятый «мерседес» и сообщает осиянно: «Оттанцевалась!» И он смеется забытым смехом победителя...

Наконец-то и в Москве появилась экспозиция, которую нельзя расширить, можно только пополнить. «Вульва-94». Фотовыставка голландского мастера van der Gouj на Сушевском валу началась символично. Каждая из носительниц открыто стала под своей, развеяв помрак анонимности, придав искусству жизни. Их с полсотни, они в цвете и в багетах, мятущиеся и мямли, замужние и постматеринские, но не предавшие естества! Не могли нарыдаться японские репортеры, да и наши мужи на идентификации прозрели: так не доярки же вы, вы донорки красоты.

Идешь всосав живот и вбирая щеки, даже не имея. Шоколад и сдобу теперь только под одеялом. Адюльтер с калорией стрёмен, как при живой жене. Их посты на каждом метре, их око недреманно, горят их значки: «Хочешь похудеть? Спроси меня!» Это меченосцы гербалайфа (много чинов, лицензия стоит 100 — 200 \$). Страна в сетях краснокрестового похода. Жертва свержгомеопатии. Гербалайф — штатовская травка, чтобы похудеть, достичь фигуру, у нас вытесняет еду. Юношество из той комсомольской породы, коя прежде винтила волосатых, ныне с горящим зрением преследует толстых, на мало-мальски дородную талию бросаясь скопом, насильно окуная в медицину. Днем с огнем в Москве не сыщешь тела, достойного Рубенса либо завтрака на траве. Вчера гербалайфисты обструтали сибирскую кошку, жирок искали, а после длинно гнались по метро за беременной, приняв за свою пациентку. Все овальные попрятались, с постамента сбежала упитанная лошадь князя Долгорукого, картоха зацвела нехотя, как бы чуя свою ненадобность, печать наскальной живописи и Освенцима лежит на народе, последний толстый был замечен на балконе заморской амбассады, он ел ватрушку, пользуясь дип-статусом, и вдоль забора, еле сдерживаемые ОМОНОм, бушевали фаны гербалайфа, ярясь на лишний вес, как на Салмона Рушди.

...О ты, предохранитель застойной юности, прообраз дирижабля, кошелка пламенных оргазмов, прослойка смычек, цензура и главлит партерных повестей, если в обход — кончишь только самиздатом... О, часовой любви! Пусть ты сражался против родины, но в тот Всемирный день защиты от детей, когда мы станем вечно молодыми, в честь тебя укроют землю куполом, спасая от залетов НЛО... Запах паленого каучука выдавал координаты наших становищ, и черная копоть над веселым крематорием любви... Ничто так не красит свободу, как ее ограничение, ничто так не возвышает брутальную мощь, как прочность ее усмирителей, — а эти качки с Баковской фабрики резиновых изделий — монопольной на весь Союз, — эти никогда не служили плезиру, но, обметаны штангистским тальком, проверенные электроникой, толщиной с танковый чехол и видом с саркофага четвертого реактора, они вносили в амурные дела бдительность, и труд, и производство, и плоти перевоспитание.

У нас была эпоха единого контрацептива и нерушимости границ. Наши паломничества в Баковку, особенно в студенческую эру, имели цели сразу две: во-первых, через задний забор за пузырь бралось кило изделий, которыми, надутыми, мы веселили женские бараки на сельхозработках — для пушей прелюдии. И во-вторых, Казимир Малевич, творец черного квадрата, сугубо презервного, связал свой прах почти с фабричной территорией — неподалеку погребен Казимир, и тяжкий смысл супрематизма дано нам было испытать в оковах баковских предохранителей. Тогда, на зорьке перестройки, фабричный вход знаменовала доска почета, звучны были титулы ударниц: Съемщица изделия, Податчица изделия, Испытательница изделия... Оборонность и секретность окутывали флагман бытовой резины. Ох, не к добру занесло сюда новые веяния! Год восемьдесят восьмой. Иноземные журналисты впервые впущены в баковское нутро, они галдят, они лепечут «ой-ля-ля», увидев доказательства родства резиновых перчаток, детских шариков и главного изделия, которое оказалось продуктом ампутации перчаток, тогда как беспальный остаток, слегка заштопанный, становился шариком. И впервые радость детства так явно совпала с тем, что наиболее омрачает его, то есть — исключает. Делегация в цехе ОТК. Идет ревизия. Изделия накачаны водой, на специальных штырях, копирующих будущее. Испытательница нежная, Леночка, девятнадцати лет, она в белом, в халате, но в белом, — она приступает к испытанию. Ладоншкой проводя по каждому изделию, проверяет на сухость — не каплет ли? Так возникает штамп: проверено электроникой. Западные аплодируют рукотворности чуда... Директор горд: «Наши — самые прочные в мире». — «А как же дизайн, удобство и вообще — соответствие интиму?» — «Насчет дизайна — выдумки все. В мире две модели — наша и индийская, кох-и-нор, с так называемой смазкой. У нас в народе об этом говорят, — директор победно озирает иностранцев, — масло масляное!» И тут шалый француз вдруг распахивает саквояж и мечет в лицо директору изделия мира — с клубничкой, на колесиках, расклешенные, из слизистой юного гепарда, с поволокой и без, для орального... поэтапно спадает с лица директор Баковки, глаза его в прямом смысле разбежались, мысли спутались, что-то главное заклинило. И грянул крах — от передозировки.

...Вновь я посетил, на днях. Лишь квелая сторожиха — нянечка на воротах, лишь полуразрушенная пельменная и ни доски почета, ни испытательницы Леночки — упорхнула в Париж испытывать их, расклешенные. Баковская прежде цветущая отрасль объявлена банкротом. Новый корпус с дымчатыми витражами перепрофилирован под тубетейки для отечественных Барби. Весь коллектив — немножко пенсионеров, сторожиха объясняет: нет спроса на изделия, не секрет, что в России СПИД не прижился, да и потенция не та, что в застойную, тоталитарную старину.

И пахло прямо в лицо символизмом. Вот он, корень кризиса державы! Кому же в голову пришло, что можно оборонку обратить в забаву,

к нашему стоику с тальком приделать усики, что можно раскрасить и облегчить здешнюю жизнь?! Что местные захотят работать — зарабатывать и играя?! Нет уж, стоп-кран нам ближе, чем езда в неизвестное. Производство затухло, ослепнув от чрезмерного ассортимента, от райских перспектив. Свет цивилизации слишком ярок, похож на пыточную лампу. Свобода захлебнулась выбором. Растаял черный квадрат. Шарик не вернулся. Упразднение границ. Да, это финиш, если нет нужды даже в контрацептивах. Мы — без предохранителей...

О, дирижабли молодости! О Баковка — любовь моя!

Так разгоняется театр абсурда, изобретенный французским румыном Эженом Ионеско, — недавно умер Эжен, пожив всего-то около восьмидесяти, жаль, не увидит расцвета своих идей в масштабах одной шестой... Средств к похудению больше, чем хлеба. России больше, чем русских. Вульв больше, чем женщин. Следствий больше, чем причин. Исключений больше, чем правил.

Предвыборная кампания. Эдуард Лимонов взошел на ящики во дворике рок-клуба «Секстон», куда его не впустили рокеры «Ночные волки». Лимонов, говорит, идет в президенты от имени неимущих и худых. Его программа похудения — автомат Калашникова. «Какой нормальный человек откажется взять в руки автомат, если его вручает настоящий генерал?!» Потом трибуну занял человек с вивисекторским несессером, в прорезиненном плаще и фетровой шляпе: «А я иду на выборы от имени униженных и частично расстрелянных сексуальных маньяков». Так Андрей Романович Чикатило начал свой предвыборный марафон. Раздавали именной серебряный скальпель — радикальное средство похудеть. Пускали показательную кровь.

На закате явились агитаторы: следя октябрьскими кроссовками, роняя бюллетени и мандаты, говорят, что уже шестьдесят процентов народа «за» и, пока не поздно, голосуй-ка, паря, за царя. По данному округу три кандидатуры на престол: Нечаев, Мелешко и Полуязов, завхоз петелинского автохозяйства. Почти ослепнув от такого спектра, я спрашиваю — почему бы нет? Допустим, годовщина Октября... Полуязов верхом под Мономахом, панталон акцентирует футбольную мышцу — статс-дамы, фрейлины, милсестры опали в книксен... С фасада шурятся портреты Солженицына, Говорухина, градоначальника Лужкова... Из «Авроры» стреляет наследник Романов, отличник училища Суворова... На закуску под рапиру Полуязову брошена мумия — вуаля, очередной триумф монархии! Построен храм Христа Спасителя. На селе полный Столыпин. Пшеницу сплавляем Америке за так, за девать некуда. Сибирским маслом мажем медуз, чтоб не мерзли в проруби. Вальдшнеп по три копейки пара. Постмодернист и рокер сосланы на каторгу. Кашпировский распустил большую бороду и не вылезает из палаты грановитой. Российский флот готов потонуть за Курилы... Дума распущена, воскресный митинг расстрелян, жиды спрессованы в резервацию и, ко всеобщему плезиру гимназистов, в школах введено богословие.

Вот программа-максимум на текущий сезон развитого монархизма. Власть не возражает подкрепиться небом. По России возили английскую Елизавету, как бы прокладывая путь. Маркетинг говорит о тяге граждан к абсолюту, особенно с лимоном. Ведущие историки постановили считать первую мировую войну гражданской, а царскую Россию — победительницей в одной, а Николая Два — Александром Македонским — Чапаевым. В близких кругах прошептали, что назрела коронация, и, ввиду неявных кровных претендентов, придется выбирать из тех, кто есть. Последний генный опрос подтвердил наличие романовки в клетках у Руслана Хасбулатова и Аллы Пугачевой, да и каждый россиянин, достигший поллюции, вправе иметь самодержавный ген... Монархизм как свежая идея настолько

чист, весь на лазерные диски просится. Валаамские монахи напели на компакт-диск воинственные «Марши армии Российской империи», включая хит «Смело мы в бой пойдем за Русь святую!». Задушевна Жанна Бичевская — вся монархическая классика ею спета, и, ожидая впотьмах электричку, можно встать смиренно под «Боже, царя храни», открыто совершить брудершафт на базе царской водки из ближайшего ларька... Была бы песня про царя, а царь найдется, была бы Россия, а монархия приложится, была бы только тройка, Нечаев, Мелешко, Полуязов... Когда выяснилось, что на Западе нас не ждут, в Америку виз на всех не хватит, занависелись новые адреса бегства. Население петелинских автохозяйств сидит на чемоданах, числят себя эмигрантами в дореволюционную Россию, где всех накурмят филипповской булкой, оденут в морозовское сукно и прокатят на шукинском паровозе. Потомков комиссаров и батраков ждут ли при царском дворе? В Зимнем дворце с незапятнанным видом есть ли вакансии? А как перспектива бурлачить на Волге, жевать ржаной хлеб по праздникам и каждое утро начинать с «Боже, царя храни»?! Мы взяли Париж, Берлин, Луну — осталось только взять Россию...

В головной московской галерее «М. Гельман» итожил творческую семилетку Анатолий Осмоловский. Все, кто его с этим поздравил, единодушны: он флагман русской культуры. Главное произведение мастера — слово из трех букв, сложенное телами Осмоловского и др. перед Мавзолеем в семьдесят девятом, что ли, году. Выдвинуто на Нобелевскую премию.

В соседней галерее открывается выставка «Живопись Антонио Сальери». Впервые выставлено полотно примерно 8 на 12 м «Умирающий Моцарт». Масло, кровь, саван.

«Снега сошли, и проступили экскременты» (романс). И сколько ни кремирует ночами Матвейч, либеральный дворник, не убывает особого экскрементального пути, а ведь еще не все пернатые вернулись, еще не все коровы вышли на пленэр, а уже как по минному полю: куда ни ступишь — риск подорваться.

Москва педикулезная. Мода на словарную чесотку. Палитра в перхоти, в струпьях нотный стан. Большие лишай на каждой киноплёнке. Нечистоплотность как творческий метод. Аэробика микробов, презентации сточных канав. Безумная вольность на людях сказать: «ноу-шит», тем более — сделать. Без амбре, без желтого бинта на чем-то внешнем, побрит и мыт в божему больше не ходи: там ждут про грязные концы и новости из пищевода.

Конечно, раньше хуже было — в смысле срама и рока, но как ни вспомнить тот элегический обмылок на кромке раковины в общепите и тот призыв обмыть конечности? И тротуары без инфекции, и как мы шли, не цепляясь о кости, и арматура почти не касалась затылка! И вшей не наскребешь хотя бы на районный гандикап, не говоря про тараканью «Формулу-1», которая прошла на днях при судеюстве санитарных врачей. Скудные, стерильные были времена, была недостижимая холера...

Теперь руины гигиены и чем-то, вроде пальцем написанные имена. Орган ментального оптимизма «Пиноллер», кто-то Волков и Гурьев, они утверждают, что пиноллер — это не хрен на мотороллере, это не шпильки — это пиноллеры, фонетический Смердяков: чтоб будить в спящих читателях веселый драйв дефекации... Потом два взрослых актера, *полуобнаженные до поясницы*, передвигались по мебели библиотеки Союза театральных деятелей и ползком читали Льва Рубинштейна... Потом последний хранитель подполья Петлюра извлек из запасников самое безобразное и затрапезное и распродал. Он закрывает свой заповедник антиискусств на Страсном бульваре, потому что слишком много эпигонов. Перебор инфекции.

Изредка попадают опрятные люди. Но это всё сантехники, мойщици машин, ассенизаторы — то есть люди некультурные. А культурные до-

бывают гигиену... Зато огромны перемены внутри общественных уборных. Ватерклозеты родины единит явное сокращение настенных текстов. Заметно, что есть теперь что почитать, посмотреть, коротая здешнее время, помимо фольклора. Четвертый, экскрементальный путь...

Объявление на подъезде: «Знающих, кто прокалывает автомобильные шины во дворе дома номер 4, просят сообщить по телефону. Вознаграждение гарантируется». Ночью в кустах полно соглядатаев. Двор простреливается отовсюду, стены простукиваются. «Знающих, куда звонил сосед... Знающих, с кем гуляет моя кошка Патриция... Знающих, кто читает Ленина...» Наконец-то найдено решение всех проблем!

А кто назовет это абсурдом?! Принюхались...

Разборка в троллейбусе: «Говорю тебе, то ж двойник Солженицына, который во Владивосток прилетел! Смотри: первую речь по-английски сказал. Потом хлеб с солью целовал. Можно ли, чтоб Исаич не знал обычаев, как с караваем поступают?! Двойник это! Специально заслан, чтоб журналистов на себя отвлечь. А настоящий, он сейчас с Севера идет, от Печоры, деревянной Русью. Босой, входит в избы, пьет чай с бубликами, молчит, ни о чем не спрашивает. Настоящий, он и так все знает, понял?!»

Друг-заводчанин доложил: завезли, значит, голландский фрезерный станок. Сочный такой, желтенький, в цеху его сразу невзлюбили — не ломается, запчастей из ближнего зарубежья не просит и счетчиком все контролирует, приписки исключая. Штрейкбрехер! Терминатор мирных перекуров! В обеденный перерыв старый Потапов, фрезеровщик со стажем, не сдержался, металлическую стружку рассовал станку во все ему и всяческие дыры, пучками, как укропчик. Пришли с обеда, завели мотор — хана голландцу! Отлетал! Дымит и стонет! Ликование в цеху. Премия. От премии никто не отказался.

Доколе притворяться, делать вид, что бардак временный, что вот-вот придет цивилизованная норма, мафия раздаст наркорубли детским домам, на каждый ваучер получим по фабрике, девушки откажутся от добрачных связей, а мужчины тоже откажутся, встрепенется экология, потеплеют люди?! Покажите эту эталонную «нормальную жизнь»! Хотя бы лоскуточек, тютельку, полпипетки! И кто эти ревизоры, утверждающие, что мы стоим на голове? Сами-то они на чем стоят?! Короче, выход прост: считать все абсурдное — нормой. И наоборот. У исключений свои правила. Так принято.

Братские клозеты, без перегородок и дверей... Дезертиры с балканской войны реставрируют Кремль... Беспризорник у Манежа торгует МиГами по мандату Совмина... Смотрели 976 серий, побив рекорд блокады Ленинграда, — и не опухли!

Такие традиции. Натура. Корни.

Пора, Делакура, черед воспеть и подноготную октябрьского мятежа, камуфляж ее Жан-Дарков и леди Годив. О музах павших, но не падших, о туалетах баррикадных одалисок, чья вечная невинность оплачена кровью, о той опасной связи меж тем крючоктвором снайпером, залегшим в голубином помете на тухлом чердаке, и этой юной в теннисной юбке, которую покуда сухо, без деталей, назовем Либерта.

Она вошла в поле зрения, когда мы продвинулись до упора штурмового четвертого октября — без всякой на то нужды, по глупости, ведомые безумным репортером, завсегдатаем Карабаха. Курия неуместные длинные «Мор» с ментолом, тот лез под огонь и провоцировал нас. Говорят, стыдно, стыдно за молодежь, что так досуже, так без контрамарок вломилась в первые партеры сурьезной осады, но мальчуган,

взращенный Высоцким и «Зарницей», мог ли лишиться затылок колкой радости побыть мишенью в родимом городе, когда тот обстрельный перекресток Садового с Новым Арбатом, где мог словить он пулю, всего в пяти минутах от Грауэрмана — роддома, где он произошел на свет... До тридцати танцуют рок-н-ролл, играют в преф и объявляют войны. Нас было четверо, еще толстяк возвращенец из Штатов Боб и друг миллионер, которого взяли за чудо-технику на жидких кристаллах, чтобы смотреть на себя в Си-эн-эн, — но при первой же пробежке япония выпала на асфальт и захлебнулась жидкостью своих кристаллов. Так мы остались без автопортретов, под хлипкой оборонной коммерческого ларька с банановым ликером, абсолютно неподобающим к анестезии сердце. Та же компания, что в студенческие времена на спор штурмовала посольство Уганды, — только тогда был херес, а не «калашниковы», но бабье лето смумифицировало нас настолько, что даже доги из охраны посла отдали честь, вставая на задние, как разведенные мосты.

А теперь были гарь, скрежет, нервы и солнце, слишком здоровое для самоубийства. Мы решили слинять на первом же антракте, к тому же тротуары устлали весомые опровержения репортера-карабаховеца, что, дескать, бьют холостыми, для остратки.

И вот когда нагрнуло затишье, из укрытия первой возникла она: я говорю, в чем-то теннисном, в довольно пыльных, но скорее белых гольфах и в свежайшем каре стрижки, в позе приема подачи явно искала спутника своего, ибо такое в одиночку по Москве не ходит — существо сверхсметных кондиций, одним наличием бросающее в мильон таких терзаний, что лучше сразу быть импотентом.

«Лук!» — перешел на английский толстяк возвращенец, а карабаховец уже вовсю наяривал «Никоном». Она не подкосилась, не подмялась, не упала — она именно рухнула, именно как взорванная с фундамента церковь, — снайперская пуля, разрывная, с широким диаметром на выходе, распечатала ей аорту. Она рухнула, открыв нам тайну, которая две секунды назад вызвала бы священный трепет, но сейчас только печаль и ужас: покуда мы не некрофилы...

Без контекста не обойтись: тот год, тот мятежный октябрь прошел под знаком «Базового инстинкта», триллера с Шарон Стоун, — и немало ее подражательниц, чудных на просвет, бороздили проспекты. Короче, павшая Либерта оказалась из них, из рискованных, то есть — без исподнего, а может, просто пожертвовала на перевязку раненых или для белого флага?! Тот чердачный охотник в комбезе, конечно, выбирал, конечно, знал, что не про него. Гремучий порох похоти и ненависти послал патрон.

Когда ее оттаскивали на обочину, первым делом прикрывали жураву, но вряд ли это теперь поможет: с тех пор так и жить под двумя дулами, под двумя прицелами.

Свобода приходит нагая... Свобода уходит нагая... *Осиротели персики на рынках, секс ускоряется до первых патрулей: мне не хватило тысячи рублей на шоколад с кокосовой начинкой. Мне не хватило тысячи ночей для той одной, в плохом бронезилете, — высокий снайпер в кремовом берете пришел ее на склоне мятежей. Теперь тут вечный комендантский час, седой ОМОН прочесывает Пресню, и если эта девочка воскреснет, то вряд ли здесь и явно не для нас...*

\* \* \*

На привокзальном заборе опять перемены. Черная надпись «Здесь был НАРОД» повержена. Сказано белым по черному: «ЛЮБНЯ = столица мира».

Натюрлих! Кто же с этим спорит?!



## ВАСИЛИЙ КИЛЯКОВ



### «БУДТЕ ЛЮБЕЗНЫ!»

**В** одном из больших домов большого города жил холостяк Петр Петрович, человек незаметный, маленький, худой и чистенький. Дом, в котором он жил, стоял высоко, точно на подносе, этажей было много, а окон еще больше. И каждое хранило в себе по частице высокого неба, в точности повторяя рисунок облаков, их оттенки и переливы. В летние легкие вечера стекла пламенели от заката — зрелище необыкновенное. И всякий раз, когда Петр Петрович возвращался домой, он останавливался поодаль, закладывая под мышку свою трость стеклянного набора, неторопливо протирал очки платочком и любовался.

Снизу вверх казалось, что дом кренится, вот-вот рухнет, и от этого делалось жутко и весело...

— Вот так громада! Какая великолепная силища, а стоит себе — и молчок... А ведь когда-то и ухнетя... о-о...

Петр Петрович, видимо, всем существом своим желал в своей серенькой жизни увидеть что-нибудь необычное, из рук вон выходящее. Но дом стоял себе как стоял. Глухо отражал он любой звук, был прочен, был нем и холоден, словно крепость, и Петр Петрович, вздыхая, отмерял тросточкой коротенькие шаги — от угла дома до крыльца их было девятнадцать, потом погружался в гулкую утробу подъезда, в его холодное пространство, и пропадал до утра. Подъезд поглощал его, как огромная разинутая пасть, и покорность, с которой Петр Петрович отдавал ей себя, один вид этой покорности мог бы вогнать в тоску самого веселого от природы человека.

Петр Петрович шел черным узким коридором, непроглядным даже в погожие дни, и однажды поймал себя на мысли, что против воли пригибается, как-то весь сжимается от страха удариться обо что-то в темноте, и с горечью подумал: «Вот так-то и во всей моей жизни».

Было так изо дня в день, из месяца в месяц, из года в год. Утром шла мимо дома, рекой текла толпа, она подхватывала Петра Петровича, а вечером возвращала усталого, чуть потрпанного, слегка ошалелого и смешного. И опять он задирает голову, и опять разглядывал что-то на холодной каменной стене, ждал, пугался собственных мыслей, и семенил домой. И если бы кто-нибудь сказал ему тогда, что с высоты седьмого этажа на него с интересом смотрит некто Иван Дмитриевич, Петр Петрович очень удивился бы. Он и представить себе не мог, что им может кто-то интересоваться.

Слешить Петру Петровичу было некуда и не к кому, сам же он был настолько мал и близорук, а дом так громаден, что разглядеть в серых лужах окон хоть что-нибудь было очень трудно.

Как раз в то самое время, когда Петр Петрович появлялся во дворе, некто Иван Дмитриевич стряхивал с себя остатки послеобеденного сна, раскуривал толстую ароматную папиросу и от безделья глядел на улицу, глубокую, как ущелье. И всегда, лишь только догорала его толстая папироса, он замечал Петра Петровича. Трудно сказать, чем этот маленький человек привязывал его внимание. Ясно другое: Иван Дмитриевич видел его ежедневно и уже улыбался ему, как старому знакомому. И Ивану Дмитриевичу казалось, что Петр Петрович тоже в ответ улыбается. Случалось даже, что Иван Дмитриевич махал рукой Петру Петровичу, а тот как раз в это время снимал шляпу, чтобы не сронить ее, задирая голову, и получалось, что они друг друга приветствуют.

Затем Иван Дмитриевич плотно ужинал, пил свой крепкий приторный кофе и опять курил. Это был рыхлый пожилой мужчина с генеральской осанкой и круглыми, развернутыми назад плечами. Голова Ивана Дмитриевича казалась плоской, срезанной на четверть и блестела отполированной плешью. Ровная, словно вытертая долгим ношением фуражки. Сам Иван Дмитриевич нисколько не стеснялся ею и шутил: «Что под шапкой, то — мое!»

В прихожей висела гимнастерка старого образца, в углу стоял буквый кий. Сразу после ужина Иван Дмитриевич влезал в эту гимнастерку, брал тонкий-тонкий и несоразмерно тяжелый кий и спускался вниз под семь маршей лестницы, в бильярдную.

Бильярдная находилась в подвальном помещении того же дома. Иван Дмитриевич гонял там шары с вечера до полуночи, время от времени подумывая о том, как хорошо и все же не хорошо быть в отставке, в достатке и одному. Его штаны темно-зеленого цвета, жарко начищенные пуговицы на гимнастерке и строгий стоячий воротник — все это было в полном порядке; а неторопливость и внимательность, с какой он натирал мелом кий, покручивая его в руке, когда готовился к очередному удару, — все это открывало в нем человека очень непростого, бывшего, что называется, и на коне, и под конем в этой жизни. А жизнь шла. И Иван Дмитриевич с вечера до полуночи клал с размаху шары налево и направо по лузам. Не любил играть один, не любил сам писать мелочком на доске и за деньги не держался, то есть был не жадюга. И не раз приходилось маркеру подниматься со стула и нехотя менять ему побитые шары на зеленом поле бильярда и в сетках луз, раздутых, как карманы подростка от ворованных яблок.

А Петр Петрович? Кто же знает, чем он занимался в это время... Известно лишь то, что с темноты до утра он не переступал порога своей квартирki по той простой причине, что ему некуда было пойти.

Но однажды в пятницу, 12 апреля, — и до сих пор эта дата обедена в календаре Петра Петровича кружочком от бордового карандаша, — в пятницу 12 апреля в жизни его случилась необычная, радостная и трагичная перемена...

Началось с того, что возвратился он не в пять, как обычно, а в семь часов вечера. И был так расстроен и разбит усталостью, что в спешке попал не в свой подъезд, но, сразу же заметив это, повернул было обратно, как вдруг услышал смех, а за ним и громкий говор и увидел косую, сломавшуюся на ступенях полосу света из-за полуоткрытых дверей. Полоса света была зеленой от неплотно задернутых штофных занавесок.

Раскат смеха повторился и был так некстати сейчас, так не сродни мыслям Петра Петровича, что он опешил. Потом торопливо и скоро спустился под лестничный марш и, отворив дверь, сказал отдельно и в сердцах:

— Ничего веселого, молодые люди! Ровным счетом ничего веселого, да!

С той же чудаковатой поспешностью круто повернулся на каблуках и вышел... нет! И вот тут-то он и столкнулся грудью с Иваном Дмитриевичем. И то ли проход был так узок и темен, то ли Иван Дмитриевич так грузен и мясист, только Петр Петрович оказался вдруг вытесненным обратно в бильярдную, а узнав при свете лампы его лицо, толстый Иван Дмитриевич сказал запросто, как знакомому:

— Ба-ба-ба! А я вас знаю!

И само внезапное появление такого крупного, добротного, ладно скроенного человека, и известие, что его, Петра Петровича, может кто-то знать, так его оgoroшило, что он не нашелся что ответить.

В накуренной комнате били по шарам, а Петр Петрович и Иван Дмитриевич уже улыбались друг другу.

— Я, это, собственно, хотел... — сказал Петр Петрович краснея и огибая стороной Ивана Дмитриевича. — Это... я...

— А это я! — ответил Иван Дмитриевич, протягивая свою очень мягкую ладонь, широкую и горячую.

— А это... вы... — проговорил вконец потерявшийся Петр Петрович.

— Повеюем? — спросил Иван Дмитриевич.

— Это как? — не понял Петр Петрович.

И тут же, при общем внимании, ему был вложен кий в руки, и он на потеху всей бильярдной братии ткнул им в шар впервые в жизни. Иван Дмитриевич одобрительно промывчал, следя глазами за бегущим шаром, написал мелком виньетку на большом пальце левой руки и с тяжелой грацией взмахнул локтем. Его шар прокатился как гром по ясному небу, и состязание началось. Так — помнил Петр Петрович — началось посвящение его в товарищество игроков.

Через полчаса, когда-то одинокий во всем мире, а теперь разгоряченный азартом и счастливейший из людей, Петр Петрович топтался вокруг бильярдного стола и, неловко, врозь расставляя локотки, бросал отрывисто и резко:

— Свой в левый угол! — и, приседая, бил в шар. — Вот так! — повторял он, запирая дыхание, и замирал в полуприседе, пока шар не обегал все борта и не останавливался, крутясь, где-нибудь в уголку.

— А мы вот так! — отвечал ему Иван Дмитриевич и удачным карамболом, вздернув кверху плечо, вгонял с маху «чужого» в лузу.

— Как это вы его ловко! Ишь, карман-то оттопырил, тяжелый, дьявол, — говорил Петр Петрович, добывая шар в руки и устанавливая на полочку.

Шары Ивана Дмитриевича Петр Петрович пересчитывал с особенным удовольствием, двигал и носил осторожно, как свежие птичьи яйца. И все-таки Ивану Дмитриевичу было скучновато с вечно проигрывавшим Петром Петровичем, и поэтому он предпочитал играть вчетвером. И нужно было видеть, как тогда при каждом новом влетевшем в лузу шаре Петр Петрович восхищенно вскидывал руки, с каким уважением глядел на Ивана Дмитриевича, с каким конфузом за себя, за свое жалкое существо, тер пальцем углы, о которые ударялись его шары. И ясно тогда становилось видно, что Петр Петрович болеет вовсе не за себя, а за Ивана Дмитриевича, хоть тот и без того очень ловко, с плеча впечатывал шары один за другим в лузы так, что за показ можно было деньги брать.

Тем же вечером Петр Петрович впервые за много лет отомкнул дверь своей квартиры с улыбкой на лице. Перед глазами все еще стоял добрейший Иван Дмитриевич и то и дело оживали, бегали веселые шары, крепко хлопая друг о друга и широко раскатываясь по зеленому стертому сукну.

«Очень, очень хороший человек, — думал Петр Петрович об Иване Дмитриевиче утром следующего дня, — серьезнейший, добрейший человек...»

И он опять снимал и протирал перед зеркалом платочком очки, и все лицо его казалось в это время еще милей, и проще, и радостней.

И они опять играли. Играли и на следующий день, и Петр Петрович уже с нетерпением ожидал, когда наконец в бильярдной покажется ослепительная фигура Ивана Дмитриевича.

Петр Петрович приходил намного раньше, приходил он заранее с удивительной охотой поговорить. Он ждал и не мог дожидаться Ивана Дмитриевича. Он хотел слышать его низкий тембровый голос, хотел видеть его крупные, круглые, развернутые плечи и ладно посаженную, плоскую от плечи, лобастую голову. Голову Иван Дмитриевич носил как-то особенно, гордо: чуть-чуть назад и сызбоку. Умело носил. И все это: и свое уважение к Ивану Дмитриевичу, неизвестно откуда и как взявшееся, и свою расположенность к бильярду Петр Петрович чувствовал ясно. Случались теперь дни, когда часами напролет Петр Петрович гадал, что бы такое придумать, чтобы еще ближе расположить к себе Ивана Дмитриевича. В жизни его теперь появилась как бы тонкая струна, звонкая, поддерживающая его существование. Часами отыскивал он темы для будущих бесед. Находил и

подхватывал интересные случаи и анекдоты, такие, чтобы они уже сами по себе подразумевали в нем, Петре Петровиче, ум и чувство юмора. Когда же темы для разговора не находилось, он тщательно осмысливал, что по логике вещей может увлечь Ивана Дмитриевича, и шел еще дальше: старался предугадать весь их разговор, диалог, сцены. И всякий день теперь до встречи Петр Петрович бывал радостен и счастливо взволнован. Он перестал останавливаться перед стеной своего дома и любоваться светом заката, а проходил мимо поспешно, теперь он был занятый человек, теперь он вечно спешил: нужно было сделать то-то и то-то скорей, как можно скорей, и румяная как яблочко продавщица от души смеялась, когда Петр Петрович путал персиковое варенье с майонезом «провансаль».

А потом — бильярд.

И все-таки он продолжал казаться себе мелким, маленьким и неуместным, даже смешным в сравнении с крупным и величественным Иваном Дмитриевичем.

— А погода на дворе чудесная, по заказу! — говорил Петр Петрович, потирая руки и мелко, ненатурально смеясь. И ему было стыдно, что он так лживо смеется и потирает руки. Но Иван Дмитриевич, казалось, не замечал этого.

— Не подморозило бы опять, — отвечал он сдержанным басом.

— Ой, а сколько же на улице-то?

— Двадцать два — для интересу! Ну, не начать ли нам?

И опять, как вчера, как много дней назад, крепко хлопали друг о друга шары и разбегались в разные стороны.

Первые дни было заметно, что Ивану Дмитриевичу скучновато, и тогда Петр Петрович из кожи вон лез. Он намеренно спешил, натирая мелом кий себе и Ивану Дмитриевичу, исполнял мелкие обязанности шута и маркера, пыжился прицеливаясь, потешно выдувал губы и пучил глаза. И по-прежнему часто и мелко смеялся.

Что заставляло его пасть до постыдного шутовства? Он не задумывался. Да и в этом ли дело... Просто и ему было приятно делать то, что нравилось Ивану Дмитриевичу.

— Быстро же ты делаешь успехи! — сказал ему как-то Иван Дмитриевич.

— Стараю-ся! — И это старомодное «ся» проскрипело как заискивание, и опять стало стыдно.

— А Петр Петрович-то у нас, — сказал вслух Иван Дмитриевич, принимая от него пальто, — от двух бортов бьет в середину так, что за показ деньги брать можно!

— Ну?! — притворно удивился кто-то, мельком взглядывая на Петра Петровича. — Полковник, вы куда?

— В никуда.

— Как это?

— А так: до-мой.

— И я домой, Иван Дмитриевич. Подождите, Иван Дмитриевич...

...Ночь Петр Петрович спал дурно: то ему казалось неловко оттого, что он не сказал, не успел сказать Ивану Дмитриевичу что-то очень важное, то вдруг подхватывало и согревало теплое веселье от похвалы, и в ушах стоял чей-то бархатный баритон: «Ну-у». Затем настаивал новый день, и вновь Петр Петрович тщательно отыскивал темы и фразы и мило, по-детски радовался каждой, как ему казалось, удачной находке. «А он бы мне ответил вот так... или нет, скорее вот как...» — думал он и сам бы не мог сказать, откуда бралось то веселое чувство, которое окатывало его с ног до головы. Это было что-то похожее на влюбленность, да он и не хотел вдумываться в это чувство, боясь погубить его размышлениями.

Однажды Петр Петрович, с крупным портфелем под мышкой, в белом халате, время от времени выбивавшемся из-под пальто, с какой-то излишне сосредоточенной серьезностью вошел в один из подъездов сво-

его дома. Поднялся на седьмой этаж и трижды позвонил. Пахло от Петра Петровича коллодием.

— Врач! — сказал он, вытирая ноги и так наклоняя голову, словно собирался бодаться. — Врач. Кто болен? Где больной? — И сунул в протянутые к нему руки свое коверкотовое пальто.

— Врач? Так-так-так... — приветствовал его знакомый голос.

Петр Петрович поднял голову. Улыбаясь, держа в руках пальто, перед ним стоял Иван Дмитриевич.

— Вот! — сказал Петр Петрович. — Это вы, Иван Дмитриевич?

— Я, Петр Петрович, как видите, живой, здоровый и даже не поцарапанный. — Он зацепил петлю пальто за крючок. — Вот так-то, будьте любезны.

— Да?

— Да!

— Однако не очень и здоровы, как я понимаю? — Петр Петрович снова протер платочком очки. И оба засмеялись: ха-ха-ха, хо-хо-хо!

Битый час Петр Петрович осматривал крупное тело своего дородного друга. Забирал в ладонь мягкую горячую кожу его живота, мял, тискал, вкладывал пальцы в ребра, утонувшие в складках жира. Постукивал по спине. Считая пульс, он неодобрительно поморщился и покрутил головой. Окидывая взглядом всю эту гору мяса, сказал:

— Знаете, Иван Дмитриевич, миленочек, ведь у вас нейроdistония и тахикардия страшная.

— Вот?! — удивился Иван Дмитриевич. — Что же мне жить-то — два понедельника? — И, подумав, добавил: — Знаете что, оставайтесь-ка у меня!

— Ну?!

— Что «ну»? Ведь я же могу умереть, вы же сами сказали.

— Я так не говорил...

— Нет, вы сказали. Сейчас вы останетесь, и будьте любезны — чай пить.

— А что, и останусь. Вы ведь у меня сегодня последний.

— Да вы и совсем оставайтесь.

— И совсем останусь...

И Петр Петрович поселился у Ивана Дмитриевича. Утром они вместе завтракали по-холостяцки: яишенкой или холодцом, но очень умеренно. Потом до пота и красноты лиц напивались чая с кренделями. И незаметно Петр Петрович перенял у Ивана Дмитриевича поговорку — «будьте любезны». Он говорил так: «Придете, и вот вам чай, будьте любезны. Нет, вдвоем не в пример жить кучерявее», или: «А вот и я, будьте любезны», «Будте любезны, Иван Дмитриевич!».

Иван Дмитриевич страдал грудной жабой. Болел он давно и неизлечимо, и Петр Петрович, принявший приглашение поселиться у него, принялся ястребом следить за здоровьем больного. Он напускал на себя неприступно-строгое выражение, разбавлял Ивану Дмитриевичу чай, горький, как пиво, и, вконец осмелев, принялся прятать папиросы и спички, чтобы тот не курил. Но Иван Дмитриевич всякий раз находил их и снова жарко раскуривал толстую папиросу, наполняя комнаты душистым дымом папирос «Аида», дым стоял и волновался на кухне от малейшего движения. Этот душистый дым везде преследовал Петра Петровича, и он, к своему тайному удовольствию, пропах им насквозь. Запах ароматного табака не давал ни на минуту забыть о том, что у него есть друг, а значит, и семья, потому что друг был по-настоящему добрый, надежный и большой. Он помнил об этом на улице, в аптеке и дома, в парикмахерской, в бане — везде. Мирно и легко текли дни, и не было им счета.

Здоровье Ивана Дмитриевича шло на поправку.

Только раз Петр Петрович пришел немного взволнованный и сказал с виноватой улыбкой, усаживаясь за обеденный стол:

— Знаете, а меня ведь сегодня на пенсию выгнали!

— Ну! Что вы говорите! — удивился Иван Дмитриевич.

— Да, на пенсию. Теперь я свободен. Свободен, как птица в полете. Совсем, совсем... А так... жаль. А у вас есть семья?

— Есть. Дочь. То ли в Джанкое, то ли в Симферополе, а вернее — то там, то там. И писем не шлет. Вот и заводи их, детей-то...

— А я, знаете ли, всегда как-то был одинок, — тихо, точно сам себе, говорил Петр Петрович. — Всю жизнь. Так вышло. И даже не замечал, не тяготился этим своим одиночеством, пока вот вас не встретил.

За сильными очками Петра Петровича не видно было глаз, и оттого он казался Ивану Дмитриевичу безликим, вроде тех трогательных слабых людишек, каких он так часто встречал за свою жизнь.

— Да-да. Знаю это. Это что-то вроде веры в Бога. Потому-то, может быть, среди одиноких чаще всего встречаются верующие...

— Именно. И еще. Больше всего это присуще, извините, женщинам. Но они ищут опоры в замужестве, а это — другое... Вот вы спрашиваете, почему я не был женат. Именно по этой причине: какая, позвольте спросить, из меня опора? Да мне ее хоть самому подавай, да где взять-то?

— Ищут поддержки.

— Да уж, поддержки. А женись я? Разве мог бы я стать поддержкой? Нет-нет...

И опять летели дни, и теперь Петр Петрович поднимался в свою комнату только лишь для того, чтобы поменять что-нибудь из одежды. Так он поменял демисезонное пальто на пиджак, потому что наступило лето, и, прихватив кое-какие книги, спешил скорее, скорее выйти вон. Эти вынужденные возвращения к себе, в свой гардероб, превратились для него в пытку. Слишком много дней, пустых и желтых, провел он в этих четырех стенах, и теперь с неподдельной радостью спускался он и спешил, спешил к Ивану Дмитриевичу, подальше от своего затхлого жилья, пропахшего чем-то стоялым, душным, сыростью начавших уже плесневеть обоев и падающей штукатурки. Он спешил и шептал на ходу в такт шагам:

— Покой, покой, покойник... Покой, покой, покойник...

Он бежал из своих «покоев» к Ивану Дмитриевичу, торопился к его ароматному табачному дыму, к его грубому говору, шумной одышке; и потом из передней с удовольствием слушал притаясь, как Иван Дмитриевич опять и опять говорил сам о себе в третьем лице:

— Иди, генерал! — Или: — Ешь, генерал! — Или: — Вот включу свет (и включал), занавешу шторы (и занавешивал) и лягу спать...

И так во всем.

После таких вынужденных возвращений в свою комнатушку Петр Петрович особенно остро и радостно сознавал, что он *живет*. И ему хотелось жить. Да-да, жить, вот так просто и радостно, долго, тысячи лет. Со времени ухода на пенсию он почти не расставался с Иваном Дмитриевичем.

В одно из воскресений, в полднень, Петр Петрович по привычке отпер дверь Ивана Дмитриевича своим ключом, отпер, вошел в квартиру, а Ивана Дмитриевича не было. Не было Ивана Дмитриевича и к вечеру, и к следующей ночи. И на следующий день тоже не было. Удивление Петра Петровича сменилось испугом и, наконец, все возрастающей тоской.

Протолкавшись сутки в толчее больниц, вокзалов и милиций, он глож от звонков, треска, скрежета и движения толпы. Петр Петрович вконец отупел, очумел и то и дело принимался дрожать, точно от мороза. Дома он не раздеваясь опустился в кресло и затих, задрожал плечами, заплакал навзрыд. Он плакал долго, безутешно, горько и сладостно, сотрясаясь плечами, тряся сухой породистой головой и разводя руками, да так и уснул вьсь в слезах. А очнувшись внезапно оттого, что весело и чудесно затрещал вдруг в прихожей звонок и кто-то знакомо крикнул. Сердце Петра Петровича встрепенулось, прыгнуло, и он перевел взгляд с окна на дверь. Звонок повторился, когда он уже с бьющимся сердцем и дрожащими руками, улыба-

ясь сквозь слезы, распахивал дверь. Против него стоял почтальон, весь черный, как цыган или трубочист, в черном же костюме, с черными волосами и черными, врозь поставленными, словно с чужого лица, глазами. Он молча протянул телеграмму и дал Петру Петровичу распечатать в потрепанной книжечке, которую Петр Петрович так же молча подмахнул, и вцепился взглядом в телеграмму... Трепетной рукой сорвал он бумажную ленточку и, задержав дыхание, переводил глаза со строчки на строчку: «Срочно выезжаю дочери». Адрес указывал: Мелитополь, проездом.

Все...

Слова, которые он прочел, были будто сказаны голосом Ивана Дмитриевича.

Комната еще хранила тот уютный беспорядок, который всюду оставлял после себя Иван Дмитриевич. Там и сям лежали его недочитанные газеты, вещи как будто хранили запах его ароматного табака, приходящая — его бас. Точно он гудел еще, тот грудной тембр: «Будте любезны...» А сам он?.. Где он был сам? Отъезжал от какого-то чужого Симферополя, белокаменного, со шпилем башни вокзала, далекого, жаркого, ненужного.

Петр Петрович ничего не хотел знать, он знал только то, что он стал один, совсем один. Даже больше чем один, потому что когда не было никого, то совсем не хотелось верить в то, что кто-то и где-то живет полной грудью, весело и счастливо. «А как же одиноким-то жить? А как же?..»

Он встал и стал быстро-быстро писать письмо. Рука дрожала и торопилась, словно была не своя, а чужая. Петр Петрович несколько раз рвал то, что писал, и пихал в разные карманы пиджака и брюк. И когда письмо наконец было готово, Петр Петрович прочитал его вполслуха и не сдержал грустной улыбки: письмо получилось такое, какое нужно, строгое, ласковое и убедительное. Все в нем сводилось к одному: «Возвращайся». Петр Петрович слабо улыбнулся, когда представил, с каким удивлением будет читать это письмо Иван Дмитриевич, как округлятся его глаза, затем разойдутся в улыбке щеки, растянется рот и, наконец, он погладит себя по плечи, как он делал всегда, когда волновался.

До самого почтамта Петр Петрович не спускал с лица улыбки. Он почти не сомневался теперь, что Иван Дмитриевич вернется, непременно вернется, уж теперь-то наверняка.

— С уведомлением, — сказал Петр Петрович, протягивая конверт, и только тут вспомнил, что не знает адреса.

«Мелитополь, — стучало в голове, — Мелитополь!» Струна, поддерживавшая его существование, лопнула.

В одну минуту он перестал видеть и слышать. Он видел только широкий пустой зал почтамта, насквозь пропитанный теплым сквознячком калориферов.

Два дня он не спал, не ел. На третий его видели в бильярдной с трясущимися руками и сиротским лицом. Он сидел в уголке и смотрел из-под сильных очков на входную дверь, смотрел неотрывно. Чудилось ему, что вот-вот войдет Иван Дмитриевич, гордо неся впереди себя брюшко, и скажет громко:

— Во, задержался... А в Мелитополе-то тридцать два — для интересу!

Хлопнула дверь, Петр Петрович вздрогнул. Вошел незнакомый, и Петр Петрович ясно понял вдруг, что не помнит отчетливо Ивана Дмитриевича и не может представить теперь его таким, каким видел много-много раз. Он помнил голос, помнил его шинель, и больше ничего. И когда пытался представить себе Ивана Дмитриевича, то получалось, что разговаривал с его широкой спиной, и чтобы вернуть в память Ивана Дмитриевича, Петр Петрович вернулся в его квартиру, влез в его шинель и прошелся в ней туда-сюда, время от времени заглядывая в зеркало, но так как он при этом очень волновался, то так и не воскресил Ивана Дмитриевича в памяти. Он повторял его жесты, походку, движения рук и голос:

— Ходи, генерал! Хм-м, ма-ма-м... Ешь, генерал. Гм-хрр. Смотри, генерал... Нет, не то, совсем не то! Ходи, генерал, будьте любезны!

Захотелось покашлять, и он покашлял — и вздрогнул, так сухо и непривычно отозвался его кашель в пустых комнатах... Потом снял очки и долго-долго протирал их платочком, то очки, то глаза.

В городе Мелитополь появился сумасшедший. Это был будто бы худенький, слабый человек, старый и седенький, с высоко подрезанными височками. И выглядел он нелепо: маленький, в широченной, с чужого плеча, шинели, с тремя крупными звездами на погонах. Пуговицы этой шинели будто бы взялись от времени и влаги зеленой ярью.

Но больше всего удивляло то, что в руках он носил... кий. Обычный кий, но носил он его осторожно — как носят заряженное ружье. Почему кий? Зачем кий, а не какой-нибудь посох или трость? Этого никто не знал.

Человек этот останавливал прохожих и извиняясь приподнимал шляпу. Затем доставал из-за пазухи сложенный вчетверо лист телеграммы и, водя по ней пальцем, спрашивал, не видел ли кто некоего Ивана Дмитриевича Кошепьяна...

— Такой плечистый, видный мужчина. Такой... Его трудно не заметить, и лицо у него такое, такое... И одышка еще вот так: хх-о... — И маленький смешной человек показывал, как дышит воображаемый Иван Дмитриевич...

Прохожие спешили от него не оглядываясь.

Однако он все же оказался в психиатрической клинике и был тщательно и придирчиво выслушан и выпущен со строгим наказом одеться прилично и вести себя с достоинством, как подобает нормальному человеку, а тем более в прошлом — врачу.

— Иди, иди, — сказала ему кастелянша, — иди, Кошепьян! — И проводила его до дверей. — Ишь, хрущ какой, а еще седой, чучело! — И поспешно, с оглядкой скрылась за простенком коридора.

В этот день ярко светило по-осеннему холодное солнце и было зябко. То ли от этой текущей мимо людской толпы, то ли от высокого негреющего солнца, но маленький седенький человек в шинели поежился. Трещали трамваи. По-прежнему подходили поезда к вокзалу, сменяли друг друга автобусы на остановках, выплескивая на площадь и тротуары толпы народа. И шел, шел этот народ куда-то в молчаливой спешке, спешке на месте. Старухи торговали помидорами, грецкими орехами. Хлопали и переходили из рук в руки двери магазинов. Толпа шла молчаливо и нестройно, как разбитая армия. И эта страшная свобода среди множества безликих существ, когда можно бормотать что хочешь, показывать язык, декламировать стихи, и никто не услышит, не придаст этому значения; можно строить рожи, прыгать на одной ноге или топтать ногами, — эта странная и страшная свобода уже не поражала Петра Петровича. Это самое изумительное из одиночеств — одиночество в толпе. Кажется, что толпа не идет, а плывет над землей, поталкивает плечами, раскрывает, расталкивает перед тобой проспекты, заставляет видеть то, что видит она: те же проспекты, аншлаги, вывески и объявления. Читать те же газеты, что и она. Братъ от тебя часть твоей жизни, и топить ее в общем котле, и терпеть и спокойно мириться со всем тем, что тебе открывают и показывают. И это ощущение одинокой общности со всеми вдруг совершенно излечило маленького седенького человечка в роговых очках. И толпа великодушно приняла его, медленно, шаг за шагом спустила с крыльца, наступая на волочащуюся по ступеням шинель... Толпа скрыла и потопила его, и никто не замечал странного вида этого маленького человека, ни букового кия в его руках, ни измученного, бледного, растерянного лица. Лишь психиатр, тот самый врач, что четыре часа беседовал с ним, глядел теперь ему вслед из окна своего кабинета. Но и его внимание отвлекла вялая осенняя муха, долго выбиравшая, куда бы ей сесть на подоконнике. Психиатр без труда раздавил ее пальцем, а когда поднял голову, то



уже не смог различить своего недавнего пациента в десятках других людей, спящих взад и вперед.

Голова Петра Петровича скрылась за другими головами, а плечи широкой шинели потонули за другими плечами.

Вот уже и совсем его не стало видно. Теперь уже навсегда.

---

## АЛЕКСАНДР ГАНКИН



### БИН ХАЕР

«Пискарев приехал! Пискарев приехал!» — впереди гостя как на крыльях неся гулкий радостный клич, и вся анфилада просторной саюшевской квартиры наполнялась конвульсивно-деятельным весельем: раздвигались столы, набрасывалась цветастая скатерть с хвостами, пеклись пироги, откупоривались бутылки, и сам Володя Пискарев — тощий, в пламенно-рыжей бороде, однако без фаланги безымянного, откушенной рысью, хлопнув с устатку графинчик, пел под гитару и вспоминал что-то дурашливо-лесное, а потом сажал себе на колени Леночку и тормозил ее, строя «козу», и, корча гримасы, непременно напяливал на нее какую-нибудь таежную диковину вроде кухлянки, которая ей дьявольски шла, а родители девчушки, похохатывая и перемигиваясь, отстукивали в такт с детства знакомое:

— Тили-тили тесто, тили-тили тесто...

Почему жених, почему невеста? А потому что оба холосты и, по мнению родителей, очень подходят друг другу. Положительный, но весьма заводной Пискарев — душа компании, и нежная, как мартовская капель, красотка Леночка.

Конечно, родители слегка лукавили, не без того. Леночке пять, а Пискареву тридцать четыре, Леночке девять, Пискареву тридцать восемь, Леночке шестнадцать, а Пискареву... Именно в пискаревские сорок пять Леночка так егзила и проказничала, так подпрыгивала, как подпрыгивают на новом диване, пробуя твердость пружин, что Пискарев вдруг поскущел, заалел с ушей и бережно снял Леночку Саюшеву с колен. Все, выросла детка, опушилась.

Почему Леночка не замужем, ясно — молода. А Пискареву некогда: вечно рыщет по огромной, распластанной по глобусу стране и всегда что-то находит: в Саянах — золото, на Курилах — газ и алмазы на дне Телецкого озера. Или наоборот: на Курилах золото, в Саянах алмазы и на дне — природный газ.

Родители день и ночь готовы слушать пискаревские рассказы о дальних приключениях. Мощный заряд необходимых эмоций, счастье сенсационных открытий. К тому же Пискарев действовал на них как успокоительное.

— Ужас, — трепетали они, — нефти в сибирских недрах осталось на пять лет!

— Лабуда! — Пискарев прихлебывал домашнюю наливочку, заедая парной телятиной. — На днях нефть нашли аккуратно под Иркутском. Выливается на поверхность, качай — не хочу!

— А с природой как? — не сиделось родителям на месте. — Сказывают, леса свели, вырубили подчистую...

— До настоящего бука и кедра никто пока не добрался, — Пискарев хитро ковырял в зубах вилкой, — кроме меня. Чудовищный массив, три тыщи верст высокосортовой древесины...

У него была своя теория постоянного воспроизводства природных ресурсов, подтвержденная многолетней практикой. Природа не терпит пустоты, и в уже выработанных пластах он нередко обнаруживал свежие жилы, руды и залежи. Например, выкачают нефть — и тут же образуется уголь в свободном слое. Выберут железо — глядь, и года не пройдет, как образуется самородная медь или сера...

Леночкины родители были люди сугубо прозаические: мамочка хлопотала по гостиничному делу, папочка служил в здравоохранительных органах, но основные деньги делал на другом. На чем — даже мамочка была не в курсе...

Свой дом Пискарев так и не устроил, и в прогале между экспедициями он, по обоюдной договоренности, столовался у Саюшевых, где его отмывали и откармливали и билеты доставали в цирк, в консерваторию, вместе, разумеется, с Леночкой. В цирке он искренне гоготал, глядя на мечущихся акробатов, а на Бетховене бурно переживал: музыка напоминала о свищущем ветре, горных ручьях, реве раненого зверя...

Несмотря на разницу в годах, пискаревская кандидатура в женихи для Леночки обсуждалась вполне серьезно. С его помощью надеялись вытащить дочь из моральной ямы, куда она скатилась вследствие резкого физического повзреления на фоне крайнего инфантилизма и неразвитости сознания.

— А не превратилась ли наша Леночка в заурядную валютную курву? — риторически вопрошал папочка, с тревогой всматриваясь в ее жизнь, насыщенную людьми, вещами и событиями: броские, кричащие наряды, умопомрачительная косметика, шуба из опоссума, тампаксы, рубиновое кольцо... Частые отлучки и поздние возвращения: на цыпочках, тайком, — и сразу в ванну. Долго еще висит не рассеиваясь драгоценный шлейф запахов — вин и французских духов. Наконец, поклонники — как на подбор дюжие коренастые мужчины с посеребренными баками, в малиновых пиджаках.

— Может, она унаследовала твою предприимчивость и всего хочет добиться самостоятельно? — робко надеялась мамочка и вздохнула: — Все это она могла получить и от нас.

Истина, как это бывает, лежала и далеко и близко. Леночка, в совершенстве владевшая разными оральными фокусами, оставалась, по ее святому убеждению, девственницей. Она хранила себя для будущего супруга. Где-то она слышала, что для некоторых мужчин это чрезвычайно важно — чистота и невинность, невинность и чистота.

До поры клиенты довольствовались малым кругом наслаждений. Глупышка, она полагала, что всегда сможет контролировать ситуацию. И просчиталась: очередной друг, усмотрев в ее наивности голый цинизм, употребил Леночку самым вульгарным способом. В то место, которое изначально положено матерью-природой.

Это было страшное потрясение. Леночка сутки не вылезала из ванны, вода текла и текла. Папочка с мамочкой кляли себя за дурную воспитательную работу, отныне уповая только на телефон доверия. Отрыдаввшись, Леночка кинулась Пискареву на шею:

— Дядя Володя, возьми меня с собой, в поле!

Он стал ее отговаривать:

— Тебе будет холодно и неинтересно.

— Пусть холодно, пусть неинтересно! — заупрямилась Леночка. — Зато никто не обманет.

— Это, конечно, так, — вынужденно согласился Пискарев. — А что скажут родители?

Папочка был суров и краток, оттого что волновался:

— Мы тебе доверяем... во всем!

— Ты уж позаботься о ней, ладно? — Мамочка утерла мокрые глаза. — Такая непоседа!

Через неделю воздушная букашка высадила их в тундре. Пискарев — одинокий волк — не любил толкотни: привык все делать сам и отвечать сам. Ему позволялось — победителей не судят. Кроме него — начальника и Леночки в отряде было еще двое — бело-мучной прибалт Тауткус и угрюмый пятидесятилетний мужик, пивший и евший из отдельной посуды, — сектант по имени Хрисанф. Тауткус, отмотав срок, в тундре остался сознательно — «чтоб не мочить всех подряд». По заданию Пискарева он бурил в мерзлоте лунки, закладывая туда взрывчатку. Протягивал шнур, поджигал, а сам несся сломя голову до ближайшей канавы. Пискарев в бинокль наблюдал за его манипуляциями. Наконец с грохотом сотрясалась земля, и буквально через мгновение падал ничком Пискарев: он рисковал, но было очень важно узреть момент взрыва. Скоро он приходил в себя, спичкой прочищал уши, брал разворошенную породу, мял, капал кислотой, даже пробовал на вкус. Тауткус материл его на родном языке, Пискарев лишь улыбался. Еще Тауткус говорил, что ремесло взрывника обязательно пригодится ему на родине, в Биржее, когда народ подымется...

Хрисанф в отряде делал «черновую» работу. Ставил палатки, добывал дрова и ветки для костра, таскал на горбу оборудование, рюкзаки с образцами, Пискарева, когда тот подвертывал лодыжку — «привычный вывих».

Он знал наизусть звериные следы и по их расположению, рисунку мог догадаться о чем угодно — близость воды, вероятность стихийных бедствий — пожара или землетрясения; однажды в кабаньих экскрементах обнаружил натуральные золотишки... Леночку в глаза и заглазно он величал не иначе как «сосудом греха». Особенно поразили его две вещи: как убежденного трезвенника — та лихость, с которой она выдувала жестяную кружку спирта, а также пилочка для ногтей — постоянно полировала их, чтобы всегда быть в форме.

Все бы ничего, но Леночке целыми днями приходилось закрываться от мошки накомарником, словно паранджой. Прятать лицо — так неестественно, странно... Для житья ей выделили отдельную палатку. На третью ночь мощный водяной вихрь, молотивший пудовыми кулаками по брезентовой крыше, разбудил ее. Дрожа от испуга, она на животе вползла в соседнюю палатку, где мирно почивал Пискарев. Ровно дыша, — морщинки разгладились, и он улыбался, как мальчик, одними углами рта. Леночка трепетно прикинула к нему, стараясь зарядиться его безмятежностью.

А Пискареву снился завтрашний суматошный день. Он помогал Хрисанфу настраивать теодолит и Тауткуса привычно бранил за нерасторопность. Внезапно другая, внешняя помеха начала здорово досаждать ему, но какая именно — объяснить не мог; и он продолжал распекать Тауткуса с уже неадекватной злостью. Чтобы погасить гнев, Пискарев решил окунуться в крошечном бочажке с кристально чистой, ледяной водой — беспечно гуляла форель, пуская зайчики чешуйчатými боками... Путь пролегал сквозь еловый подрост — по-молодому зеленый и нежный. Пискарев разделся; качаясь, невинные хрупкие веточки шекотали где попало. Абсолютно новое, неизведанное прежде чувство охватило его, — он продрал глаза, взгляделся в палаточный полумрак. Леночка, зарывшись в него лицом на уровне бедра, сосредоточенно тянула и вытягивала нечто, будто кисель из кастрюли.

— Что ты делаешь?! — воскликнул он стесненным шепотом.

В ответ Леночка урчала, как сытая кошка, блаженно выгнув спину. Она старалась раствориться в нем без остатка, и Пискарев почувствовал известное уважение к ее усилиям.

С этой ночи Леночка переселилась в его палатку. Хрисанф плевался с остервенением, а Тауткус при встрече правым указательным тыкал в символическое кольцо, замкнутое большим и указательным левой кисти...

— А фигляж?! — гоношила Леночка, дразнясь извилистым длинным красноватым, как кровь, язычком.

Вообще-то Леночка принесла экспедиции удачу, это признавал даже неистовый ригорист Хрисанф. Дня не проходило без открытий — цинк, золото, кладбище оленьих рогов, каменные натеки мумиё. Из тундры они спустились в тайгу, миновали лиственные леса, постепенно подбираясь к степи. Шли сплошной ненаселенкой, и Леночка радостно дичала — не красилась и не подмывалась неделями... Помимо рабочих успехов жизнь баловала их охотничьими трофеями: Хрисанф промышлял без особого разбора — хоть белке в глаз с тридцати шагов, хоть косолапому лом в брюхо... А живодер Тауткус запросто мог освежевать любую тушу.

Была у Пискарева мечта — отыскать принципиально новую цивилизацию, не йеху или пришельцев — их он навиделся достаточно, — а густонаселенные города с хорошо налаженным бытом, величественными культовыми сооружениями, собственным астрономическим календарем — как у инков или майя... Хрисанф мрачно пророчил, что рано или поздно нарвутся они на сатану, а Тауткусу на все было начхать, ему бы почифрить, а потом напукаться вволю, не стесняясь Леночкиным присутствием.

— А ты думала, экспедиция! — нагло скалился он.

Однако именно Тауткус набрел на *это* в знойной полуденной степи между каменной скифской бабой и останками некогда разбившегося здесь самолета.

— Там такое, такое!.. — волновался обычно флегматичный Тауткус.

Без образа, вкуса, цвета и формы. Всякое его действие, не успев полностью выразиться, тотчас уничтожалось противоположным: *это* колебалось, текло, пузырилось, молчало. Было и не было, покоилось и двигалось. Не имея свойств, присущих определенной субстанции, *это* обладало именем.

— *Бин хаер!* — заплакал Пискарев в избытке чувств. — Венец всех поисков: Атлантиды, янтарной комнаты, библиотеки Ивана Грозного... — Он никак не мог унять слез. — Учитель мой, Бигос Ефрем Залманович, предупреждал: найдешь *бин хаер* — все, амба, сворачивай экспедицию. Это тебе и панacea, и философский камень. Грустно, торжественно... Запиши-ка в дневник, — обернулся он к Леночке, — время и координаты.

— С-шас урезоним гадину! — Хрисанф вдруг сорвал карабин с плеча, прицелился и дважды выстрелил. А *бин хаеру* хоть бы хны, так же светится и не светится... Хрисанф упал на колени и начал горячо молиться.

— Отбродяжил я, — понял про себя Пискарев, — откочевал. Придется жизнь устраивать заново; выходи-ка, Леночка, за меня замуж.

— Лады, — без запинки отреагировала Леночка, — только я хочу материнского благословения...

— Тыфу ты, Господи! — возмутился Хрисанф, подымаясь с колен. — Ее замуж берут, а она кобенится, сверленая-пересверленая!

— Хорошая жена выйдет, — усмехнулся Тауткус, — с толстым животом, блины будет печь.

Вечером была помолвка. Здорово выпили, а потом молодые отправились в палатку.

— Представь себе, будто мы — в первый раз! — страстно дышала Леночка.

— Уже представил, — подчинился ей благодарный Пискарев.

— А теперь давай — туда, — настаивала Леночка, теряя голову.

— Но, Леночка...

— Нет, дядя Володя, — туда! — И заклекотала, заклохтала девичью песню.

...Очнулся Пискарев, словно его за ухо дернули, — брачная ночь далеко еще не кончилась. Леночки не было, как не было и Тауткуса, — только привязанный к дереву Хрисанф с тряпкой в ощеренном рту.

Вытащил Пискарев кляп, а Хрисанф оправдывается:

— Увел невесту змеей балтийский, я хотел помешать, да не мог, сзади подкрался, тюкнул кайлом по затылку...

— Ну, значит, судьба. — Пискарев распустил веревки. — А *бин хаер* как?

— Ты на степь взгляни! — с восторгом вскричал Хрисанф. — На степь-матушку, ишь занялась!

И вправду вся бескрайняя степь до горизонта фосфоресцировала в этот предрассветный час, переливаясь миллиардами искр, и у самого ее предела прямо на небо заползали две гигантские, карикатурно удлинённые тени.

— Будет им *бин хаер!* — Хрисанф угрожающе потянулся за карабином.

---

## МАРИНА ФИЛАТОВА



### МАМА

Не лукавьте, не лукавьте,  
Ваша шутка не нова.  
Ах, оставьте, ах, оставьте,  
Все слова, слова, слова...

С утра на веранде открывали окна, и в ясные, безветренные дни голос был слышен в саду и на проселочной дороге за садом. Иногда в песню вступал баритон, пели уже вдвоем, но женский голос звучал сильнее, вырывался из дуэта, и баритон вскоре умолкал. Пение становилось веселее, куплеты сменялись припевами и повторялись по многу раз. Детский плач уводил пение в глубь дома, оно затихало и скоро возвращалось на веранду. Вечерами по дороге гуляли отдыхающие и, прислушиваясь, обычно говорили: «На крайней даче опять поют».

Крайняя дача была большим деревянным домом с почерневшими березами у широкого шаткого крыльца. Когда березы облетали, пение затихало надолго, а ближе к лету голос вновь слышался в саду и на проселочной дороге.

Пела мама. Подходили к дому дачники, долго аплодировали и вызывали маму на бис. Она смеялась, спускалась с веранды и продолжала сольный концерт, прислонившись к старой березе. Похожие на маму девочка и мальчик садились на крыльцо послушать пение. От неумных детских ног крыльцо скрипело, но скрип терялся в звуках маминого голоса и нисколько не мешал исполнению. Из сада отец рисовал поющую маму, березы и детей на крыльце.

Половиной своих окон дом выходил на овраг, за которым поднимался и год от года креп новый белоствольный лесок. На восходе разливался в том месте неувомимого цвета туман, заставлявший отца затемно собирать на этюды. К завтраку он возвращался с новыми кусочками неба или фрагментом дерева с каким-нибудь изломанным стволом. Тумана не было. Смятые и разорванные отцом на тысячи клочков фиолетовые, серо-розовые, лиловые листы шуршали по веранде. Отец поднимался в мансарду, где стоял большой холст в зажимах академического мольберта. Деревья, обрывки небес и облаков перескакивали порой на большой холст, но так и не заполняли полотна главной картины.

Когда отец затворялся в мастерской, мама старалась петь потише, погрустнее. Народная русская песня, как казалось маме, сохраняла покой в доме. Мама увлекалась, сама страдала от несчастной, неразделенной любви, начинала петь громче, с большим чувством. Сверху стучал отец, приглашая маму помолчать. Мама не слышала и шла к финалу.

Утренний вокал часто заканчивался отъездом отца в город, мамыными слезами, вздохами, многодневной тишиной. Покаянный ночной звонок нарушал покой в доме. Отец возвращался хмурый, запырался надолго в мастерской, пробуя писать туман. Мама насвистывала что-то новенькое, созывая всех обедать. Семья обступала стол, на котором под вышитой мамой салфеткой стоял «секрет». Дети просили отца побыстрее открыть, открыть «секрет». Любимая отцовская кулебяка заставляла всех ахнуть и забыть о недавних огорчениях.

За чаем мама пробовала голос и, робко кашлянув, пару раз заводила что-нибудь радостное, легкое. Пение продолжалось до глубокой ночи: арии уступали место романсам, романсы — частушкам, за ними следовали веселые мамыны импровизации и попури на известные эстрадные темы.

Осенним утром в доме раздался выстрел. Не стало отца. С веранды вынесли отцовское ружье, смятые нотные листы, а дачное пение осталось в картине, на которой мама, в белом платье, с цветами в волосах, улыбается после исполнения цыганского романса.

Дом заколотили, а портрет увезли на городскую квартиру. Теперь он висел в маминной комнате. Рядом, по стене, расположились златоглавые соборы, тропические фрукты на разрисованном блюде, залитые закатным солнцем переулки южных городков. Среди этих изображений портрет не потерялся.

Когда собирались гости, мама усаживала мужчин напротив своего портрета, и все отмечали, что она совсем не изменилась. Мама долго сомневалась, отнекивалась. Повзрослевшая дочь привычно брала аккорды на фортепьяно — и начиналось пение. Потом гости садились за стол, мужчины принимались ухаживать за дочерью. Мама возобновляла пение, любезничать и флиртовать становилось сложнее. Поклонники отвлекались и кушали приготовленные мамой блюда.

Расходились далеко за полночь. Если на улице было тепло, сын раскрывал окна и мама напевала вслед гостям мелодию веселого марша. Наутро музыкальная гостиная превращалась в швейную мастерскую, где мама проводила время за машинкой, в ворохе лекал и обрывках ниток.

Вся природа сосредоточилась внутри маминной комнаты. В два ствола тянулись вверх комнатные баобобы, кожистыми лепешками листьев собирая серую оконную пыльцу. Соцветия амариллисов, отпылав язычками лепестков, затухали под стульями, шкафом, под широкой маминной кроватью.

Присел на фортепьяно деревянный орел, неся на потемневших, лаковых крыльях граненые стеклянные бусы. Знаки прошлых лет — фарфоровые собачки, затвердевшие пряничные обезьянки, расписные драконы с хохолками из папье-маше сгрудились за стеклом книжной полки.

На столе вырос целый огород из ситцевых огуречных грядок, россыпи разноцветного шелкового гороха, из полосатых байковых тыкв с мятыми от воткнутых иголок и булавок боками. А в кресле мама разбила крепдешиновую клумбу — красные маки, голубые колокольчики среди декоративной зелени листьев и травы. Клумба на глазах превращалась в нарядный костюм для дочери: цвели рукава, горели карманы, по воротнику распускались нежные бутоны.

Сезонные цветы, купленные к празднику, скоро вяли и торчали по углам, превратившись в чахлые икебаны. Икебаны копились по квартире, начинали припахивать. Сын первым замечал неприятный запах и, выхватив бывший букет из вазы, с ворчанием выносил из дома.

Мама обижалась: проходили минуты, часы — дом молчал. Потом мама отступала, пробовала голос — и хриловато пела про родниковые воды русских рек или, подражая итальянскому дуэту, про счастье. За стеной дочь включала свою музыку, звуки теснили мамино пение, и она начинала грохотать стульями. Сын из комнаты кричал: «Мамуся, притихни».

Приходили к детям первые мужчина и женщина, оставались на ночь. Мама долго запирала входную дверь и раньше обычного ложилась спать, требуя тишины во всем доме.

Наутро садились завтракать. За кухонным столом их помещалось только трое. Никто четвертый не мог правильно сесть: не хватало на него стула и места за столом, и человек этот всегда подсаживался к низкому боковому шкафчику. Потом чужие люди уходили, а им на смену приходили новые.

Случались у детей и свадьбы. В комнатах светлело от ярких, многосвечовых ламп, купленных по причине торжества. За праздничным столом мама просила новую родню спеть вместе — получался целый семейный хор, в котором она непременно была первым голосом, убыстряла темп. Не всякий мог угнаться и, не в силах выдержать мамино аллегро виваче, с извинениями умолкал. Мама прощала и доводила партию до конца. После домашней наливки гости порой затягивали незнакомые песни. Мама деликатно замолкала и, опустив глаза, собирала со скатерти хлебные крошки. Чересчур долгое исполнение вдруг прерывалось на полуслове: мама, всплеснув руками, выставляла на середину стола слоеный самодельный торт. Множество мелких искусных завитков на верхнем слое складывалось в большое кремовое «Спасибо» с восклицательным знаком из шоколадной глазури. Перепачкав в маминой благодарности пальцы, гости наперебой интересовались рецептом крема. Она охотно выдавала секрет и вслух подсчитывала содержание сахара и масла.

На свадьбу мама дарила молодоженам одну и ту же картину: стог сена на фоне хмурого осеннего неба. Широкая серая рама сливалась с пространством пейзажа, и только подойдя вплотную можно было заметить, что картина совсем мала. Про унылый пейзаж скоро забывали, и он оставался висеть на привычном месте в гостиной.

В отсутствие детей мама посещала музыкальные концерты и конкурсы и приносила программки, в которых делала пометки, записывала свои впечатления. Против красивого тенора ставилась пометка «Не очень», а невзрачная на вид девушка заслуживала оценки «Браво, браво». Программки мама сохраняла и часто перебирала пожелтевшие листки с фотографиями любимых исполнителей.

Дети собирались к мамусе пообедать. После обильного маминого стола они разбредались по дому.

Смотрели на свой старый дом отвыкшими глазами. Немного больше почернели стены, ржавчина сильнее разъела гудящие в ванне трубы. Прибавилось на окнах несколько горшков с цветами. Уже трудно было дотянуться до форточки. Но мама оставалась прежней: веселой, молодой, только слегка пополневшей.

Справляли тризну по чьей-нибудь очередной любовной отставке. С грохотом открывалась духовка, туда летели противени с пирогами и ватрушками. Мама надевала новое малиновое платье, дружно шли в комнату. Отпирался обычно закрытый гардероб, где — по несколько вещей на каждой вешалке — сохранялась детская, подростковая одежда. Плечики не выдерживали груза десятилетий, обрывались, платья и костюмчики выпадали из гардероба и вновь водворялись на место. Мама доставала рубашку подходящего цвета и предлагала сыну. Помолодевший в старой одежде, сын садился за стол. Дочь доставала ноты, наигрывала парочку новых вещичек и приглашала маму спеть.

Когда мама отлучалась на кухню, включали граммофон. Она возвращалась и, послушав немного Варю Панину, начинала подпевать. Скоро Панина с граммофоном становилась лишними в этом пении; мама продолжала соло, забывала про пироги и ватрушки; чад из кухни уже проникал в музыкальную гостиную; щипало горло и глаза, и дети, закашлявшись, обрывали пение на драматическом куплете. Потом все расходились по своим прежним комнатам.

К осени у детей портилось настроение. Вспоминали дачу, березу у крыльца и по вечерам смотрели, как березы зеленеют масляной краской на домашних картинах. В осенние дни мама почти не пела. Лишь изредка, когда дети уходили из дома, устраивала небольшие вокальные вечера. Исполняла мама и мужские партии: то сатаны, то шута, то проигравшегося офицера. То перевоплощалась в веселого парикмахера и кружила по комнате, повторяя одно и то же имя.

Как-то сын вернулся домой пораньше и застал маму покоющей у закрытого пианино. «Мамуся, не надо сегодня петь», — попросил он. Мама смешалась и вышла из комнаты. Сын прошел за ней, на ходу повторяя просьбу. На кухне мама достала из шкафа блюдо с орехами: сын увлекся ими и замолчал. Но вскоре чертыхнулся: скорлупа оказалась слишком твердой и он повредил зуб. Среди кухонной утвари начали искать молоток: мама заторопилась и опрокинула на пол большую деревянную кубатку с облупившимися краями. Крышка отлетела в сторону и ударила сына по ноге. Наконец молоток был обнаружен в деревянном, раскрашенном ящике для овощей. Молоток оказался ржавым, и сын в сердцах бросил его на блюдо, оно расколосось надвое, сын подхватил обе половинки и вместе с молотком швырнул в мусорное ведро. Потом он потоптался в коридоре, собираясь на вечернюю прогулку. Мама вышла проводить и еще долго спорила с сыном о погоде и теплой одежде.

В последний день года мама старела. Дети были заняты своими делами, всегда задерживались. Мама любила подавать все горячим, свежеспеченным и ничего не делала заранее. Приняв поздравления, поговорив о том о сем, она спохватывалась, начинала готовить праздничный ужин. Был включен телевизор, и если пели арию, мама останавливалась, угадывала композитора, исполнителя и тогда шла на кухню.

Около двенадцати часов дочь сердито хлопала крышкой пианино и роняла на пол мамусины ноты. Всю ночь мама не могла уснуть, а чуть свет, потеплее одевшись, уходила из дома. Дети беспокоились, мерзли во дворе и, устав ждать, возвращались к своим занятиям. Мама приходила домой поздно и еще долго водила согнутым ключом в замке. Дети радовались и спешили забрать из ее рук тяжелые сумки. Мама приносила с собой новую книгу про животных, с обложки которой улыбались нарисованные кошки или собаки; вместе с дочерью читали несколько глав, и дочь так и засыпала с открытой книгой в руках.

К большому маминому юбилею начали готовиться еще с лета. Застеклили и перевесили дачный портрет, задвинули в другой угол стол, а программки и ноты разложили двумя кипками на гардеробе. Торжество растянулось на несколько дней. Мама много пела: в стену и дверь стучали неуслышавшие соседи — приходилось понижать голос и продолжать исполнение уже без аккомпанемента.

Газли и вновь зажигались по количеству прожитых мамой лет розовые короткие свечки на сладких кушаньях. Добавочный стол вышел за пределы гостиной и почти уперся в высокое коридорное зеркало, в котором отражался весь мамин праздник с пением и гостями. Не просто было обогнуть этот стол, и виновница торжества каждый раз просила сидящих с краю немного подвинуть мебель.

Дети преподнесли мамусе отрез шерсти в разноцветные зигзаги и ромбики. А поверх материи положили картонную открытку с изображением трех разудалых зайцев, тащивших огромную, похожую на бревно морковь с возгласом «Поздравляем маму!».

И еще придумали игру. Например, мама голосом задавала музыкальную тему, потом останавливалась и говорила: «А теперь та же мелодия в исполнении маминого сына» — или: «...в исполнении маминой дочери». И нужно было, не теряя времени, воспроизвести услышанный мотив. Сын на первых порах получал задание попроще, но все равно сбивался с ритма, фальшивил, и его заставляли повторять мелодию до правильного звучания. Когда сын выравнивался, мама усложняла тему, и в пение



включалась дочь. Она точно следовала маминому мотиву, но не любила грустных мелодий и часто просила мамусю переменить задание.. Мама сердилась, перескакивала с темы на тему, путалась, и дочь с удовольствием исправляла ошибки в ее исполнении. Скоро все темы становились знакомыми, и дети, не дожидаясь маминого приглашения, начинали петь вместе с ней.

---

## ИГОРЬ КУЗНЕЦОВ



## ПТИЦЫ НОЧИ

**М**умия, конечно же, вскоре мне приснилась. Но не в первую и даже не во вторую ночь... Она осталась столь же спокойной и неподвижной, только зеленые глаза ее из-под сморщенных век смотрели на мир с нескрываемым любопытством, вполне объяснимым, на мой взгляд.

Впервые я увидел ее в Музее, занимавшем чудом сохранившуюся боковую галерею полуразрушенного здания театра, уступами поднимавшегося от реки (точнее, к реке медленно сползавшего, ибо именно в этом и была причина разрушения огромного здания: говорили, что под ним бьют неучтенные подземные ключи, однако ключи сии били и раньше, когда на месте этом благополучно располагался монастырь с церквями, трапезной, братскими кельями, да еще и опоясанный монументальной оградой; так что причина, возможно, была в чем-то другом). Ну да это все к слову, чтобы обозначить место действия. Ведь до того дня я просто не знал о существовании в нашем городе художественного Музея, в котором среди прочих интересных вещей и картин покоилась в простом деревянном гробу самая настоящая египетская мумия.

Я купил билет за пять копеек и вошел внутрь. Она лежала почти у самого входа в окружении стеклянных шкафов, заполненных мелкими статуэтками и древними черепками. Глаза ее были, конечно, прикрыты, тончайшие ручки сложены крест-накрест на груди, но вид она имела вполне человеческий, хотя и страшноватый. Наверное, это был первый мертвый человек, которого я в своей жизни увидел.

Я так долго ходил вокруг нее, что пожилая и строгая служительница стала поглядывать на меня с подозрением, которому, как мне кажется, я не дал ни малейшего повода: мумия лежала совершенно открыто, а не под стеклом, но потрогать ее пальцем мне даже не приходило в голову. Я ею был просто очарован — именно это слово в своем первоначальном значении точнее всего определяет мое тогдашнее состояние, близкое к умилению: она просто вошла в мою жизнь навсегда, хотя тогда я об этом еще не подозревал. Как, впрочем, и о многом другом: мне было, наверное, лет десять — чудный возраст открытия мира.

Во сне мумия явилась не одна: по бокам ее изголовья сидели две крупные белые птицы с длинными клювами, лишь концы крыльев и плечи их были черными (позже я разыскал их у Брема: они оказались ибисами, но прежде я никогда их не видел). Птицы сидели молча и спокойно разглядывали меня: им было несколько удобнее, чем их мертвому властелину, моргавшему несуществующими ресницами. Я без опаски подошел ближе и склонился над ним. Птицы, явно охранявшие его покой, беспокойства не проявляли, даже более того: мне показалось, что они настроены ко мне вполне дружелюбно. Человек глядел на меня своими зелеными глаза-

ми и больше не моргал. Похоже, он хотел, чтоб я помог ему привстать. Я осторожно коснулся плеч мумии и стал ее приподнимать: иссохшие мускулы напряглись, и он сел. Руки на груди остались неподвижны, но голову он повернул сначала в одну, потом в другую сторону, после чего очень вежливо мне кивнул. Я ответил ему тем же. Птицы переглянулись. Хотя чего они, собственно, от меня хотели? Говорить египтянин даже не пытался — то ли он не знал, на каком языке со мной объясниться, то ли это не входило в его планы или же возможности. Но, казалось, он получал удовольствие от того, что сидит, глаза его на абсолютно неподвижном лице прямо-таки светились. Во взаимном лицезнении прошло какое-то время. Потом он посмотрел еще несколько раз по сторонам — а надо сказать, что мы находились в слабо освещенном помещении без окон, напоминавшем мою собственную комнату, — и выразил явное желание прилечь. Что я и помог ему сделать. Он закрыл глаза, и все окружающее сразу погрузилось в темноту, как будто бы глаза закрыл не он, а я сам.

Стоит ли говорить о том, что на следующий день я вновь оказался в Музее. Что я ожидал там увидеть? Все, конечно же, было по-прежнему, только служительница встретила меня с едва скрытой улыбкой; мне даже показалось, что она меня ждала. Впрочем, кое-что все-таки было не так. Сквозь небольшое окно, находившееся шагах в трех от изголовья мумии и прежде задернутое плотной шторой, пробивалось солнце и освещало ее лицо. Но это лишь портило впечатление: тени при столь ярком освещении обозначились четче и резче, отчего лицо казалось совсем неживым, ненастоящим, напоминало страшную африканскую маску из черного дерева. Позже штора на этом окне никогда больше не открывалась, хотя я и не рискну предположить, что служительница слышала мои мысли.

Изредка, не надоедая, он вновь появлялся в моих снах. И все повторялось. Видимо, после тысячелетий неподвижности его вполне удовлетворял минимум движений и обзора. Обстановка каждый раз немного менялась. То есть птицы присутствовали всегда, но тесные стены первого сна отступали все дальше, а едва заметный прежде зеленоватый свет становился ярче и сиятельнее, что ли. Как-то стены вообще исчезли, и мы очутились в бескрайней песчаной пустыне, отличие которой от обычной Сахары, например, было в том, что все, то есть песок и небо, оказалось не желтым и голубым, а зеленым. Причем это выглядело столь естественно, что, проснувшись и разглядев за окном утреннюю голубизну, я был немало озадачен поначалу.

Эти посещения продолжались до тех пор, пока Музей не переехал в новое здание; боковую галерею, где он раньше находился, разрушили, начав растянувшуюся потом на много лет реконструкцию сползающего театра. Теперь мумия вместе с экспонатами разместилась на втором этаже бывшего коммерческого училища, но общение наше стало односторонним: только я приходил к ней в гости. Зато ибисы поселились под крышей театра. Откуда я это узнал? Я обнаружил их гнезда.

Дело в том, что мы с друзьями избрали театр для своих путешествий. Холодок страха казался острой приправой к чувству необычайной свободы, возникавшему во время прогулок по перекрытиям над темной бездной пустынного зала. Некоторые двери вели в никуда, то есть в эту самую бездну. Однажды разумное ощущение реальности настолько оставило меня, что под крышу я полез в полном одиночестве. Забравшись наверх, я испытал мгновение почти животного страха, но не столько от высоты, сколько от тьмы, поглотившей меня, казалось, целиком. Лишь когда свет из разных дальних щелей растворился в темноте, разбавив ее до состояния относительной прозрачности, я пришел в себя. В тишине какой-то шорох далеко справа достиг моего обострившегося слуха. Я посмотрел туда, но не увидел ничего; чуть передохнув, уже ползком (по металлическому рельсу) я добрался до небольшой площадки, примыкавшей к внешней стене. Здесь я обнаружил, что в стене есть маленькая квадратная дверца. За нею открывался кусочек неба. Под небом лежал наш город. Он меня, впро-

чем, не очень интересовал, ибо я множество раз прежде осматривал его с высоты театральной крыши, откуда можно было обозревать мир во все стороны, сквозь дверцу же я мог видеть лишь реку, цирк, трамвайные пути, кафе, корпуса фабрики и несколько домов. Зато осветилось почти все пространство над сценой, и именно там, на довольно широком карнизе вдоль стены, что-то происходило. Там кто-то шелестел и тонко-тонко попискивал. Почти сразу я понял, что это ибисы свили гнезда и вывели птенцов. Причем поселилась там явно целая колония этих больших и бесшумных птиц. При свете они были невидимы. Лишь прикрыв дверцу в стене, я их увидел. Их было три пары, сидевших по бокам очень аккуратно сплетенных гнезд, откуда виднелись любопытные и смешные головки птенцов. «Чем они их тут кормят?» — подумал я. Мне пришло в голову, что если уж они решились жить в такой темноте, то могут, наверное, обходиться и без пищи, во всяком случае без обычной птичьей пищи. Вполне возможно, что питаются они акридами и диким медом ночных небесных полей, звездной просеянной пылью и сладким предутренним туманом. Чтоб не беспокоить их больше, я открыл дверцу, от которой вниз тянулась пожарная лестница, выбрался на свет и спустился на землю. Где меня, как оказалось, ожидал молоденький милиционер, твердо решивший сопроводить неразумного отрока в отделение. Но я ему столь живописно расписал предполагаемый ужас моей матушки, когда она узнает истинную причину задержания, что на полпути он отпустил меня, взяв обещание больше не лазить туда, откуда я только что слез.

Грешен, но я скрыл свое открытие от друзей. Я понимал, что о птицах, кроме меня, не должен знать никто. Впрочем, я и сам, если долго не видел их, начинал в их существовании сомневаться. Они же, игнорируя мои сомнения, продолжали размножаться. Не столь быстро, как воробьи, конечно. Все-таки это были большие и серьезные птицы.

Я посещал их время от времени, но не очень часто. К следующей весне они расселились уже над всей сценой. Я, сидя на своей площадке у дверцы, наблюдал их жизнь и полеты. Кажется, они никогда не садились на землю, — полетав в замкнутом темном зале, они возвращались к своим гнездам. Чем они жили? Ведь не только же заботами о потомстве? Интересно, что вроде бы резонный вопрос о том, как они здесь вообще оказались, меня никогда не занимал: можно объяснить, почему идет дождь, но он в этом не нуждается, так и существование птиц не требовало объяснений, разве что сочувствия, но вовсе без оттенка жалости. Я тешил себя иллюзией, что мое присутствие их не раздражает. Даже наоборот, им приятно. Я их полюбил, такая трудная ночная жизнь внушала мне уважение, какое-то трепетное чувство к ним. Я понимал, хорошо понимал, что они выпадают из привычной природы вещей и что мир их хрупок и легко может быть разрушен.

Года через два за реконструкцию театра взялись почти всерьез. И птицы, похоже, стали собираться восвояси: они торопливо обучали молоденьких птенцов летать. Я мог появляться только вечерами, когда уходили последние рабочие.

Этот день, то есть ночь, наступил, когда над крышей театра расправил стрелу подъемный кран. Я почувствовал, что не должен присутствовать при том моменте, когда они будут покидать свое темное привычное жилище, — возможно, зрелище это предполагалось не очень эстетичным: красивые и гордые птицы будут протискиваться сквозь какие-то узкие щели, оставляя на кирпичных зазубринах перья и пух. Но я, конечно же, не спал и стоял в своей комнате у окна. Ближе к полуночи я услышал их гортанные громкие крики. Стая спланировала на крышу двухэтажного дома, стоявшего прямо против моего. Вид они имели внушительный, но невеселый.

Я смотрел на них, а они на меня. Я тоже присел перед их дальней дорогой. Когда я поднялся, они враз взмахнули крыльями, как бы про-

щаясь со мной, и беззвучно снялись. Я махал им рукой, пока их было видно.

Когда наконец я уснул, повторился тот давний сон с мумией и птицами. Теперь мы оказались на вершине горы, откуда открывался вид на огромный зеленый город с голубою рекой. Я догадался, что это Каир, раннее утро.

Птиц было множество: они облепили вершину словно огромные чайки, но сидели молчаливо и сосредоточенно. Две, самые торжественные, у изголовья мумии. Я привычно помог человеку сесть и на какое-то время задержал руку на его плече. Он повернулся в мою сторону. Мне очень хотелось с ним заговорить, но я так и не решился. Скорее всего, это было бессмысленно. И не нужно. Тем более что чуть позже за свое молчание (за что же еще?) я был вознагражден. Зеленоватый туман над городом и вокруг, до горизонта, рассеивался восходящим солнцем, уже осветившим на той стороне реки пирамиды Гизы. Остров посреди Нила наполнился пением каких-то иных, не моих птиц. Мои смотрели в сторону Запада. И мы с человеком последовали их примеру. Довольно долго ничего особенного не происходило, лишь изумрудный цвет западного неба становился все светлее, пока не приобрел чистейший голубой оттенок. Тогда-то, на темной еще кромке горизонта, мы увидели четкий силуэт самого бога Осириса, Владыки Прекрасного Запада, обходящего предутренние границы Страны Мертвых.

Проснувшись, я понял с поразительной и окончательной ясностью, что человек, в том числе и я, бессмертен. И что мир не ограничивается видимостями, а смерть есть продолжение жизни. Открытие это напомнило мне о пронзительном страхе, испытанном однажды ночью: я тогда оставался дома один и при свете читал детскую книжку о приключениях веселых человечков на Луне. И вдруг книга буквально выпала из рук. Это был страх одиночества и крадущейся неотвратимо смерти. Я тогда заплакал. Теперь я рассмеялся, сам с собою. События, вычитанные из «Всемирной истории», как бы пробежали чередой перед моим открывшимся взором: это была лишь летопись мгновений, заключенных в толстые тома. Подлинная история все больше дышит между строк. С тех пор я так ее и читаю.

7 — 11 марта 1994 г.  
При виде за окном  
ночного города Каира.



---

---

ЮЗ-ФУ

\*

**СТРОКИ ГУСИНОГО ПЕРА, НАЙДЕННОГО  
НА ЧУЖБИНЕ\***

1

**Утро дня дарует успокоение скромностью жизни**

Наша провинция — тихая заводь.  
Цапле лень за лягушкой нагнуться.  
Но и до нас долетают посланья.  
Пьяный Юз-Фу их порою находит  
в ветхой корзине из ивовых прутьев.

2

**Весенним днем по-стариковски плетусь в монастырь**

Два бамбуковых деревца.  
Отдохну между ними,  
вспоминая голенастых девчонок.

3

**Строки насчет нашей большой безнаказанности**

Бог держит солнце в одной руке.  
В другой Он держит луну.  
Вот и руки Его до нас не доходят!

4

**Два трехстишия о полувековой опале Юз-Фу, одно из которых, как ему  
кажется, тщательно зашифровано**

Гоняю чай одиноко.  
Два лимона на белом столе...  
Рядом — черный котенок...

Вдалеке от придворных интриг  
вспоминаю фрейлину И  
в час, когда нас застукала стража...

---

\* Ответственность за сию находку редакция всецело слагает на ЮЗА АЛЕШКОВСКОГО.

## 5

**К моей обители приближается судебный чиновник**

У Юз-Фу — ни кола, ни двора.  
 Стол. В щели — два гусиных пера.  
 Печка. Лавочка... Что с него взять?  
 Чайник с ситечком, в горлышко вдетым?

Сборщик податей мог бы  
 все это легко описать,  
 если б был  
 очень бедным поэтом.

## 6

**Четыре мудрости, которые Юз-Фу печально вспоминает при возвращении из Пья-Ни**

Лишняя пара яиц ни к чему однолюбу.  
 Слепой стороной не обходит говно.  
 Дереву нечего посоветовать лесорубу.  
 Самурай не обмочит в похлебке  
 рукав кимоно.

Кимоно: японское название китайского халата.

## 7

**В годы мои молодые наблюдаю за домом свиданий из окон служебной канцелярии**

...Мандарин этот входит...  
 мнется, дурень, слегка на пороге...  
 Дама быстро снимает с него пальто...  
 Тухнет свет...  
 К потолку!..  
 поднимаются!..  
 белые!..  
 НОГИ!..  
 Вот — опять в Поднебесной  
 происходит что-то не то,  
 если я здесь торчу  
 и дрочу,  
 с заведенья напротив  
 взымая налоги...

Пальто: французское название китайского халата.

## 8

**В осеннем лесу вспоминаю былые чаепития с фрейлиной И**

Стол озерный застелен  
 скатеркою ломкой.  
 Воздух крепко заварен  
 опавшей листвой.  
 В белых чашках кувшинок  
 на блюдах с каемкой  
 чай остыл твой и мой...  
 твой и мой...

## 9

**Заеденный безденежьем, лежу в ночлежке**

Столько б юаней Юз-Фу,  
сколькo блох на бездомной собаке, —  
он бы, ядрена вошь, тогда не чесался!

## 10

**Размышляю о том, что есть Красота**

Лучшее в мире стихотворенье  
накорябала кончиком ветки ива  
на чистой глади Янцзы.  
Им стрекоза зачитывалась,  
умершая этим летом...  
Ее глаза мне казались  
капель чистой слезы.

## 11

**В приближении дня рождения фрейлины И**

Если на дело взглянуть помудрей и попроще,  
то, в конце-то концов, что такое  
по сравнению с роскошью роци  
императорские покои? —  
Сущая дрянь!  
Сердце, как яблочко соком,  
осенней налито тоскою.  
Видимо, вишней горящей нагрета  
фляга. И влага вишневого цвета  
сушит гортань.  
Осень... любовь... Разве этого мало?  
Фрейлина И, ты права:  
свечи погасли, но стала  
источником света листва.

## 12

**В зимнюю пору жду посланье от фрейлины И**

Приближается снежная буря.  
Зябнет птица  
на голой ветке.  
Согнут ветром бамбук.  
Да поможет Господь  
разносчику писем,  
если он заблудится вдруг.

## 13

**В первые заморозки полностью разделяю мудрость осени**

Всей туши мира не хватит  
обрисовать его же пороки.  
Употреблю-ка ее до последней капли  
на дуновение ветра,

пригнувшего к зыби озерной  
заиндевевые стебли осоки...  
Куда-то унесшего перышко  
с одинокой, озябшей цапли.

## 14

**После бурной ночи с фрейлиной И вновь постигаю гражданское состояние  
и соотношу с ним основные начала Бытия**

Пусть династию Сунь  
сменяет династия Вынь —  
лишь бы счастлив был Ян,  
лишь бы кончила Инь...

## 15

**Страдая от бессонницы, навожу мосты между Востоком и Западом и думаю  
о Тамаре Григорьевой**

Золотая Инь-Ту-И-Ци-Ян...  
Эту рыбку о двух головах  
я увижу во сне.

## 16

**Мысль о великих странностях простоты, пришедшая в голову на сеновале**

Всей твоей жизни не хватит, Юз-Фу,  
чтобы в сене иголку найти.  
А вот травинку в куче иголок  
найдешь моментально!

## 17

**В холодном нужнике императорского дворца подумываю о совершеннейшем  
образе домашнего уюта**

Зимним утром, в сортире,  
с шести до семи,  
присев на дощечку,  
— уже согретую фрейлиной И —  
газетенку читать,  
презирая правительственную печать,  
и узнать,  
что накрылась ДИНАСТИЯ!!!...  
Это кайф.  
Но не стоит мечтать  
о гармонии личного  
и гражданского счастья.

## 18

**В снежную пору обращаюсь к белому гусю, отставшему от стаи**

Снегопад. Сотня псов  
подвывает за дверью.  
В печке тяга пропала.  
Закисло вино.



Развалилась, как глиняный чайник,  
Империя.  
Императорский двор и министры —  
говно...  
Бедный гусь!  
Белый гусь!  
Не теряй столько перьев!  
Я нашел возле дома одно.  
Вот — скрипит,  
как снежок  
на дороге,  
оно.

## 19

**В работах по дому стараюсь забыть о стихийном бедствии**

Цветов насажал в фанзе и снаружи.  
Огурцов засолил.  
Воду вожу с водопада.  
Сделай, Господи, так, чтобы не было хуже,  
а лучшего, видимо, нам и не надо...  
Вместо кофты сгоревшей  
фрейлина И  
зимой мне свяжет другую.

## 20

**Попытка выразить необыкновенное чувство, впервые испытанное мною  
на скотном дворе**

Что есть счастье, Юз-Фу?  
Жизнь — в поле зрения отдыхающей лошади  
или утки, клюв уткнувшей  
в пух оперения...  
Даже если исчезнуть навек  
из поля их зрения...

## 21

**На морском берегу чую приближение старости**

Устриц на отмели насобирал.  
Только вот створки никак не открою.  
Очень руки дрожат у Юз-Фу.  
К сожалению, не с перепоя.

## 22

**Одна из бесед Юз-Фу с ослом**

Вот уже несколько дней,  
спасаясь от мух и слепней,  
осел ошивается под хвостом у кобылки.  
Тебе бы, Юз-Фу, вот такого пажла!

Но ослиная неблагодарна душа.  
 Но ослиные ироничны ухмылки.  
 Кроме того, в душе у осла  
 звучат нескромные жалобы.  
 Он думает: «Если бы это была  
 не кобылка, а моя госпожа  
 с благоухающим веером,  
 то меня тут, понимаете, не обдавало бы  
 чем-то, не имеющим ни малейшего отношения  
 к свежему селу и к душистому клеверу...»  
 Я говорю: «Осел,  
 ты бы хоть вспомнил ученье Басё!  
*Бедняк, не ропщи на то и на се,  
 будь благодарен судьбе за все,  
 ищи утешения в благе простом...*  
 Ну-ка быстрее извинись за ухмылку.  
 И бо-го-тво-ри, дубина, кобылку  
 за то, что пугает она кровососов  
 от твоего ироничного носа  
 своим благородным хвостом,  
 и не воображай себя избалованным пони.  
 Понял?

## 23

Радуюсь торжеству жизни водоплавающих, думаю о бедах отечества

В воде ледяной  
 занимаются утки любовью,  
 а вот поди ж ты —  
 не зябнут!  
 Случайный, молюсь, чтоб любая беда  
 сходила с народа, как с гуся вода.

## 24

Погуляв, возвращаюсь к домашнему очагу

Малахай мой заложен.  
 Новый пропит халат.  
 В ночлежке забыты портки.  
 Лишь осталась надежда,  
 что голым узнают Юз-Фу.

Короткое послесловие для друзей

*Все это начирикано в дивном одиночестве,  
 под покровительством  
 фрейлины И.  
 В Китае я был бы Юз-Фу,  
 а здесь у меня иное имя и отчество.*

Поднебесная. Коннектикут.  
 Год Змеи.

**ОДИНОКИЙ МОНАХ, БРЕДУЩИЙ ПОД ДЫРЯВЫМ ЗОНТИКОМ  
(ТАК И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ МАО СЕБЯ НАЗЫВАЛ), Я ДУМАЮ О ЮЗ-ФУ**

Прославленные баллады (например, «Окурочек») Юза Алешковского сродни его же романам. Это проза, организованная таким образом, чтобы можно было петь. Проза — с неожиданными поворотами фабулы (окурочек со следами губной помады падает с неба под ноги зека), с целой толпой характеров («жену удавивший Капалин», «активный один педераст», «гражданин надзиратель», сам рассказчик и его неверная подруга) и, конечно, с изумительной выразительностью языка («Только зря, говорю, гражданин надзиратель, / Рукавичкой вы мне по губам»). Только последнее качество роднит лирику Алешковского с его прозой. Фабула лирическому стихотворению противопоказана, и оно не терпит более чем одного персонажа — «я».

Почему Алешковский напяливает на свое лирическое «я» китайскую маску? Может быть, потому что чистый, беспримесный лиризм подарен человечеству китайско-японской цивилизацией так же, как и бумага, на которую он изливается.

Я часто даю своим американским студентам подстрочники, которые в обратном переводе с английского выглядят так:

Снег стоял, и от земли поднимается теплый пар.  
Синий кувшинчик расцвел.  
Журавлей переключка.

Или так:

Осенний ветер  
уносит желтые листья из нашего бедного сада.  
Но рябина еще красна на две долины.

Я прошу их определить жанр, и студенты говорят: хайку.

Конечно, в оригинале эти тексты тоньше, богаче нюансами: «Вот уж снег последний в поле тает, / Теплый пар восходит от земли, / И кувшинчик синий расцветает, / И зовут друг друга журавли...»; «Осень. Обсыпается / Весь наш бедный сад...» — и т. д. (Увы, словно не вполне доверяя своей гениальной лирической интуиции, А. К. Толстой прилепляется к каждому стихотворению концовку, как объяснительную записку: «Вышеприведенный пейзаж означает, что на душе у меня происходит то-то и то-то».)

Существует всего сорок семь простых форм кристаллов — не больше в мире и лирических сюжетов, от Ду Фу до наших дней. Они лишь отблескивают по-разному в свете меняющихся эпох и поэтов.

Отвязывая стрелу для спортивного лука от стойки спального балдахина, поэтесса Митицуна-но хаха вдруг остро ощутила, что муж ее оставил, и написала:

Казалось мне,  
Настанет вряд ли время,  
Чтобы внезапно вспомнить о былом.  
Но вот — стрела...  
Как память поразила!

Ровно через тысячу лет Пастернак пишет о человеке, покинутом возлюбленной:

И наколовшись об питье  
С невынутой иголкой,  
Внезапно видит всю ее  
И плачет втихомолку.

Этот сердечный укол и есть лирика.

В забавных по виду миниатюрах Юз-Фу спрятано то же древнее острие.

Лев ЛОСЕВ.

---

---

# ПУБЛИЦИСТИКА

ГРИГОРИЙ ПОМЕРАНЦ

\*

## РАЗРУШИТЕЛЬНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В РУССКОЙ КУЛЬТУРЕ

### 1. Разрушительные силы мирового развития

**И**сторическое развитие всегда что-то разрушает. Оно никогда не бывает простым движением от плохого к лучшему. Вместе с новым добром возникает новое зло. Приходится искать, чем уравновесить это новое зло. Живучие цивилизации вовремя замечают его и находят противоядия к ядам, которые сами же создают. Расширение знаний периодически сменялось эпохами восстановления веры, восстановления целостного образа мира. Стремительный бег Нового времени на Западе несколько раз тормозился. За Возрождением пришли Реформация и Контрреформация, за Просвещением — романтизм. Эти зигзаги развития напоминают дорогу, серпантинном спускающуюся с горы (или поднимающуюся в гору). Россия, и за ней другие страны, подхваченные развитием, оказались в положении путника, которому приходится лезть на стену или прыгать с обрыва. В этих условиях идеи, сравнительно мирно горевшие на Западе, давая короткие, быстро гаснувшие вспышки, вызвали опустошительные пожары.

На Западе идея Утопии подтолкнула социальные реформы и выдохлась. Не было серьезных попыток реализовать Утопию (как в России, в Китае, во Вьетнаме и Камбодже). Не было потому, что головы не так сильно кружились, потому что не приходилось перескакивать из XVII века в XX, из одной культуры в другую.

На Западе идея нации возникла в государствах, уже сложившихся в своих границах, со своим утвердившимся литературным языком. Слово «нация», получившее современный смысл в XVIII веке, обозначило здесь переход от верности королю к суверенитету народа. Нация — это подданные короля, осознавшие себя сувереном. Вопроса о границах здесь не было. Другое дело — в Центральной Европе. Идея нации стала здесь призывом к войне. Объединение Германии вытолкнуло Австрию и подчинило всех северных немцев воинственной Пруссии. Неясность пределов, за которыми кончается Германия, вызвала к жизни пангерманизм. Его агрессивные планы сказались накануне первой и второй мировой войны. А в Восточной Европе идея нации, натолкнувшись на долговечные многоплеменные империи, взорвала их. Не существует ясного различия между угнетенной нацией, способной создать современное государство, и национальностью, численно незначительной, недостаточно развитой или живущей вперемешку с другими. Этническое единство создается здесь этническими чистками. Национальное вырождается в племенное, национализм в трибализм. Фихте, обратившийся к германской нации со своими речами, не подозревал, какую кровавую жатву принесет его посев.

Я не хочу сказать, что идея нации с самого начала имела демонический характер или что злой дух вдохновлял Сен-Симона и Фурье. Никто не заставлял Ленина перейти от социал-демократии к большевизму. Никто не заставлял Гитлера избивать целые народы. И никто не заставляет убивать друг друга в Боснии, на Кавказе и в Закавказье. Основная ответственность лежит на толкователях принципа.

Однако современный Запад несет миру не только такие идеи, оправданные в его собственном развитии и всего лишь двойственные по возможным следствиям. Профессор Эрнст, выступая на конференции «Регионы в кризисе» (Ко, август 1994-го), назвал падение шалского режима «антипорнографической революцией». Запад стал символом разрушения духовной иерархии, превращения святынь в «ценности», лежащие на одном уровне. Свобода чувственных наслаждений и свобода каприза занимают пространство внутренней свободы. И если Запад, вырабатывая этот яд, сам от него не гибнет, то только благодаря хорошим привычкам, сложившимся до XX века, — привычкам дисциплинированного труда, ответственности, уважения к закону. В России эти привычки отчасти не успели сложиться, отчасти были распатаны в годы советской власти. Оставшись без партийного руководства, современный русский человек не умеет выбирать и берет подряд все, что легче взять: секс-шоппы, эротик-шоу и т. п. — или разгорается ненавистью ко всему западному.

Один из моих друзей, побывав в Америке, спросил: «Скажите, что у вас самое пошрое?» — «Зачем вам это? — ответили ему. — У нас есть много другого». — «Знаю, — сказал мой друг. — Но мы будем усваивать самое пошрое». В Америке ее пороки уравновешены ее достоинствами. Достоинства трудно перенести на другую почву, а пошлость, как сорняк, всюду пускает корни.

Русское слово «пошлость» трудно перевести. Легче указать на примеры. Это полупросвещение аптекаря Омэ, набор общих мест, самодовольная поверхностность. Пошлость — плата за развитие, за открытие глубин, недоступных среднему человеку, за богатства духа, не влезающие в его голову. История создает на одном конце — сильно развитую личность (князь Мышкин), а на другом — пошляка (Ракитина или г-жу Хохлакову... Тут очень много разновидностей). В примитивных обществах нет ни гениев, ни пошляков. Дикарь не пытается сделать вид, что он понимает Баха, он натурально любит тамтам. Попав в город и нахватавшись городской цивилизации, крестьянин становится персонажем Зоценко, человеком полупросвещенным, вульгарным. Вульгарность — один из синонимов пошлости. Итог цивилизации — переход от грубости к пошлости. Буржуазная цивилизация XIX века была пошлой для русской аристократии, приобщившейся к духовным вершинам того же Запада. Это отношение было унаследовано и русской интеллигенцией.

Пошлость отталкивает и вызывает бунт. «Пускай земле под ножами припомнится, кого хотела опошлить!» — писал молодой Маяковский. Сын упившегося Ноя — Хам. Смердяков, сын Федора Павловича Карамазова, стал его убийцей. Эстетический бунт поддерживает бунт социальный. Так было в начале XX века, когда поэты упивались революцией и мысленно бросали в ее костер буржуазную пошлость. Так и сейчас: пошлость «новых русских» толкает в объятия «красно-коричневых» (блока пожилых большевиков и молодых фашистов).

Журнал «Искусство кино» (1994, № 9) опубликовал диалог между Аллюй Гербер (страстной противницей фашизма) и режиссером Станиславом Говорухиным. Приведу несколько строк из реплики Говорухина: «Страна четко работает в режиме колонии... Мы фактически отказались от своей культуры, искусства. Мы отказались от науки, от высокой технологии... Или такая деталь — английский язык практически стал вторым государственным языком, доллар — национальная валюта... Растет новое поколение, которому, откровенно говоря, до фени, что была такая великая духовная страна Россия. Им все равно, где жить — в колонии или в державе. Я видел детей в городе Забайкальске, которые ночью грабят вагоны, а днем работают рикшами у китайцев, перевозят грузы — и счастливы. Они любят такую жизнь... А мне не хочется так жить — в колонии. И смотреть, как гибнет духовная Россия». Говорухин поддерживает оппозицию реформам, называющую себя «духовной оппозицией», и в духе этой оппозиции смешивает духовное с державным. Лариса Миллер этого не делает. Но картина жизни, которую она рисует на страницах «Литературной газеты» (1994, № 50), переключается с говорухинской: «Недавно по одному из телеканалов показывали клип: поп-звезда в роскошной машине подъезжает к храму. Ее спутник открывает дверцу и помогает ей выйти. Она входит в храм и останавливается перед распятием. Разыгравшееся воображение рисует ей Страсти Господни... И все это — под звуки дешевого

шлягера, исполняемого звездой. Не успевает стихнуть последний звук шлягера, как на смену Страстям Господним приходят другие страсти. На экране — реклама: чьи-то цепкие пальцы ловко пересчитывают пачку зеленых. «Сделайте правильный выбор». Не желаете? Тогда... вырубите ящик и возьмите в руки газету. Ну хотя бы вот эту, где целая полоса отдана искусству. «Снято конгениально, — говорится в рецензии на кинопремьеру. — Чуть что, камера заглядывает в зеркала (отражения, философия). При всяком гигиеническом случае подробно показывают женские сиси (кино ведь у нас)...» Полный нокаут. Вы отбрасываете газету, бормоча что-то невнятное про безвкусицу и пошлость (ту самую *poshlost*, для которой Набоков не нашел достойного аналога в английском языке).

«По-видимому, пора сделать недвусмысленный вывод, давно уже ставший прочным достоянием теории модернизации, — пишет культуролог Александр Панарин. — Попытка механического заимствования западных ценностей и образцов приводит к самым негативным последствиям.

Западный соблазн для нашей культуры состоит не просто в том, что данная цивилизация стала для нас «референтной группой» и мы испытываем чувство ущемленности при сопоставлении с нею наших реалий. Проблема состоит в неадекватном прочтении чужого опыта. Тонкая внутренняя игра западной культуры, состоящая в балансировании между аскезой труда и гедонизмом досуга и потребительства, на расстоянии не улавливается. Как оказалось, чужая культура не может передать другим свою *аскезу* (в западном варианте это в первую очередь протестантская аскеза). А вот ее *внешние плоды*, в виде высокого уровня потребления, комфорта, индустрии досуга и развлечений, впитываются как наркотик. Применяемая к нашим условиям теория модернизации многое разъясняет. Если речь идет о заимствовании «субкультуры досуга и потребительства», то для некоторых слоев нашего населения, в особенности молодежи, это уже состоялось. Если же иметь в виду продуктивную систему Запада, в основе которой лежит культура труда, профессиональной ответственности, законопослушания и т. п., то в этом отношении односторонняя имитаторская вестернизация скорее удаляет, чем приближает нас к целям подлинной модернизации...

Нынешняя разруха и ломпенизация населения — феномен не столько социально-экономический в собственном смысле, сколько *культурный*. В основе его лежит не столько унаследованная от прошлого отсталость страны, сколько отторжение от собственной культуры, ее норм и традиций — цивилизационная дезориентация народа. Главное средство борьбы с этим — обретение своей цивилизационной идентичности: того внутреннего гармонического универсума, в котором нормы-цели и нормы-рамки, притязания и возможности в основном совпадают. Но в процессе обретения своей цивилизационной идентичности России предстоит нелегкий путь» (сб. «Цивилизации и культуры». Вып. 1. М. 1994, стр. 89 — 90).

## 2. Разрушительная сила русской воли

В 70-е годы в журнале «Синтаксис» были опубликованы работы двух авторов (Л. Пинского и Л. Седова), независимо друг от друга описавших русскую культуру как «подростковую», несовершеннолетнюю. То, о чем говорят С. Говорухин, Л. Миллер и А. Панарин, и впрямь очень похоже на поведение подростка. Прежде всего недоросль усваивает табак и водку, а трудолюбие и выдержку оставляет на будущее. Были попытки объяснить это относительной молодостью России (Русь была крещена лет через пятьсот после Франции). Однако саксы были крещены Карлом Великим довольно поздно, Скандинавия — еще позже, Исландия — намного позже Руси. Хватило нескольких веков, чтобы вжиться в западнохристианский мир. Хватило бы и России. Но ей пришлось вживаться в несколько культурных миров (или, как я это назвал, субэкумен). От чересполосицы культурных пластов «широта» русской культуры и ее незавершенность — два качества, тесно связанные друг с другом.

«Я, пожалуй, и достойный человек, — говорит Алексей Иванович в «Игроке» Достоевского, — а поставить себя с достоинством не умею. Вы понимаете, что так может быть? Да все русские таковы, и знаете почему: потому что русские слишком

богато и многосторонне одарены, чтоб скоро приискать себе приличную форму. Тут дело в форме. Большею частью мы, русские, так богато одарены, что для приличной формы нам нужна гениальность. Ну, а гениальности-то всего чаще и не бывает, потому что она и вообще редко бывает. Это только у французов и, пожалуй, у некоторых других европейцев так хорошо определилась форма, что можно глядеть с чрезвычайным достоинством и быть самым недостойным человеком. Оттого так много форма у них и значит».

«Все русские» — конечно, гипербола. Достаточно вспомнить четырех сыновей Федора Павловича Карамазова (трех законных и одного незаконного, Смердякова), чтобы вернуться к реальной сложности проблемы. Но в русском наследии действительно заключены цивилизационные начала и Византии, и Татарии, и Запада. Создать изо всего этого устойчивую форму непросто. Отсюда превосходство бродящего духа над формой — в том числе формами общежития — и постоянная угроза хаоса. Нечто подобное Клиффорд Герц отметил в Индонезии, также складывавшейся на перекрестке культурных миров.

О текучести русской культуры размышлял, отбывая срок, Синявский. «Религия Святого Духа как-то отвечает нашим национальным физиономическим чертам — природной бесформенности (которую со стороны ошибочно принимают за дикость или за молодость нации), текучести, аморфности, готовности войти в любую форму... нашим порокам или талантам мыслить и жить артистически при неумении налаживать повседневную жизнь как что-то вполне серьезное... В этом смысле Россия — самая благоприятная почва для опыта и фантазий художника, хотя его жизненная судьба бывает подчас ужасна.

От духа — мы чутки ко всяким идейным веяниям, настолько, что в какой-то момент теряем язык и лицо и становимся немцами, французами, евреями и, опомнившись, из духовного плена бросаемся в противоположную крайность, закостеневаем в подозрительности и низколобой вражде ко всему иноземному... Мы — консерваторы, оттого что мы — нигилисты, и одно оборачивается другим и замещает другое в истории. Но все это оттого, что Дух веет, где хочет, и, чтобы нас не сдуло, мы, едва отлетит он, заставляем коростой обряда, льдом формализма, буквой указа, стандарта. Мы держимся за форму, потому что нам не хватает формы, пожалуй, это единственное, чего нам не хватает; у нас не было и не может быть иерархии или структуры (для этого мы слишком духовны), и мы свободно циркулируем из нигилизма в консерватизм и обратно» («Голос из хора»).

«Цивилизационная идентичность» и «внутренне гармонический универсум», о которых пишет А. Панарин, всегда были для России проблемой, а не данностью; с ней сталкивается и XIX век. Помимо Достоевского можно вспомнить К. Леонтьева, остро чувствовавшего «шаткость» России. Развитие свободных городов, сходных с западными, было рано прервано и подавлено самодержавием Москвы, «самого отагаренного из русских княжеств» (Федотов). С этих пор в России чередуются периоды «смуты», праздника дикой воли, и деспотизма. В. Шульгин, сторонник самодержавия, называл это периодами греха и покаяния. Порядок каждый раз сражался с анархией и восстанавливался еще более деспотичным, еще более жестоким. Развитие цивилизации шло через развитие рабства, а не свободы. Если гнет слабел, система рушилась — как в 1917 году и в 1991-м.

«Слово «свобода» до сих пор кажется переводом французского *liberté*, — писал Г. Федотов. — Но никто не может оспаривать русскости «воли». Тем необходимо отдать себе отчет в различии воли и свободы для русского слуха.

Воля есть прежде всего возможность жить, или пожить, по своей воле (здесь это слово означает: по своему желанию. — Г. П.), не стесняясь никакими социальными узами, не только цепями. Волю стесняют и равные, стесняет и мир. Воля торжествует или в уходе из общества, на степном просторе, или во власти над обществом, в насилии над людьми. *Свобода* личная немыслима без уважения к чужой свободе; воля — всегда для себя. Она не противоположна тирании, ибо тиран есть тоже вольное существо. Разбойник — это идеал московской воли, как Грозный — идеал царя. Так как воля, подобно анархии (еще один синоним. — Г. П.), невозможна в культурном общежитии (в правовом порядке. — Г. П.), то русский идеал воли находит себе выражение в культе пустыни, дикой природы, кочевого быта, цыганщины, вина, разгула, самозабвенной страсти, — разбойни-

чества, бунта и тирании... Бунт есть необходимый политический катарсис для московского самодержавия, исток застоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил и страстей. Как в лесковском рассказе «Чертогон» суровый патриархальный купец должен раз в году перебеситься... так московский народ раз в столетие справляет свой праздник «дикий воли», после которой возвращается, покорный, в свою тюрьму. Так было после Болотникова, Разина, Пугачева, Ленина» (из статьи «Россия и свобода»).

В терминах Федотова, проблему реформ можно определить как возвращение от московской линии развития к новгородской (поддержанной влиянием Запада). Пока что это не удастся. Государственные служащие и предприниматели состязаются друг с другом в интерпретации свободы как разбойной и тиранической воли. Сказывается неподготовленность реформ, отсутствие разработанных законов и практик. Я знаком с предпринимателями, говорившими мне, что попытка честно вести дело ведет к немедленному разорению. Но даже если (через десятки лет) удастся создать всю необходимую правовую и административную структуру, русский деловой стиль будет сильно отличаться от западного — размахом, обилием идей и нехваткой тщательно отделанных деталей. Обратная сторона русского величия — русский хаос:

Вейте, вейте, снежные стихии,  
Заметая древние гроба:  
В этом ветре — вся судьба России —  
Страшная, безумная судьба.  
В этом ветре — гнет оков свинцовых,  
Русь Малют, Иванов, Годуновых —  
Хищников, опричников, стрельцов,  
Свежевателей живого мяса,  
Чертогона, вихря, свистопляса:  
Бльь царей и явь большевиков.

Что менялось? Знаки и возглавья.  
Тот же ураган на всех путях:  
В комиссарах — дурь самодержавья,  
Взрывы Революции — в царях.

Вздеть на виску, выбить из подклетья  
И швырнуть вперед через столетья  
Вопреки законам естества —  
Тот же хмель и та же грын-трава.  
Ныне ль, даве ль — все одно и то же:  
Волчьи морды, машкеры и рожи,  
Спертый дух и одичалый мозг.  
Сыск и кухня Тайных канцелярий,  
Пьяный гик осатанелых тварей,  
Жгучий свист шпицрутенов и розг,  
Дикий сон военных поселений,  
Фаланстер, парадов и равнений,  
Павлов, Аракчеевых, Петров,  
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,  
Замыслы неистовых хирургов  
И размах заплечных мастеров...

*(М. Волошин, «Северовосток»)*

Если человечеству суждено погибнуть от ядерной войны, вряд ли это обойдется без участия России. Но будем надеяться, что победит дух диалога → и внутри России, и в отношениях России с миром.

### 3. Разрушительная сила идейности

За последние годы разговоры о русской идее перестали быть семейным делом славянофилов и неославянофилов. В обсуждение этой темы втянулись такие люди, как Шумейко. Стоит удивиться: зачем это нашим известным политикам? Почему англичане не толкуют об английской идее, французы — о французской? Видимо, резко обострился «кризис национальной идентичнос-



ти». Чувство неуверенности в себе стало политической проблемой. Перефразируя одного из персонажей Достоевского, «если России нет, то какой же я капитан?». Это, впрочем, старая проблема. Незавершенность русской культуры была и болезнью, и творческим импульсом. Без нее нельзя понять ни срывов, ни взлетов Достоевского.

Незавершенность можно объяснить огромностью России и ее положением на стыке всех великих цивилизаций. Франция всегда была в центре латинского Запада, и поэтому вопрос, в чем сущность Франции, как-то не беспокоил умы. А Россия втягивалась то в одну вселенную, то в другую. И возникали сомнения: вокруг какого солнца мы движемся?

Культурный мир, культурный круг, цивилизацию можно сравнить со вселенной; Россия, примыкая то к одной, то к другой, как бы кочует по галактикам. Князь Игорь — на три четверти половец, свободно говоривший на языке своей матери и бабушки; в «Слове...» больше тюркизмов, чем галлицизмов у Пушкина. Духовная культура Сергия Радонежского и Нила Сорского, Рублева и Дионисия уходит своими корнями в Византию; Б. Раушенбах показал, что «Троица» Рублева строго следует всем постановлениям VII Вселенского собора. Московское самодержавие строилось по татарским образцам. Двор Екатерины состязался с Версалем, и писатели XIX века — с Бальзаком и Диккенсом... Как соединить степную волю и византийский канон, татарский деспотизм и европейский дух свободы? Русский человек еще ищет себя, и русская идея — один из путеводителей в этих поисках. Наряду со вселенскими идеями.

Сегодняшние споры — после смерти империи. Смерть требует воскресения. Всякая смерть. Что-то умерло вместе с империей. И что-то должно возродиться. Но что именно?

Одно из великих духовных событий — узнавание. Надо узнать ростки нового на старом пепелище, поддержать их, помочь им. Сейчас доброе растет, как морковь, а злое — как сорняк, и за пышным ростом сорняков моркови почти не видно. Наши разговоры о русской идее — попытки мысленно отделить морковь от сорной травы, мысленно выдрать сорняк и помочь морковке. Это еще не действие, но подготовка к действию. И она необходима. Я надеюсь, что когда-нибудь сложится русский стиль (наподобие французского, немецкого, английского стиля решения мировых вопросов) и в этом стиле разговоры о русской идее растворятся, но сегодня они нужны. Однако я очень опасаясь единственного числа идеи. Попытки вогнать всю Россию в свою любимую идею — болезнь, связанная, возможно, с недостатком философской культуры, с непониманием диалога как формы истины. Даже в наши дни, после всех жестоких опытов, Солженицын убежден, что «во всех науках строгих, то есть опертых на математику, истина одна» (из статьи «Наши плюралисты»). Первым жестоким опытом идеологии была причина. Это вовсе не простое безобразие. Иван Грозный хотел преодолеть русский беспорядок, создать царство-монастырь во главе с царем-игуменом и чтобы во всей Руси было благолепие, как в монастыре. Идея заимствована из византийского наследия, но доведена до абсурда (черта, которая потом несколько раз повторялась).

Второй русской идеей было — превратить Россию в Голландию. Для полного сходства и каналы копались, и в язык напихивались голландские и немецкие слова. Славянофилы возражат, что идея Петра — антирусская. Не более, однако, чем византийская идея Ивана Грозного. Русским в обоих случаях был стиль осуществления идеи. Как заметил Плеханов, по методам своим Петр был славянофил (шел традиционным для российской государственности путем усугубления рабства). А если говорить о последствиях, то Петр был меньшим утопистом и большим реалистом, чем его предшественник (Иван Грозный) и последователь (Ленин). Или (другими словами) — в его утопии было зерно исторически плодотворной реформы: выход Московской Руси из изоляции, восстановление традиционных связей восточного славянства с западным христианским миром. Попытка создать самостоятельный мир на основе гордыни «Третьего Рима», без культурных ресурсов, необходимых для цивилизации, не удалась, Петр это верно почувствовал и верно решил, что Россия не затеряется в Европе. Она действительно не затерялась и ответила на вызов Запада романами Достоевского и Толстого. Но ответила — по-

том, когда жесткая прямолинейность идеи, «неразвитая напряженность принципа» (Гегель) смягчилась и Запад перестал вколачиваться с помощью пыток и казней.

Третьей русской идеей была ленинская. И опять: традиционным был стиль ее воплощения. На пути к ассоциации, в которой свободное развитие всех будет условием свободного развития каждого, снова создана была опричнина (партия нового типа) и снова закрепошен народ. В Восточной Европе эта система держалась только на русских штыках. Но в современной России есть массовое желание восстановить «реальный социализм». Компартия Зюганова не вернулась к социал-демократии, как коммунисты Польши и Венгрии, как некоторые у нас. Продолжается сдвиг в другую сторону — к национал-коммунизму, аналогии немецкого национал-социализма. Победа красно-коричневого блока на выборах была бы, возможно, не игрой парламентских качелей, а концом игры, возвращением к тоталитаризму, после которого неизбежен новый застой, крах и новая смута.

Российская идейность ставит все на карту одной идеи, воплощает ее с жестокой энергией и каждый раз приходит к краху. Некоторые черты идейности можно заметить и в либеральном лагере, у энтузиастов рынка. Но господствующее, все ширящееся настроение наших современников — безыдейность.

#### 4. Разрушительная сила безыдейности

Внутренний распад идеократии по-разному отразился в романе Василия Гроссмана «Жизнь и судьба», «Архипелаге ГУЛАГ» Солженицына и «Москве — Петушках» Венедикта Ерофеева. Я ограничиваюсь тремя именами, замечательными для трех поколений. Гроссман начинал как советский писатель. Советский путь глубоко разочаровал его, но остался в душе идеал, вдохновлявший революционеров: свобода. Солженицын как человек и как писатель сложился в лагере, он с самого начала полон страстной ненависти к советской системе, он хочет разрушить ее (как коммунисты — старый мир) «до основанья, а затем...» — затем вернуться к исконным началам русской жизни. Это опять идейность. Венедикт Ерофеев вырос двадцать лет спустя, и ему даже ломать ничего не хочется. Его просто тошнит.

Гроссман и в особенности Солженицын вызвали огромный общественный отклик, политический отклик. Ерофеев такого отклика не вызвал. Он ни к чему не зовет. Захватывает только его стиль, поразительно совершенный словесный образ гниющей культуры. Это не в голове родилось, а — как ритмы «Двенадцати» Блока — было подслушано. У Блока — стихия революции, у Ерофеева — стихия гниения. Ерофеев взял то, что валялось под ногами: каламбуры курительных комнат и бормотанье пьяных, — и создал шедевр, создал язык безупречно выразительный и чуждый пошлости даже в разговорах о самых пошлых предметах. Это стиль эпохи, немислимый ни в какое другое время. Для пишущей братии влияние Ерофеева оказалось просто неотразимым. Почти всех нас мучает (или мучило в юности) отсутствие стиля, а тут вдруг такая органика, такая цельность — и без всяких котурнов. Плыви и плыви по течению жизни, как Василий Васильевич Розанов (любимый писатель Ерофеева. Живший, правда, в другое время, когда течение было поспокойнее и еще не обрушивалось в клоаку).

Я очень неоднозначно воспринял книгу «Москва — Петушки». С одной стороны, меня оттолкнула авторская позиция — сдача на милость судьбе, стремление быть «как все», добровольное погружение в грязь, паралич воли. И вместе с тем был в ней тот пафос, который можно назвать старыми словами «срывание всех масок», — пафос правды о реальной жизни народа, пафос, если хотите, жизни не по лжи, но без риторики. И была какая-то энергия бунта: хоть в канаву, но без вранья, своего рода юродствующее освобождение от советской фальши. И еще одно: написанное звучало для меня эпитафией по тысячам и тысячам талантливых людей, которые спились, потому что со своим чувством правды в атмосфере всеобщей лжи были страшно одиноки.

При всем моем органическом неприятию безвольной покорности судьбе я не могу не относиться к этой книге как вещи глубоко трагичной и к человеку, написавшему ее, как к трагической фигуре истории.

Но сейчас другое время. Сейчас нет прежней показухи. На смену ей пришла инерция развала, инерция упоения развалом, и я по мере своих сил чувствую потребность сопротивляться этому.

Я понимаю, что поэт, писателю нельзя диктовать, что писателю диктует его стихийный дар, но я не могу не пытаться чем-то уравновесить тот поток чернухи, что хлынул в нашу литературу. «Отменили цензуру, — пишет об этом в одной из своих статей Зинаида Миркина. — Правда перестала быть опасной и хлынула потоком. Одно время была надежда, что эта правда очистит и преобразит нас, но этого не произошло. Информация об ужасах прошлого не уменьшила ужасов настоящего. Правда, которая нам открылась, оказалась нам не по плечу. Рильке сказал: «Прекрасное — это та часть ужасного, которую мы можем вместить». Мы не вместили правды о прошлом, и правда, не вмещенная в нас, грозит затопить нас. Захватывает упоение, увлечение распадом, духовная капитуляция перед хаосом или еще хуже — бегство в новые мифы, поиски виноватого, попытки переложить ответственность на чужие плечи».

Опасность, прозягающая со всех сторон, втискивается в образ врага. Страх бездны, в которую все рушится, вытесняется ненавистью к козлу отпущения, который во всем виноват. Тогда как на самом деле отчаянье и ненависть одинаково гибельны.

Есть мифы — и мифы. Есть метафоры божественной цельности, которую нельзя втиснуть в логику. Без них не обходится ни религия, ни поэзия. А есть мифы, за которыми скрывают только самые пошлые страсти. Можно назвать их мифами для людей глухих, слабых или ослепленных страстью, не способных или просто не желающих принять разумное объяснение фактов и даже принять сами факты — неприятные, болезненно тревожащие душу, невыгодные. Например, гитлеровский миф об ударе ножом в спину победоносной германской армии в ноябре 1918 года. На самом деле фронт был прорван союзниками в сентябре, остановить их немецкое командование не могло и война приближалась к границам фатерланда. Поражение стало фактом, понятным рядовому немцу, и революция смела империю. Гитлеровская пропаганда объявила следствие поражения причиной поражения, и этот миф подкрепили другие мифы того же сорта: об арийской расе, которой грозят жидомасоны, протоколы сионских мудрецов и т. п. Сперва на дешевку мало кто клюнул, но экономический кризис 1929 — 1933 годов, безработица, безнадежность лишили немцев здравого смысла. Они бросились за «мифами XX века», как за дудочкой Крысолова, и скатились в пропасть второй мировой войны.

Теперь духовная рухлядь, заимствованная у российской «черной сотни», вернулась на родину. «Протоколы сионских мудрецов» продаются на паперти храмов, и есть десятки романов и повестей, стихов, картин, написанных маслом, кинокартин и телепередач, в которых истлевший образ врага наполняется новой жизнью. С одной стороны, нагромождение черной правды, доводящее до отчаяния, с другой — призыв к ненависти, объявленной спасением. Упоение распадом и шовинистическое беснование поддерживают и вдохновляют друг друга.

Беспросветно черная правда — это ложная правда, это инерция подлинной, кровной правды вчерашнего дня, ставшая модой, тень, отброшенная неполной истиной и ставшая ложью. Человек бессилён перед тьмой, сдается тьме, безвольно погружается во тьму. Впрочем, лучше передать это словами современного автора: «В глубине сердца нет нравственного закона, а лишь ничто и тьма безбожная, и Кант, Достоевский, Соловьев, выведившие Бога из нравственности, должны бы сделать вывод, что Его нет, а они это не сказали из трусости и бесчестности, а возможно, не имели истинного, обнаженного экзистенциального опыта... Достоевский, написавший «Записки из подполья», имел этот опыт, но скрыл правду» (Федоров Е. Одиссея. — «Новый мир», 1994, № 5, стр. 64).

Роман «Одиссея» стилизован под записки лагерника примерно 1949 — 1954 годов. В 1950 — 1953 годах я отбывал срок на том же лагунке, дружил с автором и свидетельствую, что этих мыслей у него тогда не было. Не было их и в первых вариантах романа, написанных в 60-е годы. «Жареный петух», «Илиада» и «Одиссея» Федорова — явления литературы 70 — 80-х годов. Федоров на десять лет старше Венедикта Ерофеева, но как писатель он моложе и

переработал свой лагерный опыт в духе 70-х годов, в духе времени, когда и частушки свидетельствовали о гнили:

Скоро я умру, скоро все умрем,  
Приходи ко мне, погнем вдвоем!..

В историческом романе всегда есть время повествования и время автора. В «Жареном петухе» рассказчик погружает трагическое прошлое в современную пошлость, смакует лагерный секс, как бы заново переживает то, что оттолкнуло и потрясло юношу, глазами состарившегося пакостника. Этот роман мне не захотелось дочитывать. В «Одиссее» переработка прошлого сделана тоньше, сохранено чувство меры, роман удался, читается с увлечением, с сочувствием к мальчику, брошенному за колючую проволоку. Именно потому мне захотелось поспорить с книгой, и в эссе «Белые ночи» («Литературная газета», 1994, № 35) я подчеркнул то, что Федоров вынес за скобки, то, что уравнивало тяжесть лагерной жизни: чувство внутреннего освобождения после сброшенного с себя советского двоемыслия, кружок интеллигентов, бескорыстно помогавших друг другу, и праздники беззакатного северного света. Белые ночи любил и Федоров, но не захотел вспоминать: они разрушали «ерофеевский» колорит погружения во тьму, — а я помню. И помню, что вышел из лагеря, уверившись в своей способности оставаться самим собою при любых неудачах. Это прямая противоположность выводам Васяева. Впрочем, массовое переживание лагеря рассыпается на множество судеб и характеров. «Влияние лагерной жизни на человека не... однозначно... Она его не портит и не улучшает, но бесспорно выявляет заложенные в нем еще на воле задатки» (Фильштинский Исаак. Мы шагаем под конвоем. М. 1994, стр. 4). И три наши книги об одном лагунке подтверждают это.

Дело не в лагерной теме и вообще не в теме. На одном и том же материале рядовой советской семьи строится черная проза Л. Петрушевской и розовая — Л. Улицкой. Я останавливаюсь на лагерной трилогии Е. Федорова только потому, что многие фамилии там подлинны, многие факты я могу подтвердить и мне легче отделить логику автора от логики жизни. Федоров ссылается на Шаламова. Но Шаламов просто рисует, как человек погибал или превращался в ветошку. Он не делает вывода, что человек есть ветошка. И рядом с его безнадежными рассказами — стихи о красоте Севера. Красота мира спасает душу лагерника от гибели. Чтобы до конца раздавить человека, надо было не только упразднить классическую литературу (а она оставалась в памяти — об этом есть письма Шаламова Пастернаку). Надо было еще лишиться человека красоты Божьего мира. И Федоров в своих романах доделывает то, что не смог сделать Сталин: зачеркивает красоту природы. Это не только у него. Это черта нескольких текстов, прочитанных мной в 1994 году. В повести А. Саломатова «Синдром Кандинского» («Знамя», 1994, № 4) Кавказ описывается так, словно это физиономия Брежнева, — с чувством ерофеевской тошноты. А в романе Ю. Нагибина «Дафнис и Хлоя» («Октябрь», 1994, № 9 — 10) нет ни слова о красоте Крыма (где встречаются герой и героиня). Можно подумать, что Бог помрачил глаза поколения, обреченного сгнить. Замечательно, что книги Б. Сергуненкова, поразительные по глубине созерцания красоты леса, это поколение не заметило. (Кстати, люди 20-х годов заметили Пришвина...)

70-е были временем поворота к религии; и в «Одиссее» Е. Федорова есть намек, который нельзя пропустить: «Он теперь знал, что нет такой подлости, которую он бы не мог совершить. Он понял, что ничем не лучше других и даже хуже, мерзее...» Можно увидеть здесь отсылку к молитве мытаря. Однако в традиции, к которой примкнул Федоров, нет воли к освобождению от греха (которая, думается, была у евангельского мытаря). Надежда на спасение основана — как у Мармеладова — на одном сознании своей грешности, на смирении. Достоевский, в порыве сострадания к падшим, вложил в уста Мармеладова гениальную проповедь, захватившую о. Иосифа Фуделя, и он произнес в своей церкви проповедь, заканчивавшуюся словами: «Радуйтесь, грешники! Праведников введет в рай ап. Петр, а вас сама Божья Матерь» (свидетельствовал сын И. Фуделя, С. И. Фудель). Так веровал и В. В. Розанов, и Венедикт Ерофеев. Не знаю, верует ли так Е. Федоров или стилизует веру. Во всяком случае, выдвигение на первый план мармеладовской религиозности не очень благоприятно для роста нравственной воли.

Инерция распада ведет во «тьму низких истин». Любовь как сердечное чувство, разгорающееся в груди, прежде чем дело доходит до прикосновений, почти исчезла со страниц рассказов и повестей. Само слово «любить» уступает слову «трахать». Наряду с ним широкое право гражданства получили непечатные глаголы. «Окончательных запретов на определенные слова и словосочетания в секулярной литературе нет. Ругайся на здоровье, если нравится и умеешь, — пишет об этом Андрей Анпилов (просьба не путать с красно-коричневым политиком Анпиловым). — Но есть же существенная разница между буквальной матерщиной Ю. Алешковского и Лимонова и застенчивыми, почти детскими обмолвками Бенедикта Ерофеева и Довлатова! Главное — уместный тон, обаятельная интонация. В этом смысле на правило найдется исключение. Табуированной лексики, может быть, нынче и нет, но право на ее использование берется каждый раз силой, если хотите, — да, силой вдохновения. Что позволено Юпитеру, то для бычка — смерть!» (Анпилов А. «Что Юпитеру здорово, то для бычка — смерть». — «Литературная газета», 1994, № 50). Анпилов (к статье которого мы еще вернемся) указывает на самую суть дела: отсутствие внешней узды предполагает внутреннюю сдержанность, внутреннее чувство меры. Без нее свобода переходит в беспредел. Есть беспредел коррупции, беспредел преступности — и беспредел литературной разнузданности. Всюду одна и та же проблема свободы и воли.

### 5. Противостояние на плоскости

Мыслящая и пишущая Россия раскололась в основном на два враждебных лагеря, пародирующих спор западников и славянофилов. С одной стороны, честный, но бездуховный рассудок космополитического либерализма; с другой — извращенная духовность, языческий культ ненависти, силы и насилия. Это не чисто русское явление, и понять его можно только как взаимодействие двух процессов — мирового духовного кризиса, мирового конфликта глобального и этнического с русскими поисками выхода из-под обломков Утопии. Глобальные угрозы вроде озоновой дыры требуют глобальных решений; но нет воплощения вселенского духа, способного захватить сердце, и наступление рациональной, духовно ничтожной, пошлой космополитической цивилизации вызывает яростное сопротивление этносов, конфессий и национальных культур. Так это и на самом Западе, в Ольстере, в Бельгии, в Квебеке, в европейском антиамериканизме, но гораздо острее — на Юге и Востоке. В том числе в России. Свобода, веющая с нынешнего Запада, — это не только права человека, это свобода порнографии, эмансипации однополый любви, постмодернизм, деконструктивизм... С этим можно жить, пока живется, но нельзя переломить инерцию, влекущую к гибели. И здесь я снова процитирую Анпилова: «Иерархия ценностей, духовная вертикаль рухнула в результате распада единого образа мира на вариативные осколки. Ни один не лучше другого: у Библии нет преимущества перед Ригведой, у фрейдизма — перед герменевтикой, у дядьки — перед бузиной. Истина — йок, нравственность релятивна, стихи улетучились из воздуха, которым мы дышим...

Виктор Ерофеев преподносит дело так: высокая литература была присвоена официальной идеологией, слово превратилось в проститутку, потому что «подмахивало» официальной пропаганде. Но, продолжая в подобном духе, можно сказать, что ни Моцарта, ни Гёте не существует для принципиального человека...

Что ж, это можно понять. Это неизбежные рецидивы недавнего подпольного прошлого, протуберанцы озлобленного сознания, загурканного на долгие годы тоталитарной муштрой...» Однако «почему же с перьев наших соц-поп-артистов льются исключительно макабрические гнусности? А то, что не гнусно, — то скучно? Ради чего было огород городить?»

И не стоило, отвечает Станислав Говорухин — отвечает газета «Завтра». Не стоило менять нашу святую Русь на чечевичную похлебку Запада. «Духовная оппозиция» — это эффектная фраза, политическая риторика. Но не только риторика. Сегодняшние духовносы опираются на консервативную русскую мысль XIX века, и, хотя сами они не очень даровиты, им есть что цитировать:

«Разум и наука в жизни народов всегда, теперь и с начала веков, исполняли лишь должность второстепенную и служебную; так и будут исполнять до конца

веков. Народы слагаются и движутся силой имено, повелевающею и господствующею, но происхождение которой неизвестно и необъяснимо. Эта сила есть сила неутолимого желания дойти до конца и в то же время конец отрицающая. Это есть сила беспрерывного и неустанного подтверждения своего бытия и отрицания смерти. Дух жизни, как говорит Писание, «реки воды живой», иссякновением которых так угрожает Апокалипсис. Начало эстетическое, как говорят философы, начало нравственное, как отождествляют они же. «Искание бога» — как называю я всего проще. Цель всякого движения народного, во всяком народе и во всякий период его бытия, есть единственно лишь искание бога, бога своего, непременно собственного, и вера в него как единого истинного. Бог есть синтетическая личность всего народа, взятого с начала его и до конца. Никогда еще не было, чтоб у всех или у многих народов был один общий Бог, но всегда и у каждого был особый. Признак уничтожения народностей, когда боги начинают становиться общими. Когда боги становятся общими, то умирают боги и вера в них вместе с самими народами. Чем сильнее народ, тем особливее его бог. Никогда не было еще народа без религии, то есть без понятия о зле и добре. У всякого народа свое собственное понятие о зле и добре и свое собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы, тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать. Никогда разум не в силах был определить зло и добро или даже отделить зло от добра, хотя приблизительно; напротив, всегда позорно и жалко смешивался; наука же давала разрешения кулачные. В особенности этим отличалась полунатура, самый страшный бич человечества, хуже мора, голода и войны, неизвестный до нынешнего столетия».

Достоевский — великий мастер логически распатанной, сбивчивой речи, и монолог Шатова, который я цитирую, захватывает. Легко заметить, что боги здесь — языческие боги, у каждого народа свои и действительно связанные с неповторимыми обычаями. И если свезти их в одно место и установить рядышком в Пантеоне, то это говорит о распаде племенной и народной нравственности. Но Бог Авраама в эти рассуждения не вмещается. Можно указать и на другие ошибки. Однако подобные ошибки делает на каждом шагу и Лев Николаевич Гумилев в своей теории этносов. Те, кого захватывает пафос этнической идеи, не замечают нелепостей. Более того. Я признаюсь, что каждый раз читаю Шатова с волнением, не только отдельные мысли, с которыми согласен. Берет за живое и то, с чем я решительно не согласен. Чувство откликается на то, что разум отбрасывает как логический мусор.

Можно заметить, что для православного христианина, которым считал себя Шатов (и сам Достоевский), некоторые его суждения еретичны. Но это общая ересь, и общая для очень многих в России. «Вдумчивому члену русской Церкви, — пишет П. А. Флоренский, — бывает ясна д в у х составность русского Православия, чтобы не говорить о большем числе слоев, налипших на Православие, но, впрочем, ему чуждых и с ним не слившихся. Эти два основных элемента русской православности суть: естественная психология и весь душевный и общественный склад русского народа — с одной стороны, и вселенская церковность, полученная русским народом через греков. Люди всегда склонны сотворить себе кумир, чтобы избавить себя от подвига служения вечному и пассивно предаться простой данности. Этот кумир может быть весьма различным. Для русских православных людей таким кумиром чаще всего служит сам русский народ и естественные его свойства, которые ставят они перед собою на пьедестал и начинают поклоняться, как Богу. Вера в быт превыше требований духовной жизни, обрядоверие, славянофильство, народничество силятся стать на первое место, а вселенскую церковность поставить на второе или вовсе отставить».

В основе всех этих течений лежит тайная или явная вера, что русский народ сам собою, помимо духовного подвига, в силу своих этнических свойств, есть прирожденно христианский народ, особенно близкий ко Христу и фамильярный с Ним, так что Христос, как будто несмотря ни на что, и не может быть далеким от этого народа. И как всякая фамильярность с высоким, эта фамильярность влечет за собою высокомерие и презрение к другим народам, — не за те или иные общие качества, а за самое существо их. Смысл этого высокомерия может быть выраже-

тем, что мы — природные христиане, с нас, собственно, ничего не требуется, тогда как другие народы, в сущности, не христиане, и самые их достоинства вызывают в нас чувство пренебрежения» (Флоренский П. А. Записка о Православии. — «Символ», № 21).

Я готов подписаться здесь под каждым словом. Я высказывал сходные мысли и был за это ошельмован русофобом. И все же почему в устах Шатова, в устах Достоевского эта ересь захватывает? Очень важно понять, почему я, суперэкуменист, откликаюсь на языческое извращение вселенской идеи. Думается, потому, что этническое, даже со всеми своими пороками, все-таки живое, а не механическое и в его сопротивлении бездушной мировой машине есть что-то истинное, даже не только живое, но и духовное. Дух может быть побежден только духом, вернее, даже не побежден, а «снят» в гегелевском смысле этого слова, и современное воплощение вселенского духа противостоит не только слепому самоутверждению особи, но и механическому единству. Это дух диалога, утверждающий единство в многообразии.

### 6. Русская идея как диалог идей

Клиффорд Герц объяснял кровавые события 1965 года в Индонезии тем, что эта страна — наследница сразу нескольких цивилизаций, не вполне сложившихся в одно целое, и иногда индонезийцы относятся друг к другу, словно они принадлежат к разным враждебным племенам (Geertz C. Afterword. In: Culture and politics in Indonesia. Ithaca — London. 1972, p. 321). Россия — не Индонезия, но кое-что из характеристики Герца к ней подходит. В особенности к России после Петра. Говорухин восстает против моды на английский язык; в этом нет ничего нового. На вершине могущества Российской империи Грибоедов восставал против французского языка, против европейского платья и т. п.

Г. Федотов рассматривает советскую власть как победу старомосковского слоя над петербургским. Крутой поворот к Западу — вполне в духе русской истории, так же как крутая реакция против него. Я часто вспоминаю «Утро стрелецкой казни» Сурикова. Глаза Петра и глаза стрельца, с яростью уставившихся друг в друга. Ярость заставляет сдирать наносное (или, наоборот, безнадежно устаревшее, реакционное и т. п.) примерно так, как уничтожают луковицу, сдирая один ее слой за другим. Луковица цела, пока она многослойна. Единство луковицы отличается от единства ореха. Французскую культуру можно сравнить с орехом. Вы отбрасываете шелуху, остается ядро. В луковице такого резкого различия между шелухой и ядром нет. Если мы начнем снимать внешние слои, не останется ничего. Единство луковицы — это единство всех ее слоев. И потому всякие попытки отбросить что-то заимствованное (но глубоко усвоенное) есть здесь разрушение целого. Отбросить можно и нужно только одно — пошлость.

Всякая идея, противопоставленная всем другим, становится разрушительной силой. И некоторая европеизация России необходима ради самой России. Именно европеизация, а не американизация: Америка — это крайность, Новое время без средних веков, просвещение без романтизма. Я понимаю европеизацию как воспитание равновесия и чувства меры, редких в России и часто ненавистных русскому размаху (можно вспомнить, с каким презрением Марина Цветаева цитирует, в «Крысолове», — «Zuviel ist ungesund!»<sup>1</sup>). Россия никогда не станет аккуратной европейской страной, жизнь в России всегда будет трудной. Но некоторый сдвиг к культуре диалога всюду возможен. Он удался в верхнем русском слое, и накануне роковой цепи войн и революций неозападник Ф. Степун и неославянофил Е. Трубецкой вели друг с другом мирный диалог, которому можно позавидовать, читая спор А. Гербер с С. Говорухиным. Спасение России — в диалоге противоборствующих начал, в готовности пожертвовать своей репликой, промолчать во имя духа целого. Я не теряю надежды, что кризис может быть преодолен. Нужно только время, терпение и упорство.

<sup>1</sup> Излишество — вредно! (нем.)

---

---

СЕРГЕЙ КИРИЛОВ



## О СУДЬБАХ «ОБРАЗОВАННОГО СОСЛОВИЯ» В РОССИИ

**Р**азговор о судьбе отечественного интеллектуального слоя представляется уместным по крайней мере по трем причинам. Во-первых, дискуссии на тему «об интеллигенции» традиционно относятся к числу излюбленных в печати (ведется таковая и на страницах «Нового мира»)<sup>1</sup>, так что тема эта сама по себе, очевидно, представляет интерес для нам подобных. Во-вторых, в последние годы отмечены попытки представителей интеллектуального слоя высказываться от его лица, сформулировать его корпоративные ценности и интересы (одно из наиболее характерных явлений такого рода — статья И. Алексеева «Благородное собрание на руинах империи» в «Независимой газете», 1993, 14 июля). В-третьих, ведутся разговоры о возрождении России, о возвращении к ее культуре, что немислимо без воссоздания соответствующего интеллектуального слоя. При этом обращает на себя внимание, что обычно, с одной стороны, бывает не вполне ясно, о ком же и о чем, собственно, идет речь, а с другой — имеет место непонимание или игнорирование некоторых реалий, связанных как вообще с положением в обществе элитных слоев, так и с существом «советской интеллигенции».

В спорах о том, кого считать интеллигентом, возможно, и есть своя прелесть, но я, как человек, занимающийся скучными материями социальных и государственных структур, оценить ее не способен и предпочитаю писать о вещах, поддающихся более конкретному определению. Как отмечалось в одной из статей «Нового мира», интеллигенция несоотнесима с социальным слоем образованных людей или работников умственного труда и, более того, интеллигенция и образованные классы рассматриваются как полярные лагеря. Так вот, я буду говорить именно об «образованном сословии» — об интеллектуалах как социальном слое, вне зависимости от того, плохие они или хорошие, злые или добрые, «прогрессивные» или «реакционные», левые или правые. Между прочим, как бы ни различались взгляды этих лагерей по политическим и социальным вопросам (в том числе и на собственное место в обществе), они были людьми одной культуры. «Интеллигенты» отвергали те ценности, на которых были воспитаны, но воспитаны-то они были все-таки на тех же ценностях, что и «охранители». Конечно, если не брать в расчет все остальное население, то различия между отрядами этого слоя могут показаться гораздо более выпуклыми и значимыми. При этом совершенно не принимается в расчет принципиальное отличие всех этих людей вместе взятых (а это лишь 2 — 3 процента) от остальной массы населения. Объективно, с точки зрения структуры общества, они составляют один слой, выделенный по критериям способности к более сложной (умственной) деятельности, и развитие страны зависит все-таки не от того, насколько рьяно интеллигенты ругают власть, а от того, на каком уровне находится ее интеллектуальный слой.

---

<sup>1</sup> См., например: Ю. Шрейдер, «Двойственность шестидесятых» (1992, № 5); Рената Гальцева, «Возрождение России и новый «орден» интеллигенции» (1992, № 7); Д. С. Лихачев, «О русской интеллигенции» (1993, № 2); Алексей Кива, «Intelligentsia в час испытаний» (1993, № 8); Андрей Быстрицкий, «Приближение к миру» (1994, № 3); Ю. Каграманов, «Настыже время» (1994, № 5); Модест Колеров, «Самоанализ интеллигенции как политическая философия» (1994, № 8); и др.



## 1

Интеллектуальный слой не только является «лицом» общества, выразителем его достижений, но определяет способность данного общества к конкуренции на мировой арене, его вклад в мировую цивилизацию. Поэтому качественные характеристики культуруносного интеллектуального слоя во многом обуславливают судьбу страны. Блестящий расцвет русской науки и культуры в XIX веке был обеспечен людьми, объективно выдвинутыми теми принципами комплектования и существования этого слоя, которые были заложены три столетия назад, тогда как удручающая серость последних десятилетий связана с целенаправленным принижением культуруносного слоя и фактическим его уничтожением путем формирования такого его состава, который не способен выполнять свойственные этому слою функции.

Хотя понимание связи будущего России с восстановлением качества «слоев интеллектуалов» в ряде случаев и имеет место, над тем, насколько это вообще достижимо, есть ли хотя бы дрожжи, на которых могла бы возродиться прежняя культура, задумываются мало, потому что коренное отличие создавшего ее слоя от современного советского в полной мере не осознается. Конечно, слой интеллектуалов — лиц, обладающих сравнительно более высоким, чем у рядовых членов общества, уровнем информированности (образования) и осуществляющих функции руководства, духовно-культурного обслуживания и научно-технологического развития, — существует во всяком обществе, но при всем разнообразии набора социальных групп, составляющих этот слой в той или иной стране в то или иное время, положение такого слоя в обществе подчиняется некоторым общим закономерностям. О них-то обычно и забывают.

Преодоление современным интеллектуалом сознания своей социальной неполноценности дается тяжело. Основой идеологии всякого тоталитарного режима является общеобязательный культ «простого человека» (именно это роднит, казалось бы, совершенно разные по устремлениям тоталитарные идеологии). После десятилетий внушений в том духе, что руки важнее головы и назначение последней состоит в обслуживании их, голова, свыкшаяся с этой «аксиомой», в значительной степени утратила свои мыслительные свойства и до сих пор не осмеливается подняться до осознания протivoестественности такого положения.

Интеллектуальный слой по сути своей элитарен (коль скоро состоит из меньшинства, способного делать то, что не может большинство). Однако попытки выступить в защиту его интересов, о которых упоминалось выше, исходили как раз из того, что «наших много», подчеркивалось именно то обстоятельство, что интеллигенция теперь — весьма многочисленный общественный слой. Сработала характерная советская привычка говорить от имени если не большинства, то, по крайней мере, достаточно многочисленной группы населения: мол, не какие-то там одиночки выскочки, а — миллионы, «огромная сила». Увы, «массовость»-то и делает эти попытки безнадежными и даже смешными.

Дело в том, что высота статуса и степень материального благосостояния всякого элитного слоя обратно пропорциональна численности этого слоя и его доле в обществе. Рост численности социальных групп, входящих традиционно в состав элитного слоя данного общества, всегда приводит к падению престижа этих групп, и средний уровень материальной обеспеченности большинства их членов также обычно понижается, подобно тому как обесценивается значение, например, званий, наград и т. п. по мере увеличения числа их обладателей.

Вследствие этого доля элитных слоев в обществе более или менее константна и, как правило, не превышает 10 процентов, а чаще составляет еще меньшую величину — 2 — 3 процента. Это обстоятельство обусловлено как биологически (лишь ограниченное число особей в популяции обладает определенным набором качеств, позволяющих им выполнять соответствующие функции), так и тем, что доля материальных благ, перераспределяемых для обеспечения их существования, также не беспредельна.

Селекция элитного слоя обычно сочетает принцип самовоспроизводства и постоянный приток новых членов по принципу личных заслуг и дарова-

ний, хотя в разных обществах тот или иной принцип может преобладать в зависимости от идеологических установок. При этом важным показателем качества этого слоя является способность его полностью абсорбировать своих новых сочленов уже в первом поколении. При засорении интеллектуального слоя слишком большим числом лиц, не отвечающих по своему уровню задаче поддержания культурной традиции, он неизбежно деградирует и лишается в общественном сознании прежнего престижа, объективная «ценность» его среднего представителя понижается и возможности материально обеспечения падают.

В силу названных обстоятельств набор социальных групп, входящих в состав элитного слоя, со временем может меняться. Определяющим является не абсолютный уровень информированности, а положение данной группы по этому показателю относительно других социальных групп, относительно среднего уровня данного общества. Поэтому, кстати, и сама по себе численность и доля в населении той или иной социальной группы, претендующей на входение в элитный слой, косвенно может свидетельствовать о своей к нему принадлежности (или непринадлежности). Доля лиц, чей образовательный уровень существенно отличается от общего, довольно постоянна и не превышает нескольких процентов, причем не зависит от «абсолютных» показателей. Понятия «среднего», «высшего» и т. д. образования вообще весьма относительны и в плане социальной значимости сами по себе ничего не говорят: при введении, допустим, «всеобщего высшего образования» реальным высшим образованием будет аспирантура; если же всех пропускать через аспирантуру, то «интеллигентами с высшим образованием» можно будет считать обладателей докторских степеней, и т. д.

Важен не «абсолютный» уровень информированности, а степень отличия его от уровня основной массы населения. До революции, скажем, уровень общей культуры выпускника гимназии или реального училища сразу резко выделял его из массы населения (и принципиальной разницы в этом отношении между ним и выпускником вуза не было), в советское же время такое отличие обеспечивали лишь несколько лучших вузов или аспирантура (не говоря уже о том, что прежняя «средняя» гимназия и по абсолютному уровню гуманитарной культуры давала несравненно больше, чем «высший» советский институт).

Поэтому естественно, что по мере увеличения в обществе численности социальных групп, члены которых в силу функциональной предназначенности получали какое-либо образование, те группы, для которых уровень необходимой информированности был наименьшим, постепенно выпадали из элитного слоя и сливались с основной массой населения. Так, если в свое время, допустим, мелкие канцелярские служащие, писаря и т. п., чьи занятия были привилегированны и чья численность ничтожна относительно всего населения, входили в этот слой, то в ситуации, когда так называемые «белые воротнички» стали составлять до четверти населения, лишь высшие их группы могут быть к нему отнесены. По той же причине рядовой выпускник советского вуза занимает в статусном плане такое же, если не более низкое место в обществе, как не имеющий даже первого классного чина канцелярист в дореволюционной России.

На освещении интеллигентских проблем сильнейший отпечаток накладывает социальная самоидентификация пишущих. Как справедливо заметил в свое время Ф. Ницше, тщеславие других не нравится нам тогда, когда идет против нашего тщеславия. Вот почему, даже несмотря на моду на дореволюционную Россию, неприязнь к ее «образованному сословию» просматривается очень четко в писаниях самых разных по взглядам авторов. Для одних это буржуи, сатрапы и реакционеры, для других — масоны и предатели, виновные в гибели России. Но какой бы ни изображать, чем бы ни мазать старую российскую элиту и каких бы грехов на нее ни взваливать, а все равно ничего лучшего в стране не было: элита, она и есть элита. И это она создала ту русскую культуру, которая признана ныне всем цивилизованным миром. Культуру-то, общекультурный фон, стиль жизни, поведения и общения создает ведь не десяток «исполинов», а весь слой образованных людей: десятки тысяч учителей, офицеров, провинциальных барышень, чиновников, врачей и т. д. (в семьях которых потом и появляются эти самые «исполины»). Так что уж какими бы эти люди ни были, а то, что создали, — создали. Другое

дело, что созданная ими культура была чужда многим представителям советской интеллигенции. Эта культура, неотделимая от своих создателей, все-таки аристократична.

В нормальных условиях нация неизбежно выделяет свою аристократию, потому что сама сущность высоких проявлений культуры глубоко аристократична: лишь немногие способны делать что-то такое, чего не может делать большинство (будь то сфера искусства, науки или государственного управления). Не обязательно такие люди должны принадлежать к аристократии по происхождению, но само наличие аристократической среды, соответствующих идеалов и представлений в обществе для стимуляции успехов в этих видах деятельности абсолютно необходимо. Общественная поляризация рождает высокую культуру, усредненность, эгалитаризм — только серость. Та российская культура, о которой идет речь, создавалась именно на разности потенциалов (за что ее так не любят разного рода «друзья народа»). Характерно, что одно из наиболее распространенных обвинений Петру Великому — то, что он-де вырл пропасть между высшим сословием и «народом», формально вполне вздорное (ибо как раз при нем были открыты широкие возможности попасть в это сословие выходцам из «народа», тогда как прежде сословные перегородки были почти непроницаемы), — имеет в виду на самом деле эту разность.

Хотя культура образованного слоя дореволюционной России давно перестала быть господствующей, подспудное чувство неполноценности по отношению к ней порождает у члена современного «образованного сословия» даже иногда плохо осознаваемую враждебность. Лиц, сознательно ориентирующихся на старую культуру, среди нынешних интеллигентов до недавнего времени было относительно немного: такая ориентация не связана жестко с происхождением (создающим для нее только дополнительный стимул), а зависит в основном от предпочтений, выработавшихся в ходе саморазвития, а именно условия становления личности интеллектуала в советский период менее всего располагали к выбору в пользу этой культуры. Однако наличие в обществе хотя бы некоторого количества ее духовных наследников и приверженцев усиливает эти чувства, поскольку предполагает (пусть и молчаливое) противостояние между людьми разной культурной ориентации.

Следует заметить, что образованные по-советски люди оказались даже в большем отдалении от традиционных ценностей и понятий, чем простой народ, ибо заглотили большую порцию отравы (советская культура, с точки зрения нормального, несоветского человека, есть антикультура). Люди же, в меньшей степени приобщенные к культуре (которая была в эти годы советской, и никакой другой), оказались в относительно меньшей мере затронуты порчей. Поэтому в нем, как ни странно, до некоторой степени сохранилось как бы некое понятие о подлинной культуре, о том, чем она была раньше. И отсюда — традиционное уважение к «барину» как носителю этой культуры, то есть дореволюционному интеллектуалу. Мужик «барина», конечно, не любил, но прекрасно отдавал себе отчет в том, чем тот от него отличается, — за то, собственно, и не любил, что ему не приходило в голову почитать себя с ним «ровней». Но даже ненавидя его, мужик смутно понимал, что в «барине» есть что-то такое, чего не хватает ему самому и что в глубине души он не мог не уважать. Советский же интеллигент хотя «барина» в чем-то как бы и «любит» (почитая его себе «ровней» в социальном смысле), но, в сущности, не уважает, считая себя не менее «культурным» (да еще, пожалуй, — более, ибо советская культура, по его разумению, «выше» и «прогрессивнее»), и своего сущностного отличия от него даже и не осознает, так как критерии этого отличия часто ему неведомы.

Да и нельзя сказать, чтобы современные интеллектуалы хорошо представляли себе облик своих дореволюционных предшественников. Доходит до того, что в качестве общих мест фигурируют самые нелепые представления. Мне уже приходилось в свое время («Москва», 1992, № 2-4) писать по поводу смехотворного тезиса о «чиновничестве», не допускающем в свою среду «образованных разночинцев», из чего якобы и произошла «интеллигенция». Для некоторых невежественных советских историков это было нормально (откуда им знать положение «Устава о службе гражданской»), не полезут же они, в самом деле, разбираться в системе гражданского чиновничества, персональ-

ном составе и образовательном уровне тех групп интеллектуального слоя, о котором им вздумается порассуждать), но сходные мотивы можно встретить и у людей как будто несколько другого культурного уровня. На страницах «Нового мира» тоже довелось читать, что «возникновение маргинального «ордена» интеллигенции» было обусловлено «архаичностью российской таблицы о рангах» (последняя вообще очень часто предстает как какое-то специфическое российское «чудо-юдо», шокирующе действуя на советско-интеллигентские мозги, хотя представляет собой совершенно нормальное и необходимое типично европейское явление, имеющее место и в настоящее время во всех цивилизованных государствах). Да и вообще, из-за слабого знакомства с реалиями других европейских стран пресловутую «особость» России (не важно — отрицательно или положительно ее толкуя) часто ухитряются видеть как раз там, где ее нет.

## 2

Социальный слой носителей российской культуры и государственности был уничтожен вместе с культурой и государственностью исторической России в результате большевистского переворота. В течение полутора десятилетий после установления коммунистического режима было в основном покончено с его остатками, и одновременно шел процесс создания «новой интеллигенции», предопределивший нынешнее положение с интеллектуальным слоем в нашей стране. В основе этого лежали следующие обстоятельства.

Большевистскую революцию российский интеллектуальный слой встретил, естественно, резко враждебно. Более того, он был единственным, кто оказал ей сразу же активное вооруженное сопротивление — еще в то время (осень 1917 — зима 1918 года), когда крестьянство и даже казачество оставались пассивны. Хотя в сопротивлении непосредственно участвовала лишь небольшая часть этого слоя (большинство и его члены оказались не на высоте, проявив крайнее недомыслие, нерешительность и трусость), но среди тех, кто оказывал противодействие установлению большевистской диктатуры в стране, его представители составляли до 80 — 90 процентов. Именно такой состав имела на первых порах Добровольческая армия и аналогичные ей формирования на других фронтах (из 3683 участников «Ледяного похода» более трех тысяч были офицерами, юнкерами, студентами, гимназистами и т. п.; на Востоке осенью 1918 года из 5261 штыка Среднесибирского корпуса 2929 были офицерами, и т. д.). Следует иметь в виду, что к 1917 году почти все лица «призывного» возраста, имеющие образование, являлись офицерами. Большевики, со своей стороны, вполне отдавали себе отчет в том, что их реальными противниками в гражданской войне были не мифические «капиталисты и помещики», а интеллигенция — в погонах и без оных, из которой и состояли белогвардейские полки.

Вследствие этого красный террор был направлен именно против интеллектуального слоя. В рекомендациях органам ЧК прямо указывалось на необходимость руководствоваться при вынесении приговора профессией и образованием попавших им в руки лиц. В инструкциях местным органам советской власти по взятию заложников для расстрела также указывался круг соответствующих профессий будущих жертв. Все это тогда ничуть не скрывалось, и большевистские вожди «историческое оправдание» террора видели именно в том, что «пролетариату удалось сломить политическую волю интеллигенции». В результате потерь интеллектуального слоя от террора, а также голода и эпидемий, явившихся непосредственным следствием революции, численность его представителей сократилась на несколько сот тысяч человек. Примерно такое же число лиц умственного труда оказалось в эмиграции. Страна не только лишилась большей части своего интеллектуального потенциала, но старый интеллектуальный слой вовсе перестал существовать как социальная общность и общественная сила.

В отношении остатков этого слоя, которому, как считали коммунистические идеологи, «вполне заслуженно пришлось изведать участь побежденно-го», проводилась целенаправленная репрессивная политика. Ставилась задача, во-первых, как можно быстрее заменить представителей «старой интеллигенции» в сфере их профессионального труда «советской интеллигенцией»,

во-вторых, лишить их вообще возможности заниматься умственным трудом (предлагалась, в частности, земледельческая колонизация, переучивание для физического труда в промышленности, а также упразднение вовсе некоторых видов деятельности, которыми могли заниматься лишь преимущественно старые специалисты) и, в-третьих, не допустить проникновения в «новую интеллигенцию» детей интеллигенции дореволюционной — с тем, чтобы естественная убыль старого интеллектуального слоя не могла сопровождаться «замещением его хотя бы в тех же размерах из той же среды».

Новый интеллектуальный слой с самого начала создавался на принципах, во многом противоположных дореволюционным. Но самое существенное то, что он, исходя из социологических концепций новых правителей, должен был иметь как бы «временный» характер. Интеллектуальный слой, и без того плохо вписывающийся своим существованием в марксистские схемы «классового общества», как бы постоянно «путался под ногами» у теоретиков марксизма. Согласно воззрениям строителей нового общества, в будущем он вообще не должен был существовать. Становление системы образования имело основной целью способствовать достижению полной «социальной однородности».

Понятно, что интеллектуальный слой, создаваемый исходя из подобных задач, должен был как бы отрицать собственную сущность — сущность элитарного слоя, каковым он является в нормальном обществе. С другой стороны, практические задачи государственного выживания до известной степени препятствовали полной реализации теоретических посылок коммунистической идеологии. Под знаком противоположного сочетания этих двух взаимоисключающих тенденций и проходило становление интеллектуального слоя в советский период.

Так вот, я позволю себе напомнить, что между интеллектуальным слоем старой России и современным поистине лежит пропасть — настолько сильно отличаются все их основные характеристики, и попытки предьявлять требования обеспечить для нынешнего интеллектуального слоя то положение, которое занимал в обществе дореволюционный, есть попытки с негодными средствами.

Прежде всего, интеллектуальный слой дореволюционной России был сравнительно немногочисленным, он насчитывал 2 — 3 млн. человек, составляя около 3 процентов населения страны. Наиболее значительная часть его была занята в управлении частным сектором экономики. (Среди лиц интеллектуальных профессий насчитывалось до 300 тыс. разного рода учителей и преподавателей, до 50 тыс. ИТР (в том числе около 10 тыс. инженеров), 80 — 90 тыс. медиков (в том числе до 25 тыс. врачей), около 20 тыс. ученых и преподавателей вузов, 60 тыс. кадровых офицеров и военных чиновников, 200 тыс. духовенства.) Тогда как в советское время важнейшим обстоятельством, оказавшим решающее влияние на большинство проблем, связанных с обликом и положением интеллектуального слоя, стал быстрый, искусственный и гипертрафированный рост его численности.

Подготовка специалистов и развитие сети учебных заведений форсировались практически на всех этапах истории советского общества, ибо были прямо связаны с целью лишить интеллектуальный слой особого привилегированного статуса путем «превращения всех людей в интеллигентов». Темпы подготовки инженеров и других специалистов массовых интеллигентских профессий намного опережали реальные потребности экономики (особенно в производственной сфере) и диктовались главным образом пропагандистскими и политическими соображениями.

Начиная с 20-х годов перед политическим руководством стояла, кроме всего прочего, и проблема обеспечения лояльности интеллектуального слоя, недопущение возможности оппозиции с его стороны. Для этого важно было, во-первых, исключить корпоративную общность и солидарность отдельных отрядов этого слоя (традиции такой общности в дореволюционной России были достаточно развиты), а во-вторых, всегда иметь возможность заменить саботирующих или репресслируемых специалистов без ущерба для дела при массовом характере их сопротивления. Избыточное увеличение численности решало обе эти проблемы.

Важнейшее значение для увеличения численности интеллектуального слоя имел, конечно, рост числа студентов, форсирование которого стало

первостепенной заботой советских властей. Однако общая численность лиц умственного труда росла еще быстрее количества студентов и была гораздо значительнее, чем число выпускников учебных заведений, поскольку для советского строя всегда было характерно (особенно в довоенный период) так называемое «выдвиженчество» — массовое назначение на соответствующие должности для исполнения интеллигентских функций людей, не получивших соответствующего образования. Основной скачок численности интеллектуального слоя пришелся на 30-е годы, когда темпы роста за десятилетие составили около 300 процентов, а по лицам с высшим и средним специальным образованием — 360 процентов. Второй «всплеск» роста пришелся на 50 — 60-е годы, когда по отдельным категориям он составил до 100 процентов за десятилетие. Оба скачка, как будет показано ниже, были вызваны идеолого-политическими обстоятельствами.

Практически для всех социально-профессиональных групп интеллектуального слоя была характерна такая степень количественного роста, которая лишала их профессию прежнего ореола избранности. Продолжавшееся безмерное разбухание интеллектуального слоя (к концу 80-х годов насчитывалось 37 млн. специалистов, в том числе 16 млн. с высшим образованием) привело к тому, что при значительно более низком социокультурном и техническом уровне СССР по сравнению с развитыми европейскими странами, он находился на первом месте в мире по количеству врачей, инженеров, научных работников и т. д. не только в абсолютном исчислении, но и на душу населения, одновременно держа первенство по мизерности их оплаты — как по абсолютным показателям, так и относительно средней зарплаты по стране.

До революции часть интеллектуального слоя, занятая в сфере непосредственного государственно-административного управления, была, вопреки распространенным представлениям, крайне незначительная. Даже с учетом того, что в России значительная часть преподавателей, врачей, инженеров и других представителей массовых профессиональных групп интеллектуального слоя находилась на государственной службе и входила, таким образом, в состав чиновничества, общее число российских чиновников было довольно невелико, особенно при сопоставлении с другими странами.

На рубеже XVII — XVIII веков всех «приказных людей» в России насчитывалось около 4,7 тыс. человек, тогда как в Англии в начале XVIII века при вчетверо меньшем населении — 10 тыс. В середине XVIII века всех ранговых гражданских чиновников в России насчитывалось всего 2051 тыс. (с канцеляристами — 5379 тыс.). В 1796 году ранговых чиновников было 15,5 тыс., в 1804 — 13,2 тыс., в 1847 — 61 548 тыс., в 1857 — 86 066 тыс. (плюс 32 073 канцеляриста), в 1897 — 101 513 тыс., в начале XX века — 161 тыс. (с канцеляристами — 385 тыс.). К 1917 году всех государственных служащих насчитывалось 576 тыс. Между тем во Франции уже в середине XIX века их было 0,5 млн., в Англии к 1914 году (при втрое-вчетверо меньшем населении) — 779 тыс., в США в 1900 году (при в 1,5 раза меньшем населении) — 1275 тыс., наконец, в Германии в 1918 году (при в 2,5 раза меньшем населении) — 1,5 млн. С учетом общего числа жителей в России «на душу населения» приходилось в 5 — 8 раз меньше чиновников, чем в любой европейской стране.

Для советского же режима характерна тотальная бюрократизация интеллектуального слоя. С исчезновением настоящей бюрократии (сравнительно небольшого слоя чиновников, юридически оформленного, с конкретной и четкой иерархией, чинами и т. д.) произошла тотальная бюрократизация всего общества, в котором хотя никто не имеет гражданских чинов, но практически каждый является чиновником в смысле принадлежности к системе общественных отношений, где все замкнуто на государство и любая сфера деятельности есть, по сути, государственная служба, поскольку других работодателей не имеется. Если до революции на государственной службе состояло менее четверти всех представителей интеллектуального слоя, то после нее — подавляющее большинство, а к концу 20-х годов (с ликвидацией нэпа) — до 100 процентов.

Тотальный контроль социалистического государства над всеми сферами жизни привел к невиданному разрастанию и собственно административно-управленческого слоя. Уже в конце 1919 года, несмотря на потери во время

мировой и гражданской войн, эмиграции и отпадения от России огромных территорий с многомиллионным населением, только в 33 губерниях Европейской России насчитывалось 1880 тыс. средних и 480 тыс. высших государственных служащих (вместо 576 тыс. до революции). Перепись 1923 года зафиксировала только в городах, без сельской местности, 1836 тыс. служащих. Несмотря на частные сокращения, их число с 1925 по 1928 год увеличилось с 1854,6 до 2230,2 тыс. человек. Если до 1917 года в России на 167 млн. населения приходилось менее 0,6 млн. государственных служащих, а в Германии на 67,8 млн. населения — 1,5 млн., то уже через десять лет Германия по количеству их «на душу населения» осталась далеко позади: к этому времени там в управлении было занято 20 человек на 1000 человек населения, а в СССР — 33. Таким образом, занимая по этому показателю до революции последнее место среди европейских стран, после нее наша страна уверенно вышла на первое. Показательно, что уже в 1923 — 1924 годах в государственном аппарате насчитывалось свыше 2000 наименований должностей вместо 600 до революции.

Проблема «сокращения госаппарата» постоянно поднималась в советское время, но ни разу даже не приблизилась к решению, потому что в социалистическом государстве она нерешаема в принципе. Наиболее шумные кампании под лозунгами типа «Из канцелярии — к станку!» имели место в конце 50-х — начале 60-х годов. Планы простирались до того, чтобы переучивать служащих в рабочих и направлять их в отдаленные районы. Но и роспуск ряда министерств, перекройка органов управления и другие меры принесли смехотворные результаты. В 1960 году по сравнению с 1958-м численность госаппарата сократилась на 6 — 7 процентов, но в 1963 году восстановилась, а со следующего года стала уверенно расти, увеличившись к 1968 году на целую треть. И в дальнейшем после каждого «сокращения» численность госаппарата только еще больше возрастала. Ибо советский строй немислим без бюрократизации, это та основа, без которой он не мог существовать, даже если бы примитивизм и ограниченность его политического руководства на всех уровнях не заставляли искать в ней спасения.

Качественный уровень дореволюционных специалистов был, в общем, весьма высок, ибо система образования, сложившаяся в России к тому времени, в тех ее звеньях, которые непосредственно пополняли своими выпускниками наиболее квалифицированную часть интеллектуального слоя (гимназии и вузы), находилась на уровне лучших европейских образцов, а во многом и превосходила их. Дореволюционные русские инженеры, в частности, превосходили своих зарубежных коллег именно по уровню общей культуры, ибо в то время в России на это обращали серьезное внимание, не рассматривая инженерную специальность как узкое «ремесло».

Интеллектуальный слой, созданный коммунистическим режимом и известный под термином «советская интеллигенция», отличался в целом низким качественным уровнем. Лишь в некоторых элитных своих звеньях (например, ученые точных и естественных наук), менее подверженных идеологизации, где частично сохранились традиции русской научной школы, или в военно-технической сфере, от которой напрямую зависела судьба режима, он мог сохранять некоторое число интеллектуалов мирового уровня. Вся же масса рядовых членов этого слоя оказывалась много ниже не только дореволюционными специалистами, но и современных им иностранных.

Основная часть советской интеллигенции получила крайне поверхностное образование. В 20 — 30-х годах получил даже распространение так называемый «бригадный метод обучения», когда при успешном ответе одного студента зачет ставился всей группе. Специалисты, подготовленные подобным образом, да еще из лиц, имевших к моменту поступления в вуз крайне низкий образовательный ценз, не могли, естественно, идти ни в какое сравнение с дореволюционными. К тому же система образования, сложившаяся и функционировавшая при преобладающем влиянии идеологических установок режима, давала своим воспитанникам в лучшем случае лишь более или менее узкоспециальные навыки, необходимые для исполнения профессиональных функций, да и то лишь в лучших учебных заведениях (масса провинциальных вузов, профанируя и фальсифицируя понятие высшего образования, была не способна и на это). Общекультурный уровень, обеспечиваемый советской

системой образования, уровень гуманитарной культуры, был не только ниже всякой критики, но являлся скорее величиной отрицательной, ибо подлинная культура не только не преподавалась, но заменялась «партийными дисциплинами». Пополнение интеллектуального слоя продолжало получать крайне скудное образование по предметам, формирующим уровень общей культуры. В вузах естественно-технического профиля они вообще отсутствовали, а в вузах гуманитарных информативность курса даже основных по специальности дисциплин была чрезвычайно мала, в 2 — 3 раза уступая даже уровню 40 — 50-х годов, и несопоставима с дореволюционной.

Немногие носители старой культуры совершенно растворились в этой массе полуграмотных образованцев. Сформировавшаяся в 20 — 30-х годах интеллигентская среда в качественном отношении продолжала как бы воспроизводить себя в дальнейшем: качеством подготовленных тогда специалистов был задан эталон на будущее. Образ типичного советского инженера, врача и т. д. сложился тогда — в довоенный период. В 50 — 60-е годы эти люди, заняв все руководящие посты и полностью сменив на преподавательской работе остатки дореволюционных специалистов, готовили себе подобных и никаких других воспитать и не могли.

Наконец, не менее чем на треть советская интеллигенция состояла из лиц без требуемого образования. До революции подобное явление не оказывало существенного влияния на общий уровень интеллектуального слоя, так как такие лица, как правило, не отличались по уровню общей культуры от лиц, получивших специальное образование (они были представителями одной и той же среды и имели возможность приобщаться к ее культуре в семье). Но советские «практики»-выдвиженцы вышли как раз из низов общества и, не получив даже того скудного образования, какое давали советские специальные учебные заведения, представляли собой элемент, еще более понижающий общий уровень советского интеллектуального слоя.

Характерной чертой советской действительности была прогрессирующая профанация интеллектуального труда и образования как такового. В сферу умственного труда включались профессии и занятия, едва ли имеющие к нему отношение. Плодилась масса должностей, якобы требующих замещения лицами с высшим и средним специальным образованием, что порождало ложный «заказ» системе образования. Идея «стирания существенных граней между физическим и умственным трудом» реализовывалась в этом направлении вплоть до того, что требующими такого образования стали объявляться чисто рабочие профессии. Пожалуй, наиболее красноречивым свидетельством деградации интеллектуального слоя в советский период стало появление и расширение слоя так называемых «рабочих-интеллигентов» — лиц с высшим и средним специальным образованием, занятых на рабочих должностях. Это уродливое явление, порожденное извращенной системой зарплаты и огромным перепроизводством специалистов (при том, что многие должности ИТР, в том числе и действительно требующие высшего образования, были заняты «практиками»), почиталось, однако, основным достижением советской социальной политики. Именно в этом слое виделось воплощение грядущей социальной однородности общества, «живые зачатки слияния в исторической перспективе рабочего класса и интеллигенции».

### 3

Важной особенностью интеллектуального слоя старой России был его «дворянский» характер. В силу преимущественно выслуженного характера российского высшего сословия оно в большей степени, чем в других странах, совпадало с интеллектуальным слоем (и далеко не только потому, что поместное дворянство было самой образованной частью общества и лица, профессионально занимающиеся умственным трудом, поначалу происходили главным образом из этой среды). Фактически в России интеллектуальный слой и был дворянством, то есть образовывал в основном высшее сословие.

С начала XVIII века (в XVIII — XIX веках возникло до 80 — 90 процентов всех дворянских родов) считалось, что дворянство как высшее сословие должно объединять лиц, проявивших себя на разных поприщах и доказавших



свои отличные от основной массы населения дарования и способности (каковые они призваны передать и своим потомкам). До 1845 года потомственное дворянство приобреталось с первым же офицерским чином на военной службе и с чином коллежского асессора (8 класс) на гражданской (чины 14 — 9 классов давали личное дворянство), а также с награждением любым орденом. При этом образовательный уровень являлся в силу связанных с ним льгот решающим фактором карьеры. Так что почти каждый образованный человек любого происхождения становился сначала личным, а затем и потомственным дворянином, и сословные права дворянства фактически были принадлежностью всего образованного слоя в России.

Этот слой, таким образом, будучи самым разным по происхождению, был до середины XIX века целиком дворянским по сословной принадлежности. В дальнейшем, поскольку сеть учебных заведений и число интеллигентских должностей быстро увеличивались, дворянство по-прежнему в огромной степени продолжало пополняться этим путем, хотя после повышения требований для получения дворянства (с 1845 года потомственное дворянство приобреталось на военной службе с чином 8 класса (майор), а на гражданской — 5-го (статский советник), личное — военными чинами 14 — 9 классов и гражданскими чинами 9 — 6 классов; с 1856 года класс чинов, приносящих потомственное дворянство, был поднят до 6-го (полковник) на военной службе и до 4-го (действительный статский советник) на гражданской) некоторая часть интеллектуального слоя оставалась за рамками высшего сословия. Учитывая, что на рубеже XIX — XX веков весь интеллектуальный слой составлял 2 — 3 процента населения, а дворяне (в том числе и личные) — 1,5 процента, большинство его членов официально относились к высшему сословию (среди тех его представителей, которые состояли на государственной службе, — 73 процента).

В силу вышеназванных обстоятельств общественный статус и престиж интеллектуального слоя были исключительно высоки. Пожалуй, ни в одной европейской стране принадлежность к числу лиц умственного труда (особенно это существенно для их низших слоев) не доставляла индивиду столь отличного от основной массы населения общественного положения. Хотя с середины XIX века дворянский статус перестал играть сколько-нибудь существенную роль в жизни человека, однако психологически принадлежность к высшему сословию способствовала духовной независимости интеллектуала, осознанию самоценности своей личности. Представления недавних времен, когда образованный человек отождествлялся с дворянином, как бы накладывали отпечаток «благородства» на всю сферу умственного труда.

Вступая в ряды «образованного сословия», человек недворянского происхождения, даже если он не получал официально прав дворянства (к началу XX века превратившихся в чисто престижные), не мог не ощущать себя принадлежащим к «обществу», «вышедшим в люди». И имел к тому все основания, ибо, как бы ни была велика разница между университетским профессором и сельским учителем, преуспевающим столичным адвокатом и скромным провинциальным секретарем, свитским генералом и бедным армейским офицером, все они вместе взятые принадлежали к слою, составлявшему 2 — 3 процента населения. Совершенно закономерно, что любой интеллигент воспринимался в народе как «барин», что отражало разницу между ним и подавляющим большинством населения страны.

Принцип комплектования российского интеллектуального элитного слоя соединял лучшие элементы европейской и восточной традиций, сочетая принципы наследственного привилегированного статуса образованного сословия и вхождения в его состав по основаниям личных способностей и достоинств. Наряду с тем, что абсолютное большинство членов интеллектуального слоя России вошли в него путем собственных заслуг, их дети практически всегда наследовали статус своих родителей, оставаясь в составе этого слоя. К началу XX века 50 — 60 процентов его членов были выходцами из той же среды, но при этом, хотя, как уже говорилось, от двух третей до трех четвертей их самих относились к потомственному или личному дворянству, родители большинства из них дворянского статуса не имели. Среди гражданских служащих дворян по происхождению было 30,7 процента, среди офицеров — 51,2 процента, среди учащихся гимназий и реальных училищ —

25,6 процента, среди студентов — 22,8 процента (на 1897 год). Ко времени революции — еще меньше. Таким образом, интеллектуальный слой в значительной степени самовоспроизводился, сохраняя культурные традиции своей среды. При этом влияние самой среды на попавших в нее «неофитов» было настолько сильно, что уже в первом поколении, как правило, нивелировало культурные различия между ними и «наследственными» членами «образованного сословия».

Поскольку создание советской интеллигенции происходило под знаком борьбы за «социальную однородность общества», коммунистический режим целенаправленно формировал совершенно определенный социальный состав интеллектуального слоя, придавая этому огромное, часто самодовлеющее значение. В идеале (впредь до исчезновения этого слоя как такового) желательно было иметь его полностью «рабоче-крестьянским» — так, чтобы каждое новое поколение интеллигенции было бы интеллигенцией «в первом поколении». Но более реальной была задача по крайней мере не допустить, чтобы процент выходцев из интеллигенции в новом поколении интеллектуального слоя превышал долю этого слоя в населении страны. Задача регулирования социального состава интеллигенции осуществлялась по нескольким направлениям.

Прежде всего проводилась политика прямого регулирования социального состава учащихся с предоставлением льгот «рабоче-крестьянскому молодяку» и ограничением права на образование выходцам из интеллектуального слоя. Уже в 1918 году был принят беспрецедентный закон о предоставлении права поступления в вузы лицам любого уровня образования или даже вовсе без образования, и под лозунгом «завоевания высшей школы» началось массовое зачисление туда «рабочих от станка». В 1921 году был установлен «классовый принцип» приема в вузы с целью резкого ограничения доли детей интеллигенции среди студентов. Стали использоваться различные методы «командировок», «направлений» и т. п.

Выходцам из образованного слоя был законодательно закрыт доступ не только в высшие учебные заведения, но и в среднюю школу II ступени, чтобы они не могли пополнять ряды даже низших групп интеллигенции. Лишь в порядке исключения для детей особо доверенных специалистов выделялось несколько процентов плана приема как представителям «трудовой интеллигенции». Особенно усилился «классовый подход» в конце 20-х годов, в связи с известными политическими процессами над интеллигенцией — именно тогда, когда численность студентов возросла особенно резко. Вступительные экзамены в вузах были введены только в 1932 году.

Формально «классовый принцип» был отменен лишь в середине 30-х годов, когда выросло число потенциальных абитуриентов «из интеллигенции» за счет детей тех, кто сам в первые послереволюционные годы поступал в вуз по разряду «пролетариев» и «выдвиженцев». Такие лица составляли уже новую группу, отношение режима к которой было более терпимым: считалось, что «потомственная советская интеллигенция» — дети тех, кто получил образование и вошел в состав интеллектуального слоя благодаря установленному революцией режиму, — более лояльна и нет необходимости столь жестко ее ограничивать в правах. Однако для рабочих и крестьян по-прежнему сохранялось предпочтение.

С точки зрения идеологии режима, положение, при котором степень самовоспроизводства интеллигенции поднималась хотя бы и за счет советской образованной прослойки, было нетерпимо в принципе. И в 50-х годах, когда такая тенденция начала проявляться, сделали попытку вернуться на практике 20-х. В 1958 году было принято положение о преимущественном зачислении в вузы так называемых «производственников», или «стажников», — лиц, проработавших на производстве не менее двух лет, — действовавшее весь период хрущевского правления. Практически дело было поставлено таким образом, что «стажники» зачислялись по мере подачи заявления, экзамены для них были формальностью, поскольку их доля в плане приема должна была составлять до 80 процентов. Это, однако, вызвало такое катастрофическое падение уровня подготовки специалистов, что советской власти пришлось отказаться от столь быстрого прорыва к «стиранию граней между физическим и умственным трудом». Тогда же по образцу 20-х годов были возрожде-

ны рабфаки, и вплоть до последних лет существования коммунистического режима сохранялась система негласных преимуществ по признаку происхождения «из рабочих и крестьян» и вполне гласных и очень весомых преимуществ «производственникам», для которых существовал отдельный конкурс на заранее выделенное число мест с несравненно более низким проходным баллом, и выпускникам рабфаков, принимавшимся вовсе без экзаменов. Эта практика поддерживалась идеологически в печати, публицистике и научной литературе (излюбленным сюжетом социологических исследований было изучение социального состава студентов как фактора «становления социальной однородности советского общества»).

В результате мер, предпринятых советской властью, доля студентов — выходцев из образованных слоев, составлявшая первые два-три года после революции еще свыше двух третей, стала стремительно снижаться. Уже в 1923 году в приеме на первый курс их было меньше половины. В конце 20-х — начале 30-х годов выходцев из интеллигенции среди студентов вузов насчитывалось не более 20 — 30 процентов (в ряде вузов, особенно технических, — иногда и менее 10 процентов), среди учащихся техникумов — 10 — 15 процентов. При этом на дневных отделениях доля их была вдвое-втрое ниже, чем на вечерних и заочных. В конце 30-х годов в силу упоминавшихся причин процент выходцев из интеллектуального слоя повысился до 40 с небольшим, в 40 — 50-х годах составлял до 50 — 60, но затем, с введением новых льгот «производственникам» и «вторым рождением» рабфаков, вновь упал до 40 — 45 процентов и в 70-е годы обычно не поднимался выше 50 процентов. Среди принятых на 1-й курс с конца 60-х до конца 70-х годов доля выходцев из интеллигенции упала почти на десять пунктов (с примерно 55 до примерно 45 процентов). Среди выпускников средних специальных учебных заведений, замещавших основную массу должностей ИТР и других массовых интеллигентских профессий, выходцев из интеллигенции было в среднем не более 20 процентов.

## 4

В социопсихологическом и культурно-историческом плане в составе интеллектуального слоя советского периода различаются три группы: 1) остатки дореволюционного интеллектуального слоя и их потомки — носители соответствующих традиций, 2) советская потомственная интеллигенция (дети и внуки лиц, вошедших в состав интеллектуального слоя после революции) и 3) советская интеллигенция первого поколения. Соотношением между ними во многом определялся общий облик интеллектуального слоя на разных этапах истории советского общества.

Несмотря на все предпринимаемые меры, советским властям не сразу удалось выполнить намеченные задачи в сфере социального состава интеллектуального слоя. Решающие усилия были предприняты в 20 — 30-х годах. В 1929 году около 60 процентов всего интеллектуального слоя еще составляли лица, относившиеся к нему до революции, и их дети. Однако уже к концу 30-х годов доля этой категории снизилась до 20 — 25 процентов. Полностью отстранить представителей старой интеллигенции было невозможно, потому что для нужд государственного выживания требовался хотя бы какой-то минимум по-настоящему образованных людей. Пришлось допустить и некоторое пополнение нового поколения интеллигенции из той же среды, кроме того, часть выходцев из старого интеллектуального слоя смогла поступить в вузы, пробыв какое-то время в качестве рабочих. Но потери, понесенные старым культурным слоем страны в результате репрессий и эмиграции, так и не смогли быть восполнены из своей среды за годы советской власти даже по абсолютной численности. Доля этой группы интеллигенции неуклонно снижалась и после войны не превышала 10 процентов всего слоя.

Вторая группа возникла в конце 30-х годов, но была еще крайне немногочисленной, лишь в послевоенное время произошел ее существенный рост (когда к профессиональной деятельности приступило полностью все поколение родившихся в 20 — 30-х годах). К 60-м годам она составила 20 — 25 процентов всей интеллигенции. И не случайно именно на это время, когда воз-

раста поступления в вуз стало достигать поколение ее детей и режим столкнулся с крайне неприятной для себя перспективой получить вскоре уже массовый слой интеллигентов в третьем поколении (что противоречило всем его социологическим и идеологическим установкам), приходится новая антиинтеллигентская кампания, новый всплеск «классового подхода», повторяющий 20 — 30-е годы. С 60-х годов, когда усилился приток в состав интеллектуального слоя детей уже советских интеллигентов, общая доля выходцев из интеллигентских семей в его составе несколько повысилась (примерно до 30 процентов), но, медленно увеличиваясь и в дальнейшем, не превысила к 80-м годам 35 — 45 процентов. В результате принятых мер рост удельного веса потомственных интеллектуалов (хотя бы и советской формации) в массе интеллигенции удалось существенно затормозить.

Однако если и не удалось снизить процент выходцев из образованных слоев в составе интеллигенции до такой степени, чтобы он соответствовал проценту этих слоев во всем населении страны, то в целом задача создания новой, особого рода советской интеллигенции была выполнена: это была более чем на три четверти интеллигенция в первом поколении, мало отличавшаяся по культурному уровню от массы населения. Такое соотношение поддерживалось форсированным целенаправленным ростом численности интеллигентов первого поколения. Наивысшего удельного веса эта третья группа интеллигенции достигла в конце 30-х — начале 40-х годов (до 80 — 90 процентов), но затем, с ростом второй группы, он стал медленно снижаться. Однако благодаря контролю за социальным составом студентов режиму удавалось сохранять ее абсолютное преобладание в составе интеллектуального слоя до самого конца, сохраняя общий облик советской интеллигенции как «интеллигенции первого поколения». Лишь в наиболее элитарной своей части (академическая среда, некоторые категории творческой интеллигенции) ее состав отличался повышенной долей потомственных интеллектуалов.

В результате этого интеллигентская масса была лишена понятий о личном и корпоративном достоинстве по условиям своего формирования и отсутствия связи с прежним истеблишментом (где такие понятия естественным образом проистекали от бывшей принадлежности к высшему сословию). Новых же понятий такого рода она приобрести не могла, поскольку в советском обществе интеллектуальный слой не только не имел привилегированного статуса, но, напротив, трактовался как неполноценная в социальном плане, временная и ненадежная «прослойка» — объект идейного воспитания со стороны рабочих и крестьян.

До революции материальное обеспечение интеллектуального слоя в целом было достаточно удовлетворительным. Во всяком случае, оно соответствовало тому месту в социальной иерархии, которую он занимал. Правда, связь «образованного сословия» с собственностью была незначительной, огромное большинство его членов не имело ни земельной, ни какой-либо иной недвижимости. В начале XX века даже среди той его части, которая занимала самое высокое положение на государственной службе (чины 1 — 4 классов), не имело собственности более 60 процентов, среди офицеров не владели собственностью более 95 процентов. Зато жалованье и доходы лиц умственного труда от своей профессиональной деятельности были довольно высоки, в несколько раз превышая доходы работников физического труда. Жалованье рядовых инженеров на государственной службе составляло около 2 тыс. руб., в частном секторе — до 3 тыс. руб. и более, земские врачи получали около 1,5 тыс. руб., преподаватели средней школы — от 900 до 2500 руб., младшие офицеры — 660 — 1260 руб., актеры — 1200 — 1800 руб., адвокаты — 2 — 10 тыс. руб., профессора вузов — 3 — 5 тыс. руб. Зарботки наиболее известных художников, актеров, адвокатов, профессоров, руководителей транспорта и промышленности простирались до 12 и более тыс. руб. В целом же в 1913 году при среднем заработке рабочего в 258 руб. в год заработок интеллигенции составлял 1058 руб. (технического персонала — 1462 руб.). Лишь некоторые низшие категории интеллектуального слоя — учителя сельских начальных школ, фельдшера и т. п. — имели заработки, сопоставимые с основной массой населения. При выслуге установленного срока службы пенсия назначалась в размере полного оклада. Так что благосостояние среднего представителя «образованного сословия»

позволяло ему поддерживать свой престиж и отвечало представлениям о роли этого слоя в обществе.

Статусу же советской интеллигенции в обществе соответствовал и низкий уровень благосостояния. После революции, в 20-х годах, средняя зарплата рядового представителя интеллектуального слоя сравнялась или была несколько ниже зарплаток рабочих (до революции она была в 4 раза выше). Исключение режим делал лишь для узкого слоя специалистов тяжелой промышленности и высших научных кадров, оправдывая это временной острой потребностью в этих кадрах. Не считая жилищных и прочих условий, только по зарплате уровень обеспеченности интеллигенции упал в 4 — 5 раз. Причем наиболее сильно пострадали ее средние и высшие слои (если учителя начальных школ получали до 75 процентов дореволюционного содержания, то профессора и преподаватели вузов — 20 процентов, даже в конце 20-х годов реальная зарплата ученых не превышала 45 процентов дореволюционной). До революции профессор получал в среднем в 15,4 раза больше рабочего, в конце 20-х годов — лишь в 4,1 раза.

По мере «пролетаризации» и «советизации» интеллектуального слоя в конце 30-х годов его благосостояние относительно других социальных групп было сочтено возможным несколько повысить; хотя и в это время зарплата работников ряда отраслей умственного труда была ниже зарплаты промышленных рабочих, но по крайней мере зарплата ИТР превосходила ее более чем вдвое, научных сотрудников — на треть. Однако в дальнейшем происходил неуклонный процесс снижения относительной зарплаты лиц умственного труда всех категорий, процесс, не знавший каких-либо остановок и особенно усилившийся в 50 — 60-х годах, когда зарплата почти во всех сферах умственного труда опустилась ниже рабочей. В начале 70-х ниже рабочих имели зарплату даже ученые, а к середине 80-х — и последняя группа интеллигенции (ИТР промышленности), которая дольше других сохраняла паритет с рабочими по зарплате.

Учитывая, что так называемые «общественные фонды потребления» также в гораздо большей степени перераспределялись в пользу рабочих, уровень жизни интеллектуального слоя к 80-м годам был в 2 — 2,5 раза ниже жизненного уровня рабочих (зарплата основной массы врачей, учителей, работников культуры была в 3 — 4 раза ниже рабочей). Причем в социологических трудах подчеркивалась «бесспорно позитивная направленность» этого процесса как «одной из существенных сторон движения социалистического общества к социальной однородности». Таким образом, дореволюционная иерархия уровней жизни лиц физического и умственного труда оказалась не только выровнена, но перевернута с ног на голову, в результате чего относительный уровень материального благосостояния интеллектуального слоя ухудшился по сравнению с дореволюционным более чем в 10 раз.

Итак, какую бы сторону бытия «образованного сословия» ни взять, разница такова, что вроде бы не оставляет места для претензий на восстановление статуса современного интеллектуала. Интеллектуальный слой, выращенный советским строем, являет собой в некотором роде уникальное явление. В отличие от практики других стран и дореволюционной России, где он складывался естественно-историческим путем, в СССР он был создан искусственно, причем в огромной степени из негодного к тому материала и как нечто временное, подлежащее «отмиранию» в недалеком будущем. Общество с подобным качеством, статусом и положением в нем «образованного сословия» в принципе не может быть конкурентоспособным в сколь-нибудь длительной исторической перспективе и обречено на деградацию.

Деградация интеллектуального слоя была неизбежной прежде всего потому, что советский строй основан на принципе антиселекции. Он не только уничтожает лучших, но (что еще более существенно) последовательно выдвигает худших. Результатом же продолжавшегося более полувека отбора худших явилось то, что не только верхушка политического руководства в составе нескольких сот человек представляла собой коллекцию соответствующих человеческих образцов, но и на всех последующих, низших слоях пирамиды находились люди тех же достоинств. Вот почему советский строй не способен принципиально измениться в случае устранения его высшего руководящего слоя.

Успешное развитие государственного организма в огромной степени зависит от того, насколько удастся «совместить» элиту интеллектуальную с элитой управленческо-политической, проще говоря, в какой мере удается в данном обществе привести интеллектуальные качества человека в соответствие с его общественным положением (то, что И. Ильин называл «идеей ранга») — обеспечить продвижение по служебной лестнице если не наиболее одаренных, то по крайней мере наиболее образованных людей. (Если одаренность может оцениваться субъективно, то уж для уровня образования в каждом обществе существуют объективные критерии, и по тому, насколько они оказываются значимы для служебной карьеры, можно судить об установках данного общества.) Так вот, если управленческая элита дореволюционной России состояла из лиц, получивших лучшее для своего времени воспитание и образование, если государственную элиту современных европейских стран в огромном большинстве также образуют выпускники самых престижных университетов, то в СССР наблюдалась прямо противоположная картина: высший политико-управленческий слой отличался едва ли не самыми худшими культурно-образовательными характеристиками среди других категорий лиц умственного труда. Хотя в стране имелось несколько престижных учебных заведений, действительно отличающихся качеством предоставляемого образования (пусть даже только на фоне других советских вузов), лишь в виде исключения можно было встретить их выпускников в составе управленческой элиты. Типичное же образование ее членов — провинциальный технический вуз плюс ВПШ, то есть учебные заведения наинизшего общекультурного уровня. То обстоятельство, что средняя степень образованности и культуры партийной номенклатуры была ниже таковой у интеллигенции в целом, привнесло некоторую объективную правомерность в известное противопоставление «чиновник — интеллигент» (лишенного смысла до революции, когда культурный уровень высшего эшелона власти был выше среднего показателя тогдашнего интеллектуального слоя).

Катастрофически отразилось на качестве и положении интеллектуального слоя хрущевское правление и заданные им подходы к политике в области науки и просвещения. Именно тогда профанация высшего образования достигла апогея: открывались десятки новых вузов, не имеющих реальной возможности соответствовать своему назначению. В 60-е годы произошел наиболее резкий скачок численности студенческого контингента в сочетании с резким ухудшением его качества. Именно тогда была заложена основа для невиданного «перепроизводства» специалистов, столь катастрофически обнажившегося к 80-м годам. Как раз в результате и в ходе расширения в ту пору слоя лиц интеллигентских профессий произошло решающее, «переломное» падение престижа умственного труда и качественное понижение относительного благосостояния занимающихся им людей.

Особенно тяжелые последствия имели эти годы для будущего науки. Обвальное расширение штатов НИИ, умножение их количества имело естественным следствием заполнение научных должностей первыми попавшимися людьми, которые в обычных условиях не имели бы шансов попасть на научную работу, а в значительной части и не помышлявшими об этом. Люди, пришедшие в науку в 60-х, в пору «массового призыва», без естественного конкурса, — худшее ее пополнение за все годы. К 80-м годам они составили большую часть того «балласта», от которого никак не могли избавиться в ходе начавшихся тогда поползновений на реформы. Более того, в силу естественного процесса смены поколений они заняли к тому времени основную часть руководящих постов в науке, проводя кадровую политику в этой сфере соответственно своей сущности.

Еще одним обстоятельством, определившим новый этап качественного падения уровня интеллектуального слоя в 60-х годах по сравнению с 50-ми, было то, что как раз к тому времени полностью оказался исчерпан запас специалистов дореволюционной формации, получивших действительно полноценное образование. И, таким образом, были утрачены критерии подлинной образованности. Их отсутствие сделало тип советского интеллигента абсолютной нормой.

Плачевное состояние и положение в обществе интеллектуального слоя, наблюдаемое в настоящее время, полностью определилось в конце

70-х — начале 80-х годов. Окончательная его деградация уже тогда стала свершившимся фактом. В это время, между прочим, появилось немало книг и статей, посвященных проблемам интеллигенции и ее будущего. Взгляды их авторов сводились к нескольким основным положениям: 1) интеллигенция все больше сближается с рабочим классом, 2) едва ли не большинство семей смешаны в социальном отношении, 3) интеллигенция не воспроизводит себя, а пополняется в каждом новом поколении в основном за счет рабочих и крестьян, 4) характер выполняемой интеллигенцией и рабочими работы свидетельствует о стирании различий между физическим и умственным трудом. Откуда следовал общий вывод о ближайшей полной победе советского общества в деле формирования его социальной однородности.

Не вдаваясь в разбор многочисленных натяжек и подтасовок, характерных для этих публикаций, приходится признать, что в определенной мере победные реляции советских социологов отражали реальность. Советскому режиму за десятилетия целенаправленных усилий действительно почти удалось упразднить интеллектуальный слой как социальный феномен, уничтожить его как более или менее цельный организм со своим специфическим самосознанием, полностью ликвидировать его элитный характер и даже устранить по уровню информированности и общей культуры существенное различие между ним и всей остальной массой населения.

\* \* \*

Однако же попытки поставить вопрос о положении интеллектуалов имеют место, следовательно, налицо возрождение самосознания какой-то их части и интереса к идее восстановления статуса интеллектуального слоя в обществе. Каковы же перспективы этого? Возрождение отечественного интеллектуального слоя зависит от двух общих обстоятельств: 1) способности государства целенаправленно выращивать новую генерацию интеллектуалов (по крайней мере создавать для этого условия) и делать правильный выбор при использовании ныне имеющихся и 2) существования самого такого государства, которое было бы в этом заинтересовано. Едва ли возможно создать качественный интеллектуальный слой в стране, где государственная власть не ориентирована на самостоятельную ведущую роль в мире или не руководствуется понятием самоценности национальной культуры. Выращенные в ней интеллектуальные кадры (пусть самого высокого уровня) не будут в этом случае связывать свою карьеру, свои личные успехи и достижения с успехами своей страны и ее положением в мире, а, напротив, будут стремиться влиться в ряды интеллектуалов более «престижных» государств.

Если же государственная власть окажется на высоте стоящих перед нею задач и озаботится формированием полноценного интеллектуального слоя, то ей придется иметь дело с рядом обстоятельств. Состояние советского интеллектуального слоя таково, что вызывает большое затруднение даже идентификация его членов. При трактовке его как подлинно элитного слоя общества за пределами этого слоя должны остаться не только низшие слои лиц умственного труда (естественным образом выпадающие из него по мере сравнения их уровня информированности и общей культуры с уровнем остального населения — как это происходило во всех европейских странах), но и большинство членов тех интеллектуальных групп, которые еще остаются элитными по европейским понятиям, поскольку степень их компетентности и культуры не соответствует общепринятым стандартам.

Не вызывает сомнения, что огромное число нашампованных советским режимом невежественных и недееспособных «образованцев» останется не у дел при твердом курсе на разрыв с практикой социалистического строительства. Эти люди объективно должны остаться вне нового интеллектуального слоя, поэтому будут сопротивляться его формированию, отстаивая те критерии подготовки и культурного уровня, которым сами отвечают. С другой стороны, практика функционирования новых властных структур свидетельствует, что обретение достойного места в обществе людьми, вполне отвечающими самым высоким требованиям, также весьма проблематично, поскольку

отсутствует четко выраженная заинтересованность в их использовании со стороны государственной власти.

В принципе численная незначительность отвечающих своему предназначению интеллектуалов могла бы компенсироваться целенаправленным насыщением ими важнейших сфер государственной деятельности, выдвиганием их на соответствующие должности. Однако практика индивидуального отбора в современных условиях оказывается далека от такого подхода, поскольку в сфере государственных назначений всецело господствует политический критерий отбора кадров, а в сфере частного предпринимательства (где в нормальных условиях естественный отбор работает безотказно), из-за мафиозно-номенклатурного характера нашего «бизнеса», — критерий «блата».

Несмотря на противоестественный характер советского интеллектуального слоя в целом, в его составе сохранились или даже сформировались отдельные слои и группы, отличающиеся в лучшую сторону качеством некоторой части своих членов. Речь идет в первую очередь об академической среде и сфере военно-технических разработок. В ряде их отраслей сосредоточен, как известно, интеллектуальный потенциал, не уступающий зарубежному уровню по крайней мере в профессиональном смысле. Оказавшись по разным причинам (одни из-за приоритетного к ним внимания и бережного отношения, другие, напротив, — из-за максимальной «удаленности» от магистральной линии коммунистического строительства) вне сферы жесткого идеологического контроля, эта среда сумела отчасти сохранить черты, свойственные нормальной интеллектуальной элите. Она отличается и достаточно высоким уровнем самовоспроизводства. Если в целом слой специалистов пополнялся из образованной среды меньше чем наполовину (особенно ИТР предприятий), то сотрудников конструкторских подразделений — почти на 60 процентов, сотрудников отраслевых НИИ — до 70 процентов, академических институтов — более чем на 80 процентов. Она же отчасти сохранила даже некоторые традиции дореволюционного интеллектуального слоя. Что касается подготовки новой генерации интеллектуалов, то она может быть осуществлена через систему элитарных учебных заведений всех звеньев образования с конкурсным приемом, как это делается во всех нормальных странах. При сознательной ориентации на известные образцы подготовка некоторого (хотя поначалу и сравнительно небольшого) числа отвечающих своему назначению интеллектуалов вполне возможна даже при имеющемся в настоящее время советском педагогическом потенциале.

Таким образом, если слою интеллектуалов в нашей стране суждено будет возродиться как элитному, то он, по-видимому, сложится из трех основных составляющих: некоторого числа представителей интеллигенции, прошедших в новых условиях сито естественного отбора, отвечающих своему предназначению нынешних интеллектуалов и интеллигентов новой генерации. Однако возрождение этой интеллектуальной элиты как отечественного социального слоя возможно лишь как следствие сознательных усилий государственной власти. Без этого страна в лучшем случае превратится в поставщика интеллектуальных кадров для других государств.

---



---

---

# ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ

ТАТЬЯНА МОРОЗОВА



## В ИНСТИТУТЕ БЛАГОРОДНЫХ ДЕВИЦ

**Н**астало время отдать себе отчет в своих жизненных просчетах и достижениях. Не коренятся ли их истоки в твоём характере, с наибольшей ясностью проявляющемся в детском и юношеском возрасте?

Я не обдумывала заранее форму своих воспоминаний. Я писала, как вспоминалось, и о том, что запомнилось. Здесь ничто не выдуманно. Все дано, как сохранила моя память. Все лица названы их подлинными именами.

Я испытывала большое затруднение в точном определении времени пережитых явлений. Стремясь к хронологической точности, я использовала некоторые материалы, на которые и ссылаюсь в соответствующих местах.

История нашего института — факт истории. Харьковский институт благородных девиц был создан в 1812 году. В 1912 году отмечалось столетие его существования.

Я поступила в институт в 1915 году. Мне не пришлось закончить институт, но я была его питомицей до последних его дней.

Мне кажется, что факты и обстоятельства последних дней жизни института не менее важны и интересны, чем время его становления и роста. Это — второй мотив, помимо личных побуждений, который руководил мной в моей не такой уж легкой работе.

### I. Я ПОСТУПАЮ В ИНСТИТУТ

#### Подготовка

Харьков. Зима 1914 — 1915 годов. Идет германская война. Мой отец — капитан, командир роты 124-го пехотного Воронежского полка, стоявшего в мирное время в Харькове.

Мне десять лет, и я учусь в очень хорошей частной школе Веры Александровны Платоновой, жены известного в Харькове профессора-психиатра. В эту школу я поступила шести лет, и, наряду с общеобразовательными предметами, мы рано начали изучать немецкий и французский языки, занимались рисованием, лепкой, пением.

В этом году мама все чаще принималась рассказывать мне и моей младшей сестре Наташе об институте. Обычно начиналось с полушутливой угрозы: «Вот будете шалить, отдам вас в институт. Там заставят вас по струнке ходить». А затем все оказывалось очень интересным и привлекательным. Институт — это такая школа, где девочки и живут и учатся. У них очень красивая форма. Правда, их будят очень рано, в семь часов, и каждое утро девочки должны по пояс мыться холодной водой. В каждом классе две классные дамы. Один день в институте говорят на французском языке, другой день — на немецком. Поэтому выпускницы института хорошо владеют иностранными языками. Все это говорилось таким тоном, будто это было необыкновенно заманчиво, даже раннее вставание и обтирание холодной водой.

И вот весной 1915 года меня всерьез стали готовить в институт — в VI класс. В институте самым младшим был VII класс. Ни младшего, ни стар-

шого приготовительного, как это было в гимназиях, в институте не существовало. Старшим же, выпускным, был I класс.

Среди документов, которые нужно было подать при зачислении в институт, значилось свидетельство об исповеди и причастии. Мы пришли с мамой в полковую церковь. Священник увел меня за небольшую перегородку и спросил: «Табак куришь?» — «Нет». — «Водку пьешь?» — «Нет». — «Родителей слушаешься?» — «Слушаюсь». Он накрыл мне голову епитрахилью и отпустил мои грехи. Мама меня спросила: «О чем с тобой говорил батюшка?» Я пересказала маме наш диалог. Мама подошла со мной к священнику. «Батюшка, — сказала она, — ну о чем вы спрашиваете маленькую девочку? Разве она солдат?» Священник засмеялся и сказал: «А о чем ее спрашивать? И то она неправду сказала, что родителей слушается. Наверное, не слушается...»

Это была первая в моей жизни исповедь.

### Экзамены

Я была допущена к экзаменам.

Большой зал (позже я узнала, что он называется рекреационным) был весь уставлен, на небольшом расстоянии один от другого, маленькими столиками. У каждого столика стояли стулья и сидел преподаватель — экзаменатор. В глубине зала стоял большой стол, за который прежде всего и села группа девочек писать диктант. А потом мы переходили от столика к столику сдавать отдельные предметы.

У внутренней стены зала, где высились большие застекленные шкафы, расположилась немолодая, но красивая француженка Мария Францевна Зубова. Здесь у меня произошел неожиданный казус. В группе девочек, подошедших к ней, была и я. Мария Францевна задала какую-то письменную работу. На столе стояла большая, странной формы чернильница. Я неловко повернулась, чернильница опрокинулась, чернила широкой лужицей расплозились по столу и стали капать на блестящий паркетный пол. Я не успела смутиться, как Мария Францевна с такой необыкновенной поспешностью стала успокаивать меня, что мне стало смешно. «Нитшего! Нитшего!» — быстро говорила она и, порывисто вскочив, куда-то умчалась. Она вернулась с девушкой, одетой в синее платье и белый передник. Девушка спокойно вытерла фиолетовую лужицу на столе и такую же лужицу на полу. Мной овладело озорное настроение, и пока Мария Францевна просматривала наши письменные работы, я весело отчеканила вслух спряжение глаголов. Потом я была очень огорчена, узнав, что мое прекрасное знание *parfait* и *plus-que-parfait* не было учтено, а за письменную работу мне было поставлено «7» — скромное «удовлетворительно».

Последний экзамен был по Закону Божьему. Священник почему-то сидел не за столиком, а у окна. Он хитро и насмешливо шурился и поглаживал большую седоватую бороду. Я встала перед ним. Он о чем-то спросил меня, а потом велел прочитать «Отче наш». Я прекрасно знала молитву, но почему-то в одном месте приостановилась. «Вот и сбилась», — насмешливо произнес священник и подсказал мне нужные слова. Я дочитала молитву до конца, но вместо того, чтобы отвесить поясной поклон, как полагалось, я сделала реверанс. Священник опять посмотрел мне в лицо с легкой усмешкой и отпустил меня.

Я была принята в институт. Но маме сообщили, что я зачислена не на казенный счет, а на частную стипендию. Пожилая женщина, рано потерявшая дочь, внесла в институт соответствующую сумму и выразила желание, чтобы на основанную ею стипендию была зачислена дочь офицера, находящегося в Действующей армии. Выбор пал на меня. Одновременно маме сообщили, что старая дама желает видеть девочку, ставшую ее стипендиаткой. Вот мы с мамой и отправились к этой незнакомой почтенной даме.

Я не знаю, что чувствовала мама, но я, несмотря на свой юный возраст, ощущала некоторую неловкость от этой непредвиденной зависимости.

Мы вошли в большую полупустую комнату, очевидно переднюю. Слева у стены были вешалки и большая дверь, а напротив стоял ряд стульев. Из боковой двери, очевидно по докладу горничной, вышла худенькая пожилая женщина. Не пригласив нас в комнату и не предложив нам сесть, она перемолвилась с мамой несколькими словами, мельком взглянула на меня, и мы

ушли. Я долго помнила фамилию этой моей непрошенной благодетельницы, но теперь, к сожалению, совершенно забыла.

И вот я зачислена в VI класс Харьковского института благородных девиц, что на центральной улице Харькова — на Сумской, дом 33.

В списке необходимых в институте предметов значилось: крест на золотой или серебряной цепочке или на черном шнурке; Евангелие, молитвенник, шкатулка такого-то размера с ключиком для хранения мелких вещей, кружечка, зубная щетка, щетка для ногтей, зубной порошок, мыльница, мыло, губка, гребенка, частый гребешок, ножницы; черная лента в косу определенной ширины или круглый гребень для тех, у кого волосы были короткими; мешок из холста для хранения сладостей в столовой, иголки, две катушки, белая и черная.

Мы с мамой целый день с длинным списком в руках ходили по городу. Были затруднения со шкатулкой. После некоторых обсуждений решили, что я возьму папину, которую он привез с японской войны. Молитвенник я взяла школьный, а Евангелие, в ярком синем переплете, мама привезла мне потом: в день покупок мы не нашли в книжных магазинах ни одного нового экземпляра.

В первый раз в жизни мне надели на шею золотой крестильный крест на серебряной цепочке. Я была снаряжена.

### В классе

И вот я в классе. Вечер. Класс ярко освещен. Очевидно, первые дни сьезда. Девочки свободно ходят по классу, некоторые же сидят, негромко переговариваясь. Я сижу в самом центре класса. На меня никто не обращает внимания. Я чувствую себя несколько скованно. Неподалеку от входной двери у стены стоят небольшой столик, кресло и стул. За столиком сидит немолодая, довольная полная женщина в синем платье. Это наша французская классная дама. Меня удивляет, что она не подходит ко мне или не подзывает меня к себе, ни о чем не спрашивает и не делает мне никаких наставлений. «Ну, — думаю, — завтра будет другая, главная, она все мне расскажет».

Поднявшись на одну или две ступени кафедры, лицом к классу, стоит девочка и смотрит вперед. «Какая хорошенькая девочка!» — думаю я, взглянув на нее. У нее темные брови, большие синие глаза и нежный румянец на белом личике. Я невольно лобуюсь ею. А за партой, что передо мной, сидит спиной ко мне очень большая и толстая девочка. У нее круглая голова, покрытая коротко остриженными черными волосами. Вдруг эта голова поворачивается ко мне, и я вижу лицо этой девочки, тоже круглое, очень белое, очень румяное. Яркие красные губы слегка приоткрываются, обнажая белые зубы, и я слышу обращенный ко мне плаксивый тягучий голос: «Девочки надо мною смеются...»

В этот момент к нам подходит девочка небольшого роста и, слегка посмеиваясь, говорит: «Ах ты, Верочка, Верочка Кулакова! Обрадовалась — новенькая! Начала свои жалобы и свои откровенности! Постыдилась бы! — Это Лида Алексеева. Продолжая посмеиваться, она обращается ко мне: — Ты не слушай ее!»

Вера Кулакова запрокидывает голову назад и громко смеется, а потом роняет голову на парту и смеется еще громче.

«Она глупая», — невольно подумала я.

Вдруг я вижу Милу Семенову и Женю Лобову — девочек, с которыми я держала вступительные экзамены. Я радостно бросаюсь к ним. У Милы небольшой орлиный нос и очень пышные мелко-мелко вьющиеся короткие волосы — целая копна волос. В классе ее станут звать Мишка — Мишка Семенова. Смуглая, миниатюрная Женя Лобова, умная и изящная, на все институтские годы стала, как и Мишка, моей близкой приятельницей.

Так класс постепенно наполняется живыми лицами, живыми девичьими фигурками.

### В дортуаре

Нам велят построиться в пары и идти спать. По извилистой каменной лестнице мы поднялись вверх и оказались в дортуарном коридоре. Дортуар —

огромная комната. Посередине, изголовье к изголовью, два ряда кроватей. Вдоль внутренней стены еще кровати. Между кроватями небольшие тумбочки для умывальных принадлежностей, ночной обуви и других мелочей. В ногах у каждой кровати табуретка, на которую мы должны аккуратно сложить дневную одежду.

Мне хочется спать. Умывшись и быстро раздевшись, я укутываюсь одеялом. Но едва я начинаю засыпать, крепкий твердый палец несколько раз ударяет меня по голове и чей-то голос тихо спрашивает: «Ты спишь?» Я с трудом поднимаю голову и вижу: за изголовьем, лицом к моему изголовью, лежит та самая девочка, которая в классе показала мне такой хорошенькой. «Нет», — отвечаю я с трудом. «Завтра рано утром будет звонок, ты сразу вставай», — говорит шепотом хорошенькая девочка. «Хорошо», — отвечаю я и опять закрываю глаза. Но едва я начинаю засыпать, как тот же палец, который кажется мне железным, стучит по моей голове. «Завтра будет другая классная дама», — слышу я уже знакомый шепот, закрываю глаза и зеваю. Но через минуту по моей голове опять стучит железный палец и знакомый голос спрашивает: «Ты не спишь?» Мне хочется притвориться спящей, промолчать или даже сказать, что она мешает мне заснуть, но мне неловко, и я тихо отвечаю: «Не сплю!» — «Ну ладно, спи!» — милостиво разрешает неугомонный палец, но мне уже трудно заснуть, и я только через некоторое время погружаюсь в сон.

Утром, когда мы одеваемся, я рассматриваю девочку, которая мешала мне спать и которая накануне показала мне такой хорошенькой. «Нет-нет! Она совсем не хорошенькая, — думаю я, взглядывая на нее. — Правда, у нее белое личико, темные брови и довольно большие синие глаза. Но лицо у нее худое и длинное, щеки впалые, скулы выделяются, торчит вперед подбородок, нос длинный, утиный. Нет-нет! Она совсем не хорошенькая!..» Тем не менее это — еще одно мое знакомство. Зовут ее Туся Антонова.

### Общий распорядок дней

Распорядок дня был у нас необычайно четок.

Резкий звонок будил нас в семь часов утра, и с величайшей точностью в этот же момент в дверях дортуара появлялась наша классная дама. Она наблюдала, как мы одевались, мылись, убирали свои постели. Рукавчики мы привязывали легко и просто два раза в неделю, когда нам выдавали чистые передники, пелеринки и рукавчики. Это было в четверг и в воскресенье, в так называемые приемные дни. Единственно, чего мы не могли сделать самостоятельно, — завязать сзади бант передника. Это охотно мы делали друг другу. Под платьем мы носили нижнюю юбку, сшитую из плотного материала, всю в сборках; юбка делала пышными красиво спадающие сборки платья. Наши платья не доходили до пола, что делало наш наряд достаточно легким и изящным. Надо было лишь умело завязать бант пелеринки.

Умывшись, одевшись и причесавшись, мы под водительством классной дамы парами спускались в актовзй зал — на утреннюю молитву, на которой часто присутствовала начальница.

Я совершенно не помню, в чем состояли наши завтраки, обеды и ужины, — признак нормального питания. Помню лишь, что котлеты постоянно подавались непрожаренными и от стола уносили целые блюда разваленных красных котлет. Хлеб давался без ограничения. Из третьих блюд помню мороженое, так как я его не любила, и пирожное Sandkuchen (зандкухен), все усыпанное орехами, которое я очень любила.

В пять часов, между обедом и ужином, нам давали чай с маленькими круглыми булочками, еще теплыми и очень вкусными. Их пекли в собственной пекарне. Перед обедом и ужином нас подводили всем классом к туалетной комнате («малютке») — мыть руки. И не было никакой толчеи, никаких столкновений. Очевидно, время было рассчитано до минуты для каждого класса.

В столовой перед едой читалась или пелась старшим классом молитва («Отче наш»).

В институте была собственная церковь и свой священник, который вел и уроки Закона Божия, — отец Павел Грома, тот самый, который меня экзаменовал.

Каждую неделю нас дважды водили в церковь: вечером в субботу ко всеобщей и утром в воскресенье к обедне. Пел хор из воспитанниц института. Короткое время в хоре пела и я. Мне сказали, что у меня альт. Думаю, что у меня недостаточно был развит слух, поэтому я вскоре выбыла из хора. Каждый класс имел в церкви свое место. Переходя в старший класс, мы передвигались в церкви на новое место.

Радостными днями в нашей институтской жизни были приемные дни. «Сегодня приемный день» — или: «Сегодня прием», — говорили мы как о дне праздника. В воскресенье с десяти часов до двенадцати, в четверг с пяти часов дня до семи часов вечера двери института открывались для наших родных и знакомых. Это были дни и часы тепла и радостного возбуждения. «Не пришли на прием» было подлинным горем, вызывало слезы и подавленное настроение. Но и расставание после приема иногда заканчивалось слезами.

Девочки, родители которых жили в других городах и не могли приезжать для свидания, казались какими-то брошенными, сиротливыми и, кажется, учились хуже.

Приемы происходили в актовом зале. Двери зала, находившиеся прямо против нашей парадной мраморной лестницы, крылья которой гармонично сходились на верхней площадке, были широко раскрыты. Слева от дверей в зале ставили небольшой столик, за который садилась дежурная классная дама, а рядом с ней девочки, обычно младших классов, которые не ждали гостей и потому охотно выполняли роль гонцов — добрых вестников, сообщавших счастливице о приходе гостей. И для девочек это было большим развлечением.

Посетитель должен был сообщить дежурной даме не только фамилию и имя девочки и класс, в котором она учится, но и свое родство с ней. Все это записывалось в журнал посетителей. Мы же должны были войти через боковую дверь из рекреационного зала, чинно сложив руки, сделать реверанс и, отыскав глазами своих родных, так же чинно направиться к ним. Редко кто из нас выдерживал эту церемонию чинности и благонравия. Увидев родное лицо, со всех ног бросаешься вперед, и все окружающее забыто! Но как много зависело от того, кто из классных дам дежурил у входа!! Иная могла лишиться свидания за нарушение установленного этикета.

Мама приходила всегда своевременно, садилась в определенном месте, и найти ее глазами в зале было нетрудно. В следующем году в институт поступила моя младшая сестра Наташа, и мы сидели около мамы, прильнув к ней с двух сторон.

Раза два или три мама приводила с собой на прием нашего трехлетнего братишку Павлика. Обычно девочки забирали его ненадолго в класс, забавляли его и забавлялись сами.

Два часа пролетали быстро в разговорах, поцелуях, поедании сладостей, которые, минуя швейцара, обязанного отправлять их в столовую, попадали прямо к нам в наши стенные шкафчики в классе.

Вечером приготовление уроков, ужин, молитва, которую в классе читала дежурная, и сон.

### Каникулы

Волнующими и радостными были разъезды на каникулы. Трудно и представить себе, как тосклива и однообразна была бы наша затворническая жизнь в институте, если бы не было этих просветов, этих выходов в мир родных, близких, друзей — на свободу. Нас отпускали под Рождество до 8 января. Эти каникулы совпадали с праздниками: Рождество, Новый год, Крещение. Затем были пасхальные каникулы и, наконец, лето.

Вот приходит день разъезда. Сидишь в классе и ждешь, когда в дверях класса покажется швейцар Яков и провозгласит: «Барышня Морозова! За вами приехали!» Срываешься с места и мчишься вниз, в маленькую приемную. Бросишься маме на шею и в соседней комнате сбрасываешь с себя казенное одеяние, чтобы облечься в свое, домашнее. И так странно ощущаешь в первый момент после длинной формы короткое, едва прикрывающее колени домашнее платье. И едешь обыкновенно на извозчике с мамой домой.

### Начальницы

На боковой стене рекреационного зала, где мы проводили перемены, над роялем висели два большие поясные портрета в золоченых рамах: бывшие начальницы института. Первый из них особенно притягивал мое внимание. На нем была прекрасно, как живая, написана маслом важная старуха в темной платье и темной кружевной наколке на голове. На верхней губе благообразного и свежего лица ясно выступали густые волосики.

Гуляя в перемены по залу, я останавливалась иногда перед портретом и, облокотившись на казавшийся высоким рояль, пристально вглядывалась в чужое, строгое и так осязаемо живо изображенное лицо. Медленно прочитывала надпись на медной дощечке, укрепленной на позолоченной раме: «А. М. Голохвостова»<sup>1</sup>. И усики на женском лице, и фамилия казались странными и вместе с тем внушительными. «Голохвостова», — подставляя другую, казавшуюся более уместной, букву, пыталась я читать. Но было некрасиво. «Голохвостова», — читала я снова, еще более внимательно вглядываясь в неподвижное лицо.

Кто был начальницей, когда я поступала в институт, я не знаю. Я даже не знала, что существует такое лицо — начальница института. Но когда нашей начальницей стала Ольга Александровна Милорадович, ее знали, мне кажется, все.

Ольга Александровна была красивая женщина лет пятидесяти, довольно высокая и умеренно полная. У нее было не просто красивое, но приятное, симпатичное лицо. Мы часто ее видели. Она бывала на утренней молитве в актовом зале. Она стояла на особом месте во время богослужения в церкви. Мы встречали ее в классном коридоре. Всегда одетая в синее шелковое платье, свежая, серьезная и приветливая, она сеяла вокруг себя свет и радость. Казалось, значение самого института повышается оттого, что во главе его стоит такая начальница. Одним словом, Ольга Александровна была радостным явлением в нашей институтской жизни<sup>2</sup>.

### Наши классные дамы и учителя

Нашей «французской» классной дамой была Наталья Николаевна де Витте, та, которая дежурила в день моего приезда. Это была женщина лет пятидесяти, невысокого роста, довольно полная, с правильными чертами смуглого лица и карими глазами. Редкие темно-русые волосы спереди были взбиты в небольшой хохолок, а сзади собраны в маленький пучок. На шнурке у нее висело пенсне, которое она поднимала к глазам, когда с кем-нибудь говорила. Целыми днями она сидела за своим столиком, поднимаясь очень редко. Когда нам надо было идти в столовую, на перемену или в дортюар, тогда она проявляла некоторую активность и по-французски произносила: «A rendez-vous» — когда мы должны были выровняться, построившись в пары, и «A rêtez-vous» — когда мы должны были остановиться. В основном же она говорила с нами по-русски. И мы сами обращались к ней по-французски с единственной стереотипной фразой, прося разрешения выйти из класса.

Но французский язык она знала превосходно. В этом я убедилась, когда в старшем классе решила прочесть по-французски отрывок из Гюго и постоянно обращалась к ней за помощью.

Наталья Николаевна была слабый, нервный и больной человек. Была у нее одна непонятная и очень неприятная болезненная странность. Проходящая около своего столика, она закладывала руки назад к пояснице, нервно сжимала и разжимала пальцы, зрачки ее при этом сходились к переносице и глаза начинали странно и неестественно вращаться, а на губах появлялась не то растерянная, не то блаженная улыбка. Было в этом что-то ненормальное. Некоторые из девочек в эти моменты показывали на нее пальцем и смеялись. Я смеяться не могла. Смотреть же на нее в эти моменты мне было крайне неприятно.

<sup>1</sup> Не уверева в точности инициалов. Но именно такие мне врезались в память.

<sup>2</sup> Обращение «татап» по отношению к начальнице, принятое в институтах в старые времена, у нас совершенно не употреблялось. Мы звали Ольгу Александровну по имени и отчеству.

Наталью Николаевну не уважали, за глаза постоянно называли Наталешкой, но внешне всегда держались в отношении ее вполне прилично. Другая наша классная дама (немецкая), Евгения Владимировна Басова, была человеком совсем другого типа. Она была относительно молода, лет тридцати пяти, одевалась не без шегольства, носила своеобразную высокую светлую прическу, высокие каблуки (и то и другое, очевидно, чтобы казаться выше). Она была полна, и тугой корсет не мог скрыть сильно развитого бюста и полных бедер. Держалась авторитетно, могла быть несправедливой.

Помню один случай, когда Евгения Владимировна «отчитывала» наш класс за какую-то провинность (я не была к ней причастна). Прежде чем вести нас в дортуар, она поднялась на кафедру и, отчитав нас, заключила: «Какие-то беспардонные!» Это слово я слышала впервые, поэтому легко его запомнила. Это было самое резкое выражение, которое прозвучало из уст нашей воспитательницы.

Но и Евгения Владимировна не пользовалась нашим уважением и любовью. И ее за глаза иногда называли Евгешка. И вокруг ее личности вились некоторые не совсем уважительные разговоры.

### Клепка

В один из первых же дней моего пребывания в институте Лида Алексева спросила: «Ты любишь арифметику?» — «Да, — ответила я, — люблю». — «Ну, здесь разлюбишь», — уверенно заявила Лида и стала рассказывать о страшной учительнице — Клеопатре Петровне, которую боится весь институт несмотря на то, что она преподает только в трех младших классах. «Нет, не разлюблю», — упрямо подумала я. Но учительница оказалась действительно умевшей наводить ужас. Это была очень здорового вида полная блондинка лет сорока, с румянцем во все полные щеки. Большой валик поднимал ее желто-русые волосы высоко над выпуклым лбом. Глаза у нее были несколько нависшие, над ними едва вырисовывались маленькими дугами светлые брови. Нос был слегка вздернут, полный «двойной» подбородок завершал очертания ее лица. Ее крепкая полная фигура была туго затянута в корсет. От нее веяло энергией, здоровьем и опрятностью. За глаза Клеопатру Петровну мы называли Клепкой, рассказывали о ней анекдоты, иронически посмеивались... и боялись.

В классе на ее уроках царила напряженная тишина, а к концу урока мы сидели с воспаленными щеками и блестящими глазами от пережитого в течение часа страшного напряжения.

Клепка не допускала, чтобы на уроке раздавался малейший лишний звук. Она запрещала употреблять резинку, точить во время урока карандаши. Девочка, у которой во время урока ломался карандаш, чувствовала себя мученицей, не знавшей, как поступить. Мы заготовливали на этот случай несколько тщательно отточенных карандашей.

Отвечать Клепке было страшно до чрезвычайности. Лучшие ученицы терялись до беспамьятства, утрачивали способность соображать.

Клепка кричала на нас грубо, оскорбительно, свирепо, не теряя при этом спокойствия. «Что вы мечетесь у доски, как телячий хвост? — кричала она на растерявшуюся девочку. — У вас вместо головы кочан капусты! У вас не голова, а тыква!» — громким сердитым голосом убеждала она отвечающую. Это в институте, где с десяти лет нас величали на «вы» и, вызывая, должны были прибавить слово «госпожа»: «Госпожа Морозова».

Объясняла Клепка лаконично и предельно ясно, изредка сплывая с кафедры, и диктовала четкие определения и правила, которые мы записывали в толстые тетради, обязательно у каждой из нас.

В нашем классе была девочка по имени Тоня Москвина. За первое полугодие у Тони стояла шестерка, ей грозило или второгодничество, или исключение из института.

Я стала с ней заниматься. Вскоре мы писали классную контрольную. И вдруг после того, как Клеопатра Петровна выставила в журнале отметки за классную работу, в графе Тони, которая за полугодие ни разу не была спрошена, появились три отметки, поставленные задним числом на небольшом расстоянии, одна за другой. Отметки были такие: шестерка и

две пятерки. Мы были возмущены. Я заявила, что сама пойду с Тоней к начальнице. Девочки горячо поддержали меня. Теперешним школьникам трудно себе представить, какой это был смелый и решительный шаг. Начальницей тогда у нас была Ольга Александровна Милорадович, о которой я уже говорила.

Какова же была наша радость, когда отметки этого злополучного дня не были учтены в полугодии.

В общем, по моим воспоминаниям, нас, детей и юных девушек, окружали допотопные монстры.

Вспоминается лишь одна молодая и внешне привлекательная классная дама — Екатерина Ивановна Малиновская. Она была высока и стройна, но следы надвигающегося старения уже ложились на милое лицо. История сняла проблему классных дам в Институте благородных девиц. Но чтобы быть справедливыми в своих суждениях, не следует ли подумать о том, как формировался контингент классных дам. Как они пришли к этой роли, как дошли до жизни такой? Почему они были обречены на безбрачие? На одинокую жизнь в стенах института? Чем заполнялась их жизнь кроме суточного дежурства около молодых озорниц?

### Наказания

Самым тяжелым наказанием было у нас лишение свидания с родными. «Не пойдешь на прием» воспринималось как настоящее горе. Но за все годы моего пребывания в институте я не помню случая, чтобы в нашем или другом классе кто-нибудь был наказан столь жестоко.

Самым же неприятным, даже позорным наказанием считалось «стоять под часами». Провинившаяся высылалась из класса и должна была определенное время выстоять в классном коридоре под часами, висевшими высоко у двери в актовый зал. Но и это наказание применялось очень редко. В моей памяти не запечатлелась ни одна фигурка, одиноко стоящая под часами.

Но на мою долю однажды выпало это почетное наказание. Случилось это еще в VI классе, и я плохо помню повод. Кажется, я слишком оживленно разговаривала с кем-то из девочек и даже спорила. Евгения Владимировна велела мне выйти из класса и стать под часами. Я безропотно покинула класс. Стояла я под часами минут десять, не более, все посматривая, не идет ли кто-нибудь по коридору. Очень мне не хотелось, чтобы меня видели публично наказанной. Но коридор был пуст, а Евгения Владимировна вскоре выслала за мной дежурную.

### Движение

Если спросить, чего мне больше всего не хватало в первое время моей институтской жизни, я бы сказала: «Движения!» Часами мы сидели в классе на уроках, вечерами должны были готовить задания. В переменах прогуливались в зале кто группами, кто в одиночку, кто парочками, обнявшись. В первые дни я общалась то с одной девочкой, то с другой, но, по существу, я была одна. Как-то мне понравилась одна девочка V класса — Маруся Синицкая. Я искала ее в перемену: перемолвишься словечком, пройдешь несколько шагов вместе — и конец перемены.

Однажды в великой жажде движения я помчалась с одного конца рекреационного зала в другой и так разбежалась, что заскользила по паркету, как по льду на катке. Не в состоянии остановиться, я со всей силой разбега ударила грудью о роуль, стоящий у стены. От ушиба я потеряла сознание и упала. Надо мной тотчас тревожно склонилось несколько головок, кто-то побежал за классной дамой. Когда подошла Евгения Владимировна, я уже очнулась и открыла глаза. Кто-то сказал: «Обморок!» — «Ну, тут обошлось без обморока», — услышала я холодный, почти ироничный голос Евгении Владимировны. Девочки подняли меня, взяли под руки и отвели в лазарет. Часа через два я уже сидела в классе. Из комнатных игр мы знали одну — в камешки. Камешки нам заменяли кусочки пиленого сахара, который мы получали в столовой к чаю.



Стены здания были очень толсты, подоконники очень широки. На этих подоконниках мы и подбрасывали кусочки сахара в разных вариантах. Это была игра младших классов, и движения здесь было очень мало.

Туалетная комната (мы называли ее «маленькой комнаткой», «petite chambre» — по-французски, а чаще просто «малюткой») состояла из двух довольно просторных частей. В задней были установлены унитазы, отделенные друг от друга перегородками, в передней же был ряд раковин для умывания и высоко под потолком на специальной перекладине висело, спускаясь почти до пола, длинное полотенце. Мы передвигали его, когда нижний конец его становился влажным или грязным. Вот это полотенце и выбрала я для своих физкультурных занятий. Схватившись за одну его часть, я раскачивалась на нем, как на гигантских шагах. Слава Богу, и полотенце, и деревянная перекладина выдерживали этот груз.

Вскоре я научилась у девочек ходить на пальчиках, как ходят балерины. В наших легких и мягких прюнелевых ботиночках это было и легко и трудно. Но я была тоненькая, худенькая. Сначала я могла сделать всего несколько шагов, а потом ходила вдоль всей свободной стены класса — в одну сторону и обратно. Это было движение! Это было движение, притом не лишенное изящества!

Осенью, весной и зимой мы гуляли в большие перемены в нашем парке. Теннис и крокет были в распоряжении старших, но я никогда не видела их играющими. Зимой на дорожки парка клали доски, и мы ходили парами под руководством классной дамы по этим доскам. У нас, разумеется, были уроки гимнастики и танцев. Но они, если не ошибаюсь, были раз в неделю поочередно. На уроках гимнастики мы снимали наши формы и надевали легкие серо-голубые платица длиной до половины голени и с полукороткими рукавами. Эти занятия слегка оживляли однообразное течение наших дней.

На уроках танцев мы снимали пелеринки и разучивали разные па и позиции. Из танцев мы выучили полонез. Остальные танцы — вальс, польку, мазурку, падеспань, падекатр и другие — мы выучили как-то стихийно. Танцевать я очень любила.

### Наше сословное самосознание...

Были ли нам, ученицам привилегированного учебного заведения, воспитанницам Института благородных девиц, свойственны чувство социальной избранности, дворянская гордость?

Разумеется, от народа, от простолюдинов, мы были отделены резкой чертой. Но родовитостью, знатностью ученическая среда нашего института отнюдь не отличалась. Я думаю, что многие из нас даже плохо себе представляли, что такое дворянство. Я знала о дворянстве по повестям Пушкина и Гоголя. Но все эти Дубровские, Муромские, Троекуровы, Берестовы, Маниловы и т. д. жили в моем сознании как литературные герои и казались далеким прошлым. Я, городская жительница, никак не связанная с дворянским поместьем, просто не знала, что я — дворянка. Да и не была я дворянкой. Мой отец в своем дореволюционном послужном списке в графе «сословие» писал: «Из мещан». Звание потомственного дворянина он получил с офицерским чином, Георгиевским крестом и золотым оружием, заслуженным на войне. Так причислена была к дворянству и я. В институтские годы я ничего об этом не знала и совершенно не думала. В нашем классе было много дочерей офицеров. Лиза Савич, Нина Циглер были детьми состоятельных помещиков. Об этом я узнала позже и случайно. В классе моей сестры училась одна грузинская княжна Орбелиани. Сестра говорила, что это была очень милая, скромная девочка. Говорили, что в одном из старших классов есть еще одна грузинская княжна. Но грузинская... Это не то что природная русская княжна.

И мы различали друг друга не по родовитости, знатности или богатству, о которых и не ведали, а по уму, доброте, красоте, общительности, даже по успехам в занятиях — по человеческим качествам.

И все-таки... Случай, приобретший даже легкий оттенок сенсации, произошел раньше. В нашем VI классе через некоторое время после начала занятий появилась девочка-еврейка. В Институте благородных девиц — еврейка!! Невероятно! А дело было просто. Русский дворянин, вероятно офицер

русской армии, женился на еврейке, и появилась его девочка — Галя Барабаш. Мать сама привела ее в наш класс и никак не могла с ней расстаться. Как она ласкала свою девочку, склонялась над ней, гладила ее плечики, оправляя ее пелеринку, любовалась ею, видя свою дочь в этой своеобразной, облагораживающей форме! Было даже немножко смешно.

Я, сидя за своей партой, взглянула в этот момент на Галю, и наши взгляды встретились. Это была типичная еврейская девочка — темноглазая, темно-волосая и еще какие-то трудноопределимые черты, говорящие о ее национальности. Но какое милое было это детское лицо! Каких правильных линий были все его черты! Все изумительно пропорционально: небольшой ровный нос, небольшой рот, четкий и мягкий овал лица. Но больше всего меня тронуло выражение этого юного лица: простодушие, открытость, детская доверчивость и спокойствие. «Славная девочка», — подумала я.

Повод для социальных раздумий дала мне однажды Маруся Мельникова. Вернувшись после летних каникул загоревшая, посвежевшая (это было, очевидно, уже в IV классе, осенью 1917 года), Маруся, стоя у своей парты спиной к окну, рассказывала группе сидевших вблизи девочек о том, как она провела лето в Крыму. Говорила она громко и с видимым удовольствием. Я, сидя на своем месте, слышала все совершенно отчетливо.

Ее мать работала кассиршей, продавала билеты для входа на пляж, она, Маруся, стояла контролером у входа. Благодаря этому они провели лето на курорте. Мне показалось, что Марусю слушают сочувственно. Я же, вслушиваясь в ее речь, не могла вообразить свою маму в роли пляжной кассирши, а себя стоящей у входа на пляж в качестве контролера. Нет, это было, несомненно, ниже нашего достоинства.

Осенью того же года мама, придя к нам на прием, мимоходом и совершенно спокойно сказала, что дочь папиного бывшего фельдфебеля поступила в институт в VII класс.

Дочь папиного фельдфебеля?! Меня это сильно удивило. Я знала папиного фельдфебеля в довоенные годы. Это был серьезный, но совсем простой человек. Ведь фельдфебель — это полусолдат!! И дочь этого полусолдата — в институте! Мне не сразу пришло в голову, что за эти годы папин фельдфебель, участник войны, мог получить офицерский чин.

Да, некоторые сословные предрассудки, и, вероятно, не у одной меня и, может быть, сильнее, чем у меня, у нас были.

Вообще же наша ученическая среда, как мне представляется, не блистала аристократизмом. Но ее несомненным достоинством были интеллигентный, я бы сказала, благородный тон поведения и общения. Это я хорошо почувствовала, попав на некоторое время в Чугуевскую гимназию. Никаких склок, кляуз, даже ссор, ни больших, ни маленьких — в нашем родительном классе — думаю, и в других — не было. Мы были вежливы и доброжелательны по отношению друг к другу. Никаких ругательных или даже мало-мальски грубых слов в нашем лексиконе не было. «Пожалуйста», «извините», «будьте добры», «спасибо» были обычны в нашем словоупотреблении.

### Эта странная Борткевич...

В стипендию, на которую я была зачислена, не входила оплата музыкальных занятий. И в те часы, когда девочки, взяв ноты, расходились в разные уголки института, где были расставлены инструменты, я и еще несколько учениц оставались в классе и по большей части учили неприготовленные уроки. Но вскоре я сказала маме, что мне тоже хотелось бы учиться музыке. Мама внесла недостающую сумму, и я приступила к занятиям. Моей учительницей была назначена полька Борткевич.

О Борткевич, ее странностях и чудачествах, ходили целые легенды. И как только узнали, что моей музыкальной наставницей будет Борткевич, меня стали, посмеиваясь, посвящать в ее причуды.

Прежде всего говорили о курьезах в ее костюме: на одной ноге у нее может быть надет белый чулок, на другой — черный, на левой ноге туфля одного фасона, на правой — другого; говорили, что она невероятно пудрится, употребляет духи с невероятно резким и неприятным запахом.

Говорили также, что она очень требовательна к своим ученикам и крайне несдержанна. На уроках в пылу раздражения она бьет своих учениц по рукам, ломает и выворачивает им пальцы. Сама же она играет превосходно, необычайно музыкальна, у нее абсолютный слух. С особой значительностью, но и тут не без легкой усмешки, рассказывали о ее замечательном выступлении в концерте, который был устроен в институте несколько лет назад.

Естественно, что после подобной характеристики я шла на первое свидание с «этой странной Борткевич» не без волнения.

Но неожиданно наша встреча прошла очень просто и спокойно. Борткевич спросила меня, занималась ли я когда-нибудь музыкой, знаю ли я ноты. Я ответила, что музыкой еще не занималась, но ноты знаю. Она взяла мою руку, слегка согнула мои пальцы. После этого она посадила меня за рояль.

Борткевич оказалась уже немолодой и некрасивой женщиной. Ее утиный нос и все темное лицо было действительно сильно напудрено, а вокруг небольших серых глаз лежали темные круги, которые не могла скрыть и пудра. Одета она была в поношенное, но сшитое не без претензий темное шелковое платье, на шее лежала меховая горжетка, в которую она зябко куталась, а в руках была муфта. От нее исходил резкий запах духов. Особенно запомнились мне ее небольшие, но широкие и темные руки с недлинными широкими пальцами, очень мягкими, как будто без костей, сухие и горячие, и коротко остриженные круглые ногти. Занималась она со мной неровно, часто останавливала меня, заставляла повторить, сделать снова, иначе, лучше. Но я не помню, чтобы она при этом когда-нибудь сердилась. Иногда она клала свою горячую мягкую руку на мою, изменяла ее положение и то замедляла, то, наоборот, ускоряла, а то и совсем останавливала движение моих пальцев. «Что же, это и есть «выкручивание» пальцев?» — спрашивала я себя с усмешкой, вспоминая рассказы моих подруг.

Я занималась охотно, добросовестно, но при этом должна была признаться, что мне трудно, что я не понимаю, чего она от меня хочет, и что она ищет во мне то, чего во мне нет. Удивляло и слегка раздражало, что Борткевич категорически запрещала учить наизусть даже самые простые песенки, тексты которых были в наших музыкальных сборниках. А была, например, в одном из них песенка Герцога из «Риголетто» Верди («Сердце красавицы...»). К ней Борткевич и притрагиваться не позволила.

Однажды Лида Алексеева с удивительной смелостью и напористостью стала просить Борткевич сыграть нам что-нибудь. После долгих и многообразных отговорок Борткевич, к большому моему удивлению, медленно и как будто жеманясь подвинула свой стул к роялю и подняла руки. Изумительно легкими и быстрыми прикосновениями пальцев она пробежала по клавишам, и из-под ее прикосновений единым музыкальным потоком полились нежные, поистине волшебные звуки.

Мы замерли. Борткевич играла минуты две-три, не больше, и вдруг обрвала игру. Мы на мгновение растерялись — так неожиданно умолк этот пленительный поток звуков, а затем мы, обе разом, бросились к ней, уговаривая, упрашивая, умоляя продолжить игру, начать снова, сыграть что-нибудь другое, но обязательно, обязательно сыграть опять. Все было напрасно. И в памяти осталось впечатление мгновенно мелькнувшего прекрасного видения, мелькнувшего и исчезающего навсегда.

И несмотря на все это, я ушла от Борткевич. В следующем году в институт поступила моя сестра Ната. Для занятий музыкой она была прикреплена к Ольге Ивановне Ганн, которая пользовалась репутацией толковой и спокойной учительницы. Лида Алексеева тоже начала заниматься музыкой и тоже была прикреплена к О. И. Ганн.

Лида стала меня уговаривать оставить Борткевич и перейти к Ганн. Я колебалась. Я не верила, что Борткевич сделает из меня то, что хочет. Соблазнило меня, что ученицы Ганн много играли наизусть и быстро шли вперед. Ната тоже хвалила свою учительницу. Я сказала об этом маме. Мама, выслушав меня, написала заявление о том, что ей хотелось бы, чтобы обе ее дочери учились у одного преподавателя, а именно у О. И. Ганн. Ее просьба без затруднений была удовлетворена.

Занятия у О. И. Ганн показались мне удивительно скучными. Это были спокойные, методически размеренные упражнения и, как мне показалось, без вкуса и любви.

Не понимая ясно, я чувствовала, что в моей нелепой, смешной Борткевич есть что-то такое, чего нет и не может быть у разумной, толковой и авторитетной Ольги Ивановны. Не отдавая себе ясного отчета, что произошло, я стала настойчиво, не объясняя причин и не обращаясь к посредничеству мамы, проситься обратно к Борткевич. Разумеется, безрезультатно.

«Ты не плачь, береза бедная...»

Осеннее солнце заливало сад. Сквозь оголявшиеся ветви деревьев оно пробивалось вниз и подвижными пятнами ложилось на дорожки, устланные вялыми и сухими желтыми листьями. Было мягко и весело идти.

Я и Оля приближались к выходной калитке. Уже был звонок, оповещающий конец перемены. С отдаленных концов сада бежали девочки. «Скорее! Скорее! — закричали нам из группы наших одноклассниц. — Новый учитель по литературе! Учитель, молодой! Скорее! Скорее!» И они поспешно побежали вперед. Мы с Олей ускорили шаги.

Минут через пятнадцать все сидели за партами. В класс вошел молодой человек в очках, со светло-русой бородкой, невысокий, но стройный. В классе стало тихо.

Он остановился в середине класса, не поднимаясь на кафедру, между нашими партами и окном. Он заговорил о поэзии как о роде литературного творчества, о стихе, о значении интонации в чтении, о том, чем она определяется, о роли пауз и негромким голосом начал:

Острою секирой  
Ранена береза...  
По коре сребристой  
Покатались слезы...

Дочитав стихотворение до конца, он заставил кого-то прочесть его по книге и задал к следующему уроку приготовить читать это стихотворение наизусть.

Стихотворение казалось странным, не похожим на те, которые мы привыкли читать и слышать. Вообще все было необычно. Запомнилась сдержанность его жестов.

Накануне следующего занятия весь класс твердил: «Ты не плачь, береза, бедная, не сетуй...»

Я осторожно про себя или вполголоса тоже повторяла строки заданного стихотворения. Слова оказались слишком нежными для произношения вслух.

«Кто хочет прочесть стихотворение?» — после некоторой паузы спросил учитель, войдя в класс на следующий урок и стоя на прежнем месте. Класс напряженно молчал. Он повторил вопрос. Класс остался тих и недвижим. Молодой человек стал теревить бородку. Я нечаянно сделала какое-то легкое движение, отнюдь не означавшее желание выступить. «Вы хотите? — поспешно обратился учитель ко мне и сделал шаг в мою сторону. — Пожалуйста, прочтите...» Я в замешательстве встала. «Острою секирой, — услышала я дрожь своего голоса, — ранена береза. По коре сребристой, — вела я дальше, держа голос на одной ноте, с трудом от волнения выговаривая слова, — покатались слезы... Лишь больное сердце не залечит раны...» — закончила я.

В классе еще дрожал звук негромкого напряженного голоса...

«Вы не работали над стихотворением», — сказал учитель, глядя мне в лицо серьезно и печально. Что-то больно дрогнуло в сердце. Я молча села. «Я не работала?» — думала я грустно. Я работала. Я с любовью заучила коротенькие строчки чужого стихотворения. Мне оно нравилось. Оно казалось необычайно тонким и будило в душе грустное нежное чувство. Но чувство, очевидно, оставалось внутри и от волнения не передавалось в звучании голоса. Как же надо работать? Что нужно делать?

После меня учитель вызвал еще кого-то. Затем стал говорить о стихе, о музыке стиха. И он обещал в ближайшее время принести на урок скрипку.

Мы очень ждали этого дня. Но больше новый учитель не пришел. Мы больше его не видели, ни его, ни скрипки. Почему? Это осталось для нас загадкой. Это осталось одним незавершенным, но светлым эпизодом в нашей однообразной институтской жизни. Но и теперь, когда мне на уста приходят строки стихотворения А. К. Толстого о раненой березе, я неизбежно вспоминаю о молодом человеке, желавшем раскрыть нам тайну единства музыки и поэзии.

## II. МОЛОДЫЕ ДУШИ

### «Обожание»

Специфической особенностью институтского быта считается «обожание». Обычно обожание изображают как явление уродливое, нелепое, смешное, искусственное и вместе с тем широко распространенное в институтской среде. В мое время в нашем институте «обожание» было явлением совсем незаметным. Я бы даже сказала, его не было. Но я «обожала».

Сначала я познакомилась с девочкой старше меня на один класс — Марусей Синицкой. Я встречала ее в рекреационном зале, подходила к ней, и мы обменивались несколькими словами. Мне нравилось ее правильное овальное личико и синие глаза. Мы были на «вы», я относилась к ней с некоторым почтением, как к старшей, но нас, смею думать, связывала взаимная симпатия. Почему это называлось «обожанием»? Просто здесь сказывалась жажда дружеского общения, Оли в институте тогда еще не было.

Я убеждена, что «обожание» имеет место в среде любого учебного заведения. В институте оно усиливалось замкнутостью жизни и бедностью серьезных внешних впечатлений. По опыту собственной восьмилетней работы в средней школе знаю, что и советскую школу не миновала влюбленность юных в старших, трогających молодое воображение.

### «Мне душно, мне тесно в стенах института...»

Я не знаю, многие ли из моих одноклассниц писали дневники. Это было делом интимным. Но знаю, для некоторых из нас дневники составляли важную сторону их душевной жизни. Моя подруга Оля писала дневник не часто и довольно скупо. Я не могла и помыслить коснуться ее дневниковой тетради.

Одной из самых значительных, самых важных черт моего пребывания в институте стала моя дружба с Олей Феттер. Это не была обычная поверхностная или сентиментальная «институтская» дружба. Это была настоящая глубокая органическая душевная связь, сердечная привязанность друг к другу, возникшая и выросшая сама собой и которая, как мне кажется, неудачно выражается словом «дружба». Если бы у меня не было близости с этой умной, одаренной девочкой, моей любви к ней и ее любви ко мне, моя жизнь в институте была бы гораздо более пуста, скудна, тосклива и даже тяжела. Наша дружба обогащала нас, делала полнее, значительнее, радостнее, счастливее наше существование.

Оля была старше меня на два года, была девочкой другой среды и судьбы. Она была, вероятно, одаренней меня, разносторонней как личность. Но мы дружили «на равных», были совершенно равны в наших отношениях. Мы никогда не ссорились. У нас никогда не было ни малейших столкновений или недоразумений. Наша дружба включала в себя глубокое уважение и абсолютное доверие друг к другу. Вместе с тем мы никогда не стесняли друг друга. У каждой из нас была своя независимая жизнь. Я писала дневник, Оля к нему не притрагивалась. У каждой из нас был круг своих приятельниц, которые не мешали нашей основной дружбе.

Помню одно свое довольно аляповатое стихотворение, вписанное в текст дневника, вероятно, в V или не позднее IV класса:

Мне тесно, мне душно в стенах института,  
Мне хочется волей свободной дышать,  
Мне хочется страстью бездумной упиться,  
Мне хочется жить, и любить, и страдать!

Стихотворение совершенно не соответствовало моему темпераменту и моим реальным настроениям, но все же оно в преувеличенной форме выражало какие-то порывы и действительную душевную неудовлетворенность.

### Романы... Романы... Романы...

Это, вероятно, произошло в IV классе. Из института загадочно исчезла Вера Кулакова. Ее задержали на одной из станций под Харьковом, в обществе молодого офицера и отправили домой. Больше в институте она не появлялась.

Летом во время каникул при переходе в III класс Варя Яржембская познакомилась где-то с каким-то юнкером или молодым офицером. Он влюбился в нее и стал писать ей в институт.

Всегда сдержанная, даже замкнутая, казавшаяся мне высокомерной, общавшаяся только со своей подругой по Смольному Ниной Манюковой, Варя неожиданно стала удивительно развязной. Она читала вслух получаемые письма и издевательски смеялась.

Я недоумевала. Как можно слова любви и поклонения произносить таким насмешливым, пошлым тоном?! И казалось, что, издеваясь над молодым человеком, она публично хвастается своей победой. Таким же тоном она читала вслух свои насмешливые ответные письма, не обращая внимания на то, слушают ее или нет.

Я потеряла к Варе всякое расположение. Примерно в те же дни, когда разыгрывался «роман в письмах» Вари, Женя Лобова как-то подошла ко мне и тихо сказала: «Пойдем, я что-то покажу». Мы подошли к ее парте, Женя подняла ее крышку, вынула небольшой конверт, а из него фотографическую карточку. На меня открыто и прямо глянуло привлекательное умное лицо молодого офицера. (Опять офицер!!) «Он сказал моей маме, — произнесла Женя шепотом, — я надеюсь, когда Женя окончит институт, она будет моею». Женя тихо счастливо засмеялась и совсем по-институтски воскликнула: «Дуся!» — и поцеловала карточку.

Женя была дочерью казачьего офицера. В это время ей было лет пятнадцать — шестнадцать. Она не была красавицей. Небольшого роста, смуглая, с тонкими почти черными волосами, небольшими карими глазами, с очень красиво очерченным ртом и великолепно белыми зубами, она все же могла казаться очень привлекательной. Уже начавшие полнеть плечи, тонкая талия и очень красивые, правильной формы руки придавали ее облику обаятельную женственность. Кроме того, она была умна.

Женя — моя приятельница с первых дней институтской жизни. Она часто тосковала, подходила ко мне и говорила: «Мне плохо», — и глаза ее туманились. А я не умела развеять ее тоску, сказать ей бодрящее слово. Но я умела выслушать. Когда мы были во II классе, она подарила мне открытку с подписью: «Помни Женю Л.» Я, как видите, помню.

И у меня был роман. Но роман не реальный, а воображаемый. Героem его стал один персонаж Тургенева.

К четырнадцати — пятнадцати годам кроме Пушкина, Лермонтова, Гоголя, которых я читала очень рано, я прочла Гончарова, Лескова, Станюковича. Но завладел моим сознанием Тургенев.

Живому восприятию Тургенева, вероятно, способствовало то обстоятельство, что к дому, в котором мы жили в эти годы в Чугуеве, прилегал большой сад. У самого дома росли большие старые липы, а дальше — множество фруктовых деревьев. Сад заканчивался довольно глубоким обрывом, поросшим густой травой и кустами. Соседний дом был пуст, а сад, в котором он стоял, был запущен настолько, что ветви его деревьев, стоявших у ограды, спускались в наш сад. Была иллюзия уединенной дворянской усадьбы.

Увлечению чтением, игре воображения способствовала изолированность нашей жизни на новом месте в те трудные революционные годы. У меня совсем не было общества, кроме членов нашей семьи. Я была одна со своими книгами и своими мечтами.

Вот моим героем и стал литературный персонаж, и конечно, Тургенева.

И мне грезилось, что в соседнем пустом доме кто-то живет. Там есть прекрасный юноша. Он немного старше меня, он умен, серьезен, добр. А

зовут его Сережа, Сергей. И встречаемся мы с ним по вечерам у ограды, отделяющей наш сад от соседнего, и разговариваем тихо о каких-то невинных вещах, о книгах. И за этими простыми разговорами мне мерещилась живая душевная близость между мной и этим несуществующим молодым человеком.

Так и остался в моей памяти большой сад, а за его оградой старый деревянный дом, в котором живет серьезный близкий мне юноша, оставшийся моей мечтой.

### Религия

Я росла в традиционно религиозной семье. Все ее члены были, разумеется, своевременно крещены. Помню крестины брата, который родился в 1913 году. Священник был приглашен к нам домой, и после обряда было устроено соответствующее застолье.

В комнатах у нас висели иконы. Рождество, Пасху, Крещение отмечали в нашей семье торжественно, но скорее не как религиозно-памятные дни, а просто как большие праздники. Так по крайней мере воспринимала эти дни я девочкой.

В канун Рождества мы, дети, под маминым руководством и с ее участием украшали большую елку. Обязательным был торжественный постный ужин с традиционными на Украине кутьей (рис с изюмом) и узваром (компот из сухофруктов). Рождество знаменовало и приглашение детей из близких семей «на елку» и поездку в нарядных платьях в Офицерское собрание, где в огромном зале стояла большая елка, играл оркестр, были танцы и скромные рождественские подарки.

Под Пасху пекли куличи (на Украине их называли «пасха»), красили яйца, заблаговременно выращивали на тарелках овес, в зелень которого клали окрашенные яйца. Получалось ярко и красиво. Обязательно делали сырную (творожную) пасху. С вечера накрывали стол, который был очень ярок и красив. Были цветы, почему-то обязательно гиацинты. Куличи, вероятно, святости в церкви, но делали это денщик или домашняя работница.

Я не помню, чтобы мои родители ходили в церковь. Только однажды под Пасху, когда отец был на фронте, мама уехала в какой-то женский монастырь под Харьковом — помолиться о благополучии мужа. Неожиданно папа приехал из Действующей армии. Он сейчас же отправился в монастырь и произвел там страшный переполох ночным вторжением в женскую обитель. На следующий день мама и папа вернулись домой спокойные и радостные.

С раннего детства я знала, что на небе живет Бог, который сотворил мир, вокруг него множество Ангелов с белыми крыльями, что у меня есть свой Ангел-Хранитель.

В школе, в которую я поступила шести лет, я уже учила библейские легенды о сотворении мира, об Адаме и Еве, о Всемирном потопе, о Благовещении — явлении Архангела Гавриила Деве Марии, возвестившего ей о предстоящем рождении ею Сына Божия, об Ироде, умертвившем тысячи младенцев, надеясь погубить среди них недавно рожденного Мессию, о распятии Иисуса на кресте и о Его чудесном Воскресении.

Молитвенных настроений у меня не было. В Харькове мы жили на Петинской улице (теперь она Плехановская), неподалеку стояла Михайловская церковь. В ней в положенные часы шла служба и звонили колокола. Когда они звонили по вечерам (благовест?), мощные басовые удары раздавались с такой силой, что действовали на меня угнетающе. «Ну зачем они звонят?!» — повторяла я почти плача.

Чувство же святости, сливаясь с чувством прекрасного, возвышенного, возникло в моей душе довольно рано.

В школе я выучила наизусть стихотворение Лермонтова «Ангел» («По небу полуночи ангел летел...»). Это стихотворение мне очень нравилось, разумеется, нравится и теперь. В этом стихотворении я бессознательно чувствовала тонкую поэтизацию «безгрешных миров», «звуков небес», неземной чистоты, дыханье возвышенного.

В институтском быту религиозным традициям мы платили немалую дань. Но в нашей духовной жизни религиозные настроения, вера, как мне кажется, не играли большой роли.

Утро начиналось общей молитвой в актовом зале, на которой обычно присутствовала начальница. Может быть, это было недолго удержавшееся нововведение Ольги Александровны. Я помню ее присутствие в актовом зале. Пели молитву старшеклассницы. Старшеклассницы же пели молитву перед трапезой («Отче наш»). На ночь перед отправкой в дортуар молились в своем классе. Читала молитву дежурная или одна из желающих. Раз или два за все время пребывания в институте читала молитву и я, как дежурная. Но вскоре, по присущей мне некоторой застенчивости, я навсегда передала эту обязанность охотницам.

В церковь нас водили регулярно: каждую субботу — вечером, каждое воскресенье — утром. Церковь у нас была своя в здании института. Вход в нее из рекреационного зала шел через небольшой коридорчик, застекленный с обеих сторон.

В церкви каждый класс имел свое место и по порядку вливался в церковное помещение по блестящему паркетному полу: младшие впереди, старшие сзади. Переходя в старший класс, мы передвигались на новое место в церкви.

Строились мы правильными рядами по пять или шесть человек. Сзади за нашими рядами на полу лежал ковер, и на нем стояло несколько кресел, обтянутых красным плюшем. Это было место для начальницы и другого начальства, а также для возможных гостей. Их присутствие придавало службе большую торжественность, но начальство и гости бывали чрезвычайно редко. В задней стене церкви на некоторой высоте были небольшие хоры. Служил в церкви тот же священник, который экзаменовал меня, — о. Павел Грома.

В церкви пел свой хор, состоявший из девочек разных, но преимущественно старших классов. Недолгое время по собственному желанию пела в хоре и я. Мне сказали, что у меня альт. Но мое пение не удовлетворило участников хора, и меня скоро деликатно выставили, заявив, что я пою «не так, как надо». Я, помню, совсем не обиделась.

Около каждого класса стояло несколько стульев, на которые в течение службы классные дамы периодически сажали слабеньких на несколько минут передохнуть. За время моего пребывания в институте помню два случая, когда девочек выводили под руки из церкви: им от долгого стояния становилось дурно.

Я была тоненькая, худенькая и, несмотря на розовость щек, могла казаться слабенькой, и первое время классные дамы не раз предлагали мне сесть — передохнуть. Но я твердо отказывалась, без труда выстаивала всю службу, и мне перестали предлагать сесть.

В дни Великого поста нас водили в церковь чаще, готовили нам постную пищу (как и в среду и в пятницу). Помню очень вкусные маленькие рыбешки — копчущки. Остальной пищи не помню.

Во время поста старшеклассницы читали в столовой не «Отче наш», как обычно, а молитву Ефрема Сирина. Служба в церкви во время поста была особенно торжественная. В определенный день три (две?) старшеклассницы выходили во время службы на середину церкви и пели «Иже херувимы» или «Да исправится молитва моя». Пели хорошо, слушать было приятно. Кроме того, в этом выступлении был элемент театральности, это привлекало.

В конце поста нас ждала исповедь, а затем причастие. Должна признаться, что сейчас не вспомнила бы ни об исповеди, ни о причастии, если бы случайно не нашла одной своей старой записи — свидетельство, что этим столь важным обрядом я придавала столь малое значение, что они не оставили следа ни в душе, ни в памяти.

О. Павел Грома вел у нас и уроки Закона Божия. К сожалению, в нашем батюшке не чувствовалось ни благодушия, ни душевной теплоты. Иногда он казался даже грубоватым.

На уроках Закона Божия мы читали Евангелие на старославянском языке. Известное знание старославянского языка, полученное от этого чтения, мне впоследствии пригодилось в моих филологических занятиях. В старших классах мы изучали катехизис — то есть заучивали наизусть главные догмы Православия в форме вопросов и ответов. Сейчас я не помню ни строки из этой книги.



Я думаю, что не ошибусь, если скажу, что религиозная стихия мало владела нашими умами и нашими душами. В воспоминаниях об институте другие стороны нашего быта, наших впечатлений, нашей жизни ярче, сильнее выступают в моей памяти. Они и отлагались глубже.

Я никогда, до последнего класса, не говорила с Олей на религиозные темы — свидетельство отсутствия серьезного интереса к этой стороне человеческого сознания. Я думаю, что большинство из моих сверстниц, не подвергая сомнению ни религиозных догм, ни ритуала церковного действия, не были религиозно настроены. Истинно и глубоко впитавшие христианское учение и мораль, подлинно верующие у нас были редчайшие единицы. Верующей была Люба Советова и, кажется, Нина Циглер.

В течение почти пяти лет регулярно посещая церковь, я не знала текстов церковного богослужения, не воспринимала его смысла.

И вот наступил момент, когда я совершенно непроизвольно ощутила мир, вселенную без Бога. Это произошло внезапно, но явилось следствием какого-то постепенного внутреннего несознаваемого процесса. Это было, несомненно, озарение, освобождение от чего-то наносного, навязанного, выдуманного.

Мир очистился. Бога не было. Не было и дьявола, и белокрылых ангелов. Было огромное мировое пространство, воздушный океан, в котором «без руля и без ветрил» в гармоническом единстве плавают множество планет: огромное, изливающее жгучий свет солнце, луна с ее туманными излучениями, чудесное сочетание звезд и наша зеленая Земля. Было волшебное хорошо, величественно, таинственно и вместе с тем просто и ясно. Христос? Я не знаю. Да, вероятно, был такой светлый человек. Но... я о нем мало думала.

Нет, я не могу больше молиться Богу, думать о Его святой воле. Не хочу стоять в церкви как истукан, без мысли и воли. Я не верю в Бога...

И вот при первом посещении церкви в тот момент, когда Наталья Николаевна усаживала уставших, я заявила, что тоже хочу сесть. «Ты же здорова», — сказала Наталешка недовольным шепотом, однако посадила меня на ближайший стул. Но едва я опустилась на его сиденье, мне стало так щемяще стыдно, так неловко, что я еле высидела положенные минуты. Я, только что приобщившаяся к ощущению величия и красоты вселенной, унижаюсь до такого мелкого поступка, до такого пошлого проявления своего безбожия! Как я могла совершить эту пошлость?! Больше я никогда не садилась в церкви.

Но христианское вероучение вошло в противоречие с теми познаниями, которые давала нам наша скромная институтская программа, но которые тем не менее формировали наши представления о мире. Основы христианской морали противоречили сущности моего характера, моей естественной природе. Мне бессознательно, органически не нравилась мораль христианского самоотречения, смирения, самоуничужения. Эта мораль не отвечала моему ощущению жизни, и это часто определяло и мое отношение к людям, мои симпатии и антипатии. С институтом я рассталась в спокойном состоянии безверия.

### III. ИНСТИТУТ И РЕВОЛЮЦИЯ

#### «Красный бант»

В классный коридор вошла группа мужской молодежи и направилась прямо к квартире начальницы. Говорили, что это студенты ветеринарного института, который помещался рядом с нашим. Они потребовали, чтобы нас вывели на улицу.

Мы пошли вниз, в гардеробную — одеваться. Кто-то сказал, что необходимо, чтобы на груди было что-нибудь красное. У меня в шкатулке оказалась широкая красная лента. Я продела ее в петлю пальто, завязала бантом и спрятала его за борт пальто так, что снаружи остался лишь уголок ленты.

Все было необычайно, весело. На улице нас поставили на тротуаре вдоль ограды нашего института. По мостовой стройными широкими рядами шли и шли люди. Они пели. В руках у многих из них были красные флаги, цветы. Все были радостны, оживлены. «Институтки!! Идите с нами!» — кричали они нам.

Когда мы возвращались и я, тоже почему-то радостная и оживленная, шла по коридору в группе своих одноклассниц уже в расстегнутом пальто, мой бант освободился и ярким цветком аелл на борту черного пальто. Рядом со мной шла Наталешка. Она схватила мой бант и стала трепать его из стороны в сторону, раздраженно приговаривая: «Вот, нацепили красные банты, а сами ничего не понимают! Ничего не понимают!»

Когда мы поднялись в класс, нам рассказали, что студенты вошли в актовый зал, сорвали со стены портрет царя и разрезали его ножом. Одна из старшеклассниц, которая присутствовала при этом, притворилась, что теряет сознание, и упала на портрет. Подруги унесли ее на портрете в лазарет. Они гордились, что спасли портрет от окончательного уничтожения.

Это был февраль 1917 года. Февральская революция.

Актальный зал остался без портрета царя.

Но Наталья Николаевна была права: мы ничего не поняли. И в нашем быту ничто не изменилось. Для меня это было второе полугодие V класса. Мне было двенадцать лет.

### Отъезд О. А. Милорадович

Осенью 1917 года нас ожидало грустное событие. Нашу начальницу, заслужившую нашу любовь, Ольгу Александровну Милорадович, переводили в другой институт, кажется, в Новочеркасск.

7 ноября 1917 года<sup>3</sup> я писала бабушке в Екатеринослав: «Наш класс хочет устроить прощальный концерт Ольге Александровне. Я рисую программы».

Теперь я совершенно не помню, состоялся ли наш концерт. Помню лишь один эпизод, который отложился в сознании как свидетельство заботливого внимания к нам нашей начальницы, а не как память о концерте.

Я шла по классному коридору и несла на спине в комнату пепиньерок ширму. В этот момент из своей квартиры вышла Ольга Александровна и увидела силуэт небольшой девочки, которая несет на спине громоздкий предмет, похожий на шкаф. «Остановитесь! Остановитесь! — закричала Ольга Александровна и поспешно направилась ко мне. — Разве вам можно носить такие тяжести?!» Я остановилась. Когда Ольга Александровна приблизилась, недоумение разрешилось. В день отъезда Ольги Александровны весь институт выстроился в коридоре. Каждый класс стоял вдоль стены своего класса. Мы плакали. Мы сильно плакали. Мы плакали навзрыд. Это было одно из самых сильных переживаний за все годы пребывания в институте. Вероятно, здесь присутствовал элемент экзальтации, массового заражения определенным настроением.

Ольга Александровна обошла все классы и, тоже плача, поцеловала каждую девочку. С дороги (из Ростова) она прислала в институт большое письмо и кроме него каждому классу по открытке. Простую теплую открытку «воспитанницам четвертого класса», то есть нашему классу, мы разыграли. Открытку выиграла я. Она сохранилась. Она у меня.

### Год 1917-й. Октябрь. Голод

Между тем революционные события, потрясавшие Россию, своеобразно проявлявшиеся на Украине, не могли не отразиться на жизни института. Но институт продолжал существовать, он жил, сохраняя свой порядок. Если теперь всмотреться в даль прошлого, то поражаешься сочетанию устоявшихся традиций в жизни института, своего рода инерции его существования и неизбежного воздействия на его быт общественных потрясений.

29 октября 1917 года я писала бабушке, жившей под Екатеринославом: «Родная и дорогая моя бабуся! Как ты поживаешь? Как твое здоровье? Я и Ната пока здоровы. Отметки у меня ничего.

<sup>3</sup> Здесь и далее стиль старый.

У нас ужасное происшествие: зарезали нашу экономку 19-го ночью. Ужасно. После этого ночей не спали. Трое каких-то забрались к ней в комнату, обокрали и зарезали. Служили панихиду.

Письмо писано после Октябрьской революции, но о ней ни слова. О ней мы просто слыхом не слыхали. А местное событие, весть о котором принесли нам утром дортуарные девушки, взволновало нас как потрясающее событие. Теперь оно воспринимается как знак наступавших общественных бурь.

И в этом же письме, в котором я писала об убийстве экономки, я сообщала: «Знаешь, бабуся, у нас издается журнал. Наш класс издает. Я дала свое летнее стихотворение «Майский вечер», еще загадки кое-какие. Буду рисовать».

Между тем понемногу стала нарушаться строгая и привычная упорядоченность дня. Все чаще мы простаивали минут десять — пятнадцать на лестнице при спуске в столовую: не был готов обед.

Но самое разительное, что давало себя знать порой весьма мучительно, был голод. Мы стали голодать. В письме к бабушке от 9 ноября 1917 года я прямо писала: «Есть хочется безумно. Теперь нам дают по одному кусочку хлеба. В прошлом году кто сколько хотел, столько и брал. В начале этого года давали по два, а теперь по одному».

### «Хитительница»

Из наших стальных шкафчиков стали пропадать продукты: у кого-то исчез пирог, у другого пачка печенья, у третьего бутерброд, а у кого-то и просто кусок хлеба. Девушки, убирающие класс? Но этого никогда не было...

Вскоре «хитительница» была обнаружена. Ею оказалась девочка Смольного института Лена Долье<sup>4</sup>. Она плакала и во всем призналась.

Лена была прелестная девочка с мягким и нежным личиком, светлыми локонами и красивыми карими глазками. Суший ангел. И вдруг...

Огромное пустое пространство внезапно легло между мной и ею. Я смотрела на нее с недоумением, отчуждением и неприязнью. Ну как она могла?! Разве она не чувствовала, что делает что-то стыдное, позорное?! И вот теперь плачет... Позор на весь институт...

Еще с большим недоумением я увидела, что Лена окружена особым, повышенным вниманием. Настоящая героиня дня! Она все время ходит, окруженная целой группой девочек, обнявшись. Что это? Что их так тянет к ней? Неужели скандальность истории? Скандальный душок?

Я взглянула на Лену. Личико ее было серьезно и бледно. А может быть... может быть, они более правы, чем я со своим отчуждением?! Может быть, они просто жалеют ее?

Через неделю та же история повторилась с нашей девочкой. И так же группа сочувствующих несколько дней ходила с ней обнявшись... А на лице ее я не заметила и тени смущения... Я недоумевала. Что же, голод сильнее всего? И можно все простить??

Нет! Нет!

### Хлеб... хлеб...

Выходя из столовой, я и Геня Буйко задержались и отстали от класса. У Гени в руках был ломтик хлеба. «Ты что? Не съела?» — удивилась я. «Я всегда оставляю часть своего хлеба для маленьких. Они трудней переносят голод». Геня Буйко была девочка из Смольного, болезненная на вид и очень некрасивая. На ее круглом бледном лице сильно выдавался вперед небольшой острый нос, а подбородок был резко усечен, и, если смотреть на ее лицо в профиль, оно образовывало острый угол. Кроме того, она была очень близорука и постоянно ходила в очках... Держалась она несколько обособленно.

И вот она, сама полуголодная, делится крохами своего хлеба... Нет, мне не понравилось ее самопожертвование. Мне почудилось здесь что-то ненормальное, нездоровое, родственное христианской жертвенности, своего рода

<sup>4</sup> Здесь и фамилия и имя вымышлены.

самоуничужение. Мне даже показалось, что она своим самоотречением и великодушием хочет возместить свои физические недостатки, отсутствие внешнего благообразия. Может быть, так и было.

Мне было органически чуждо ее настроение, а все-таки я подумала: «Геня Буйко несчастливая, но хорошая девочка. Одна таскает чужой хлеб, а эта делится своим последним».

### Невероятное происшествие

С левой стороны здания института, если подойти к нему с улицы, была сложенная из кирпича невысокая, но плотная стена-забор. Я никогда не обращала на нее внимания, так как она была отделена от входа деревьями и покрыта вьющейся виноградной лозой.

И вот однажды утром в класс вошла женщина в сером платье и белом переднике и что-то тихо сказала Евгении Владимировне. Евгения Владимировна позвала: «Морозова! Феттер!» Когда мы подошли к ее столу, она велела нам следовать за женщиной в сером платье.

Была ранняя осень. Мы пошли за ней не надевая пальто и дворами подошли к внутренней стороне той самой кирпичной стены, которую могли видеть с улицы. За ней оказался двор. Какой огромный двор! А в нем какие огромные сараи! Около сараев стояли большие козлы, одни и другие. Около одних две незнакомые девочки в зеленых платьях пилили огромное бревно. Нам велено было делать то же: не хватало дров готовить обед. Мы с Олей с трудом вытащили из сарая длинное бревно, взвалили его на вторые козлы и стали пилить.

И вот четыре девочки в зеленых платьях, белых передниках и белых пелеринках часа два старательно пилят толстые бревна.

Так вот где наши дрова, которыми отапливают наше здание, на которых готовят обед и пекут наши булочки!

Мы устали, но отнеслись к этому случаю как к неожиданному чрезвычайно забавному приключению. Больше пилить дрова нас не звали. Может быть, звали других?

### Разъезд

К концу ноября 1918 года гражданская война на Украине приняла крайне острый характер. Был создан советский украинский фронт, начали поход большевистские повстанческие дивизии, было разгромлено движение Петлюры. 29 ноября 1918 года Временное рабоче-крестьянское украинское правительство низложило правительство гетмана.

Мы, разумеется, об этом ничего не знали. Но руководство института, понимая серьезность положения, решило прекратить деятельность института и отправить нас по домам. Это, вероятно, было в начале ноября. Насколько я помню, в этот год (III класс) мы занимались очень недолго.

Отпуская нас, нам сказали, что мы уезжаем на небольшой срок и поэтому можем часть своих вещей оставить в институте.

Своих дневников я больше не видела.

3 января 1919 года в Харьков вступили войска красных, и в течение двух недель советская власть установилась на всей территории Харьковской губернии.

В Чугуеве я и сестра поступили в местную гимназию: я в V класс, соответствовавший нашему III-му. В гимназию я ходила в институтской форме. Белую пелеринку, передник, рукавички я теперь стирала и гладила сама.

Класс был совсем другой, чужой. Мои отношения с новыми одноклассниками были нейтральны, но с двумя девочками я подружилась.

Дома у нас теперь никаких работниц не было. Мама сама готовила обед, мы с сестрой убрали комнаты. Однажды я мыла пол в большой комнате. К порогу подошла бабушка и вдруг с какой-то горечью говорит мне: «Никак не могу понять, кто же вы: барышни или горничные?!» Я очень удивилась: «Барышни, конечно, барышни! Мою пол, а все равно я барышня!»

Вместе с бабушкой приехала и ее библиотека. Я запойно читала.

Когда пришла весна, мы с папой разделили в саду грядки, посадили картофель, морковь, зелень. Кроме того, на моей обязанности лежало готовить топливо для кухни. Сидя на бревне, я топором рубила большие сухие ветви. Рядом лежал том Тургенева, и я не могла оторвать глаз от книги. Мама выходила на крыльцо и спрашивала плачущим тоном: «Таня, ну скоро ли? Мне же надо готовить обед!» И я с трудом отрывала глаза от книги.

#### IV. ГОД 1919-й. ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

25 июля 1919 года армия генерала Деникина после напряженных боев вытеснила красных и заняла Харьков, а затем и всю Харьковщину. Начался новый поворот в нашей жизни. Самым значительным следствием смены власти было для меня возобновление деятельности института, его новое открытие и приезд Оли ко мне на несколько дней в Чугуев.

##### Одно письмо

«Адрес: г. Харьков. Сомовская ул., 1 — 25. Н. М. Петровой, для меня. Милая, дорогая моя, славная Васюточка.

Как давно я тебе не писала. Верить, столько непредвиденных дел, маленьких и больших, что, право, некогда было написать. Как только я от тебя приехала, нам заявили, что надо очищать квартиру. Начались поиски, конечно, безуспешные. Одна комната, без отопления, небольшая, со всеми неудобствами стоит от 400 р. до 1000 р. в месяц (в нагорной части, а по окраинам положительно все занято). Мама, бедная, не знала, что делать. Ты понимаешь, что у нас творилось. Наш дом заняли под фабрику и уже перешли, а мы все никак не могли выбраться. Наконец нас приютила у себя одна знакомая, на Рашкиной даче (опять на старом пепелище). Но перевозка! Ужас. Одна подвода стоила в то время (так как подводы реквизировали) 500 — 600 — 700 рублей, смотря куда ехать. Наконец переехали.

Деньги, конечно, получили от продажи вещей. Ну, первые 2 — 3 дня устанавливались, потом как будто и ничего себе стало. Но вдруг заболела мама. Температура 40, бредит, горит (это было ночью). Я, понятно, не спала. То компресс, то вода. Господи, думаю, неужели у мамы тиф? Кое-как дотянули до утра. Пришел доктор. Плеврит в очень сильной форме. Тут настали для меня деньки. Чуть с ума не сошла. Ночью с мамой вожусь. Утро настает, то воды принести, то дров расколоть, стготовить хоть какой-нибудь обед, об Тосе позаботиться, денег раздобыть — и все я одна. Только недавно мама стала поправляться, но ужасная слабость. Сейчас и то мама говорит: чего сидишь. Но уж тебе я не могу не написать.

Только раз вечером сидела, и вылилось у меня стихотворение.

Сейчас у нас тепло, уютно и больнично,  
Горит огонь.  
Рутандле учит стих, и кажется на миг  
Под мамин бред, под звук дождя привычный  
Я позабыла день...

Здесь идет продолжение, фантазия. Когда увидимся в институте, то прочту тебе все. Теперь у меня очень изменился стиль. Эта картина самая спокойная за все эти ужасные вечера. Тосю я назвала Рутандле. Так ее называла покойная тетечка. Васенька, будешь ли ты в институте? Детей добровольцев принимают бесплатно. Формы будут другие. Задержка только в приютских детях, 2 этажа уже освобождено, остался верхний. Занятия неизвестно когда начнутся. Тося ходит в гимназию, 1-ю пока, а я, к моему сожалению, не могу ходить далеко, и самое главное, некому нечего делать. Васенька, почему ты мне не написала? Ты, наверно, думаешь, что я не хочу тебе писать? А может быть, и тебе было некогда? Думаю, что последнее предположение вернее. Как Вы поживаете? Вы в Чугуеве или уехали? Как здоровье мамы, бабушки? Кланяйся, пожалуйста, всем. Мама передает привет Вере Павловне. В институт надо брать по 3 тарелки. 1 глубокую, 2 мелких. Ты одну мелкую не бери,

так как я тебе отдам ту, что я разбила. Книги у нас в целости и невредимости. Пиши, голубчик Васенька, скорее.

Крепко-крепко целую.

Оля Феттер.

*P. S.* Кладу деньги для доплаты за письмо 1 р.».

### Бесценные сокровища

На один из дней этих осенних месяцев, которые стали последними в нашей институтской жизни, падает одно мое незабываемое, близкое к душевному потрясению переживание.

Я бежала по нижнему коридору, направляясь к месту нашего обитания — в лазарет. Справа почему-то оказалась приоткрытой дверь в нашу бывшую музыкальную комнату. Я непроизвольно заглянула в нее и, войдя, внезапно остановилась, потрясенная представшим передо мной зрелищем. На полу, на подоконниках, на рояле лежали книги. Масса книг, огромная гора книг, достигая потолка, громоздилась в левом углу, наискось от дверей.

Книги! Книги! Сколько книг! Неизъяснимое страстное волнение охватило меня. Мир перестал существовать. Существовали только книги и я. Я задрожала. Книги! Книги! Бесценные сокровища лежали передо мной. Книги! Владеть ими всеми, прочесть их все!!!

Я бережно, как к чему-то хрупкому, прикоснулась к одной книге, подняла другую, раскрыла ее. Вью оказалась французская хрестоматия «Mogseaus choisis». Там я нашла большой отрывок из «Misérables» Гюго и «Матео Фальконе» П. Мериме. Другая оказалась «Историей». Я поняла. Это наши учебники, снесенные сюда на время ремонта. И я решила: я буду приходить сюда и брать книги, чтобы прочесть их одна за другой.

Я осторожно спрятала взятые книги за корсаж передника и унесла с собой. Под руководством Натальи Николаевны я методически читала Гюго.

А затем институт закрыли. Книги уехали со мной, и долго хранились у меня эти украденные сокровища.

### Отъезд

В моем письме к маме из института в Чугуев, единственном сохранившемся из моих писем того времени (3 ноября 1919 года), есть приписка: «Сегодня была конференция. Постановили: съезда не будет. Занятия для приехавших начинаются через три дня».

Очевидно, было совещание руководителей института, на котором решили, что сбор всех институток в современных обстоятельствах нерационален. Для нас же, съехавшихся, занятия должны были вскоре начаться.

Занятия не начались. Красные наступали. Под напором их отрядов Деникин начал отводить свои войска на юг. В декабре институт стал готовиться к эвакуации. Говорили, что он отправится на остров Мальту.

Мне с сестрой надо было ехать домой в Чугуев. А денег не было. Папа говорил, что оставит нам денег в семье моей крестной матери — Лидии Константиновны Пушенко.

Город был в тревоге. Масса людей готовились к отъезду. Так было и у Пушенко. Зять моей крестной, крупный инженер, весьма состоятельный человек, собиравший с женой и сынишкой за границу. Шли сборы. Денег не было.

На следующий день мы решили идти к Васильевым. У Васильевых мы застали ту же картину, что и у Пушенко. Шли сборы к отъезду — за границу. Ф. И. Васильев, папин однополчанин, крестный отец Наташи, и его жена тотчас дали нам денег. Да и много ли нужно было денег, чтобы доехать из Харькова в Чугуев?

Чуть ли не на следующий день за нами приехал присланный папой солдат. В черных институтских шапочках, длинных черных пальто, прикрывавших наши платья, с мешками за плечами мы вошли в поезд. Вагон был переполнен. Я, Ната и солдат остановились в тамбуре. Мимо шел солдат,

очевидно какой-то дежурный, он грозно сказал: «Здесь стоять нельзя. А то...» — и погрозил мне шомполом. Я опустила глаза, но с места не двинулась.

На вокзале в Чугуеве нас ждала посланная папой лошадь. Дома та же картина, что у Феттер, Пушкино, Васильевых. Шли поспешные сборы в неизвестную далекую дорогу.

Мы брали с собой множество вещей. Помню огромную плетеную корзину, чуть короче кровати и почти вдвое выше. В ней поехали наши институтские формы. А кроме корзины бесчисленные ящики, чемоданы, узлы. Не брали только мебель.

Мы погрузились в теплушку товарного поезда со множеством самых разнообразных незнакомых людей. Было несколько молодых белых офицеров.

Вечером, когда укладывались спать, мне не хватило места на нижней полке нар. Решили положить меня на верхнюю рядом с каким-то незнакомым пожилым человеком. Но этот человек сразу внушил мне такое отвращение, что я наотрез отказалась лечь рядом с ним. Несмотря на мамины уговоры, я упорно стояла на своем. Маме пришлось извиниться, и меня положили рядом с незнакомым молодым офицером. Спали мы все в одежде. Мы легли с моим соседом лицом к лицу, несколько минут поговорили и заснули до утра, как невинные голуби.

Поезд шел на Новороссийск. Наша же семья покинула поезд раньше (может быть, именно в Новочеркасске). Ехать дальше, ехать за границу нам было не с чем и незачем.

Прощаясь со спутниками, мама взяла мой институтский башлык и повязала им голову поверх фуражки одному молодому офицеру, которому нездоровилось. Мне было немного жаль башлыка, но все же я одобрила маму.

Папа договорился с подводами, и мы двинулись куда-то в сторону. Ехали мы мимо каких-то хуторов. Был декабрь. Снег лежал на полях, но из хат выбегали полуголые ребятишки и носились по полям. Это была Кубань.

Вечером мы приехали в Анапу. В большой частной гостинице нас поместили в огромной комнате. В ней уже расположилась семья генерала Анисимова — жена, двое детей, учитель. Мой отец к концу войны был полковником. Мы познакомились, перекусили и устроились спать.

На следующий день мы вместе с семьей Анисимовых сняли на одной из окраинных улиц Анапы небольшой домик в три комнаты, с кухней и застекленной галереей и поселились в нем. Хозяйство тоже стали вести совместно.

## V. ПОСЛЕ ИНСТИТУТА

### Судьбы и встречи

В Анапе мы прожили около года — с конца декабря 1919 до осенних месяцев 1920 года. Когда мы приехали в Анапу, Кубанью владела Добровольческая армия. 6 марта Анапу захватили зеленые. 10 марта в город вступил отряд казаков-добровольцев, но через час он был выбит красными. «У нас большевики», — записала я в дневнике.

Для меня пребывание в Анапе шло под знаком мучительнейших душевных метаний и страстной тоски по институту.

Я привыкла к размеренному ритму жизни, я привыкла к самому институту. В нем я жила дольше, чем дома, уезжая домой только на каникулы. В старших классах я почувствовала себя личностью, заслуживающей уважения, в институте я его получала и от старших, и от подруг. Как это ни странно, в институте я стала себя чувствовать свободней и независимей, чем дома. С резкой переменной жизни в стране произошел срыв моих мечтаний и моих надежд.

Все вдруг оборвалось. 15 марта 1920 года я писала: «Итак, у нас красные... Где Сергей? Что с ним? Мечты об институте, где вы? Рухнуло все. Институт! За что я так полюбила его? Эта любовь болезненно отзывается во мне. Каж-

дую ночь вижу себя в институте». Вместо того чтобы «погрузиться в искусство, в науки», я должна была отдавать свои силы грязной домашней работе на большую семью. Я мыла посуду, мыла грязные полы (десять человек в маленькой квартире), стирала, часами стояла в очередях за хлебом. Весной я стала носить на коромысле воду из колодца.

Я тосковала и беспокоилась об Оле. В дневнике 3 января я писала: «Где сейчас Олосся, мой милый, родной друг? Неужели институт не успел выехать из Новороссийска и большевики захватили город?»

Упоминание имени Сергей тоже здесь не случайно. Это не был воображаемый герой моих детских грез. Это был реальный молодой человек, сын военного врача, постоянно лечившего папу, офицер царской армии Сергей Савинов. Он уже прошел войну, лежал в госпитале и теперь ехал с нами в одном поезде, но в другом вагоне. У него была приятная интеллигентная внешность, он проявил ко мне некоторое внимание, и я вообразила, что он «мой»... Я часто вспоминала о нем в своем дневнике, думала о нем.

Тяжелое же мое настроение усугубилось неожиданными постоянными и, как мне казалось, необоснованными оскорбительными конфликтами с мамой. Я и теперь не могу постичь их почву. Может быть, я не вполне понимала, что у нас были огромные материальные трудности. Но я ничего не требовала. Главное же, над папой, полковником царской армии, а стало быть, и над всей нашей семьей, висели страшные угрозы расправы, гибели. Это, естественно, не могло не создавать повышенного нервного состояния мамы. Вероятно, ее раздражало и мое наивное стремление вернуться в институт. Но то и дело происходили события, пробуждавшие мою мечту, напоминавшие мне об институте. 8 января (1920-го) я записала в дневнике:

«Сегодня в Анапу пришел пароход, переполненный институтками Московского и Смольного институтов. Какая радость для меня! Мы узнали, что наш институт в Новороссийске и через 3 — 4 дня отправляется в Батуми или на остров Мальту. Институт в 35 верстах от нас. Поеду! Мне хочется ехать. Неужели мое желание исполнится?»

Я подошла к пристани. Пароход стоял очень близко к берегу. К борту подошла небольшая группа девочек. Институт оказался не наш и не Смольный. Девочки очень охотно вступили со мной в разговор. Но что это был за разговор! Одна очень милая девочка, указавшая мне на подругу, стоявшую рядом и державшую ее за руку, улыбаясь, произнесла: «Вот она очень хорошо рисует». — «А эта девочка, — вступила в разговор другая, — очень хорошо поет». — «Куда вы едете?» — спросила я. Они не знали. «Боже, какие институтки! — опять с грустной иронией подумала я. — Они живут вне времени и пространства. Это, вероятно, девочки какого-нибудь младшего класса», — заключила я в их оправдание.

12 января был день моих именин — Татьянин день, и я с утра надела свое «праздничное» платье — институтскую форму. Это вызвало крайнее неудовольствие мамы. Она и все семейные не поздравили меня. Поздравили только чужие. Я почти весь день проплакала.

Когда я узнала, что наш институт в Новороссийске, я стала просить папу отвезти меня в институт. Папа сказал, что это стоит пять тысяч рублей, а таких денег у нас нет и что мне лучше поступить в реальное училище.

Я разыскала это училище, но о зачислении девочки, не имеющей никаких документов, да еще в середине учебного года, не могло быть и речи.

Я разыскала городскую библиотеку. Она оказалась очень хорошей. Я принесла однажды роман Д. Лондона «Морской волк», и его читали несколько вечеров. Но я недолго была участницей этих совместных чтений. Помыв посуду после вечерней трапезы, я оставалась в кухне и читала то, что меня интересовало. Так, я взяла в библиотеке «Анну Каренину», которую еще не читала, и в кухонном уединении прочла еще не совсем доступный мне роман. Чаще же я изливала свои настроения в дневнике. «Дневник — моя отрада», — записала я на одной из его страниц. «Я безумно хочу учиться», — написала я на другой.

Я тяготела к искусству. Еще в школе я удачно лепила из глины, я любила рисовать, увлекалась литературой и уже недурно знала русскую классику. И вместе с тем писала в дневнике: «Я хочу быть криминалистом, филосо-



фом, физиком, общественным деятелем» — и сама чувствовала непомерную широту своих стремлений, мучилась неспособностью определиться. То я сомневалась в возможностях своей личности, то боялась угодиться гончаровскому Райскому, которому было много дано, но который ничего не свершил.

Я металась между демократическими симпатиями, привитыми семьей и русской литературой, и чувством родства с Белой армией, гордостью за своего отца и своей связью с институтом, со «званием» институтки. И даже казавшаяся установившейся безрелигиозность подвергалась колебаниям. «Словом, — записала я в дневнике 10 января, — во мне происходит сумятица».

Через несколько дней я неожиданно встретила на улице еще одну свою одноклассницу — Любу Советову, и 18 января она была у меня. Разговаривая с Любой, я полусутья упомянула о своем намерении заняться спиритизмом. «Я тебе не советую, Талочка, — сказала Люба, — это от дьявола». Я засмеялась. «А мне кажется, — заметила я, — что дьявола нет». — «Нет, есть, Тала. И Бог есть», — тихо, но очень серьезно ответила Люба. Люба была верна себе. Еще в институте она отличалась религиозностью. А я все металась.

Встреча с Любой была для меня встречей с институтом. Люба дала мне свой адрес, и я через некоторое время разыскала ее дом. Он был заперт всяким замком, а на двери большая табличка: «Доктор медицины Советов». Я оставила Любе записку, но она не пришла, и мы больше с ней не виделись.

20 января 1920 года я неожиданно получила письмо от Жени Лобовой из Екатеринодара (Краснодара) «с очень печальным известием об институте и об Оле Феттер», как записала я в дневнике. «Читала я его несколько раз вслух и всем надоела с ним». Несмотря на важность для меня Жениного письма и на то, что я многократно читала его вслух, я совершенно не помню его содержания.

Почему Женя в Екатеринодаре? Она кубанская казачка? Как она узнала мой адрес? Может быть, она виделась с Тамбовцевыми и те сообщили ей обо мне?

Но в Анапе я не только занималась хозяйством, читала, писала дневник и тосковала об институте. Это одна из сторон моей тогдашней жизни. Постепенно я стала делать одно весьма полезное для семьи дело. Я систематически занималась с братом, которому осенью исполнилось шесть лет. Я обучала его читать, писать, элементарным арифметическим действиям и даже некоторым обиходным французским словам. К нему присоединилась шестилетняя дочь Тимченко, местного жителя, с семьей которого мы сблизились. А затем молодая женщина, которая носила нам молоко, узнав о моих занятиях, попросила взять ее девочку Марфутку, и за это она стала носить нам молоко бесплатно. А затем к нам присоединилась еще одна крошка из интеллигентной семьи — Наташа, милейшее умное существо.

С величайшим удовольствием вспоминаю эту свою неожиданную школу, которую я затеяла бесплатно. Через некоторое время я затеяла нечто вроде концерта. Каждый читал специально выученное стихотворение.

Через некоторое время, когда я была у Тимченко (я дружила с его дочерью Таней, моей ровесницей и тезкой), он вынул бумажник, перебрал содержавшиеся там купюры и дал мне тысячу рублей, сказав: «Она стоит». Это была немалая сумма. Я начала свою школу как бесплатную из-за брата, но деньги, немного смутившись, взяла и, разумеется, тотчас отдала маме. Семья Тимченко была простая семья. Ее глава был вдовец, и хозяйство вела его старшая дочь Васюта, очень хорошая девушка. Кто был Тимченко, я не знаю. Мне кажется, он занимался извозом.

Вы спросите, зачем я пишу о себе, когда я была уже вне института? Но я, не рассказав хотя бы кратко, что было со мной, носившей заряд института в дальнейшие годы, не могу довести тему института до ее полного завершения.

Если я не ошибаюсь, в августе 1920 года Советским правительством был издан указ всем офицерам царской и Белой армий явиться в Особый отдел для регистрации. Отец, устроившийся было на какую-то скромную работу, двинулся в путь. Явиться, наверное, надо было в Ростов. Но в Краснодаре ему неожиданно предложили, основываясь на его боевой и теоретической подготовке, зачислиться в только что созданные Высшие курсы действующих родов войск для чтения лекций по военным дисциплинам. На отца произвел дельное впечатление начальник курсов, и он согласился.

Поздней осенью 1920 года наша семья переехала в Краснодар, и в январе 1921 года я уже училась в единой трудовой советской школе. Я зачислилась в последний, 9-й класс, пропустив, таким образом, около полутора лет среднего образования.

Я старательно взялась за занятия. Я участвовала в кружке обществоведения, читала книги по естествознанию, ходила на занятия художественного кружка, созданного при Высших курсах, где работал папа, и удивительно просто чувствовала себя в среде красных курсантов. А на выпускной вечер в школе я в последний раз надела институтскую форму и декламировала стихотворение Мережковского «Сакия-Муни», которое еще недавно так удачно читала моя Оля.

Через некоторое время мама, ничего не сказав ни мне, ни сестре, продала на базаре наши широкие и длинные, прекрасного зеленого цвета институтские платья. Жить было трудно. Купила их, как рассказывала мама, толстая казачка, важно сидевшая на возу, — «настоящая кулачка». Так и доносили, очевидно в виде юбок, форменные платья воспитанниц Института благородных девиц в какой-то кубанской казачьей станице... Так оборвалась еще одна тоненькая ниточка, связывавшая меня с институтом...

А из розового плотного чехла на матрас, который мне выдали в институте, я собственноручно сшила себе летнее (!) платье с короткими рукавами и широким вырезом у шеи. И прощеголяла в нем все лето, несмотря на плотность материала и частые жаркие дни.

Окончив школу, я тотчас поступила на работу, сперва в канцелярию одного из батальонов курсов, а затем учительницей в детский дом, который был создан при тех же курсах, где работал отец, для детей голодающего Поволжья.

Одновременно я подала заявление в Кубанский институт народного образования. После легких колебаний между историческим и филологическим факультетами я выбрала последний и никогда в этом не раскаивалась. Я была принята и с осени стала учиться, совмещая занятия с работой. Так, мой рабочий стаж начался, когда мне еще не исполнилось семнадцати лет.

Я успешно перешла на второй курс, но едва начались занятия в новом учебном году, как моему отцу предложили более ответственную работу — в Москве. 29 октября 1922 года я записала в дневнике: «Мы переехали все в Москву, папу перевели по службе». Он стал преподавателем знаменитой школы «Выстрел». Между прочим, его лекции слушал будущий маршал Василевский. Василевский упоминает о лекциях моего отца в своей книге воспоминаний.

Меня на второй курс Московского университета не приняли (нужно было досдать чуть ли не восемь предметов) и посоветовали обратиться во второй МГУ<sup>5</sup>. Там зачили мне некоторые предметы, но приняли на первый курс. И благо: общеобразовательные предметы этого курса восполнили в известной степени пробелы моего среднего образования.

Я училась. Я слушала лекции первокурсных профессоров. Я много читала. Я бывала в столичных театрах, консерватории. Я больше не думала о заработке. У меня появились новые приятельницы, друзья. Но я по-прежнему очень тосковала по Оле. Мне часто снилось, что мы встретились, нашли друг друга. Я писала в разные города, думая, что, может быть, она не уехала за границу. Однажды один из папиных слушателей ехал в Новочеркасск. И я попросила его зайти в адресный стол. Через несколько дней он привез ответ: «Анна Григорьевна Феттер в 1921 году умерла от тифа. Ольга Владимировна выбыла неизвестно куда». А Оля продолжала мне сниться. «Вот мне снилось, что я тебя нашла, а теперь мы встретились на самом деле», — говорила я ей во сне. Да, такого органически близкого друга, как моя Оля, у меня больше не было никогда.

Весной 1923 года я заболела воспалением легких. Так случалось со мной почти каждую весну. Профком нашего университета дал мне путевку в Крым. На обратном пути я решила сделать остановку на родине, в Харькове. Там жили папин старший брат и сестра, моя тетка. У нее я и остановилась.

<sup>5</sup> Затем второй МГУ назывался Государственный педагогический институт им. В. И. Ленина, теперь — Государственный педагогический университет.

Я, разумеется, не могла не думать о том, чтобы побывать у столь знакомого здания на Сумской, 33. Там в эти годы царил Педагогический институт. И я пошла.

Я подошла к знакомой ограде, вошла во двор, медленно поднялась по ступенькам, вошла в вестибюль. Перед дверью у входа в нижний коридор на стуле сидел Яков. Да-да, наш швейцар Яков, который несколько лет назад, войдя в класс, возглашал: «Барышня Морозова! За вами приехали!»

Что я должна была сделать?! Но я не сделала ничего. Яков пристально посмотрел на меня. Он узнал меня! А я прошла мимо и поднялась на второй этаж.

Это была измена. Это было предательство. Но я была связана обязанностью забыть об институте, не упоминать о нем в анкетах, ни в разговорах с кем бы то ни было. Я никогда не училась в этом заведении. Я кончила единую советскую трудовую школу. А в опасном 1937 году мама, не сказав нам ни слова, уничтожила наши табели, мой и сестры, такие красивые, напечатанные на бледно-розовой атласной бумаге.

Итак, я поднялась на второй этаж, в наш классный коридор, к дортуару, в котором я некогда провела немало тревожных ночей. Наш дортуар, наша большая умывальная комната были перегорожены, и всюду стояли столы, столы. Это, наверное, была канцелярия.

«Вам кого?» — спросила меня женщина, около которой я остановилась. «Товарища Иванова», — ответила я не задумываясь. «Он — там!» — сказала женщина и махнула рукой по направлению к выходу.

Я вышла из дортуара, посмотрела на наш классный коридор — пол его не блестел, как это было у нас, — и больше не пошла никуда. На сердце лежала тяжесть. Только недавно я узнала, что последняя наша начальница, кн. М. А. Неклюдова, в 1919 году вывезла институт в Сербию, в Белград, где девочкам дали возможность продолжить образование, а затем устроиться работать.

6 сентября 1924 года, в субботу, я шла по левой стороне Тверской улицы, направляясь от центра к Пушкинской площади. На Тверской было какое-то учреждение, где принимали подписку на газеты. Шедшая мне навстречу молодая женщина прошла мимо, но вдруг вернулась и, обращая ко мне, спросила: «Простите, ваша фамилия Морозова?»

Я стала напряженно всматриваться в ее лицо. «Мельникова!» — воскликнула я в волнении и, схватив ее за руки, беззвучно заплакала. Я оттащила ее с проходной части тротуара к стене дома и стала расспрашивать. Она рассказала мне, что она приехала в Москву с мужем по делам Харьковского театра оперетты. Муж ее — актер этого театра, и она тоже работает в театре. Она прошла со мной подписаться на газеты и пригласила меня к себе. Звалась она теперь Магдалина Петровна. И так странно-привычно прозвучало в ее устах мое институтское имя Талка.

«Знаешь, — сказала я ей, — я учусь в университете. Отгадай, на каком факультете?» — «На математическом», — не задумываясь ответила Мельникова. Это оставили нестираемый след мой успехи у Клепки. «Нет, — ответила я, — на литературном».

Маруся была очень недурна собой. Примерно моего роста, прямая и стройная, блондинка с карими глазами. Я была у нее однажды. Но отношения не установились. Слишком разные мы были, да и в Москве она оказалась временно.

Как-то летом в Крыму я столкнулась в толпе идущих с моей первой институтской симпатией — Марусей Сеницкой. Мы узнали друг друга. Внешне она мало изменилась. Но с первых же слов я почувствовала себя старше, умней, интеллигентней. А она... Такая обыкновенная советская женщина... Ничего от института. И этот говор с украинским оттенком, фрикативное «г»... Она заговорила о невозможности завязывания близких знакомств на курорте — «привязываешься»... Да, курортные романы; Бог с ними...

Милая Маруся! Я не отплатила вам теплом при неожиданной встрече за те минуты радости, которые вы подарили мне в первые дни моего одинокого пребывания в институте, я не узнала, как вы живете, чем занимаетесь... Но я испытала какое-то неожиданное разочарование и растерялась. Простите!

Вскоре после встречи с Мельниковой я опять была в Харькове. В адресном столе я легко узнала адрес Нины Иссовой. Вероятно, Мельникова сказала мне, что Нина в Харькове.

Я пришла к Нине днем и застала ее дома. Мы никогда не были особенно близки, но встреча наша была совсем сдержанной. Я рассказала о себе, она указала мне на свой вспухший животик. «А я — вот...» — сказала она. «Я вижу», — ответила я. «Плохая настала у нас жизнь», — полувопросительно-полуутвердительно заметила я. И моя одноклассница, в недавнее время институтка, дворянка (?), отрицательно покачав головой, тихо произнесла: «Неет...»

Пришел ее муж, молодой человек деловитого вида, поздоровался со мной кивком головы и начал говорить с Ниной о чем-то своем так, как будто меня нет. Я попрощалась и ушла.

«Кто он? — думаю я. — Комсомольский работник? Партиец? Не он ли причина поворота Нины к новой, советской, действительности?! Но я сама — разве я не стою лицом к новой жизни, не принимаю в ней участия?»

### Эпилог

Наше прекрасное, ставшее родным здание института было разбито бомбами фашистов. Это был совершенный конец.

Я была в Харькове после Отечественной войны и специально ходила к тому месту, где еще недавно высилось здание института. Все его остатки были уже убраны. Но слева еще стояла надломленная невысокая стена, за которой я с Олей некогда пилила дрова, была неровной полоской сбита ее верхушка. Обнажились кирпичи, из которых она была сложена. Бедная милая стена! Помнишь ли ты девочек в зеленых платьях, которые под твоей охраной пилили тяжелые бревна? Потом и стена исчезла.

Мне сказали, что парк института преобразован и в нем стоит памятник Шевченко. Я и туда пошла. Но ничто вокруг не напоминало мне наш сад. Мне даже казалось, что институт был ближе к той башне, на которой и теперь горделиво красуется надпись «Salamanca». Когда мы с мамой ехали на извозчике после каникул в институт, то всегда смотрели на эту башню. Знали: за ней почти тотчас будет наша обитель.

Я подошла к деревцу парка Шевченко, которое стояло неподалеку от дороги, взяла его за веточку и сказала: нет, ты слишком молодо, чтобы знать девочек, гулявших по этой тропинке и думавших о своих горестях, обидах, переживавших невинные радости и мечтавших о счастье. Тебе все равно, как сложились их судьбы. Наблюдай же другую, новую жизнь! Будет ли она лучше? Кто знает?

Прощай!



---

---

# ЭКОЛОГИЯ РОССИИ

*«Новый мир» в разные годы напечатал немало материалов по экологии — по поводу проблем водного хозяйства, по чернобыльской катастрофе и других.*

*Продолжая эту традицию, мы в № 2 нашего журнала за текущий год опубликовали статью члена-корреспондента Российской академии наук А. В. Яблокова «Ядерная мифология конца XX века», на которую последовал ряд откликов.*

*Некоторые из них мы печатаем сегодня под рубрикой «Экология России», полагая возможным сопроводить их самым кратким комментарием.*

*Так, П. В. Рамзаев пишет, к примеру, что А. В. Яблоков «далеко выходит за пределы компетенции эколога-биолога».*

*Нам кажется, что не стоило бы судить о «пределах» и «рамках» своих оппонентов, достаточно возразить, а то и опровергнуть конкретные положения публикации. Вполне достаточно, если это удастся. Есть точка зрения автора, есть его позиция, с которой нужно считаться, не устанавливая при этом никаких «пределов» и «рамок».*

*Еще более существенным нам кажется тот факт, что оппоненты А. В. Яблокова обходят вновь и неизбежно возникающую проблему захоронения отходов АЭС. Это при том, что целый ряд авторов (в том числе и А. В. Яблоков) утверждает: захоронение в конце концов может обойтись дороже, чем строительство АЭС.*

*Мы не можем опубликовать все без исключения отзывы на статью А. В. Яблокова, тем более что некоторые из них заведомо несостоятельны.*

*Что стоит, например, такое утверждение: в автокатастрофах в России ежегодно гибнет 45 000 человек, и никто не возражает против использования автотранспорта — почему же возражать против АЭС? На этом основании, очевидно, можно не лечить раковые заболевания потому, что от заболеваний сердца людей умирает еще больше. Кроме того, в том-то и дело, что мы не знаем, сколько людей умерло, сколько так или иначе пострадало в результате производства атомной энергии и каковы генетические последствия, происшедшие в наших организмах, которые скажутся через годы и десятилетия.*

*Атомная энергия — это новая энергия, а каждая из таких энергий обязательно несет с собой ту или иную экологическую угрозу, причем по нарастающей — от энергии пара к энергии электрической и далее — к атомной, а это попросту не может не тревожить человечество. Экологически чистыми могут быть не искусственные, а природные энергии, такие, как солнечная, энергия ветра, морских приливов и отливов. Но это энергии рассредоточенные (потому что они природные), а человека это не устраивает, он торопится: ему чем дальше, тем нужно все больше и все скорее и все мощнее — эта алчность и торопливость и губят нас, ставят в противоречие с природой.*

*В той же рубрике мы публикуем статью, казалось бы, весьма специальную Ю. Веретенникова и А. Лысова, но потому прежде всего и публикуем, что пестициды, о которых идет речь, — это ведь тоже еще один Чернобыль, только «тихий», как говорят об этом сами авторы.*

*В конце концов, не так уж существенно, с каким Чернобылем мы имеем дело — с «громким» или «тихим».*

*Мы против того и другого, против экологического риска, против ущерба, который мы наносим среде нашего обитания. В этом позиция нашего журнала остается неизменной.*

С. ЗАЛЫГИН.

## МИРНЫЙ АТОМ — ЗА И ПРОТИВ

Уважаемая редакция!

Анафеме предал ядерную науку и технику, величайшие достижения человечества, А. В. Яблоков, самый главный российский защитник биосферы, в «Новом мире» (1995, № 2). Аргументация А. В. Яблокова весьма разнообразна и выходит далеко за пределы компетенции биолога-эколога, кого представляет

председатель Комиссии Совета безопасности РФ по экологической безопасности. Особенно поражают притязания автора на судейскую роль в медицинских и технических аспектах атомной энергетики. Упаси меня бог заявить, что все в статье А. В. Яблокова — сплошное заблуждение. Есть и справедливые замечания, и общеизвестные факты (например, о том, что в бывшем СССР были крупные аварии на Урале, Чернобыльской АЭС, проводились испытания ядерного оружия и другие события, которые никто и никогда не собирался относить к разряду пустяков).

Оставим на совести автора доказательность таких голословных заявлений, как, например, «один из генеральных конструкторов обещал». Кто это такой? Почему бы его не поименовать? Или чего стоит ссылка на А. П. Александрова, который якобы «утверждал», что готов поставить реактор чернобыльского типа на Красной площади. Где опубликовано это крайне непродуманное утверждение? Ведь известно, что академик А. П. Александров был большой шутник. Он мог сказать это и ради шутки. И вот читателю преподносится сенсация: «Не оправдались надежды на термоядерный синтез». Слово кто-то из физиков обещал решить эту проблему одним росчерком пера. Хоронить термоядерный синтез пока еще рано.

Напоминается «и о серьезнейшем инциденте на ЛАЭС в марте 1993 года». Специалисты нашего С.-Петербургского НИИ радиационной гигиены проводили анализ радиационной обстановки этого инцидента с выездом на место и... обнаружили отсутствие какой-либо измеримой дополнительной дозовой нагрузки (над естественным фоном) у населения прилегающих к ЛАЭС районов. Не скрою, в силу нашей «надзорной» специальности по гигиене нам так хотелось что-нибудь найти.

Что касается официальной справки Госатомнадзора (1993 год) о неудовлетворительном состоянии ядерной и радиационной безопасности в Российской Федерации, то мы с этим полностью согласны.

Российские радиационные гигиенисты, как говорится, из кожи лезут вслед за Международной комиссией по радиологической защите (МКРЗ), МАГАТЭ, чью злодейскую роль пытается доказать А. В. Яблоков, и другими организациями (такими, как ВОЗ, ФАО, МОТ), которые никак нельзя заподозрить в лоббировании атому. В последние годы в проектах специального Закона по радиационной безопасности (что на утверждении в Думе) и новых нормах эти люди добиваются снизить в 2,5 — 5 раз допустимый объем облучения человека. Такое облучение от всех искусственных источников ограничивается 1 миллизивертом, что в 2 — 3 раза меньше естественного фона.

Да, атомщики этим недовольны. Появятся кое-какие дополнительные (далеко не катастрофические) заботы. Но это уже их долг, и они его выполнят. Но мы категорически против того, чтобы, как это делает А. В. Яблоков, якобы во имя спасения человечества заявлять об экологических бедствиях, катастрофах и тому подобным кошмарах. Такого рода заявления наносят огромный ущерб здоровью людей и благосостоянию государства.

Чудовищный вред идеологии катастрофизма, развиваемой Алексеем Владимировичем, виден на примере защитных мероприятий от аварии на ЧАЭС. Отчеты по исполнению федерального бюджета за некоторые годы показывают, что расходы на эти мероприятия в условиях всеобщей нищеты и развала всего и вся оказываются сопоставимыми с федеральными расходами на здравоохранение России.

Предельно максимальные гипотетические потери от всей ожидаемой коллективной чернобыльской дозы у населения России (округленно до 100 000 человеко-зиверт) составят за семьдесят лет 7300 дополнительных случаев смертельного рака и наследственных дефектов. И эти случаи по затратам фактически приравниваются к утрате здоровья от всех болезней у 148 000 000 жителей России, включая и потери от 3 000 000 раковых заболеваний и от других нерадиационных причин. По чьей-то странной логике нашему обществу навязаны расходы на профилактику одного воображаемого радиационного рака в 3000 раз больше, чем на защиту от рака, зависящего от других факторов (например, от курения). Даже сложив дозы излучения у населения России от аварий на ЧАЭС, Кыштыме и испытаний на Семипалатинском и Северном полигонах, можно получить дозу 200 000 человеко-зиверт, что составит всего лишь 0,5 процента от суммы природного и медицинского облучения за семьдесят лет (42 000 000 человеко-зиверт —

наши расчеты). На 0,5 процента дозы у нас готовы пожертвовать триллионы, а остальные 99,5 процента облучения никого не волнуют. И в том и в другом случае речь идет об уровнях облучения, при которых предполагаются чисто теоретически только стохастические, вероятностные эффекты (рак и наследственные заболевания). Их тяжесть одинакова как при искусственном, так и при естественном облучении, а частота возникновения прямо пропорциональна коллективной (суммарной) дозе у всех облучаемых людей. Именно этой дозой, а не ее происхождением определяется уровень опасности радиации, соответственно должны устанавливаться и затраты на радиационную защиту. Никто не собирается закрывать глаза на 0,5 процента коллективной дозы, создаваемой атомной энергетикой, а тем более (и это иногда случается) когда индивидуальные дозы, переходя определенный порог, вызывают явные лучевые поражения. Все, как известно, познается в сравнении. Даже при современном еще «примитивном» уровне атомной техники радиационная опасность человечеству при мирном использовании атома будет и в дальнейшем создаваться природным фоном.

Мифология ядерного катастрофизма выглядит особенно легковесной на примере двух фактов, приводимых А. В. Яблоковым: о страшных последствиях аварии на ЧАЭС у населения США в мае — августе 1986 года и о не менее опасном росте заболеваемости лейкозами опять же у несчастных американцев, проживающих вокруг атомных электростанций.

Только смертность от СПИДа у населения США, оказывается, возросла за четыре летних месяца 1986 года на 60 процентов, от других инфекций — на 32,5 процента и т. п. Наблюдался и значительный рост общего числа смертей. «Все это, — пишет А. В. Яблоков, — с высокой статистически достоверной вероятностью связано с поражением иммунной системы черновыльскими радиоактивными выбросами, накрывшими, как известно, США». Дальше, как говорится, уже ехать некуда. Это все сродни той дезинформации некоторых западных агентств, которая распространялась в первые месяцы после аварии о тысячах погибших от радиации в Киеве и т. п.

Откройте стр. 363 (табл. 16) официального доклада Научного комитета ООН по действию атомной радиации (1988 год), где приводятся средние дозы излучения от аварии на ЧАЭС в разных странах за первый год после события. У населения США эффективная доза составила всего лишь 1,5 микрозиверта, или 0,6 процента от годового среднемирового природного фона. Разумеется, эта доза была в сотни раз меньше средней «советской» и в десятки тысяч раз меньше, чем для населения загрязненных районов России, где в 1986 году никаких сколько-нибудь заметных сдвигов в состоянии здоровья, связанных с радиацией, обнаружено не было. Хочу напомнить неискушенному читателю, что по только что принятому компетентным миром международному стандарту безопасности не 1,5, а 10 микрозиверт считается дозой, которую никто не должен принимать во внимание ввиду ее ничтожной значимости для здоровья.

В течение последних двенадцати двух лет я работаю в составе Международной комиссии по радиологической защите (МКРЗ), а с 1989 года — в ее I Комитете, занятом оценкой влияния радиации на здоровье человека. Во главе Комитета стоит ведущий радиолог США профессор Уоррен Синкбер. В Комиссии работают и другие не менее уважаемые и компетентные ученые США (Метлер, Шалл и другие). Заверяю читателя: если на очередном заседании МКРЗ я объявлю о воздействии черновыльского 1,5 микрозиверта на здоровье населения США со ссылкой на статью А. В. Яблокова, гомерический хохот будет обеспечен со статистической достоверностью в 100 процентов.

Второй факт — об увеличении заболеваемости лейкемией у населения, проживающего вокруг американских АЭС, — выглядит не менее легковесным, чем первый. Оказывается, у людей, живущих в двадцатимильной зоне АЭС «Пилигрим» (1990 год), заболеваемость лейкемией в 4 раза выше, чем ожидалось. Подобная картина наблюдалась в США по лейкемии и раку в окрестностях АЭС «Троян». Ссылка дается на материалы департамента здравоохранения штата Массачусетс 1990 года, т. е. на источник сугубо провинциального значения. И при этом Алексей Владимирович почему-то пренебрег фундаментальным исследованием данной проблемы, проведенным самой компетентной организацией США — Национальным институтом рака (1990 год), с охватом 62 атомных станций и других крупных объектов по переработке ядерного горючего, включая «Пилигрим» и «Троян».

Учитывая особую важность данной дискуссии, приведу дословно выдержку из резюме книги, где опубликованы все эти материалы. «Проанализировано более 900 000 случаев смерти от рака за 1950 — 1984 гг. в 107 округах с ядерными установками и соседних округах США. Каждому исследуемому округу для сравнения подобраны три сходных контрольных округа в том же регионе, где было более 1 800 000 смертельных случаев рака. Не было получено каких-либо доказательств для предположения о том, что смертность от лейкемии и других форм рака была выше в исследуемых округах, чем в контрольных. До начала эксплуатации станций в исследуемых округах смертность от лейкемии у детей была в 1,08 раза больше, чем в контрольных, а после пуска в эксплуатацию это соотношение снизилось до 1,03 раза. По лейкемии во всех возрастах эти числа были 1,02 — до эксплуатации, а после пуска — 0,98. Проведенные сравнения не дали доказательств какой-либо зависимости (причина — эффект) между конкретными объектами и смертностью от рака у населения, живущего около этих объектов».

Конкретно данные по «Пилигриму»: «Ни в одной возрастной группе не было значимого подъема относительного риска по лейкемии при сравнении исследуемых и контрольных районов после начала эксплуатации; для всех возрастов этот риск был существенно ниже (0,87)».

По «Трояну»: «После 1975 г. смертей наблюдалось не очень много, и сравнение исследуемых и контрольных районов после пуска станции не дало значимого превышения над 1,00».

Все эти цитаты взяты из книги «Рак у населения, живущего около ядерных установок», том 1, изданной на английском языке в 1990 году Национальным институтом рака США (авторы С. Яблон, З. Хрубек, И. Бойс, Б. Стоун).

Они полностью опровергают миф об особой опасности атомных электростанций при их нормальной эксплуатации. Предупреждение аварий на АЭС — главная проблема дальнейшего развития ядерной энергетики, и напоминать о ней специалистам вряд ли следует. Они о ней хорошо осведомлены и тратят действительно, как пишет А. В. Яблоков, огромные средства. Тратят даже больше, чем общество получает пользы взамен. А тут вдруг автор обсуждаемой статьи предлагает еще такие защитные мероприятия, которые наверняка угробят все остатки нашего народного хозяйства. Чего стоят, например, предложения по очистке северных морей от советских радиоактивных отходов и по реабилитации северных территорий и т. п.

Ученые северных стран в рамках специального международного проекта тщетно пытаются оценить дозы облучения у жителей этих мест от наших отходов, от затопленных реакторов и затонувших атомных лодок. Результат: дозы ничтожны; какие-либо меры по их снижению принесут только вред обществу. До последнего времени основной вклад в радиоактивное загрязнение воды даже Баренцева и Карского морей вносили сбросы от британского завода в Селлафилде.

Критической группой населения во всех северных странах оказались люди, потребляющие в больших количествах оленину. За тридцать пять лет (с 1960 по 1994 год) дополнительная к природному фону доза излучения от цезия-137 за счет глобальных выпадений (не местных, и не только советских) от ядерных взрывов составила около 30 миллизиверт. В настоящее время она составляет в год около 0,20 миллизиверта. Это облучение — следствие высокого содержания некоторых радионуклидов в лишайниках. А уровни первичных выпадений цезия-137 и стронция-90 за Полярным кругом были, как известно, в 2 раза ниже, чем в Москве и Ленинграде. Не очень, кстати, высокими в цепочке лишайник — олень — человек оказались и дозы от природных свинца-210 и полония-210 (в среднем дополнительно к обычному фону еще 1 миллизиверт в год). Этой проблемой наш институт и я лично заняты уже тридцать три года.

Вопрос к А. В. Яблокову: где, что и от чего чистить на арктическом побережье из-за последствий взрывов на Новой Земле? Уж не те ли площадки гипоцентров взрывов, которые действительно еще светят до 3 миллирентген в час, как об этом докладывал министр атомной энергетики России В. Н. Михайлов в Канаде и Норвегии? Они имеют статус зоны, исключенной из использования, а диаметр этих зон измеряется сотнями метров. Вся остальная территория Новой Земли чистая, в том числе и по моим личным измерениям. Жаль только, что использовать эту территорию мы вряд ли будем в ближайшее время как по климатическим условиям, так и из-за отсутствия там каких-либо природных ресурсов, кроме каменных пород и щебенки. Даже для оленеводства из скудности лишайникового покрова она малопригодна.



Гигантомания в области радиационной защиты в нашей стране не новость. Уже в советские годы выработалась привычка под маской заботы о людях и за чужой счет бросать на ветер народное добро, не думая о том, что на его производство затрачено здоровье, а часто и сама жизнь людей...

Гиперболы в обсуждаемой статье встречаются довольно часто (о тысячекратном накоплении трития в пищевых цепочках, об опасности попадания плутония с пищей и водой и др.). Непонятно, как может быть более высокой концентрация трития в организме человека по сравнению с его концентрацией в питьевой воде. Сколько случаев поражения плутонием в мире наблюдалось при поступлении его с пищей? Известно, что его всасывание ничтожно (около 0,01 процента), а жулики воруют таблетки с плутонием, проглатывая их. Вызывает также сомнения информация А. В. Яблокова о лейкозах у якутских детей, связанных с подземными взрывами. Вся диагностика автора построена на разговорах с родителями. Источник не очень надежный. И следовало бы в Якутии провести действительно научную работу. Здесь наш институт готов встать под знамя Алексея Владимировича, а то он почему-то доверяет лишь Госатомнадзору, начисто позабыв свое детище, каким являлся когда-то Госкомсанэпиднадзор.

Да и вообще неплохо бы воспользоваться высоким положением автора и привлечь его внимание к острой необходимости объединения всех противорадиационных сил России. В наше время эти силы хиреют в нескольких (почти в десяти) ведомствах, подчас дублируя друг друга.

В заключение заверяю читателей, что последний миф А. В. Яблокова о не объективности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не имеет ничего общего с действительностью.

А в остальном, Алексей Владимирович, позвольте заверить в самом высоком к Вам уважении.

**П. В. РАМЗАЕВ,**  
*заслуженный деятель науки России,*  
*член I Комитета Международной комиссии*  
*по радиологической защите*

5 апреля 1995 года.

Уважаемый Сергей Павлович!

В связи с появлением в Вашем журнале статьи г-на Яблокова «Ядерная мифология конца XX века» нам хотелось бы прокомментировать некоторые положения этой публикации, относящиеся к роли и деятельности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Мы не будем останавливаться на других «мифах», затронутых в работе г-на Яблокова, поскольку в нашей прессе появилось достаточное количество материалов, отражающих действительное положение в области мирного использования атомной энергии как в России, так и в зарубежных странах. Только за последние несколько месяцев такие статьи печатались в еженедельнике «Московские новости» (1995, № 9), в газетах «Век» (1995, № 5 и 1994, № 44), «Сегодня» (1995, 9 февраля), «Деловой мир» (1994, 23 ноября), «Атом-пресса» (1995, № 5, 7).

Надо сказать, что новмирская публикация в целом страдает необъективностью, предвзятостью, непрофессионализмом и поверхностным подходом к рассматриваемым проблемам. Ради достижения поставленной цели — всячески опорочить использование атомной энергии в энергетике и других областях народного хозяйства — автор оперирует искаженными данными и не подкрепленными серьезными доводами голословными утверждениями, которые и создают ложное представление о действительном положении дел.

Начать с того, что в публикации неправильно отражены роль и функции МАГАТЭ. Это специализированная международная организация, входящая в систему ООН, которая занимается установлением международного сотрудничества в области мирного использования атомной энергии. Одновременно МАГАТЭ — важный элемент в системе международного режима нераспространения ядерного оружия — оно заключает с государствами контрольные соглашения, содержит штат

инспекторов и регулярно проводит проверки мирной ядерной деятельности государств в рамках заключенных соглашений. МАГАТЭ — одна из наиболее эффективных международных организаций, деятельность которой поддерживают ООН и более ста двадцати стран мира (в том числе и Российская Федерация), являющихся ее членами. Но она почему-то не устраивает только одного г-на Яблокова.

Абсолютно несостоятельно утверждение автора, что «полностью провалилось» решение задачи МАГАТЭ — препятствовать распространению ядерного оружия. На самом деле МАГАТЭ добилось многого. Двадцать пять лет тому назад, когда разрабатывался Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), являющийся основой международного режима нераспространения ядерного оружия, по сделанным в то время оценкам, до тридцати государств в техническом отношении были способны произвести ядерные взрывчатые вещества. За время существования Договора число таких государств резко сократилось, и к ДНЯО присоединились сто шестьдесят семь стран, которые добровольно взяли на себя обязательство не производить и не приобретать каким-либо иным способом ядерное оружие или другие ядерные взрывные устройства и поставили всю свою деятельность в этой сфере под контроль МАГАТЭ. Упомянутые г-ном Яблоковым Индия, Пакистан и Израиль к Договору не присоединились и никаких обязательств поставить свою ядерную деятельность под контроль МАГАТЭ не брали. МАГАТЭ не полицейская организация, которая могла бы заставить суверенные государства участвовать или не участвовать в международных договоренностях.

Г-н Яблоков не доволен также тем, что Агентство не дает официальных рекомендаций по закрытию атомных электростанций, и на этом основании обвиняет его в необъективности. По просьбе государств — членов МАГАТЭ Агентство регулярно проводит обследование атомных станций для оценки безопасности их эксплуатации и выносит свои рекомендации по мерам, которые следует принять для повышения их надежности. Как правило, более 80 процентов таких рекомендаций выполняются в период до следующей инспекции. По остальным, требующим значительных конструктивных или организационных изменений, составляется план работ, выполнение которого контролируется в ходе очередных обследований, проводимых МАГАТЭ. В случае установления несоответствия современным требованиям безопасности это фиксируется в заключении по результатам обследования. Вопросы, связанные с закрытием АЭС, относятся исключительно к компетенции государств — членов МАГАТЭ и решаются ими самостоятельно в соответствии с техническими, экономическими и другими факторами.

Далее. Публикация изобилует голословными утверждениями. Например, г-н Яблоков утверждает, что «в уставе МАГАТЭ прямо записано: способствовать всемерному распространению подземных ядерных взрывов для решения народнохозяйственных проблем». Достаточно взять в руки устав МАГАТЭ, чтобы убедиться в абсурдности такого заявления, — на самом деле ничего подобного там нет. Да и не могло быть, поскольку устав МАГАТЭ вступил в силу в 1957 году, когда никаких подземных ядерных взрывов не производилось.

Несколько подробней хотелось бы остановиться на оценке международного чернобыльского проекта, над реализацией которого работал большой международный и авторитетный научный коллектив. Для участия в проекте были приглашены двести ученых из двадцати пяти стран и Комиссии европейской общности, Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, МАГАТЭ, Научного комитета по действию атомной радиации (НКДАР ООН), Всемирной организации здравоохранения и Всемирной метеорологической организации. В СССР было направлено пятьдесят научных групп. Лаборатории в нескольких странах, включая Австрию, Францию и США, помогали в проведении анализа и оценки собранных материалов. Наиболее активная фаза проекта проходила с мая до конца 1990 года. Зарубежные эксперты вели независимые исследования окружающей среды и медицинские обследования населения в наиболее загрязненных районах, а также в районах с низким уровнем загрязнения. Одновременно с независимыми исследованиями, включавшими отбор и анализ проб, проводилась общая оценка применявшейся в СССР методологии и полученных результатов. При этом рассматривались данные, поступавшие из различных, в том числе и неофициальных, источников, которые использовались, естественно, после их предварительной проверки и оценки.

Полученные в результате проведенной работы данные были положены в основу выводов и рекомендаций, одобренных независимым Международным

консультативным комитетом, сформированным для руководства этим проектом. Комитет состоял из девятнадцати видных ученых под председательством д-ра Ицуро Шигемацу из Японии, директора Фонда изучения радиационных последствий в Хиросиме, который с 1950 года осуществлял контроль и анализ состояния здоровья лиц, переживших атомную бомбардировку в Японии и подвергавшихся высоким дозам облучения. Среди других групп ученых Комитета были представители десяти стран и пяти международных организаций. Были также эксперты по медицине, радиопатологии, радиационной безопасности, питанию, радиоэпидемиологии и психологии.

Г-н Яблоков, даже не познакомившись с результатами оценок радиологических последствий аварии и состояния здоровья населения, сделанных в рамках чернобыльского проекта, перечеркнул многомесячную работу большого международного коллектива независимых ученых, голословно обвинив их в предвзятости только потому, что ему лично не нравятся сделанные ими выводы и рекомендации.

Появление в Вашем уважаемом журнале, рассчитанном на широкие круги российской общественности, такой не просто спорной, а носящей «очернительский» характер статьи, в которой объявляется крестовый поход против мирного использования атомной энергии, не только не способствует серьезному рассмотрению проблем в области атомной науки и техники, а может лишь создать ложные, искаженные представления об этих проблемах у Ваших читателей.

С уважением

**М. Н. РЫЖОВ,  
Н. А. ТИТКОВ.**

31 марта 1995 года.

---

Редактору журнала «Новый мир»  
С. П. Залыгину.

В февральской книжке Вашего журнала за нынешний год появилась публикация председателя Межведомственной экологической комиссии Совета безопасности при Президенте РФ А. В. Яблокова «Ядерная мифология конца XX века». В этой статье немало внимания уделено роли Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Мы согласны с общей направленностью статьи, однако считаем, что многие выводы смягчены, а отрицательная роль МАГАТЭ в сегодняшнем мире значительно приуменьшена по сравнению с действительной. Например, МАГАТЭ не только не способно оказывать реальное воздействие на страны, нарушающие нормы ядерной безопасности, но и не заинтересовано в этом, так как оно состоит из представителей атомных ведомств различных государств, входящих в него, и призвано соблюдать исключительно клановые интересы. В случае возникновения в одной из таких стран скандала, способного поставить под сомнение безопасность ее ядерных объектов, МАГАТЭ стремится возможно быстрее замять такой скандал — ведь он может отрицательно сказаться на отношении мировой общественности к атомной энергетике.

Что касается России, тут вообще не может быть и речи о каком-то контроле за безопасностью ядерных объектов со стороны МАГАТЭ. Ведь заместителем генерального директора Агентства по ядерной энергии и безопасности является представитель российского атомного комплекса Борис Семенов. Ярким примером того, как МАГАТЭ контролирует ядерные объекты, служит поездка его инспекторов на Сибирский химический комбинат в Томске-7 через две недели после известной аварии в апреле 1993 года. Тогда трое инспекторов приехали туда без какого-либо специального оборудования, пробыли там два дня, и все их выводы о сложившейся ситуации основывались на документах, предоставленных руководством комбината. Естественно, что в таких условиях ревизоры просто не могли составить сколько-нибудь объективное мнение, о чем они и сообщили в своем отчете руководству МАГАТЭ. Однако представителям прессы и общественности было заявлено, что инспекция подтвердила выводы комиссии Минатома и признала отсутствие серьезных последствий аварии. Аналогичные проверки происходили и на других объектах. В докладе МАГАТЭ о ситуации в российском ядерном комплексе в 1993 году прямо говорится, что выводы инспекций основаны на документах, предоставленных им на самих объектах.

Кроме того, в своей деятельности МАГАТЭ непосредственно опирается на поддержку таких крупных ядерных держав, как Россия, Франция и США. Естественно, что у этих стран гораздо более льготный режим членства, чем у стран третьего мира. Так, МАГАТЭ просто не может потребовать проведения инспекций на каких-то российских объектах — они проводятся только в случае приглашения с российской стороны. Трудно представить себе ситуацию, при которой МАГАТЭ могло бы угрожать какими бы то ни было санкциями Франции или России в случае несоблюдения ими правил ядерной безопасности.

Но даже по отношению к странам третьего мира МАГАТЭ показывает себя совершенно недееспособной организацией, кроме тех случаев, когда оно заручилось серьезной поддержкой со стороны правительств крупных ядерных держав. Это очень хорошо видно на примере прошлогодней истории с Северной Кореей, когда выход из тупиковой ситуации стал возможен только после активного вмешательства Соединенных Штатов. И сейчас все позитивные и негативные результаты этого противостояния должны быть отнесены исключительно на счет США.

История с Северной Кореей показала также и несостоятельность Договора о нераспространении ядерного оружия, проводником которого является МАГАТЭ. По условиям Договора, все страны, добровольно отказавшиеся от развития военных ядерных программ, имеют право на получение «мирных» ядерных технологий, и весь спор, разгоревшийся вокруг Северной Кореи, касался только того, кто именно будет сооружать в Северной Корее «мирную» атомную станцию, предложенную ей вместо российских военных реакторов. Однако даже по словам высших чиновников МАГАТЭ нет абсолютно мирных ядерных технологий — каждая такая технология при желании может использоваться и для военных целей. Всего через полгода после истории с Северной Кореей возникло очередное противостояние между Россией и США, на этот раз по поводу Ирана, что окончательно подтвердило неэффективность Договора и основных положений МАГАТЭ. Действительно, передавая Ирану ядерные технологии, Россия не противоречит никаким международным договорам, но в то же время оказывает этой стране огромную помощь в развитии собственной военной программы. Не только Россия, но и другие ядерные державы прилагают усилия к распространению атомного оружия. Так, Франция, несмотря на многочисленные протесты, уже несколько лет отправляет в Японию плутоний, выделенный из отработанного ядерного топлива. Все это происходит на глазах у мировой общественности, и нет никакой международной организации, способной предотвратить эти или подобные сделки.

Несмотря на все вышесказанное, МАГАТЭ все-таки проводит какие-то инспекции и разрабатывает рекомендации по повышению безопасности объектов. Если бы международная значимость Агентства искусственно не завышалась и не раздувались мифы о его «гарантиях», если бы МАГАТЭ не лоббировало в пользу поддерживающих его ядерных держав, а к его авторитету в затруднительных ситуациях не прибегали бы национальные ядерные деятели, оно могло бы быть достаточно полезной международной организацией, занимающейся исключительно рекомендательной деятельностью. Однако существуют отрасли ядерного производства, контроль за безопасностью которых просто не входит в компетенцию МАГАТЭ. Среди них и переработка использованного ядерного топлива.

Если посмотреть сборники нормативных документов МАГАТЭ, то можно обнаружить, что там отсутствуют какие-либо требования, касающиеся перерабатывающего производства. Чиновники из МАГАТЭ и не скрывают, что Агентство просто не может контролировать эту отрасль. Так, 25 апреля нынешнего года представитель штаб-квартиры МАГАТЭ в Вене в интервью корреспонденту агентства Рейтер заявил: «Россия занимается переработкой радиоактивных отходов, однако МАГАТЭ не в состоянии проверить методы и стандарты безопасности, используемые при этом». А ведь перерабатывающая промышленность — одна из наиболее серьезных и опасных компонентов современного ядерного производства, и именно она таит в себе наибольший риск с точки зрения распространения атомного оружия.

По нашему мнению, все эти факты достаточно убедительно свидетельствуют: МАГАТЭ сегодня не только не способствует повышению ядерной безопасности в

современном мире, но и создает условия для сокрытия информации о реальном положении дел в атомной промышленности.

С уважением

Дмитрий ТОЛМАЦКИЙ,  
координатор антиядерной кампании  
Гринпис России.

26 апреля 1995 г.

## «ТИХИЙ ЧЕРНОБЫЛЬ»

В цепи нашей жизни осталось единственное звено, ухватившись за которое можно не потерять надежду на выживание человечества. Звено это — почва, ее природный пласт. Тоненькая, всего в несколько сантиметров, пленочка кормит нас... Разрушим ее — погубим все живое.

*Т. С. Мальцев, русский крестьянин, академик  
ВАСХНИЛ*

Законы взаимозависимости людей, вещей и природы математически точны и непреложны: чем больше в природе политики (П), тем меньше еды (Е) и самой природы. И наоборот.

Трагедия нашего времени состоит в том, что на пороге XXI века мир оказался замкнутым в гигантский «бермудский треугольник», когда его вершина впервые уперлась в ЭКОЛОГИЮ, а две другие антропогенные категории цивилизации, составляющие треугольник ПОЛИТИКА + ЭКОНОМИКА, видоизменяют качество среды обитания уже на микробиологическом уровне, делая бесперспективным продолжение жизни на Земле. Технически «решить» этот треугольник можно только одним способом — сокращением удельного расхода средств жизнеобеспечения во всех сферах человеческой деятельности при том же эффекте за счет неуклонного приращенной жизнестойкой доли научно-технического прогресса над наиболее реакционной, антиприродной ее частью.

Среди крупных народнохозяйственных проблем, оказавшихся в водовороте политических катаклизмов, есть проблема, от которой напрямую зависит не только количество и качество продуктов питания, но еще и экологическое благополучие среды обитания, здоровье нации. Поскольку ее внешние аспекты имеют больше технологических, нежели производительных признаков, она всегда остается как бы за кадром товарного сельскохозяйственного производства и внимания общества, отсюда ее понимание общественностью примитивное, а восприятие — однозначно негативное.

В высоких министерских кабинетах, где перекрещиваются экономические интересы различных базовых отраслей, напоминание об этой проблеме и в советские-то времена было что глас вопиющего в пустыне, а в последние три года, по мере «углубления демократии», разговоры об этом и вовсе свелись на нет.

Сегодня снова в жерновах политической неразберихи перемалываются хрупкие судьбы людей, огромные материальные и моральные ценности. «В 1994 году по сравнению со среднегодовым в 1986 — 1990 годах производство тракторов сократилось в 3,9 раза, зерноуборочных комбайнов в 4,7 раза, культиваторов, косилок, машин для внесения в почву минеральных удобрений — в 8,2 раза. Общее сокращение сельскохозяйственных угодий составило 3,8 млн. га, пашни — 2,3 млн. га... Ценовая, кредитная, налоговая и инвестиционная политика полностью расстроила финансовое состояние отрасли, остановила процесс воспроизводства в агропромышленном комплексе России... Спад производства продукции в 1994 году в сельскохозяйственных предприятиях всех форм собственности по сравнению со среднегодовым в 1986 — 1990 годах составляет 45 — 50 процентов» («Катастрофа экономики в Российской Федерации». Документ Комитета по аграрной политике Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации, автор Н. П. Радугин).

Все течет, все изменяется, как говорили древние, но все течет к тому, что нам скоро нечего будет есть. И это только количественная сторона продовольственной медали. 9 марта 1994 года на заседании двух межведомственных комиссий Совета безопасности Российской Федерации — по охране здоровья населения и по экологической безопасности — была проанализирована тревожная ситуация, сложившаяся с качеством продуктов питания в стране. «Качество продовольствия в России — вопрос национальной безопасности» — так была озаглавлена опубликованная через день статья-отчет об этом обсуждении (в газете «Известия»). В ходе заседания отмечалось, что среди проблем, из-за которых наши продукты, вода и воздух не соответствуют требованиям стандартов, проблема использования средств защиты растений является острейшей.

Вот об этом-то и пойдет здесь речь. Точнее, на этом примере (а мы — профессионалы именно в указанной области человеческой деятельности) документально покажем, как вместе с пестицидами распыляются по каплям шансы народа России на экономическое и экологическое выживание. Угробив два с лишним десятка лет жизни на борьбу с некомпетентностью чиновников, их экологическим слабоумием, мы уже не питаем никаких иллюзий на этот счет. Просто как говорили древние: «Dixi et animam levavi»<sup>1</sup>.

Так вот, с незапамятных времен люди ради выживания ведут особую превентивную войну с вредными биологическими сообществами, тяжким трудом отвоевывая у них потенциально возможный урожай. И тем не менее и сегодня примерно третья часть человечества все еще остается на грани голодной смерти, еще одна треть постоянно недоедает, остальная же ее часть страдает от продовольственного изобилия в буквальном смысле этого слова — именно благодаря применению на полях, в садах и огородах широкого спектра различных средств защиты растений, нареченных кем-то и когда-то довольно странным латинским именем «пестициды».

В комплексе производственных факторов, с помощью которых повышается продуктивность растениеводства, доля защиты растений достигает 45 процентов. При сравнительно небольших затратах (всего 1 — 5 процентов от общих издержек производства) прибавка урожая достаточно весома и колеблется в пределах 20 — 30 процентов в полеводстве и 40 — 60 процентов в плодоводстве.

Так, сорок — пятьдесят лет тому назад, выбрав путь наименьшего сопротивления, люди отказались от трудоемких, отработанных веками, экологически надежных приемов земледелия, разучившись с тех пор вести товарное сельскохозяйственное производство без пестицидов. Здесь же подчеркнем, что почти во всех странах мира (за исключением СНГ) дело защиты растений отнесено к разряду чрезвычайных ситуаций и является прерогативой государства, потому что негативные последствия расточительного распыления пестицидов давно перевесили на хрупких весах экосистемы ту пользу, что выражается количеством сохраненного с их помощью урожая. Мировое сельскохозяйственное производство зашло в тупик, когда без ядохимикатов обойтись было уже нельзя, а оставаться дальше в прежних производственных взаимоотношениях с ними стало и аморально, и опасно, и преступно. Этот тупик в мире преодолевают по-разному.

Традиционно высокая культура земледелия, добросовестный фермерский труд, основанный на грамотном и законопослушном использовании химии, эксплуатационно надежная и разнообразнейшая опрыскивающая техника, всеобъемлющая законодательная база и жесткий пестицидный контроль в сочетании с непрерывным научно-техническим поиском альтернативы пестицидам — вот тот набор сельскохозяйственных категорий, который определяет уровень качества среды обитания при использовании средств защиты растений в наиболее развитых капиталистических странах.

У нас до этих условий — дистанция с полвека, а перечисленные категории качества оцениваются прямо противоположно. Стряхнем паутину времени и выгашим на белый свет постановление от 29 марта 1962 года объединенного заседания научно-технических советов (НТС) существовавших в ту пору ряда министерств и ведомств: «Признать целесообразным широкий переход на малообъемное опрыскивание посевов и насаждений как на основной метод использования химических средств борьбы с сорняками, болезнями и вредителями растений, бес-

<sup>1</sup> Я сказал и тем облегчил душу (лат.).

печивающий наиболее эффективное использование гербицидов и ядохимикатов и значительное повышение производительности машин и аппаратуры для их применения».

Шли годы. Это идеологическое, в общем-то, постановление стало наполняться, как ни странно, весомым научно-практическим содержанием. В целом в период с 1975 по 1991 год в России, Молдавии, на Украине и Кавказе, в Среднеазиатском регионе на площади около 15 млн. га были завершены государственные испытания и производственная проверка мало- и ультрамалообъемных технологий защиты посевов и насаждений, сущность которых — сокращение удельного расхода химических веществ при неизменно высоком биологическом эффекте.

С помощью сначала серийных, а затем и новых макетных, опытных и производственных образцов машин и механизмов уже второго поколения к 1984 году была доказана возможность поэтапного сокращения гектарных норм расхода пестицидов на 25 — 50 процентов. Данные этих испытаний из года в год анализировались на заседаниях объединенных НТС, по результатам которых разрабатывались и утверждались решения, программы и постановления, в том числе и на правительственном уровне.

Говорят, вначале было Слово. Нет, все-таки вначале был Разум, затем — Слово, потом началось словоблудие и затмение разума. В октябре 1984 года на коллегии Минсельхоза бывшего СССР один из авторов этой статьи доложил тогдашнему министру В. К. Мешяцу и президенту ВАСХНИЛ, академику А. А. Никонову о том, что при той технике, которая выпускается единственным на весь Союз украинским заводом «Львовхимсельхозмаш», лишь около 10 процентов всех химических средств защиты растений (ХСЗР) используются по назначению, а остальное, расплываясь по ветру, только загрязняет окружающую среду. Это был, наверное, единственный случай, когда на высокую трибуну министерства было дозволено ступить обычному советскому специалисту...

Все, однако, пошло по ставшему теперь крылатым выражению: хотели как лучше, получилось как всегда. Вместо того чтобы наладить серийный выпуск новой техники и с ее помощью приуменьшить хотя бы на 25 — 50 процентов пестицидный пресс на единицу обрабатываемых площадей, Минсельхоз, Госплан и другие довели в 1986 году поставку средств защиты растений до 362,6 тыс. тонн, затратив при этом на их закупку за рубежом рекордное количество валюты — 560 млн. долларов США.

Этим самым была подведена черта под сорокалетним практическим экспериментом по сплошной количественной ядохимизации всей страны, в результате которого годовая пестицидная нагрузка на 1 га возросла с 1 кг до 3,4 кг, а на душу населения — с 0,1 кг до 1,2 кг.

«Тихий Чернобыль кумуляционного действия» — так назвали мы этот эксперимент в статье «Распыление...», которая была опубликована в двух номерах журнала «Обозреватель» (1993, № 26 и 1994, № 2).

Серьезность проблемы не могла, однако, оставаться дальше незамеченной. В марте 1990 года она была всесторонне и скрупулезно рассмотрена на самом высоком уровне — на парламентских слушаниях в бывшем Верховном Совете СССР. Совету Министров СССР тогда был сделан ряд серьезных поручений, при этом, в частности, отмечалось, что «в большинстве регионов страны в продуктах питания населения и питьевой воде содержание химических веществ многократно превышает предельно допустимые концентрации (ПДК) в результате нерешенности организационных вопросов, несовершенства техники и технологии их применения, отсутствия должествующего контроля».

Но! Советского Союза, как и того Верховного Совета, больше нет, а осталась экономическая катастрофа сельскохозяйственного производства. Она все больше и больше усугубляется катастрофой в области защиты растений: из машиностроительного комплекса России полностью выпала целая подотрасль, которая обеспечивала сельское хозяйство машинами и механизмами для внесения как химических, так и биологических средств, а унаследованный от Союза парк техники на селе достиг абсолютного физического износа.

Сложилась ситуация, когда в условиях полного отсутствия промышленно изготовленной техники ежегодные валютные закупки ХСЗР за рубежом стали экономически бессмысленным делом, а их использование — экологически самоубийственным и преступным. С другой стороны, дальнейшее производство про-

дуктов питания без использования ХСЗР невозможно, отказ от них ведет страну к фитосанитарной катастрофе, быстрому падению количества и качества сельскохозяйственной продукции.

Так, в 1993 — 1994 годах в 2 — 2,5 раза уменьшились объемы защитных работ, и сразу же пропорционально этому увеличился недобор урожая основных сельскохозяйственных культур, а поражаемость их вредителями и болезнями приняла эпифитотийный характер. Закупать машины в дальнем зарубежье России не по силам: один тракторный опрыскиватель, в зависимости от назначения и исполнения, стоит там от 10 до 25 тыс. долларов США, а на 70 млн. га их нужно 133 тысячи штук (или один опрыскиватель примерно на 500 га).

Поэтому, для того чтобы выжить, в ряде регионов России возобновились закупки морально устаревших и экологически опасных львовских машин образца 70 — 80-х годов, которые даже по жестким меркам стандартов допускают потери препаратов от сноса ветром и стекания на почву до 81 процента. На рубеже веков наше сельское хозяйство пошло по второму кругу химического экоцида, в основе которого — первобытная технология распыления препаратов.

Чтобы не дать умереть делу, стартовавшему в 1962 году, нами, совместно с другими учеными и специалистами, три года назад была разработана специальная межотраслевая Федеральная инновационная программа «Комплекс работ по организации производства технических средств для применения химических, биологических средств защиты и регуляторов роста растений на базе новых технологий с минимальными экологически безопасными нормами расхода». Ее реализация позволила бы снизить гектарные нормы расхода химических средств в 1,5 — 3 раза (на 300 — 400 видов и наименований) за счет внедрения современных методов обработки растений; уменьшить в 2 — 10 раз попадание вредных химических веществ в окружающую среду путем повышения качества обработки препаратами подавляемых объектов; высвободить не менее 25 — 30 процентов денежных средств, затрачиваемых государством на ежегодную закупку препаратов (в первую очередь валютных); дополнительно получить на 20 — 50 процентов больше товарной сельскохозяйственной продукции; заложить материально-техническую базу для опережающего развития биологического метода; в два раза повысить производительность труда, снизив удельную материалоемкость опрыскивающей техники за счет обработки растений мало- и ультрамалыми объемами дозами растворов, составляющими всего 2 — 50 л/га на полевых культурах (сейчас там 200 — 600 л/га) и 50 — 200 л/га на многолетних насаждениях (сейчас там 800 — 3000 л/га) и т. п.

Рассмотрев в июне 1993 года эту программу, ряд комитетов тогдашнего Верховного Совета Российской Федерации принял соответствующее решение, предложив правительству России утвердить ее.

На заводах были изготовлены первые опытно-промышленные образцы машин и механизмов. Чтобы выйти на проектную мощность, достаточную для удовлетворения запросов села в этой технике, четырем предприятиям на три года требовалось представить денежные ресурсы в размере 57 млрд. рублей (в ценах середины 1994 года). Частный капитал в промышленность пока не идет, ведь миллиарды можно «делать», как известно, и быстрее, и проще, и надежнее, а главное — с меньшими материальными и моральными издержками.

Все было бы хорошо, но тут события в Чечне. Дело остановилось. И это при том, что 57 млрд. рублей окупались бы в первый же год эксплуатации машин (то есть за один агросрок) при обработке 14 млн. га самым дешевым гербицидом — аминной солью 2,4-Д.

Наше решение: сегодня из народного хозяйства уходят далекие от политики ученые, инженеры, специалисты — профессионалы своего дела. Мы, видимо, тоже уйдем, хотя и нужны сельскому хозяйству, а не политике.

**Ю. ВЕРЕТЕННИКОВ,**  
*эксперт МВК по экологической безопасности СБ РФ,*  
**А. ЛЫСОВ,**  
*руководитель лаборатории механизации ВИЗР,*  
*председатель секции по механизации*  
*технологических процессов защиты растений*  
*при РАСХН, к. т. н.*



---

---

# ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ВЛАДИСЛАВ КУЛАКОВ

\*

## СТИХИ И ВРЕМЯ

**С**ейчас вокруг все быстро меняется. Некоторым кажется, что все просто рушится, что для России настал конец света. Лично я так не думаю. Мне совершенно не жалко того, что рушится или уже разрушилось, — ни империи, ни советской власти. Мне не жалко никаких «преимуществ социализма», и я не испытываю ни малейшей ностальгии по колбасе за два двадцать. Не жалко мне и старого советского культурного пространства, тоже беспощадно разрушенного новыми временами. Не жалко, потому что его гибель отнюдь не означает конца света и погружения народа в тьму бескультурия. Просто из «самой читающей страны» нам предстоит превратиться в страну нормальную, занятую не только чтением либеральных журналов. И возвращения к перестроечному безумию с тиражами, конечно, не предвидится. Пора привыкнуть к новым реалиям.

Гипертрофированное внимание общественности к литературе и искусству — явление чисто советское. Из факта загадочного (а если разобраться, совершенно естественного) исчезновения в одночасье многомиллионной читательской аудитории вовсе не следует, что искусство вдруг утратило свое значение для общества. Так не бывает. Если есть цивилизованное общество (или по крайней мере общество, желающее стать таковым), значит, есть своя культура, духовная жизнь и, значит, есть ее эстетическая составляющая — искусство. Культура — это лицо общества, и искусство, как часть культуры, по определению, не может оказаться на социальных задворках. Сами масштабы эстетических задач делают невозможной подобную ситуацию, и количество читателей-зрителей тут совершенно ни при чем.

Все это в полной мере распространяется и на социальный статус поэзии — вида искусства, в массовую, развлекательную культуру никак не интегрируемого и потому многими уже приговоренного к неизбежному вымиранию. Поэзия зависит не от рыночного спроса или дотаций правительства. Она зависит только от языка, от его эстетических потенций. Поэзия — часть языка, эстетическое его измерение (именно поэзия: о других видах литературы — например, о прозе — так просто уже не скажешь). Живой язык меняется, развивается, постоянно открывая в себе все новые эстетические возможности. Пока жив язык, жива и поэзия.

Язык искусства вообще очень тесно связан с языком своего времени, с языком науки, политики, философии и т. д., и связь эта носит в принципе универсальный характер, общий для всех видов искусства. Специфика поэзии только в том, что она работает непосредственно с языком, который все это порождает, с языком в обычном, лингвистическом смысле, с языком, на котором мы пишем и разговариваем. Связь искусства с остальными формами духовной и общественной активности всегда носит существенно двусторонний характер. Научные открытия вдохновляют художников, новые художественные направления создают целые научные школы. Искусство — часть эпохи, оно возникает и может существовать только в единстве с языком своего времени. И, как ни странно, чем глубже, полнее связь художника с временем, чем точнее он выражает сущность своей эпохи и ее языка, тем более абсолютным, долговечным оказывается его искусство и тем более эстетически значимым, не подверженным старению — созданный им художественный язык.

Странного, конечно, тут ничего нет. Художественное качество (а значит, и абсолютность, и вечность искусства) — вещь, по определению, неповторимая. Никаких постоянно годных к употреблению художественных средств, приемов просто не существует. Тут всегда приходится начинать с самого начала, наполняя

традицию своим опытом, новым художественным смыслом, создавая новую форму. Ну а новое возникает из времени, из среды, из всего, чем живет человек и что, хоть и повторяясь в чем-то от поколения к поколению, никогда не бывает одинаковым.

Каждая эпоха, каждое поколение создают свои смыслы, свой язык. Сказать что-то существенное, всерьез совпасть с поэзией, с языком можно, только совпав с эпохой, с языком своего времени. И (хоть на первый взгляд это тоже может показаться парадоксальным) чем более личным и интуитивным будет такое совпадение, тем более художественно значимым оно окажется (так по крайней мере в искусстве Нового времени, начиная, скажем, с романтизма). Ясно же, что в искусстве (и особенно в поэзии) главную роль играет не объективный анализ, а эмоциональный, выстраданный опыт. И вот когда эстетическая самоидентификация художника, его совпадение с собой одновременно окажется совпадением с главными смыслами эпохи — тогда возникает большое искусство, искусство на все времена. Случается такое, понятно, не часто и осознается всем обществом, как правило, не сразу.

Общество наше до конца еще свое лицо не определило, и поэтому разговор о главных смыслах не только последних десятилетий, вообще всей российской культуры остается остродискуссионным. Но в принципе, как мне кажется, тут возможны только два варианта. Либо мы признаем приоритет ценности личностных и присоединяемся к цивилизованному сообществу, либо продолжаем делать ставку на надличностные ценности (не классовые, так национальные) и получаем новый тоталитаризм и конфликт со всем миром. Я понимаю, что выбор первого пути означает признание того, что Россия — самая обычная страна, не уникальная, не «богоизбранная». Что в ее историческую задачу не входит спасение погрязшей в разврате и бездуховности западной цивилизации. Я понимаю, что выбор первого пути ставит крест на мечтах о социальной идиллии, о национальном единении в православии, потому что даже вроде бы «соборная», по определению, религия превратится тогда тоже в личное дело каждого. Но по второму пути мы уже ходили. И не думаю, что новый заход может оказаться менее кровавым.

Я понимаю, что перспектива абсолютного индивидуализма, торжества этического и эстетического релятивизма кому-то кажется ужасной. Очень хочется избавиться от индивидуализма и не свалиться в новый тоталитаризм. Боюсь, что это невозможно. Никуда не деться от выбора: либо для нас закон — права личности, права человека, либо — права начальника и единственно верного учения.

Вся культура, искусство и философия Нового времени развивались в направлении полной эмансипации личности от надличностных институтов — государства, религии, общественной морали. В частности, это привело и к тоталитаризму. Ведь тоталитаризм — не что иное, как взбесившийся индивидуализм, превратившийся в свою противоположность — в культ не личности вообще, а конкретной личности, языческого «вождя». Да, корни тотального насилия над личностью вплоть до массового истребления инакомыслящих и инородцев тоже надо искать в процессе распада традиционалистски надличного христианского старого мира, в процессе эмансипации индивидуума нового времени — в гордыне научного разума («человек — это звучит гордо»), в отказе от надличностной морали, наконец, в отказе от Бога или (что то же самое) богоискательстве. Но сегодня индивидуализм уже не тот, что, скажем, в классической и в каком-то смысле предельной для данного процесса эпохе начала века. Кошмарный опыт последовавших десятилетий выработал достаточный иммунитет к антигуманистическим извращениям (ведь человечеству это стоило кровавой прививки на сотни миллионов жизней). Философия сегодняшнего индивидуализма с ее «децентрацией» и «деконструкцией», с принципиальным недоверием авторскому языку (системе) и чуть не параноидальным страхом перед потенциальной догматичностью любого претендующего на завершенность высказывания — вся направлена против интеллектуальной тоталитарности. Сегодняшний индивидуализм не верит в абсолютную свободу, в собственную исключительность и в возможность полной внутренней самоидентификации. В каком-то смысле сегодняшний индивидуализм не верит и в саму личность. Во всяком случае, философия не берется судить, что это такое, предпочитая вообще не выходить за пределы знаков, множества означающих — единственной реальности, данной в наше интеллектуальное распоряжение. В политическом аспекте сегодняшний индивидуализм, естественно, свято блюдет права человека, принцип невмешательства в частную жизнь индивидуума. Человек абсолютно свободен (если он в это всеерьез может пове-

речь) — но только на пространстве своей судьбы и своей собственной души. Духовная жизнь отныне — дело сугубо частное.

Если мы выбираем первый, нетоталитарный путь, все это придется учитывать. Впрочем, я вовсе не собираюсь углубляться в тонкости постструктуралистского и постмодернистского философствования. Меня здесь интересует только эстетический аспект, художественная практика. А художественная «деконструкция» появилась даже раньше философского термина. И возникла она отнюдь не из критики логоцентрической метафизики (хотя впоследствии ей безусловно способствовала).

«Как можно сочинять музыку после Аушвица?» — знаменитый вопрос Адорно на самом деле поднимает не только этическую проблему, но и эстетическую. На Западе это поняли сразу многие. После смерти Сталина и конца ГУЛАГа мы оказались в схожей ситуации. (В сущности, ситуация была не схожей, а просто общей: ведь Гитлер и Сталин, Аушвиц и ГУЛАГ — кошмар и позор всей европейской цивилизации; тоталитарная катастрофа произошла не с Германией и Россией, а со всем человечеством.) Вопрос стоял о духовном выживании, вообще о возможности культуры и искусства.

В советской России хватало и других вопросов — мы-то в 1956 году с тоталитаризмом отнюдь не покончили. Но некоторые художники уже тогда понимали, насколько все перевернулось по сравнению с эстетически благословенным началом века. Искусство начиналось в духовной пустыне, на руинах погибшей цивилизации. Речь шла о поиске новых, не скомпрометировавших себя способов художественной самореализации; искали другие, «невиновные» (Вс. Некрасов) слова и формы. Поиск эстетически «невиновного» уводил все глубже к основам поэтического языка, к его первоэлементам («остался там еще кто живой, хоть из междометий?» — Вс. Некрасов). На этом пути, который с полным основанием можно назвать художественной «деконструкцией», и возникли конкретизм, минимализм, соц-арт, концептуализм — явления, может, и не совсем идентичные, но крайне друг другу родственные. Особенно фундаментальным в этом плане, на мой взгляд, выглядит творчество уже упомянутого Всеволода Некрасова, производящего, можно сказать, радикальнейшую «критику поэтического разума» (в продолжение обэриутской «поэтической критики разума» Введенского), по масштабам и значению сравнимую разве что с гигантской языкотворческой работой Хлебникова.

Поэт в своих парадоксальных звуко-смысловых конструкциях разлагает живую речь на элементарные интонационные кирпичики, выясняя и выявляя их художественные возможности:

верите ли  
а ведь вот они  
верили  
ведь им ведь  
велели

Возможности оказываются практически неограниченными: трудно в современной русской поэзии назвать поэта, достигшего той же степени свободы высказывания, какой постепенно добился Вс. Некрасов:

ты  
я  
и мы с тобой  
и мышь с нами  
жили  
смешно

Секрет этой абсолютной органичности стиха при столь минимальных выразительных средствах в том, что Вс. Некрасов «пишет речью», живой речью: редуцируя синтаксис до минималистского предела, он в то же время полностью сохраняет интонационный каркас разговорной фразы. При этом на первый план часто выходят слова вроде бы незначащие, избыточные («хоть из междометий»),

но они-то и оказываются ключевыми с интонационной точки зрения, действительно по-настоящему «живыми» в посттоталитарных языковых руинах.

Художественная «деконструкция» (так же, впрочем, как и философская) — отнюдь не разрушение. В целом наследуя авангардистскому стремлению к чистоте и самодостаточности выделенной художественной формы, концептуалисты переводят свою проблематику в иную плоскость, занимаясь уже не формой самой по себе, а условиями ее возникновения, контекстом поэтического языка. «Деконструкция» и есть, в принципе, бесконечное выяснение, уточнение контекста. Эта бесконечность может стать и «дурной», — что мы нередко наблюдаем в массовом творчестве пылких неопитов постмодернизма: что делать, «постмодернизм / у нас тут / наложился на маразм» (И. Ахметьев). Но на самом деле бесконечность, разумеется, важна именно как принцип. Что бы ни говорили постмодернистские критики об исчезновении понятий «автор», «зритель», «художественное качество», и в «децентрализованном» мире искусство по-прежнему возникает только между автором и зрителем (читателем), и при всей бесконечности интерпретаций текста вопрос о художественном качестве все равно встает. Автор, может быть, ушел из центра, но высказывание в любом случае остается авторским и обращенным к зрителю (зритель в «децентрализованном» мире, конечно, тоже изменился, став гораздо более самостоятельным и активным). И настоящей, не «дурной», бесконечностью обладают только те высказывания, те тексты, которые действительно становятся эстетическим событием, моментом полноценной встречи автора и зрителя.

Эстетические самоограничения в «децентрализованном» мире были совершенно неизбежны, и у некоторых авторов они доходили до предела: в пользу эстетической игры отказывались не только от прямого лирического пафоса, но и вообще от всякой стихообразности. Как, например, Лев Рубинштейн, который, конечно же, пишет не стихи. Возникла любопытная ситуация: стихов нет, а поэзия, у того же Л. Рубинштейна, почему-то есть. Есть принципиальная эстетическая работоспособность метода, определенного эпохой, состоянием языка, современным менталитетом. А то, что он работает в данном конкретном случае, — это уже заслуга самого автора, поэта Л. Рубинштейна, который, как говорится, тем и интересен.

Однако самоограничение — не самоцель, не эстетический фактор. Цель как раз в том, чтобы от него избавиться, выйти в самое широкое пространство художественной речи, отвоевать себе как можно больше авторских степеней свободы в жестких условиях «децентрализованного» мира, в котором автор не наделен властными полномочиями «центра». В принципе, чем сильнее автор, тем лучше ему это удается, тем большей свободы он добивается. Я, например, считаю, что можно говорить о своеобразном лирическом качестве конкретистски-«барачной» поэзии И. Холина и Г. Сапира, концептуальных текстов Д. Пригова и Л. Рубинштейна. А в связи со Вс. Некрасовым или Яном Сагуновским можно говорить о лирике в самом прямом смысле, без всяких оговорок.

Остроаналитическое, концептуалистски-диалогическое художественное мышление Вс. Некрасова и Яна Сагуновского в пространстве живой речи сохраняет возможность монолога, прямого высказывания. Собственно, концептуализм Вс. Некрасовым рассматривается именно как инструмент для выяснения этих «возможностей выявиться высказыванию в условиях речевой реальности», когда «живая, интонированная речь, речевая ситуация и препятствует и выясняет, что действительно ты имеешь, как говорится, сказать, а не просто — что тебе пожелалось». И здесь Вс. Некрасов очень близок художникам-концептуалистам Э. Булатову и О. Васильеву (в концептуализме, как и, например, в футуризме, связь поэзии и изобразительного искусства вообще крайне важна), точно так же выясняющим возможности именно лирической изобразительности в знаковом пространстве картины. Мотивы и образы поэта и художников пересекаются, кочуют из картин в стихи и обратно:

я уж чувствую

тучищу

я хотя  
не хочу  
и не ищу

живу и вижу

Это стихотворение, посвященное Э. Булатову, станет одной из самых известных его картин («Живу-Вижу»), символом того мироощущения, которое выражало новое искусство, а поэзия Вс. Некрасова окажет решающее влияние на многих поэтов близкого направления, так что поэт и критик М. Айзенберг не без основания скажет о «бескровной революции», совершенной Вс. Некрасовым, революции, после которой у русской поэзии «открылось второе дыхание».

То же самое можно сказать и о Яне Сатуновском. Стихи этого поэта — непосредственный ответ российской поэзии на вопрос Адорно, это именно стихи после Аушвица и ГУЛАГа. Поэт знал проблему не культурологически: он сам принадлежал поколению, раздавленному историческим катком тоталитаризма, он — из немногих выживших, он все видел своими глазами. Это с одной стороны. С другой — важно то, что, в отличие, скажем, от советских поэтов военного поколения, даже от Слуцкого (с которым у него есть существенные пересечения), как художник Ян Сатуновский остро чувствовал весь драматизм именно эстетической ситуации. (Поэтому он и оказался в лианозовской компании, а не среди советских литературных начальников.) Социально-этические темы войны (а Сатуновский — фронтвик) и лагерей, нацистского холокоста и коммунистической «борьбы с врагами народа» звучат у него в полную силу, но совсем по-другому, чем в советской либеральной литературе. Холокост, кстати, — вообще не советская тема. И тут дело не только во врожденном антисемитизме коммунистического руководства сталинской выучки (он, конечно, сыграл свою роль, но не главную). Просто по советской мифологии, создаваемой не в последнюю очередь именно либеральной литературой, с нашими страданиями и героизмом ничто не могло сравниться — даже истребление целой нации. Сатуновский мыслил совсем другими категориями (в частности, без героизма). И тема холокоста для него важна не потому, что он — еврей, а именно потому, что тоталитаризм, равный или классовый, — один черт и мы все в нем виноваты:

Я Мойша з Бердичева.  
 Я Мойзбер.  
 А может быть, Райзман.  
 Гинцбург, может быть.  
 Я плюнул в лицо  
 оккупантским гадинам.  
 Меня закопали в глину заживо.  
 Я Вайнберг. Я Вайнберг из Пятихатки.  
 Я Вайнберг. За что меня расстреляли?  
 Я жид пархатый, дерьмом напхатый.  
 Мне памятник стоит в Роттердаме.

Конечно, это далеко не так красиво, как, скажем, «Я — Гойя...». Меньше всего Сатуновский заботился о внешней красоте и эффектности. Его пафос — это пафос обнаженной речи. Здесь не поэт говорит с эпохой, а говорит сама эпоха:

Стукачи,  
 сикофанты,  
 сексоты,  
 Рябов,  
 Кочетов,  
 Тимашук,  
 я когда-нибудь все напишу,  
 я сведу с вами счеты,  
 проститутки  
 и стихоплеты.

Корнейчук,  
 где твой брат Полищук?  
 Не прошу.

Этическое напряжение, обнаженная прямая речь, пафос самого широкого диапазона — от трагического (война, террор, холокост) до беспощадно-саркастического (советские начальники), тонкая лирика — и тем не менее «деконструкция», концептуализм:

«Главное, иметь нахаьство знать, что это стихи».

Это однострочное стихотворение, представляющее собой (не формулирующее, а именно представляющее, демонстрирующее) классическое определение концептуализма, — тоже Сатуновский.

Сатуновский говорит не просто то, что мог бы сказать лирический автор, «центр», а то, что может сказать ся, «выговориться в стих» помимо «центра». Он как автор уходит из «центра», речь работает сама. Поэзия Сатуновского — это поэзия «самовитой» речи. Работа поэта — вычленив из речи поэзию, совпасть с ней. И он действительно «как никто умеет ловить себя на поэзии» (Вс. Некрасов):

Фонари, светящие среди бела дня  
в этот серенький денек.  
Ждущие, зовущие, не щадящие меня —  
ну, что же ты умолк? — говори;  
или нет, не так.  
— Фонари, светящие среди бела дня  
в этот серенький денек.  
Ждущие, зовущие, не щадящие меня фонари, —  
ну, опять умолк?

«Самовитая» речь Сатуновского — слепок с сознания человека, попавшего под исторический каток тоталитаризма, человека, в героическом одиночестве противостоящего массовому безумию. Хотя сам человек — лирический герой Сатуновского — как раз подчеркнуто негероичен, что принципиально:

Мужественно: утром пить водку натошак  
(предпочитаю кофе).  
Мужественно: состоять, по меньшей мере,  
референтом замминистра.  
Вот так. Тик и так.  
А я вхожу с авоськой, соль, мыло, лук.  
На, пырни меня своими всевидящими,  
всененавидящими.

«Негероичность», ненависть к любому насилию — это норма, и именно эту норму отстаивает в своих стихах поэт. Главный смысл поэзии Сатуновского — мучительное, постепенное возвращение человека к жизни после духовной смерти тоталитаризма, обретение личности и подлинной, «тайной» свободы, утверждение нормальных человеческих ценностей вопреки всегда фальшивым и именно в XX веке столь страшно показавшим свою кровавую сущность ценностям «надличностным», «героическим», — и разве этот смысл не принадлежит к главнейшим смыслам нашей эпохи?

Читатель, надеюсь, понимает всю условность употребления «страшных» терминов «деконструкция» и «децентрация». Дело, как всегда, не в терминах. О том же самом можно сказать и другими словами; привлекая известные понятия, я просто экономлю время. Суть в том, что были художники, которые так-то и так-то ощущали современную культурную ситуацию и соответствующим образом действовали. Это были очень разные художники, но в чем-то существенном они сходились, не случайно образуя свой собственный, не пересекающийся с официальным (а это уже не по их вине), литературный мир, свою собственную культурную среду.

Философия и эстетика «деконструкции» для нашей культуры — это изживание того духовного ада, в котором мы оказались, это возвращение к нормальным, личностным ценностям — да, к индивидуализму, но на современном уровне, с анти тоталитарной прививкой. В чисто эстетическом аспекте, в плане развития поэтики, роль концептуализма (конкретизма, соц-арта, минимализма — термины, напоминая, условные) в современной поэзии по масштабам сравнима с тем фундаментальным воздействием на поэтический язык, которое оказал в 10-х годах футуризм. После концептуализма, как и после футуризма, поэзия оказалась в принципиально новом языковом пространстве. И поэты совершенно другой ориентации — к примеру, постакмеистской — тоже учитывают реалии этого пространства. Замечу также, что, как и футуризм, послуживший материальной базой нового литературоведения — формальной школы, концептуализм тоже породил свою теорию, выводящую, в принципе, в общее русло проблем постструктуралистской и постмодернистской эстетики и философии.

Давно пора понять, что постмодернизм (хотя опять-таки дело не в термине) — не стиль и не литературное течение, постмодернизм — это ситуация. Ситуация, в которой оказался современный художественный язык. На всех ли она распространяется? Разумеется, нет. Эта ситуация распространяется только на тех, кто сам ее признает. Постмодернизм нельзя любить или не любить. Либо вы опускаете себя как писатель или как читатель в данной ситуации, либо — нет. И если — нет, то и говорить, а тем более спорить не о чем. В логоцентрическом мире «децентрация» не существует. Речь идет, понятно, только о части нашей современной культуры, но о части отнюдь не «маргинальной», как любит выражаться критик А. Немзер, а о целом культурном пространстве с самым широким эстетическим спектром, со своей эстетикой и философией.

«Деконструкция» в явном, чистом виде присутствует только в концептуализме, но ее значение этим отнюдь не ограничивается. Она растворена в воздухе «децентризованного» мира, она определяет эстетические и мыслительные реакции, все культурное поведение современного интеллектуала. Именно так — через воздух — она часто входит и в чисто лирические, вроде бы традиционно монологичные стихи. Возникает своеобразный монолог не то чтобы совсем без «центра» (все-таки монолог), но с «центром» явно ослабленным, заранее отчужденным, скомпрометированным. Этот монолог внутренне диалогичен (концептуализм диалогичен явно, внешне). Автор не стремится к полноте самоидентификации, к завершенности высказывания. Эстетически важны не его собственные психологические и культурные реакции, а вызванные ими реакции языка. Не автор создает язык, а язык создает автора. Или, по крайней мере, это происходит одновременно. Помимо обычного диалога автор — зритель идет еще и постоянный диалог автор — автор и подразумеваемый: зритель — зритель. Никого ни с чем нельзя идентифицировать. В «децентризованном» мире это просто невозможно.

Нужно, видимо, оговориться, что корни художественной «деконструкции» лежат отнюдь не в футуризме. Вернее, и в футуризме тоже, но далеко не в первую очередь. Постмодернизм вообще возник (что вполне естественно) именно из отрицания основных эстетических идей «модернизма», классического авангарда. Непосредственные предтечи художественной «деконструкции» у нас — это безусловно «Обэриу». Но в не меньшей степени, как это на первый взгляд ни странно, тут важен акмеизм, поздний Мандельштам, даже Ахматова (скорее ранняя). Речевая, интонационная конкретность этих поэтов, идущая, понятно, от импрессионизма Анненского, сказалась на формировании нового эстетического пространства самым прямым образом:

вот

что вот

воздух

Мандельштам

это он нам

надышал

(Вс. Некрасов)

Поэтому связь «деконструкции» и с постакмеистскими авторами (концептуалисты, ясное дело, — постобэриутские) совершенно органична.

Акмеизм, конечно, оказал на поэтический язык ничуть не меньшее влияние, чем футуризм (сейчас, думаю, уже для всех очевидно не антагонистичность, а взаимодополнительность этих двух крупнейших явлений русской поэзии XX века). Культурологический пафос акмеизма как нельзя более точно соответствовал устремлениям послесталинской поэзии, ее естественной потребности восстановления связи времен, культурной преемственности. Но акмеизм, став для многих, как античность для европейской культуры, «недостижимым идеалом и образцом», одновременно превратился и в большую проблему для современного стихосложения. Акмеизм создал ложное впечатление определенности «идеального» поэтического языка, абсолютности традиции вообще и своей собственной

традиции. В нем самом безусловно были такие потенции (Гумилев, как известно, всерьез считал, что на поэта можно выучиться), и вообще акмеизм — это именно поэзия высокой традиции, диалога с «мировой культурой». Но ведь отнюдь не в области стилизации и классицизма совершали свои великие художественные открытия и Мандельштам, и Ахматова, и Гумилев. И для того, чтобы по-настоящему продолжить высокую традицию, нужно совершать собственные открытия: акмеизм тут на самом деле задачу ничем не облегчает. Наоборот, как Толстой Блоку, мешает.

Поэтов, «преодолевших акмеизм», в нашей современной лирике очень немного. И это совершенно естественно. Стихотворение и поэзия — вещи разные. Первое не гарантирует второго. Акмеизм существенно облегчил стихотворение. С поэзией дело сложнее.

Точно так же, кстати говоря, уже для более молодых поколений стихотворение облегчил Бродский. И я не думаю, что это слишком радостное событие. Бродский, безусловно, тоже из тех немногих, кто ясно понимал эстетическую проблематику эпохи. Он об этом исчерпывающе говорит в нобелевской речи. «Деконструкцию», которая витала в воздухе, Бродский очень ловко поймал своей изогнутой, комментирующей саму себя строкой. Однако чем дальше, тем больше эта бесконечно раскручивающаяся строка уводила из лирики в метафизику, от «деконструкции» к самой что ни на есть обычной конструкции, к внешним языковым эффектам: логическому парадоксу, афоризму, а то и просто каламбуру. Внешняя эффектность (а тут Бродский, бесспорно, чемпион) отнюдь не гарантирует внутренней глубины, зато создает для учеников замечательную иллюзию доступности поэтического метода. Но это лишь иллюзия.

Бродский, как кажется, при всем своем уникальном таланте, в определенный момент облегчил себе задачу. Он, как и, наверное, все «традиционалисты» его поколения, не решился на «деконструкцию» главной акмеистской мифологемы «мировой культуры». Ощувив себя в «децентризованном», «разгерметизированном» (А. Найман) мире, поэты находили спасение в культуре, в былой гармонии — нет, не подражая своим учителям, а как бы проецируя себя в прошлое, в серебряный век, в его культурное пространство. (Александр Германцев, герой романа А. Наймана «Поэзия и неправда», alter ego автора и собирательный образ поэта как раз того самого поколения, о котором идет речь, объявляет о своей эмиграции — не в пространстве, а во времени — в 10-е годы. Очень характерная метафора.) Возник обширный слой по-своему очень значительной «ретроспективной» поэзии. Бродский же претендовал на подлинное новаторство. И он действительно уловил верное направление поиска. Однако, пожалуй, слишком рано счел свою задачу решенной. Гигантский культурный мир Бродского на самом деле во многом так и остался нереализованной мечтой о «культурной эмиграции», великой Утопии нашей эпохи.

Стихотворение, литературный процесс безусловно очень важны для поэзии. Но сама поэзия — это нечто другое. Поэзия — это как раз не процесс, а событие, всегда уникальное — не только в момент появления нового поэтического голоса, но и в момент возникновения каждого нового текста. Художественную задачу приходится решать каждый раз заново, никакого чудодейственного поэтического языка, которым можно пользоваться как внешним средством описания, даже гению создать невозможно (гений потому и гений, что чуть не все его творчество — цепь равновеликих и разных событий, событий мысли или чувства, ставших событиями поэтического языка, что-то прибавивших к нему, углубивших общекультурную перспективу). Проблема современного лирического стиха стоит сейчас как нельзя более остро. И я не думаю, что тут образцом может служить только стих Бродского или, скажем, Кушнера («лирических диоскуров Б.+К.», как выразились Пурин — Машевский).

Для того чтобы «преодолеть акмеизм», нужна не только «высокая традиция», но и «Обэриу», и концептуализм. В «децентризованном» мире акмеистская мифологема «мировой культуры» по большому счету не работает (так же, впрочем, как и футуристическая мифологема «нового языка»). В «децентризованном» мире невозможна никакая прямая, логоцентрическая метафизика (а именно за нее почему-то особенно ценят Бродского). Филологизм новой поэзии очень силен, но это именно филологизм, которому можно научиться в университете, а не священный Логос и не ветра «мировой культуры», наполняющие паруса вдохновения. Поэзия и ее метафизическое измерение (конечно, обязательное даже в условиях невозможности метафизики) возникают не здесь.



Поэзия по-прежнему возникает в личном, авторском взаимодействии с языком, и по-прежнему это взаимодействие определяется набором определенных факторов, от автора не зависящих, более того — формирующих автора. Авторское своеволие в искусстве никогда особенно не приветствовалось, а с некоторых пор сам пафос борьбы с ним стал художественным пафосом. Объективные факторы — культурная ситуация, состояние языка — определяются всей эпохой, конкретностью времени. В нашу эпоху рядом с привычным логоцентрическим миром сложился другой мир, «децентрализованный». Наверное, это не случайность, от которой можно просто отмахнуться с высот становящейся все более проблематичной логоцентрической гармонии.

«Децентрализованный» мир создал свое искусство и свою философию. Это уже факт. И я не думаю, что тут имеет смысл толковать о чьей-либо изначальной маргинальности. Все решает художественная практика. Свое время переживет только то искусство, которому удалось выразить действительно главные смыслы эпохи. А главным смыслом определяющей для современного искусства эпохи 50 — 60-х все же был не возврат к ленинским нормам и восстановление социалистической законности, чем руководствовалась советская либеральная литература, а медленное, мучительно трудное возвращение к жизни после коммунистической смерти, наращивание нового культурного слоя, призванного в конечном счете сломить тоталитаризм и навсегда обезопасить наше общество от его рецидивов. Что, как выяснилось, является не только этической, но и эстетической проблемой. И дело даже не в том, что логоцентризм не застрахован от тоталитарных перерождений. Дело в том, что без учета новых духовных реалий трудно рассчитывать на полноценное эстетическое качество. Во всяком случае, высшие достижения поэзии бронзового века, на мой взгляд, связаны с другим, «децентрализованным» культурным пространством.

---

## ДВЕ РЕПЛИКИ О ВРЕМЕНИ И СТИХАХ

ЮРИЙ КУБЛАНОВСКИЙ

\*

### «...ЗНАТЬ, ЧТО ЭТО СТИХИ»

**О**дно дело — иметь свои естественные пристрастия и вкусы, обусловленные судьбой, натурой, мировоззрением. Другое — буквально зомбированность (в данном случае концептуалистской) эстетикой, когда все исторические и даже политические явления то подспудно, то напрямую меряются едва ли не только ею. Тогда эстетика приобретает свойство идеологии, а ее приверженец становится идеологом.

Так вот: ежели вначале В. Кулаков оповещает, что не испытывает «ни малейшей ностальгии по колбасе за два двадцать», через абзац подбадривает, что, «пока жив язык — жива и поэзия», а дальше убеждает, что присоединение «к цивилизованному сообществу» требует «торжества этического и эстетического релятивизма», которое одно только и обеспечивает «права личности, права человека», а все остальное «новый тоталитаризм», — цитируемые дальше стихи не могут не выглядеть бледновато. Ибо поэзия, как и истина, застенчива, и не ей тягаться с такого рода реляциями и утверждениями. Тем более — поэзия выбранных для иллюстрации авторов, целомудренно лишенная пафоса и риторики.

Что ни говорит идеолог от эстетики, что ни утверждает, над чем ни иронизирует — во всем заметен не столько бережливый и доброжелательный взгляд на культуру, переживающую теперь пору драматичных и вряд ли благотворных мутаций, но — манифестирующий и дразнящий подход; задействовано умозрение, а не душа.

Если угодно, такая заидеологизированность — оборотная сторона всеядности, эмоционального равнодушия и эстетической бесхребетности, когда явление ис-

куства осваивается как бы чисто теоретически, без душевного предпочтения. Но выбор, разумеется, осуществляется все равно («релятивизм» — тоже выбор), — что, однако, не должно ведь означать зашоренности. Эстетическое предпочтение не требует капитального пересмотра, а тем более разрушения иерархии традиционных духовных ценностей. Агрессивность модернистских течений — чаще агрессивность их теоретиков, чем самих творцов, изнутри знающих, что дух дышит, где хочет. Поэту нет необходимости быть больше роялистом, чем сам король. Искусство — не церковь, амплитуда его «догматов», конечно, не глубже, но — шире, а сами «догматы» воистину экуменистичны.

Перефразируя известное «стиль — это человек», можно сказать: «поэтика — это человек», но при всей схваченности поэтикой поэт, как правило, плюралистичней, уживчивей, чем те, кто теоретизирует на почве его поэзии.

И если уж «перегородки наших вероисповеданий не доходят до Неба», то тем паче «не доходят до Неба» перегородки наших поэтик и стилей.

И по меньшей мере наивно ставить поэтику в прямую зависимость от исторической мистерии, драмы (дескать, был геноцид — так из солидарности с историческим диссонансом следует терять гармонию, рифму, ритмику). Распад жизни не детерминирует распада поэтической формы. Тем более нехорошо, некорректно подводить к тому, что творчество одних («деконструкция») — гарант демократии, а других («логоцентризм») — чреват тоталитаризмом и холокостом. Так можно дойти до того, что объявить антисемитской — как злонамеренно игнорирующую холокост — любую традиционную поэтическую гармонию. Это не преувеличение: ведь всю русскую фигуративную живопись, начиная с Федотова, уже определяют как националистическую.

У поэта свои счеты с историей, свой исторический ритм, свои выношенные задачи. Он может и не хотеть напрямую «соответствовать» времени, может, например, послать к черту такое соображение: «Каждая эпоха, каждое поколение создают свои смыслы, свой язык. Сказать что-то существенное, всерьез совпасть с поэзией (! — Ю. К.), с языком — можно только совпав с эпохой, с языком своего времени». Пошлет — и будет прав, ибо требование-сопреалистическое по существу, хоть и высказанное адептом концепта. Да и кто арбитр «совпадений»?

Нередко залог поэзии — как раз в несовпадении «с эпохой, с языком своего времени», если понимать под ними доминирующее настроение времени; и Сатуновский, и Некрасов — верные тому примеры. А гармония может обретаться порой именно на путях жизненного разрыва («Элегия» А. Введенского, «Где-то в поле возле Магадана» Н. Заболоцкого).

Да, даже после «Аушвица и ГУЛАГа» стихотворец может посчитать нужным решать совсем иные поэтические задачи, вполне чуждые Адорно и Кулакову, но важные для него самого и, как он считает, для отечественной культуры: например, пытаться «склеить двух столетий позвонки» и над обвалом исторической катастрофы — дотянуться до оборванной когда-то традиции, обретение которой не надо путать с эклектикой.

Художественный текст, даже самый абсурдный, держится на железной внутренней логике: смысловой, ассоциативной, фонетической. Без нее это не текст — графомания. Не то повествование теоретика. У него «тоталитаризм — не что иное, как сбесившийся индивидуализм. ...Но сегодня индивидуализм уже не тот, что, скажем, в классической и в каком-то смысле предельной для данного процесса эпохе начала века». Сегодняшнему индивидуализму с его «чуть не параноидальным страхом перед потенциальной догматичностью» можно и нужно — по Кулакову — верить больше, чем любым «надличностным ценностям». Вот образец абсурда — полярный «абсурду» поэтическому. Хотя и то правда, что почти человеческая персонификация «индивидуализма» (который «сегодня уже не тот»), превращение его, считай, в персонаж могли бы понравиться Хармсу. Мы уже верили одному параноюку, «как, может быть, не верили себе», теперь нам предлагают верить другому — индивидуализму.

...После XX съезда, напоминает Кулаков, «речь шла о поиске новых, не скомпрометировавших себя способов художественной самореализации». Понимай так, что такие «способы художественной самореализации», как ямб, хорей, анапест и проч., скомпрометировали себя прислужничеством тоталитаризму. Опять, как и в случае с индивидуализмом, наделение на этот раз литературных форм чертами антропоморфности, в данном случае — сервизмом, признание их «виновными».

А дальше — «современный менталитет» наделяет «принципиальной эстетической работоспособностью» ситуацию, когда «стихов нет, а поэзия, у того же Л. Рубинштейна, почему-то есть». Одним словом, «главное, иметь нахальство знать, что это стихи» (Ян Сагуновский). То есть главное — новая форма, которая коммунизм не обслуживала, поэтический эквивалент нового «индивидуализма с антитоталитарной прививкой».

А вот акмеизм в наши дни, оказывается, мешает «по-настоящему продолжить высокую традицию», для чего «нужно совершать собственные открытия».

Но довольно! Не надо «совершать собственные открытия», «преодолевать акмеизм», проделывать в поэзии «бескровные революции», «возникать из отрицания основных эстетических идей модернизма» и проч. Надобно, пожалуй, одно: самоограничиться в словоблудии.

Я уже не Владислава Кулакова имею в виду: его желание привлечь внимание к именам, по его мнению, недооцененным в современной поэзии, — благородно.

А адресуюсь к тем легионам нынешних критиков, идеологов, публицистов, у которых идей на десять фельетонов, а им в год для проформа надобно написать сто. Вот и передергивают, имитируя культурный праведный гнев, сталкивая лбами творческие миры, симулируют конфликты и проблемы, которых не существует в природе, работают на разобщение общества, теоретизируют над коммерческой дешевкой, блефом, порнухой, выдавая их за новое слово в литературе.

Поэзии, однако, этой возни не нужно. Творческие миры — миры не идеологические, они не противостоят, а дополняют друг друга. Поэт выживает не за счет словесной поденщины, а как-то по-другому.

Есть стихосложение конъюнктурное, изначально рассчитанное на спрос, на потребителя, на обслуживание власть предержащих или же публики. О нем нечего говорить.

В поэзии же свободной и бескорыстной все находится в сложном и органичном взаимодействии, а не в антагонизме. Разница манер, отношений к слову и языку, разница мироощущений придают свободной литературе спектральную полноту. Настоящее стихотворение — реалистическое ли, авангардное ли — всегда сберегает тайну: фонетическую, метафорическую, смысловую. «Враги сожгли родную хату...», к примеру, — какое до кондовости простое повествование Исаковского, а какое сильное стихотворение. И нужно быть доктринером, чтобы воспринимать его антагонистически военным стихам Сагуновского, не прозревая высшего единства поэзии.

Между тем поэтические усилия Сагуновского, Вс. Некрасова, Айги, молодого Красовицкого и других поэтов этой плеяды — в творческом отношении весьма разрозненной, но и объединенной нонконформизмом, — заслуживают не только прочтения, но и самого настойчивого вживания. Поэты-«подпольщики», будучи в 50-е годы первопроходцами, проделали, так сказать, полную ревизию гигантского массива советской поэтической речи, разобрав ее по кирпичику и складывая свою весьма причудливую постройку. Большой и смелый труд, если учесть, что это были несколько бескорыстных талантливых одиночек — супротив поэтики повязанных круговой порукой легионов Иванов Бездомных, бесчисленной идеологической челяди. Если при этом где-то пострадала и поэзия русская, то уж ничего не поделаешь: слишком плотно приросли к ней полипы советчины, чтобы отделить одно от другого без повреждений.

За текстом надобно улавливать единящее поэтические миры энергичное поле, звуковой эфир, собственно в текст сфокусированный только отчасти. У русского стиха, разом простого и таинственного, совершенного и сыроватого, достаточно хрупкая «душевная организация», нельзя позволить захватить его демагогам. Не надо превращать постмодернистов в секту, а их приверженцев — в посвященных, поставленных в «ситуацию», непроницаемую для остального «логоцентрического» искусства. Все это пустые фантазии. Культура едина и целокупна.

Русская же литература — дабы не превратиться в захолустную — должна оставаться тем же, чем и была: духовной и эстетической школой, окормляющей человека.

## ИРИНА РОДНЯНСКАЯ



## ПРОБЛЕМА ВСЕ ЖЕ ЕСТЬ...

С начала возьму на себя риск объясниться от имени журнала. Зачем мы время от времени печатаем то, с чем внутренне — чего уж тут скрывать — не согласны? И обстаиваем ли такие прецеденты должным образом? На сей счет нам уже были выставлены две взаимоисключающие — в пределах одного и того же «дискурса» — претензии («Литературная газета», 1995, 8 февраля): во-первых, нам, дескать, жаль бывает расставаться с «не такими», но яркими и захватывающими текстами, и мы печатаем их под унылым конвоем «другого мнения»; во-вторых же, правая наша рука не знает, что делает левая, и мы публикуем «несоответственное» просто по рассеянности. Поскольку автор этих укоров, Вячеслав Курицын, — большой противник «логоцентризма», он не потрудился сделать неизбежный вывод из обеих своих посылок, а именно: раз с «конвоем» плохо, а без «конвоя» того хуже, журналу, видно, следует иметь дело лишь с тем, что отвечает его «направлению». Тут, правда, приструненный этим манером журнал стали бы ловить на каком-нибудь синдроме «тоталитарности», ну да известное дело: ты виноват уж тем, что хочется мне кушать.

Смею заверить Вяч. Курицына, что, если б у нас, редакторов новомирской критики, было бы столько же рук, сколько у индийского божества, любая правая и тогда знала бы, что делает любая левая (интересно, кто тут справа, а кто — слева в представлении нашего снисходительно-ироничного совопросника?). И коль мы — беру его же примеры — печатаем рецензии одного из компетентных представителей молодой российской феноменологической школы Елены Ознобкиной на близкие ей по духу сочинения, а потом — статью Ренаты Гальцевой с критикой этой школы и с отсылкой к материалам Ознобкиной, то журнальной логики здесь не обнаружит только враг логики как таковой. И если мы «борхесиану» Александра Гениса сопоставляем с оспаривающей ее «борхесианой» Юрия Каграманова, то это не значит, что один из лучших, на наш взгляд, современных культурологов играет здесь перестраховочную роль конвоира: оба текста могут поспорить между собой и в «яркости». Точно так же мнение поэта Юрия Кублановского о той эстетической ситуации, которую описывает на страницах этого номера Владислав Кулаков, мнение практика (работавшего и в «андерграунде»), не совпадающее с мнением теоретика, — является, на наш взгляд, вполне уместным коррективом к манифестантской решительности первого, поскольку возвращает читателя в «ситуацию» здравого смысла.

Главное же — вот в чем. Не будучи ни «релятивистами», ни «тоталитариями», мы не прочь поспорить с концепциями, которые нам не по душе, но прежде, чем спорить, хотели бы продемонстрировать их читателю изнутри, такими, как они видятся самим адептам. Для этого нужно только одно условие: чтобы эстетические идеи излагались их сторонниками не агрессивно, а аналитично, не «пудрили мозги» читателю, а адресовались его интеллекту. Когда-то такому условию отвечала статья Вяч. Курицына о постмодернизме (в ту пору был он еще мечтатель — не боец), и мы эту статью с удовольствием опубликовали («Новый мир», 1992, № 2), задав потом автору несколько недоуменных вопросов. Еще раньше тому же условию отвечало мифо-метафизическое эссе М. Эпштейна «Искусство авангарда и религиозное сознание» («Новый мир», 1989, № 12) — как давно это было и где теперь мода на возведенную Эпштейном конструкцию! — теперь тех же самых сочинителей, которых он подверстывал к христианской апокалиптике, с тем же успехом пристегивают к любимцу вольнодумных снобов Дерриде... И этому условию отвечает, как кажется, статья «Стихи и время» В. Кулакова, тонкого, пусть и пристрастного, аналитика поэтических текстов на их молекулярном уровне. Автору не откажешь в том, что он ставит перед сегодняшним художественным сознанием отнюдь не бессмысленные дилеммы, как бы он сам их ни разрешал.

Вот эта-то интеллектуальная провокация и меня заставила задуматься над существом дела, о чем вкратце скажу.

Ложиться на пути философского паровоза, к которому прицеплены поэтические вагонетки «концептуализма», «конкретизма», «минимализма» и «соц-артизма», — дело гиблое. Раздавит, не притормозив. Спросите у его машиниста, откуда тот взял, что нынешний «цивилизованный мир» признает только «личностные» ценности, а «надличностные» давно отринул (это американцы-то с их «гражданской религией», это французы-то с охраной родного языка на законодательном уровне!); спросите, почему новейший индивидуализм, не веря в непреложность даже личности как таковой, обяжется тем не менее свято чтить «права человека»; скажите ему, что все эти теориейки, с помощью которых он мечтает «навсегда обезопасить» мир от новых «холокостов» и «тоталитаризмов», на деле суть теориейки леворадикальные, разъедающие общество, которое, впитав их, будет то и дело вспухать нарываками «малого» этнотеррора или большого оккультного шантажа в стиле «Аум», — выскажите все это нашему деконструкционисту, он и не услышит. Не поймет сигналов, посылаемых из внешнего ему мыслительного пространства. Потому что то, что он зовет свободой от Логоса и от любых «центрирующих» начал, представляет собой замкнутую систему сознания, наподобие марксизма, то есть, как справедливо заметил Ю. Кублановский, идеологию. Быть может, самую могущественную к настоящему времени и готовящую опустошаемые ею умы к восприятию идеологий «эзотерических», втайне рассчитывающих на мировое господство.

К счастью, В. Кулаков слишком любит поэзию, чтобы надолго задерживаться у модных философский алтарей. И, высказав несколько положений, хоть и не новых, но с которыми трудно не согласиться, — о связи поэтического языка с живой речевой практикой своей эпохи, о совпадении со своим временем (на его глубине, конечно, а не на официальной поверхности) как залого долговечности искусства, — он пытается дать описание тому, что наши братья по тоталитарному несчастью, немецкие литераторы 1945 года, называли «ситуацией ноль». То есть такой ситуацией, когда все слова кажутся «виновными», задействованными преступным режимом и запятнанными им, а опыт пережитых бедствий — беспрецедентным, несказанным. И проблема здесь — есть.

Я, наверное, сделаю приятное В. Кулакову, процитировав в его поддержку два стихотворения, написанные в то «нулевое» время немецким лириком Гюнтером Эйхом (1907 — 1972), в отличном переводе В. Библихина. Этот поэт был простым солдатом второй мировой, побывал в американском плену, хватил лиха. В его стихах есть все, что Кулаков готов назвать стихийным деконструкционизмом: конкретистская любовь к перечням, минимализм впечатлений, стихопоисания «живой речью», отказ от рифмы. Вот первое из них.

### Инвентаризация

Это моя фуражка,  
это моя шинель,  
здесь в полотняном футляре  
мой станок для бритвы.

Консервная банка:  
моя тарелка, мой бокал,  
на луженой жести  
я нацарапал имя.

Нацарапал вот этим  
драгоценным гвоздем,  
который я прячу  
от завистливых глаз.

В сумке для хлеба  
пара шерстяных носков  
и кое-что, мною  
никому не показываемое.

Все вместе мне ночью служит  
подушкой голове.  
Здесь лежит картон  
между мной и землей.

.....  
 Это моя записная книжка,  
 это моя плащ-палатка,  
 это мое полотенце,  
 это мои нитки.

А вот и второе:

### Рецепт яичницы

Сухое молоко фирмы братьев Гаррисон, Чикаго, яичный порошок Уокер, Мерримейкер энд Компани, Кингстаун, Алабама, не растасканная немецким командованием лагеря мука и трехдневный рацион сахара дают, замешанные на густо хлорированной воде дедушки Рейна, прекрасное тесто для яичницы. Жарьте его в порции смальца для восьми человек на крышке от консервной банки, над костром из давно высохшей травы. Когда потом вы вместе поедаете всё, — каждый свою восьмушку, — о, когда она тает на языке, вы ощущаете в какую-то роскошную секунду счастье затаенного детства, где вы прокрадывались на кухню, чтобы выпросить кусочек теста в канун Рождества, или кусочек вафли, потому что в это воскресенье были гости: в мимолетную секунду вы ощущаете все кухонные запахи детских лет, еще раз крепко вцепляетесь в подол материнского передника — о, печное тепло, материнское тепло, — пока снова не просыпаетесь, и в руках ничего нет, и вы голодно переглядываетесь и снова утрюмо бредете в земляную нору. Поделитесь яичницу все равно неправильно, и всегда надо следить, чтобы тебя не обошли<sup>1</sup>.

Как видите, чтобы в XX веке писать такие стихи, не обязательно быть евреем. Достаточно быть немцем. Или русским... Эти стихи с любовью цитирует Генрих Бёлль в своих лекциях о литературе. С любовью — но и с грустью вспоминая Штифтера, классика немецкой прозы, создававшего на ее страницах традиционный немецкий «уют». Сам Бёлль, будучи большим художником, без труда совмещал в своей поэтически заряженной прозе скорбно-минималистскую «инвентаризацию» и «уютность», овсянную обилием и теплом обустроенного мира. Обратим внимание на эту способность совмещать, связывать в творческом акте художественную ситуацию «до» и «после» катастрофы и попутно зададимся вот какими вопросами.

Во-первых, так ли уж точно совпадает германская «ситуация ноль» (или ситуация «после Аушвица») с российской — в эстетическом плане? И, во-вторых, не является ли чистота эксперимента, которую находим у русских поэтов, выразивших свою «ситуацию» напрямую, свидетельством известной ограниченности таланта?

Отвечая на первый вопрос, замечаю большие различия. Коммунистическая диктатура, продолжавшаяся куда дольше нацистской и по части «культурной революции» действовавшая куда более решительно, отторгла и унизила целые пласты общекультурного и поэтического лексикона («звук сузился» — Манделштам), так что «невиновными», не захваченными руками режима оказались богатейшие словесно-понятийные залежи. «То, что мы зовем душой...» — помните, как застенчиво, с неподдельно колеблющейся интонацией, вводил Кушнер новое, да, новое, невиновное, непричастное к общественному злу слово? «Тоска по мировой культуре» и по ее изобильному словарю, по ее гулкому историческому эхо, была у нас «после катастрофы» совсем не тем, чем была она у акмеистов 10-х и 20-х годов: она стала не только тоской по прерванной насильно традиции (что отмечает и Кулаков), но и тоской по полноте человечности.

Старый акмеизм «преодолевался» одним тем, что поэтически окликаемое богатство конкретного мира было уже не богатством, которое всегда под рукой, а

<sup>1</sup> Цитируется по кн.: «Самосознание европейской культуры XX века». М. 1991, стр. 320 — 321, 330.

возвращенным, с усилием — вопреки насилию — возвращаемым и потому новым богатством, — если воспользоваться терминологией Кулакова, не повторением, а событием. Оттого-то поэты, работавшие на расширение «сужившегося звука», припоминавшие старые смыслы и произносившие их «как свои», совпадали с эстетической потребностью времени, которое опоминалось от смертного обморока не меньше, а может быть, больше, чем те, кто сделал из речевой аскезы главное свое достижение. С конца 50-х по 80-е годы, на фоне последних творений угасающих великих художников, русской поэзией, той, что формально оставалась подсоветской, был заново канонизирован, введен в поэтический оборот широчайший круг предметных и умозрительных смыслов — от радиолы и микропоры до «ларца с защелками», от муравья до ангела и Минотавра, от Нижней Дебри до Венеции. Не «ленинские нормы» восстанавливала настоящая поэзия по ту и по эту сторону цензуры, а отнятые имена вещей. И уже можно было воскликнуть, что нам, в нашей тайной свободе, «остается язык, круговой посошок» (О. Чухонцев), потому что он, язык, пропал и — вернулся. В этом труде по деидеологизации и освобождению поэтического языка своя доля принадлежит и поэтам, о которых пишет Кулаков, но только доля, и притом небольшая.

Здесь — ответ на мое «во-вторых». Дело в том, что навязчивая дистиллированность приема, которую демонстрирует Кулаков у поэтов, выдвигаемых им на авансцену, — это в лучшем случае прямолинейная, чисто рефлекторная реакция на внешнее давление: мол, раз все «они» лгут, обойдусь междометиями и так — отмежусь. В худшем же случае — это попытка из необходимости сделать добродетель. Как заметил один очень умный человек, если ты не талант, остается стать гением. Конечно, это делается не от первого лица (иногда и без участия оногo), а устами групповых теоретиков, которым куда легче подставить грандиозный пьедестал под какой-нибудь одномерный «метод», чем идеологически ужать изменчивый, переливающийся, ускользающий мир крупного дарования.

Сам же Кулаков признает, что поставленное им в заслугу Вс. Некрасову или Я. Сатуновскому писание отрезками «живой речи», необработанной интонацией разлито в культурном воздухе эпохи, и оно свойственно поэтам, которых к постмодерну и деконструкционизму не припишешь. Так и есть. Явственно различаю эту интонационную пронзительную свежесть и в стихотворной реплике, брошенной уходившим в тюрьму Чичибабиным: «Красные помидоры / кушайте без меня», и в оговорчивых вводных словах, перечислительных реестриках и чисто устных, шероховатых инверсиях Кушнера, и в интеллигентски-демократических небрежностях В. Корнилова, и в переиначенных, как бы смешавшихся в голове приговариваниях-присловьях Чухонцева<sup>2</sup>. Просто эти поэты кроме того, на чем, как на ниточке, держатся минималисты-конкретисты-концептуалисты, могут еще ого-го сколько! За это они и отсылаются теоретиком в зону прежней «логоцентрической» культуры, где все еще есть Автор, с его собственным регистром возможностей и личной ответственностью за сказанное. Они ведь тоже чувствуют «ситуацию», но, будучи более одарены и духовно значительны, более способны переработать традицию, не опасаясь в ней раствориться, на «ситуацию» эту не реагируют как на элементарный раздражитель, а преодолевают, трансцендируют ее.

И тут приходит на ум следующее. А что, если спокойная и, по всей видимости, бескорыстная статья Кулакова — все-таки невольный элемент того, что можно назвать схваткой за жизненное пространство? Сейчас (а впрочем, в течение всего новейшего времени — modernity) бурлит передел территорий, передел собственности и... передел мест под солнцем искусства. При большой настойчивости и при искренней горячности (которая у Кулакова несомненна) тут можно достичь неплохих результатов. Но только временных. Культура, пока она жива, — процесс самонастраивающийся и сравнительно быстро раставляет все по местам. Проблема лишь в том, чтобы сохранился самый воздух культуры, чтобы его не откачали эстетические лоббисты, которым сподручнее действовать в вакууме.

<sup>2</sup> Насколько ясно понимали «посттоталитарную» лексическую ситуацию поэты такого масштаба, можно судить по строкам А. Кушнера, словно просящимся в кулаковские выкладки: «Совершенно не останется слов у нас скоро... Со сна / Ишу — не найду... только „может быть“, „значит“ и „то есть“».

---

---

# ПО ХОДУ ДЕЛА

АЛИА МАРЧЕНКО



## И ДУХОВНО НАВЕКИ ПОЧИЛ?

**У**следить, как заманчивое иноземное слово, обозначающее то, что давным-давно известно специалистам, хотя, может быть, и под другим названием, овладевает массами, потрудней, чем засечь продвижку-скачок большой часовой стрелки. Вчера — звук пустой, а сегодня только и слышишь: ремейк? ремейк! ремейк... В кино и на театре, в живописи и в музыке, в поэзии и в прозе. Там, на практичном Западе, с ремейком все как бы понятно: вторичная переработка хорошо забытого старого, утилизация вышедшей из моды, но все еще прочной и добротной вещи, а также — максимум эффекта при минимуме затрат, в итоге же — значительная экономия национальной творческой энергии.

Но то на Западе, где все устоялось, узаконилось, сообразовалось. А у нас? Нам бы от счастья обалдеть, цапая, присваивая, художнически осваивая разбежавшуюся на все четыре стороны света жизнь — безумную, социофреническую, однако ж — кипучую, а главное, изобретательно-непредсказуемо-неустанно формотворящую! Обыватель, конечно же, от пугающих, монструозных новообразований в ужасе отшатывается: чур меня, чур! Но художник? Ему-то вроде лафа? А он... Каюсь, авторы отечественных «вольных копий» с апробированных временем и памятью образцов еще совсем недавно напоминали (лично мне, разумеется) богатых чудаков, вздумавших переиначивать, перешивать (пере-живать) старые свои пиджаки вместо того, чтоб, прогулявшись по Тверской-Ямской, бесхлопотно переодеться — по моде и к лицу, в новенькое, с иголочки.

После «Накануне накануне» Евг. Попова («Волга», 1993, № 4) я призадумалась: слишком уж озадачивал этот гибрид! Ну ладно, рассуждала я мысленно, взбрело Попову Евг. роман со страстями сообразить, а композиционного и сюжетного воображения на роман не хватало, вот и сообразил на двоих (50 процентов — Ив. Серг. Тургенев, 50 процентов — Евг. Попов). А заодно, для самооправданья, и еще одного либерала стародавних времен к ответственности привлек. Зачем-де идеализировал фирменных своих девушек, к носителям губительных идей неравнодушие проявлявших? Так ведь и впрямь виноват дорогой наш, бесценный Иван Сергеевич! Не слишком — слегка, а виновен, руку, улы, приложил и тем самым катастрофе поспособствовал. Но не это — другое смутило: грубость тех самых вставок, посредством коих Попов проредил тургеневский текст. Послали, допустим, господа хорошие, русские, натурально, под Мюнхеном по-старомосковски бытующие, хорошенькую компаньонку гостей к обеду позвать: кушать, мол, подано. И идет себе душенька по садовой тропинке, точь-в-точь тургеневской: усадьба над озером и при речке, липы в цвету, лета макушка, — и походка под стать ландшафту: слегка раскачивая тонкий стан, продвигается и ручкой прелестной, в черную митенку одетой, локоны от лица откидывает... Да вдруг остановится, обернется — нет, не ведьмачкой, душой базарной! Обернется и плюнет — без всякого на то повода — «в морду». И кому? Важному, в Горбачевы глядящему гостю! И тот — ничего, утрется и, плюнув ответно и тоже — «в морду», крикнет вдогонку: «Хороша, стервы!» Да что компаньонка! Известно: низкого звания девица. В «Накануне-II» и лирическая героиня, при полном портретном сходстве с тургеневской Еленой, такое загибает, что оторопь берет. Но — в крайности. При мелких житейских расстройтвах жаргоном обходится. Узнав, к примеру, что приглянувшийся ей «диссидентец», по имени, естественно, Андрон, по фамилии Инсанахоров<sup>1</sup>, смотался с залетными соотечественниками (прихватив бутылку

---

<sup>1</sup> Инсаров плюс Сахаров; совпадающие слоги ополовиньте, остальные переставьте в шапечном порядке.



«Смирнофф»), хоть и улыбается по-тургеневски — слабо, возмущается при этом вполне по-советски: «Какая гадость! Ханку жрать с утра да на халяву!»

При появлении «Накануне-II» в журнальном варианте озадачилась не я одна: критика поповский пробный ремейк скорее заболтала, чем осмыслила, списав прорехи индпошива на постмодернистский способ кройки-шитья. Дескать, только путем простого сложенья, сближенья, склеивания вульгарной совдеповской лексики с комильфотной — классической — достигается нужный для постмодернистов уровень эклектичности «текста слов». Ремейк, однако, с такой скромной — служебно-формальной — ролью не согласился: запахло поисками жанра, и притом жанра, отвечающего отнюдь не узкоавангардистским надобностям. Три года назад злополучное «Накануне-II», прежде чем осесть в «Волге», обошло, как помнится, по слухам, чуть ли не все столичные редакции — безрезультатно. И это несмотря на то, что в ту пору спрос на его автора был еще довольно высок. А ныне и наш «Новый мир», на модные новшества традиционно не падкий, и переделанное принимает, и перешитым не брезгует: № 4 — Вл. Маканин, «Кавказский пленный», № 6 — Юрий Кувалдин, «Ворона», № 7 — Вера Чайковская, «Новое под солнцем»...

Конечно, ремейк ремейку рознь. Одно дело — «Новое под солнцем» В. Чайковской, исполнившей свой любимый усадьбный роман (Тургенев, «Отцы и дети») как дачный романс: речитативом, ломким «домашним» голосом и под любительскую гитару. Или «Кавказский пленный» Маканина, где автор не столько переиначивает на современный лад «кавказские мотивы» большой классики, сколько демонстрирует добротное — классическое — качество письма и даже — красоту слога. И при этом — по ходу дела, а не специально — напоминает нам, забывчивым: «вечная война» началась не сегодня и «кавказский узел» без оглядки на Толстого — Лермонтова не развязать. И совсем другое — «Ворона» Ю. Кувалдина. Вот уж кто и порет, и режет, и кромсает Чехова недрогнувшей рукой, рвет не по нитке — вперекос, переделывая вечную драму то ли в фарс, то ли в скетч!

Эрудированный читатель может подумать, что перекраивает автор «Вороны» не столько чеховский «сюртук», сколько мрожековское — лоскутное — «арлекино». И хотя это не так, сходство удивительное и тем знаменательное. Маргарита Хемлин, рецензируя в «Сегодня» (1995, 25 марта) поставленный по этому модному ремейку спектакль («Любовь в Крыму» Славомира Мрожека, режиссер-постановщик Роман Козак, МХАТ им. А. П. Чехова), справедливо отметила, что легкокасательную «игру в классику», предложенную драматургом, Козак, несмотря на «угрожающие авторские наставления», безбожно — по-русски — утяжелил: нагрузил «смыслом» и «смыслами», превратив прогулочную яхту в тягловый сухогруз. М. Хемлин объясняет утяжеление издержками нашего тяжелого климата (рецензия так и называется: «Издержки климата»); надо было-де по мрожековским указаниям играть: легко, весело, не вламываясь в «институт сюжета», а сюжет: краткая «история интеллигента от позднего декаданса до ранней перестройки».

Думаю, что климат — в самом широком смысле — тут ни при чем: Р. Козак, судя по его диапазону (режиссерскому), вполне мог бы поставить Мрожека по-мрожековски, кабы не Чехов... «У русских, — вспоминал Набоков, — была своего рода игра делить своих знакомых на тех, кто любит Чехова, и тех, кто не любит. Те, кто не любил, считались не того сорта». Похоже, что и Козаку известно про существование такой — не мрожековской — игры, и попасть в число персонажей «не того сорта» наверняка не хотелось. Должно быть, слышал о такой — тестовой — игре и автор «Вороны», но ему, в отличие от Козака, начхать, «чертом какого сорта» посчитает его презираемая им «гнилая» интеллигенция, поскольку цель его фароскетча — доказать, что «народец» этот, на шею «новых русских» повисший, все, что мог, уже совершил.

...Как бы чеховские декорации, как бы чеховский макияж... И актеры, и втянувшийся наемных лицедеев в чужую игру ремейкер отлично понимают, что они, все, — духовные мертвяки и так же отличны от тех, под кого Ю. Кувалдин их загримировал, как вульгарная ворона от изящной чайки. Это у Чехова — где-то и когда-то, где, не знаем сами — неужели в России? — стрелялись и стреляли из-за любви... В ремейке Кувалдина никто никого не любит, здесь мертвый хватает живого, как только этот живой — единственный живой среди духовно почивших (то есть бизнесмен Абдуллаев) — попытался избавиться от надоевших и обременительных «нахлебников».

Но позвольте, может спросить постоянный и внимательный читатель «Нового мира», — если все это именно так, если автор «Вороны» убежден, что интеллигенция — балласт (тяжел камень, ко дну тянет), мешающий новым хозяевам России делать Дело, то зачем же журнал, который мы, интеллигенты, считали и считаем своим, сей пасквиль, эту пародию на русскую интеллигенцию — якобы никчем-

ную, ленивую, праздно болтающую, духовно захиревшую и даже почившую — опубликовал?

А затем и опубликовал, что «Ворона» простодушно, но внятно проговаривает-называет по имени, броским языком телешоу, то, что ремейкеры более осмотрительные предпочитают держать в уме, полагая, видимо, что читатель и сам смекнет, на что ему автор то братских, то панибратских «переключек» с Великими Бывшими намекает. А намекают авторы русских ремейков на то, что, объединяя под крышей единого сюжетного устройства век нынешний и век минувший, не просто времена сравнивают, а две наших — русских — жизни сопоставляют: ту, что до, и ту, что после. Конечно, делают это не они одни, но ремейк, в силу специфики жанра, позволяет сделать сопоставление-сличение особенно наглядным. Именно в ремейке отчетливо видно, что все старые русские вопросы — от «кто виноват» и «что делать» до «хотят ли русские войны» — свелись к одному — роковому — и в нем, одном, сошлись: а имеет ли наше нынешнее после хоть какое-нибудь свойство — о родстве и речи нет, — с формально вроде бы нашим до? Или за семьдесят лет «одичания» мы (не интеллигенция только, она, теперешняя, как известно, вся из народа вышла, а вообще народ) домутировались до такой степени, что и связь времен оборвалась, и великая генетическая цепь распалась, и новые русские — буквально биологически новые?

«Новые взойдут колосья», — предсказал (в самом начале биологической перестройки) «пророк Есенин Сергей», взвешивая на своей крестьянской, хотя и в лайку одетой ладони разбрасываемые новыми сеятелями яйцезерна.

А что, если и в самом деле наконец-то взошли, взошли и заволокли от края и до края — русское поле? И прав не Маканин, твердо верующий, что Россия так велика и «потенциальна», что ничего всерьез порушиться в ней не может, а Кувалдин, а еще более Евгений Попов?

При первом прочтении его «Накануне накануне», я, как уже призналась, лишь недоумевала да обуздывала свои брезгливости: ну с чего бы это персонажи двойного «Накануне», получившие вид на жительство в благоуханно-прекрасном Дворянском Гнезде, ведут себя так, словно это не их наследный Дом, а обыкновенный советский вокзальный-транзитный нужник-сортир? Перечитывая поповский псевдороман для этих вот — по ходу дела — заметок, я, увы, уже не удивлялась, и нос не зажимала, и уши пальцами не затыкала, а — сопоставляла. Сличала — с подлинным. С мемуарами художника Юрия Анненкова (волею случая они оказались в кругу моего чтения именно в эту неделю).

«В 1918 году, — вспоминает Анненков, — после бегства красной гвардии из Финляндии, я пробрался в Куоккалу... чтобы взглянуть на мой дом. Была зима. В горностаевой снеговой пышности торчал на его месте жалкий урод... Обледенелые горы человеческих испражнений покрывали пол. По стенам почти до потолка замерзшими струями желтела моча... Половицы расщеплены топором, обои сорваны... кастрюли, сковородки, чайники — доверху заполнены испражнениями. Непостижимо обильно испражнялись повсюду, во всех этажах, на лестницах — слизистая ступени, на столах, в ящиках столов, на стульях, на матрасах, швыряли куски испражнений в потолок. Вот еще записка:

„Панюхой нашава гавна ладна ваняит“».

Комментарии, соглашаюсь, отнюдь не излишни, но я все же воздержусь — суеверно — от лобовых, напрашивающихся толкований. Одно ясно: Евг. Попова новый русский вопрос озаботил раньше, чем нас с вами, недаром же он сначала оборотил своего Инсанахорова (а по сюжетной раскладке в «Накануне-II» Андрон — единственный из действующих лиц, кому каким-то чудом удалось сохранить в целостности свой, так сказать, литгенофонд) в младенца, чуть ли не в эмбриона. А затем, приставив к нему в качестве «мамки» Русю — Елену, спрятал в неизвестности, в глуши, «в районе озеро Волго», а нас, чтобы не искали, — уведомил: «И Руся, и Инсанахоров исчезли навсегда и безвозвратно».

Народ — на то он и народ — с проклятой неизвестностью, естественно, не смирился. Пессимисты напоминают, что в поезде, которым Руся с крошкой Андроном на руках возвращалась — через Хельсинки — в Москву, произошел страшный взрыв. Оптимисты же, как и положено оптимистам, слагают легенду о красивой молодой женщине, невесте откуда взявшейся в святом месте — у «исток великой русской реки Волги». Живет, мол, та пришедшая женщина бедно, на скудное жалованье деревенской учительницы, а в свободное от службы время воспитывает мальчика, по слухам, чрезвычайно одаренного.

Кто правее? Оптимисты? Пессимисты? Боюсь, что и те, и другие. Или ни те и ни другие. Ведь в той страшной сказке, которую мы, на радость всем буржуям, сделали бльёу, концы с концами никогда не сходились.

# КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

## ШАБЛОНЫ СКЛОКИ И ЛЮБВИ

Николай Коляда. Пьесы для любимого театра. Екатеринбург. Банк культурной информации. 1994. 400 стр.

Шаховской не имеет большого вкуса, он худой писатель — что ж он такой? — Неглупый человек, который, замечая все смешное или замысловатое в обществах, пришел домой, все записывает, и потом как ни попало вклеивает в свои комедии.

*А. Пушкин, «Мои мысли о Шаховском» <Из лицейского дневника>, 1815.*

По решению Управления культуры администрации Свердловской области десяти тысячным тиражом, для наших дней почти невероятным, издан сборник пьес екатеринбуржца Николая Коляды. Четыреста страниц убористого шрифта, твердая обложка, ностальгический гриф «Библиотека драматурга». Художественное оформление — ниже среднего, но кто же станет придираться.

Критику, особенно театральному, пропустить такое событие грех. Перенгабельной драматической литературы на книжном рынке очень мало (с оговоркой насчет собраний Шекспира, идущих нарасхват), а сборник современного автора, которому к тому же не минуло сорока (Коляде сейчас тридцать восемь), — вовсе редкость. Помню лишь два подобных: в 1989 году «Союзтеатр» выпустил «Чудную бабу» Нины Садур (р. 1950) и в 1992-м — «Из жизни Комикадзе» (так!) Алексея Шипенко (р. 1961). Пьесы Садур, надо сказать, разлетелись почти мгновенно, тираж Шипенко удалось распродать от силы на треть: рубеж 90-х годов оказался, ко всему прочему, переломным временем в истории русского книгочестия.

Найдут ли читателя пьесы Коляды и где их надо искать заинтересованному книголобу (не в Свердловскую же область ехать!) — право, не знаю. Зрителя они, во всяком случае, находят без труда. Коляда — самый популярный драматург в своем поколении, да и не в нем одном. Он плодовит, как царь Данай, и трудолюбив, как все Данаиды, вместе взятые. У него поставлено двадцать пьес (в одной Москве сейчас идут четыре) — это, без сомнения, рекорд десятилетия.

Коляда, свою первую пьесу написавший в 1986 году, волею судьбы и цензуры оказался в одном строю с авторами «новой волны» — дай бог, последним задержанным поколением русской драматургии. Бдительные управления культуры напор «волны» сдерживали, сколько могли, и старшим коллегам Коляды (Петрушевской, Славкину, Садур и другим) театральную судьбу помяли сильно. Судьба замыкающего интересна всегда, а в данном случае особенно: важно понять, почему именно последний всплеск оказался самым раскатистым.

К пьесам «новой волны» прилипло двусмысленное и неточное слово «чернуха» (ср. арготизм «лепить чернуху», то есть лгать). Оно на околотитературном жаргоне означает сразу и предмет — картины люмпенизированного быта, — и настрой, естественно, пессимистический, поскольку монотонный, грязный и скандальный быт представляется прочным непоколебимо. Воссоздать его драматургически было делом заманчивым и не таким уж сложным. Главной проблемой для авторов «новой волны» почти всегда оказывалась не отделка слога, а развитие сюжета: что может произойти в мире, где принципиально ничего не меняется? У старших драматургов «новой волны», у Людмилы Петрушевской в особенности, резкие и подробные бытовые зарисовки ошеломляли достоверностью, однако, потеряв эффект сценической новизны, они стали вызывать у зрителя раздражение — как любое повторение неприятной и общеизвестной правды. Качества нового стиля остались недоразгаданнами и неразвитыми.

Николай Коляда с его острым слухом, довольно ограниченным писательским дарованием и бурной сентиментальностью первым сумел привнести в изображение вечных будней особую, сугубо театральную яркость. Место действия он чаще

всего выбирает наименее привычное: плохо обжитая квартира с более или менее резкими чертами убожества. «Обои в квартире отваливаются. Все стены в кровавых пятнах. Хозяин квартиры будто назло кому-то давил клопов» («Рогатка»); «Еще беднее, нищее стало все вокруг. Старые зеркала отражают в своих трещинах мебель, половики, беленый потолок» («Чайка спела...»); «Потолок в комнате грязный, запатиненный, потрескавшийся» («Сказка о мертвой царевне»). Однако неприятные подробности в пространных ремарках Коляды спокойно уживаются с литературными красотами во вкусе Леонида Андреева: «За окном неясные, странные, неземные, непонятные звуки ночного города. Такие же странные эти два человека. Словно серебряные нити протянулись между ними и соединяют их» («Рогатка»); «В белом искрящемся платье ступает по звездам Ирка Лаптева. Это она умерла много лет назад. Это она хотела, чтобы я написал про нее. Это про нее я придумал эту историю» («Сказка о мертвой царевне»).

Не говоря уж о многословии и тавтологических эпитетах, это соединение очень наивно стилистически. Однако, подчеркивая контраст «грязь — свет», Коляда посылает театру именно тот сигнал, который хочет послать. Если автор чувствует, что сигнал слаб, он приписывает к ремарке собственный лирический монолог («Полонез Огинского», «Канотье» и др.) о любви, смерти, Боге и вообще главных ценностях бытия; словарь его, как правило, груб, интонация же — страстна и веле-речива.

На таких же сочленениях вульгарного с возвышенным в драматургии Коляды строятся сценические характеры, при этом и пафос предполагается подлинным, и вульгарность — не напускной. Они преувеличены, доведены до экзальтации. Персонажи Коляды всегда как будто перевозбуждены, и кажется, что естественнее всего для них разговаривать на постоянном крике. По количеству восклицательных знаков (в последней реплике «Мурлин Мурло» их нагнано двадцать пять) пьесы Коляды — самая громкая драматургия, какую я только знаю.

Наиболее удачные сцены в этих пьесах — сцены долгих, колоратурных скандалов. Персонажи Коляды ругаются и ссорятся изобретательно, с чувством, с отчаянной самодраматизацией. Сам словарь скандала у них гораздо богаче, чем, к примеру, словарь любовного объяснения. В бытовых склоках, подробно выписываемых драматургом, истинным специалистом этого дела, ощущается, как ни странно, кипучая радость — радость полногласия. Только скандала персонаж Коляды избавляется от косноязычия, заглушая убожество своей жизни криком.

Судя по пьесам, вошедшим в сборник, хитростями сюжетосложения Николай Коляда пренебрегает, придумав себе несколько типовых историй. Самая простая и выигрышная выглядит так: в монотонной и нищей, по привычке переносимой жизни появляется Прекрасный Гость (в «Рогатке» его зовут Антон, в «Мурлин Мурло» — Алексей, в «Сказке о мертвой царевне» — Максим, в «Канотье» — Виктория). Возникает шанс на взаимопонимание, любовь, очищение. Вплоть до развязки трогательные беседы перемежаются крикливыми ссорами (движение сюжета — колебательное), в финале возможны варианты. В первой из названных пьес Гость уходит и возвращается слишком поздно (Хозяин покончил с собой); во второй оказывается презренным трусом; в третьей — примерно как в первой; в четвертой ложная Гостья навсегда исчезает, а подлинной оказывается Соседка. Заключительное очищение, наступающее каким бы то ни было образом, Коляда предписывает всегда: оно стало для автора законом жанра.

Николай Коляда — драматург, совершенно не боящийся аффектации, выпренности и мелодраматичности. В какой-то степени от подчинения требованиям вкуса его освобождает тема. Коляда знает, насколько всамделишны литературные штампы для массового сознания, с какой оглядкой на телевизор любят, ругаются и выясняют смысл жизни те люди, которых в старину пристойно именовали «простонародьем». Коляда первым из театральных бытописцев, пользующихся реальным, «нелитературным» словарем, понял и оправдал для себя народную любовь к индийским фильмам и мыльным операм («Почему вы их смотрите?» — «Потому что там все правда!» — стандартный ответ в устных социологических опросах). В конце концов, сам он родился на свет в селе с душещипательным названием Пресногорьковка, будто бы напрокат взятым из поэмы Некрасова («...езда Терпигорева, Пустопорожней волости...»). Ему ли не осознавать, как трепетно открывает себя художественному шаблону простая, почти безличная жизнь, на общий образец проживаемая?

Общеизвестно: английские завсегдатаи художественных салонов в конце XIX века открыли для себя сиреневость лондонских туманов благодаря новой живописи. Куда менее очевидно, что большинство людей опознает живописное в себе и вокруг при помощи литературных шаблонов и штампов, искусствоведчески непереносимых. Куда менее очевидно, что в обычной жизни обычные люди говорят между собою о важном заимствованными, перенятыми словами — и именно клишированность служит для них гарантией выразительности.

Косноязычие заурядного человека драматургия «новой волны» осознавала для себя как непрекращающуюся тупую муку — муку персонажа, но и автора тоже. Людмила Петрушевская с ее чутким и безжалостным слухом филолога выставила напоказ, как корежится обыденным сознанием строй выражаемой мысли — синтаксис фразы. У Коляды речь, насквозь прожженная штампами и вульгаризмами, течет естественно и свободно. Автор перекачивает ее на языке с тем же смешливым и радостным удивлением, с каким, должно быть, записывал голоса купеческого Замоскворечья начинающий драматург Александр Николаевич Островский.

Брань, жаргон, непристойность — едва ли не единственные украшения, имеющиеся у обыденного косноязычия («А вы зачем ругаетесь?» — «Да это у меня так — для красноречия», — записано в лагере Андреем Синявским). Коляда использует их в пьесах по природному назначению: для яркости (а яркое он любит). Ему нравятся слова, употребленные для того, чтобы одновременно оскорбить и увеселить слух. «Деревню — говневню», «Как ни ссы — последняя капля в трусы», «Один палка, два струна, я хозяин вся страна», «Я Ваня, а не Шницельблюм», «Магазин „Херни навалом“» — эти подзаборные бонмо собраны с одной, почти наугад выбранной страницы («Полонез Огинского»). Причем все это в диалог вмонтировано слабо, очистить его ничего не стоит, но тогда ничего характерного в диалоге попросту не останется, да и говорить станет не о чем.

«В и т а л и й. Ах, тудой! Тады — о'кей! Посиди, Макся. (Нине.) Берегите его. Он банкир. Без него нам — не проханжэ. Сейчас, Макся, она нам собаку заботает и — киздарики. Издвиняюсь, пардоньте меня. Сиди. Гы-гы...» («Сказка о мертвой царевне»).

В пьесе более традиционной тирада эта уместилась бы в два слова:

«В и т а л и й. Посиди, Максим. (Молчание.)»

Иногда кажется, что Коляда вообще не строит диалог как словесную конструкцию, а лишь притискивает пришедшиеся к случаю вульгаризмы. Со словом он работает небрежно, и самое уязвимое в его пьесах — тирады (чем длиннее, тем слабее). Его тексты даже не мозаичны, а почти хаотичны: возможно, эта манера письма и обеспечивает драматургу исключительную плодовитость.

Однако уже сейчас можно сказать, что Николаю Коляде принадлежит особое место в современной драматургии. Разговор о массовой жизни он повел, усвоив уроки массовой культуры, и тем самым лишил традиционные темы «новой волны» их надрывной и болезненной остроты. Итоги литературной работы, растянувшейся на два поколения, он по-своему сумел обобщить и вернуть тем людям, с которых списывались персонажи. Уже поэтому в популярности его пьес нет ничего удивительного.

Александр СОКОЛЯНСКИЙ.



## ПАРАДОКСЫ АЛЬФРЕДА ШНИТКЕ

Беседы с Альфредом Шнитке. Составитель, автор вступительной статьи А. В. Ивашкин. М. РИК «Культура». 1994. 304 стр.

**М**не пришлось говорить о первой книге бесед с А. Г. Шнитке, которые записал Д. И. Шульгин (см. «Новый мир», 1994, № 5), в ней мы встретились с ранним Шнитке в годы его неизвестности. Новый же цикл бесед, записанных А. В. Ивашкиным (музыкантом и профессиональным критиком), — во многом иное явление; разговоры эти проходили в 1985 — 1992 годы, в совершенно других условиях. В первой книге были вынужденные умолчания, преобладала сдержанность, в этой — композитор и его собеседник полностью свободны и откровенны

ны. Да и времени немало утекло между ранним Шнитке и нынешним. Перед нами книга нового опыта и нового кругозора, очень пристального взгляда — и «в себя», и на окружающий мир. Здесь мы имеем дело с размышлениями Шнитке не только о своей музыке, о музыке современников и предшественников, вплоть до самых отдаленных в глубине веков, но и о самой жизни, включая неизбежные детали биографии, личные воспоминания; об искусстве, литературе, религии и философии... Альфред Шнитке размышляет вслух, и сам процесс «наглядного мышления» не может не увлечь — всем своим ходом, неожиданной сменой тем, парадоксами, которыми, как известно, наделена и сама музыка Шнитке, выражающая дух времени, но в то же время не рвущая с прошлым, идущая его, идущая порой как бы вспять.

Вот один из главных эстетических (но и этических) парадоксов Шнитке: новое как опасность, настороженность перед будущим, к которому (редкость у художника!) он не питает большого интереса.

«Для меня вся жизнь, — говорит композитор, — есть непрерывное взаимодействие рационального, божественно предопределенного — и непрерывного потока иррационального, как бы еще не «проросшего», совершенно нового... Я убежден, что существует некая темная иррациональная сфера, которая более всего всегда обращена к новому. Все наиболее страшные, чудовищные события в истории человечества — связаны с новым (подчеркнуто Шнитке. — А. К.). Это страшная французская революция, Октябрьская революция, все страшное... в лице фашизма и... что проросло из этого. Все это наиболее страшно обнаруживается в первом воплощении. ...Всякий импульс к новому всегда и творческий, и реакционный. Его нельзя просто приветствовать как принцип нового и тем самым хорошего. Новое — это и хорошее, и плохое; каким оно станет — зависит от людей, которые возьмут это новое».

В этом суждении Шнитке — не вызов и тем более не обличение «авангарда» (на этих страницах он вообще никого не судит), но глубокая мысль, выстраданная его собственным, житейским и художественным, опытом. Новое — это всего лишь забытое старое. Источник, который всегда напоминает об этом композитору, — Библия. «Библия в виде преданий и отголосков уже содержит свидетельства о знаниях, которые сейчас к нам возвращаются, а не в первый раз приходят. А следовательно, и не во второй. Это наше бесконечное проживание по кругу. С возвращениями и уходами».

В культе нового (не только в искусстве), по Шнитке, заинтересован сам... Дьявол. (Да! Да!) «Ко всему новому — приковано особое внимание Дьявола. ...Дьявол бросается на то, что им еще не испытано», «Дьявол скорее всего понимает, что методика обращения со всем новым — не столь детализирована, как методика обращения с давно известным. Поэтому новое может привести к преувеличениям, и здесь можно „подшутить“». О Дьяволе говорится неоднократно и всерьез, ибо все это исходит из уст музыканта-католика. Порой даже кажется, что листаешь страницы Томаса Манна («Доктор Фаустус») или немецкой «народной книги» о докторе Фаусте, — и резон для этого есть, потому что профессиональное музыкальное воспитание Альфреда Шнитке, как и «общеобразовательное», строилось на немецкой культуре: он — прежде всего немецкий (в значительной степени и австрийский) композитор. Эту принадлежность он для себя уяснил полностью и внятно объясняет ее и собеседнику, и нам.

Итак, современного художника, как и любого из нас, подстерегают козни Сатаны. Но где тогда выход?

«Быть начеку, — отвечает Шнитке. — И относиться скептически к самому себе, к неокончательной человеческой своей сущности. Человек все время пытается дистанцироваться от самого себя. А дистанцируясь, попадает в опасность уподобить себя ложному ангелу... Избавляясь от опасности номер один, ты немедленно обрастаешь опасностями номер два и три».

Эти мысли вполне могли бы принадлежать Мейстеру Экхарту с его заповедью: «Божья глубина — моя глубина. И моя глубина — Божья глубина», и действительно, ответ немецкой мистики у Шнитке мы можем уловить. Но в данном случае интересен самый его скепсис по отношению к себе, ощутимый на протяжении всех бесед. Иногда кажется, что для Шнитке важна пассивность как житейский принцип, что он склонен отрицать всякую активность, но, разумеется, это не так — просто Шнитке предстает перед нами в своем естественном облике — как

смиранный христианин. (Разумеется, не подчеркивая свое смирение — это мы его видим таким, каков он есть.)

В этом «скепсисе» (иначе сказать — самоотречении), как ни удивительно, — залог достижения подлинных ценностей в искусстве. Говоря с сожалением об огромном отрезке времени, прожитом до перестройки, когда была запрещена свобода творчества и многое творчески было потеряно, Шнитке заключает: «Я сначала огорчался, когда что-то терял. А потом перестал огорчаться. Потому что понял: все, что ни происходит в жизни, никогда не идет к совершенству, не достигает совершенства. Оно всегда перемещается от одного пути к идеальному — к другому, но никогда не достигает умножения идеальных качеств».

Подходы к идеальному многообразны, важно жить с ощущением пути и цели. За этим — опыт, в том числе и религиозный. «Все, что я делаю, — это попытки приблизиться к тому, что не я делаю, а что уже есть, и я должен только зафиксировать. ...Я должен ясно услышать то, что есть вне меня. Это значит, что сколько на Земле сейчас людей, столько и миров.

Для меня есть мне невидимая, но бесспорно существующая другая реальность. ...Невероятное количество рифмующихся вещей в жизни! Невероятное количество как бы странностей, параллелей».

Признание важное. В другом месте Шнитке говорит прямо: «музыка мной не пишется, а улавливается»; «вроде как я имею дело не со своей работой, а переписываю чужую. ...Я как бы вижу в окончательном виде то, что раньше видел лишь в более или менее удовлетворительном». Эту черту он связывает с «немецкой сущностью» своей музыки, но, конечно же, здесь речь идет об онтологической сущности искусства как такового. То есть Шнитке опускает свой дар ниспосланным «свыше», он отныне призван говорить своей музыкой о «вещах невидимых»; свой музыкальный язык он ощущает как духовный, «пророческий»... Понятно, что всех этих слов сам композитор в беседах избегает; к тому же он убежден, что процесс постижения идеального и в искусстве и в жизни не бывает окончательным. Он говорит: «Я, кстати, не окончательно убежден в буквальной точности того, что я читаю в Библии. Я могу допустить, что библейский текст содержит в себе все толкования — они могут быть правильные или неправильные. Но окончательный смысл мною при жизни понят быть не может. Я как бы чувствую, что есть идеальная мотивировка, но я не могу ее сформулировать»... «„Идеальная мотивировка” — то, что движет нами в поисках лучшего».

При этом «каждый шаг, каждое движение пальца — все это бесконечная связь». Отсюда и такая тяга у композитора к цитатам, которые позволяют ему в собственной музыке пережить прошлое. Этот момент мне представляется весьма важным в эстетике Шнитке — его истолкование музыкального времени. На вопрос А. Ивашкина, не является ли это обращение к прошлому попыткой преодолеть линейность времени (то есть преодолеть «настоящее»), Шнитке отвечает: «Для меня как бы возрастает реальность времени — оно все ближе подступает. И эта возрастающая реальность заставляет меня менять свое отношение ко времени. ...Постепенно во мне окрепло ощущение, что все эти бесчисленные миры других времен продолжают жить. Как бы от каждой точки — целый мир. ...Это бесчисленное количество выхваченных из разных пространств точек. И вот возникает такое ощущение бесконечного леса времен, где каждая линия времени — другая, каждое дерево — растет по-своему. ...Они-то продолжают жить, эти деревья. Поэтому и отношение ко всему в прошлом — не как к музейным экспонатам. Я как будто возвращаюсь в этот идеальный лес. Лес, конечно, очень грубое сравнение: я возвращаюсь в это идеальное скопление разнородных существ, и музыка там тоже растет. ...И вот поэтому я, имея это ощущение, считаю возможным возвращение ко всему прошлому. Это и не возвращение: что бы я ни делал, я все равно к чему-то возвращаюсь. Нового же нету, а все, что существует как якобы новое, вся сегодняшняя музыка, — это уже было! Было — было — было! И опять растет. ...Сейчас у меня есть ощущение сосуществования всех времен и возможности их появления независимо друг от друга абсолютно всегда».

Это ощущение жизни как «леса» решающее воздействие оказывает и на творческий процесс, на свободное отношение к форме сочинения: «Раньше я исходил из утопического идеального представления о будущем сочинении как о чем-то застывшем. О чем-то кристаллически необратимом. Сейчас «исхожу» — из представления об идеальном некристаллическом мире. Я не знаю, какой он сущности, он абсолютно изменчив ежесекундно, но продолжает при этом оста-

ваться идеальным. Это не идеальность прекрасного кристалла или произведения искусства. Это — идеальность какого-то другого порядка, которая ж и в е т».

Полистилистика как метод композиции в разных аспектах обсуждается композитором и музыкантом, ее корень — связь с предшественниками, настойчивое стремление сосуществовать, жить с ними. Пожалуй, ни один композитор в мире не проводил в своей практике такой грандиозный эксперимент с прошлым, какой проводит Альфред Шнитке. И делает это, как выясняется из настоящей книги, вполне осознанно. Его открытия в области музыкального времени будут близки не только музыкантам, которые с похожим явлением сталкивались в творчестве Стравинского или Хиндемита в их «неоклассицизме» или в огусах наших современников — М. Кагеля и Л. Берио, они отвечают и на трудные вопросы музыкальной эстетики, скажем, о пресловутой «вечной молодости» классического искусства. (У Шнитке это связано даже с наблюдениями бытового порядка: «Всякий раз, когда я попадаю в Вену, я попадаю в мир, который не пошел вперед. Он внешне воспринял моды, технику и все другие приметы современности, но остался в том кругу, в котором вечно живы и Моцарт, и Шуберт, где осталось вечно живым то непочтительно легкомысленное отношение к этим именам, которое обеспечило, как ни странно, им большую жизненность. Потому, что они не мумифицировались».)

Мумификация — вот чего опасается Шнитке, когда речь заходит о современности, а не только о прошлом; его отвращает всякая пошлая «газетная идеализация» явлений политических, культурных, социальных; недавнее советское прошлое все еще тяготит его, но в жизнестойкость человечества он верит; он не любит утопий, боится рассуждать о будущем, но одной какой-нибудь оброненной на ходу фразы бывает достаточно, чтобы знать: оптимизм его не иссяк. Например: «неверящее человечество кончилось». Загадочная, не имеющая продолжения фраза, но ее, как афоризм, запоминаешь...

В этих диалогах вопросы музыкальной теории подняты на «новый уровень». Ощущаешь, что ответы на них не всегда полны, — композитор это понимает и сам, бросая в разгар бесед тютчевское «мысль изреченная есть ложь». Да мы и сами, с восхищением прочитав эту книгу, знаем, что на многое, здесь «изреченное», даст ответы в будущем только сама музыка Шнитке.

Анатолий КУЗНЕЦОВ.



## БЕЗ ПРИКРАС И УМОЛЧАНИЙ

Б. Рунин. *Мое окружение. Записки случайно уцелевшего*. М. «Возвращение». 1995. 217 стр.

**Р**азговор о последней книге Б. Рунина придется начать несколько издалека. Дело в том, что десять лет назад Рунин опубликовал в «Новом мире» (1985, № 3) фронтовые записки «Писательская рота», которые явились своего рода творческой заявкой на его последующую автобиографическую вещь — «Мое окружение».

В той новомирской публикации Б. Рунин воскресил один из малоизвестных эпизодов начального периода Великой Отечественной. Он рассказал, как летом сорок первого формировалось московское ополчение, в том числе 8-я Краснопресненская дивизия, в состав которой входила и уникальная 3-я рота: большинство ее бойцов составляли писатели, и подчас довольно известные в ту пору, такие, как П. Бляхин, Е. Зозуля, С. Злобин, Р. Фраерман, А. Бек, Ю. Либединский, А. Роскин. Эту воинскую часть в просторечии так и именовали «писательской ротой».

В нескольких запоминающихся эпизодах Б. Рунин изложил как бы всю короткую историю своей роты с момента ее формирования. Рота эта, как и все московское народное ополчение, почти полностью погибла, попав в октябре сорок первого в окружение под Вязьмой, где во вражеском кольце оказалось сразу четыре наших армии.

Очерк Б. Рунина написан был емко и выразительно. Набросанные им фигуры надолго запомнились, к примеру, две таких, как бы полярных по своей жизненной философии личности, как критик А. Роскин и прозаик, будущий автор «Во-



локоламского шоссе», А. Бек. Если первый из них, по словам мемуариста, воспринимал войну «как свою неминучую долю», как «жертвенную готовность разделить историческую участь миллионов», то А. Бек избрал для себя иной метод существования. Он чисто по-швейковски балагурил, подшучивал над собой, над окружающими, напяливая маску этакого чудака, и тем самым словно сглаживал для себя тяготы ополченских будней.

Для многих тогда, в том числе и для меня (сотрудника отдела публицистики «Нового мира»), Б. Рунин, известный прежде только как литературный критик, неожиданно предстал как талантливый мемуарист, свободно владеющий искусством изображения человеческих характеров.

Вспоминаю, как тогдашний главный редактор журнала Владимир Карпов, сам фронтовик, чрезвычайно требовательно подхопивший к оценке всякого рода военных вещей, сразу дал материалу Б. Рунина «зеленую улицу» — «Писательскую роту» с колес отправили в набор.

Публикация Б. Рунина вызвала в ту пору широкий читательский отклик — массу телефонных звонков, писем в редакцию. Казалось бы, отдаленный эпизод начальных месяцев войны давно и прочно забылся, его заслонили собой более известные и масштабные события Великой Отечественной. Ан нет! Человеческая память имеет свои законы.

Повествование Б. Рунина напомнило многим (особенно, конечно, москвичам) драматические картины лета — осени сорок первого, горестные утраты — потерю близких людей: сыновей, мужей, братьев, многие из которых погибли в составе ополчения или же все эти десятилетия числились «пропавшими без вести». Звонили, писали, как правило, люди, интересовавшиеся судьбами конкретных лиц, упомянутых в воспоминаниях Рунина: вдовы, дети и внуки погибших литераторов. Все они жаждали узнать новые подробности, новые факты о своих близких, о чем чаще всего автор не мог сообщить ничего сверх того, что уже рассказал.

Думаю, однако, что подлинная сила этого материала была не столько в том, что Б. Рунин набросал несколько достоверных портретов писателей-ополченцев, запечатлев их в непривычных для людей литературного труда походных условиях.

Значительно больше запоминалось другое. Б. Рунин предельно достоверно воспроизвел всю внезапность перехода этих сугубо штатских людей из мирной обстановки — во фронтовую, полную смертельной опасности, к роковой для многих черте...

Ведь даже на марше, следуя неуклонно на запад, к Смоленску, все они продолжали оставаться теми же гражданскими людьми. Да, был непривычный для многих, тяжелый походный быт, но сохранялось прежнее наивно-романтическое, упрощенное представление о враге, которое закладывалось в сознание каждого пропагандистской машиной, всеми нашими ура-патриотическими девизами: «воевать будем только на чужой территории», «ни одной пяди своей земли не отдадим никому» и т. п.

Та же шапкозакидательская «философия» жила и в сознании большинства бойцов «писательской роты». Тем рязительнее, страшнее оказался для многих тот шок, который они пережили осенью сорок первого, когда прямо с ходу угодили в фашистский «мешок», попав под перекрестный огонь вражеской артиллерии.

И мне кажется, что именно это ощущение как бы внезапного провала роты в некую «черную дыру» Б. Рунину удалось передать с поразительной силой и резкостью. Читая и перечитывая «Писательскую роту», я не мог избавиться от ощущения, что все эти годы Б. Рунин словно продолжал жить с мыслью, что он должен, обязан, как один из немногих уцелевших под Вязьмой в те страшные дни писателей-ополченцев, рассказать о своих товарищах, особенно о тех, кто погиб, так и не успев послать домой последнее прости.

Этим, думается, и объяснялся тогдашний резонанс, вызванный рунинской публикацией. Родственники, близкие, друзья писателей-ополченцев через десятки лет вдруг как бы сами пережили, перенесли тот психологический шок, какой выпал на долю их погибших мужей, сыновей, братьев, товарищей, ошутили их тогдашнюю одинокость, покинутость, незащищенность.

«Писательская рота» не случайно обрывается на такой щемящей ноте. Описав первую половину пути своей части — от Москвы к линии фронта, автор не стал рассказывать о последующем своем возвращении в строй с группой таких же, как он, чудом уцелевших окруженцев. Оговорившись, что «окружение — это особая тема», он, в сущности, поставил на этом точку.

Когда читаешь теперь последнюю книгу Б. Рунина, понимаешь смысл обреченной автором в предыдущем повествовании фразы. Ведь в новой вещи перед нами именно «записки случайно уцелевшего» человека, не раз глядевшего смерти в лицо, перешагнувшего при этом тот незримый рубеж от юности к зрелости, который Джозеф Конрад назвал когда-то «теневого чертой».

Но, как признается сам рассказчик, самым страшным в скитаниях по вражеским тылам на пути к своим была даже не мысль о близкой и неожиданной смерти («на то и война!»), страшнее казалось само осознание того, что «никто и никогда не узнает, где и при каких обстоятельствах это произошло. Вот уж не предполагал, что человека может так ужасать перспектива бесследного исчезновения... Ведь это вроде аннигиляции, превращения в ничто...». И конечно же, еще неотступные, горькие мысли о том, почему оказалась столь велика степень нашей неподготовленности к реальной войне с фашизмом, опасность которой наша пропаганда всячески преуменьшала.

По выходе из окружения и возвращении к своим автору пришлось пройти через неоднократные допросы, проверки, назидательные беседы: в «СМЕРШе», военной прокуратуре, в политотделе дивизии, а позже и на Лубянке. И всякий раз он сталкивался с поразительным догматизмом мышления всех этих «дознавателей», «особистов», политотдельцев и гебешников. Так, свежееиспеченный, необстрелянный представитель военной прокуратуры допытывался у автора, почему тот, попав в окружение, хотя бы не застрелился. «Для подлинного советского человека самоубийство должно быть предпочтительнее плена... Вот вы, стараясь выйти из окружения, вы же спасали себя, а не родину...» — убежденно внушал он подследственному. Автору же во время этого допроса вспомнился драматический эпизод из его окруженческой одиссеи: молодой, неопытный политрук, горя желанием «забросить гранату» в фашистский танк, ринулся под огонь вражеских автоматов, обрекая на гибель и горстку сопровождавших его почти безоружных солдат. Прокрут от такого лозунгового героизма, конечно, не было никакого. Но литератор-ополченец, только что вырвавшийся из окружения, и дознаватель-догматик, затвердивший, как «Отче наш», несколько идеологических штампов, говорили, увы, на разных языках. В «Записках случайно уцелевшего» нередко прорываются горькие слова о том, что ему как окруженцу подчас давали понять: он изгой, меченый. Б. Рунин так объясняет это: «...в основе советской стратегической доктрины лежала идея «войны малой кровью», и притом «на территории противника», такие слова, как «окружение» и тем более «плен», в качестве уставных терминов из нашего обихода изгонялись».

Поэтому и о трагически-безысходной судьбе «писательской роты» под Вязмой мемуарист мог откровенно говорить в годы войны далеко не с каждым даже в литературной среде. Тем более что, как он признается одному из собратьев писателей, гибель его товарищей-однополчан объяснялась далеко не столь уж высокой стратегией. Просто, по его словам, «в критический момент командование попыталось заткнуть нами, необученными ополченцами, брешь в прорванной обороне».

...Горький жизненный опыт, обретенный мемуаристом в блужданиях по оккупированной территории, как бы рассек его жизнь пополам. Глубокий внутренний процесс, связанный с пересмотром своих прежних взглядов, начавшийся в ту пору в сознании автора, уже не прекращался, не прерывался. Он, выражаясь словами Чехова, продолжал по капле выдавливать из себя раба, становясь внутренне свободным человеком. Это был долгий и сложный путь к себе, путь постепенного раскрепощения от навязываемых системой установок и стереотипов.

В этом плане авторские слова о выходе из окружения, кроме своего прямого значения, имеют и более широкий смысл. Не случайно Б. Рунин в этих воспоминаниях часто забегает вперед, в 50 — 60-е и даже 70 — 80-е годы. Это не просто напризы писательской памяти. Автобиографическое повествование построено здесь не по хронологическому, но ассоциативному принципу. В эпизоды фронтовых будней армейского газетчика, каким всю войну оставался Б. Рунин, свободно вплетаются реминисценции, связанные с послевоенной литературной средой. К примеру, ему вспоминаются колоритные эпизоды, относящиеся к тому периоду, когда в Союзе писателей по указанию ЦК проводилась яростная кампания по борьбе с «безродными космополитами», в число которых угодил и он сам. А затем следуют и более поздние события: смерть Сталина, XX съезд, самоубийство Фадеева, похороны Пастернака...

В столь прихотливом, на первый взгляд, построении мемуаров есть своя внутренняя логика. Ведь это книга раздумий, размышлений о прожитой жизни, книга итогов. Поэтому вполне естественно, что мысль автора порой совершает некий зигзаг, перескакивает с одного события на другое, и не столь уж важно, что часто их разделяют десятилетия. По какой-то глубинной связи они вполне стыкуются друг с другом.

Да, выход из «окружения» для автора был делом длительным, нередко мучительно трудным. И все-таки он завершился успешно. Свидетельством этому — последняя книга Б. Рунина — честная и прямая, без прикрас и умолчаний.

С. ЛАРИН.

Р. С. Я уже заканчивал рецензию, когда в редакцию пришел еще один отклик на новомирский очерк Б. Рунина, опубликованный в журнале десять лет назад! Автор письма — вдова писателя Виталия Квасницкого, упомянутого в этом материале.

Девяностолетняя Галина Ивановна Квасницкая, инвалид первой группы, просит сообщить ей адрес Б. Рунина, надеясь получить от автора дополнительные сведения о погибшем. Но Борис Михайлович год назад скончался и уже не в состоянии откликнуться на этот «крик души», как называет свое письмо сама Галина Ивановна.

Надеемся, что все, кто сможет сообщить Г. И. Квасницкой что-либо о ее покойном муже, уведомят об этом редакцию.

С. Л.

## ПРЕМИЯ БУКЕРА — 95

Мы рады сообщить нашим читателям, что независимые номинаторы выдвинули на премию Букера 1995 года следующие произведения, опубликованные на страницах «Нового мира»:

**ВИКТОР АСТАФЬЕВ.** Прокляты и убиты. Часть вторая. Плацдарм. 1994, № 10 — 12.

**ДАНИИЛ ГРАНИН.** Бегство в Россию. 1994, № 7 — 9.

**ИГОРЬ КЛЕХ.** Зимания. Герма. 1994, № 11.

**АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ.** Изгнание из Эдема. 1994, № 1.

**ОЛЕГ ПАВЛОВ.** Казенная сказка. 1994, № 7.

**ЛЮДМИЛА ПЕТРУШЕВСКАЯ.** Карамзин. 1994, № 9.

**ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВ.** Одиссея. 1994, № 5.

Желаем успеха нашим авторам!

«НМ».

---

---

# ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

## ТРЕТЬЕ РОЖДЕНИЕ БОРИСА ПАСТЕРНАКА

**Д**аже те, кто со школьной скамьи не брал в руки сборники стихов, в 1941 — 1945 годах прислушивались к многоголосью русской поэзии. Наибольшим успехом пользовались лирика Константина Симонова и «Василий Теркин», отдельными главами выдаваемый Александром Твардовским. Но в глазах любителей поэзии оба отступали на второй план, как только появлялись стихи Анны Ахматовой и Бориса Пастернака.

Помню, в эвакуации пасмурным октябрьским днем я вышел из села Погран-Орловское, основанного в Голодной степи еще при Столыпине переселенцами с Тамбовщины, и по ровной, как стол, солончаковой степи отправился за десять километров на станцию. Там возле почты на газетном стенде можно было прочесть ташкентскую газету. В сводке «От Советского информбюро» не содержалось ничего утешительного: упорные бои на подступах к Москве. Вдруг на четвертой полосе, в самом низу, увидел стихи Бориса Леонидовича! Уходя из Киева, я положил в мешок, приспособленный матерью для носки за спиной, аж целых три его книги. И вот читаю новое. «Страшную сказку».

Все переменится вокруг.  
Отстроится столица.

Спокойная уверенность этих строк, сама их интонация завораживала, ободряла... Но вслед за первым потрясением — второе:

Запомнится его обстрел.  
Сполна зачтется время,  
Когда он делал, что хотел,  
Как Ирод в Вифлееме.

В своей компании, школьной и литстудийской, мы подвергали сомнению многое, но в одном были согласны со взрослыми: религия — пережиток. А тут сам Пастернак обратился к евангельской истории! По внушению поэта передо мной, за именем (Ирод) и названием городка (Вифлеем), впервые замаячил образ Божественного Младенца...

Поэзия Бориса Леонидовича прежде не отличалась близостью к Небу. «О, ангел залгавшийся!»? Это о любимой. «Приходил по ночам в синеве ледника от Тамары»? Это «памяти Демона»; дань Кавказу; переключка с Лермонтовым и Маяковским. «Всесильному богу деталей», «всесильному богу любви Ягайлов и Ядвиг» — вот кому поэт поклонялся, обходясь с жизнью на равных, как со своей сестрой... Но вот в «Страшной сказке» (заголовком усыпить бдительность цензуры?) Пастернак прозрачно намекал на некие совершившиеся в нем перемены.

Александр Кушнер пишет об эпохе конца 30-х — начала 50-х: «Стиль этого времени держался на державной монументальности, сталинском ампире, с одной стороны; с другой — на «народности», то есть простоте, общедоступности, песенности и патриотизме не без сентиментальности. К этой второй составляющей эпохального стиля Пастернак был небезразличен». Далее, упомянув об Исаковском и Фатьянове, «корифеях тогдашнего „простого стиля“», Кушнер продолжает: «Про

---

*От редакции.* Заметки и эссе поэта Александра Кушнера, опубликованные в № 10 нашего журнала за 1994 год под общим названием «Среди детей ничтожных мира», неожиданно вызвали спонтанную дискуссию; как оказалось, мысли автора не на шутку задели некоторых денителей поэзии. Мы не инспирировали этот спор, но и не могли отказать ему в журнальной площади, полагая, что по крайней мере три из поступивших откликов способны заинтересовать наших читателей. После пушкинистки Ирины Сураг («Твое пророческое слово...», 1995, № 1) и поэта Юрия Кублановского («О возможностях творчества», 1995, № 4) предоставляем возможность высказаться писателю-фронтовику Г. Шурмаку.

военные стихи (Пастернака. — Г. Ш.) вроде «Смелости», «Бобыля», «Смерти сапера» и говорить не приходится.

Говорить, однако, придется: цикл стихов о войне — ключ к последнему периоду его творчества.

В «Бобыле», «Смелости» и «Заставе» (не упомянутой Кушнером) запечатлена обстановка страшной осени сорок первого в ближайшем Подмоскowie. После массового призыва в армию и частичной эвакуации жителей бобыль, повадвшийся с дробовиком «на пункт ополченский»; две горожанки, укрывшиеся в блиндаже у зенитчиков от бомбежки и робко допытывающиеся «наш или не наш» самолет, гудящий в небе; ополченцы, окапывающиеся «на дороге и в взрытой колеи», спрашивающие «о подмоге и не слышно ль, где свои», — все это приметы покинутости края (кем? властью?) — но и начавшейся самоорганизации народа. Дробовик бобыля и армейские зенитки — какой контраст! Но именно он почти физически передает горестное опущение неподготовленности к давно ожидаемой войне.

А стихотворение «Смелость» — ода «безымянным героям», которые «векам в глаза смотрели с пригородных баррикад». Поздней осенью сорок первого их прототипами могли быть только московские и питерские интеллигенты, еще недавно (ночами 1937 — 1938 годов) дрожавшие от страха и горевавшие от бессилия помешать произволу, а нынче полные решимости заслонить собой Россию.

А потом, жуя краюху,  
По истерзанным полям  
Шли вы, не теряя духа,  
К обгорелым флигелям<sup>1</sup>.

«И тогда чужие миру» (вот глубина проникновения в психику этих бойцов!) сами вызывались на боевое задание. Картина первой военной осени соткана вроде бы из случайных деталей, но поэт добивается почти стереоскопического эффекта. Правда, подчас в новые стихи вторгается прежняя лексика (например, об ополченцах: «Лучше, выиграв, уйти, чем бесславно *сгнить в застое* или *скинуть* взаперти»), но она здесь — не что иное, как речевой код интеллигенции — собирательного героя «Смелости».

И балладу «Смерть сапера», помеченную декабрем 1943-го, но опубликованную в следующем году (сборник «В боях за Орел»), отличает та самая простота и общедоступность, которой пренебрегает Кушнер. Пастернак воспользовался боевым эпизодом, взятым из отчетов штаба фронта. Хотя их, по обыкновению, составляли политотделы, стихи, конечно, начисто лишены комиссарской риторики. Казалось бы, разрабатывая типичный армейский сюжет, Пастернак «отнимает хлеб» у А. Твардовского; да и герой — вчерашний колхозник... Что это? Уступка чрезвычайным обстоятельствам, когда неудобно быть в стороне от народной драмы? Как бы не так: баллада написана с полной отдачей творческих сил. «У края вражьей обороны» саперы ночью проделывают проходы для предстоящего штурма. Один из них, смертельно раненный, еще успевает обрадоваться появившемуся шансу на свидание с семьей. Помня, что стонать нельзя (чтоб «не выдать братьев»), он «землю грыз от боли... врожденной стойкости крестьянина... не утратив».

Все в жизни может быть издержано,  
Изведаны все положенья, —  
Следы любви самоотверженной  
Не подлежат уничтоженью.

Поэт покорен жертвенной любовью солдата, в основе которой — крестьянская закваска характера. Побратимы героя, такие же основательные мужики, «живым успели вынести» товарища за речку, к своим, где и предали земле, хотя там «почва глинистей» (кто тогда обращал внимание на подобные «мелочи»?) и копать могилу тяжелее. Когда же на рассвете «к проделанной покойным просеке шагнула армия прорыва», «противник дрогнул», отступил, «бросая штабеля снарядов, котлы дымящегося супа», палатки, ящики... «Всесильный бог деталей» водил рукою сугубо штатского поэта, и в итоге создана абсолютно достоверная картина отступления.

Вдруг в самом конце неожиданный поворот темы:

<sup>1</sup> Курсив в стихах везде мой. — Г. Ш.

Жить и сгорать у всех в обычае,  
 Но жизнь тогда лишь обесмертишь,  
 Когда ей к свету и величию  
 Своею жертвой путь прочертишь.

Андрей Синявский увидел новое в стихах Пастернака о войне в том, что поэт «заговорил высоким слогом», возвышенно-отвлеченным, в частности, «архаическими абстракциями, широко вошедшими тогда в литературный обиход». Насчет «обихода» все верно, и за примерами далеко не ходить: «пламенеющие тропы» (О. Берггольц), «славные подъемлет имена» (Н. Тихонов), «у Сталинграда вещей битвы жар» (А. Твардовский). Однако в военных балладах Пастернака высокий слог несет на себе иную смысловую нагрузку: подчинен не столько прославлению героизма воинов, сколько раскрытию религиозного смысла поступков, совершаемых бойцами. Так, в вышеприведенной строфе слово свет (небесный, в противном случае текст обесмысливается. — Г. Ш.) в сочетании со словом величие дает читателю представление об обетованном царстве вечности, уготованном пожегивавшему собой саперу.

В строфе, на которой я задержался, есть, правда, и другое представление о бессмертии — как о славе; но мирской и религиозный взгляды на подвиг, рассматривающие событие под разными углами, не противоречат друг другу.

Вещь написана вроде бы неуклюже, коряво, с толстовским отвращением к гладкописи, к «искусству». Тем не менее, что называется, живет. Бесхитростный с виду рассказ о мужиках, орудующих кусачками под носом у немца, обладает достаточным запасом художественной прочности!

В балладе «Разведчики» (1944), написанной под впечатлением от поездки в Действующую армию, Пастернак поведал историю, невероятную даже по меркам тех лет. Во время боев за Орел трое разведчиков, войдя в деревню и застав немцев стоящими беспечной «группой вокруг стойки с канцелярской крысою», «недолго думая, пошли садить из автоматов, уверенные и угрюмые». Как и ожидалось, в поднявшейся суматохе «огню разведки отвечала вся огневая мощь противника», что позволило нашему командованию засечь очаги будущего (после сигнала атаки) сопротивления. Раненых и контуженых разведчиков схватили. Один из них на допросе изловчился обезоружить конвоира, но едва дал очередь по фашистам, как тут же и «его сразила пуля». В следующий миг случилось непредвиденное: крышу «расщепило снарядом нашей артиллерии. Дом загорелся». Воспользовавшись очередным замешательством врагов, «метнулись к выходу два пленника». Обстоятельства, особо подчеркивает Пастернак, благоприятствовали храбрецам «в ответ их маловерию». Что же скрыто за этим словом? Какую смысловую нагрузку оно несет? Может быть, начальство обещало прийти на выручку, а разведчики, отнесясь к посулам с недоверием, угрюмо ушли на задание, заранее попрощавшись с жизнью? Нет, не похоже, поскольку поэт охарактеризовал всех троих как «откровенно отчаянных до молодчества»: таким при получении боевого приказа и в голову не придет мысль о доверии или недоверии. Остается предположить, что слово маловерие предназначено передать неосознанный, но главный — мировоззренческий — взгляд воинов на жизнь. Советские парни, они в минуту смертельной опасности наверняка помянули Всевышнего, действуя по пословице: «Как тревога, так до Бога». В этом признавались тысячи ветеранов! Нити, связующие молодых россиян с верой, к сороковым годам, понятно, ослабели. И все же многие имели крестных родителей, бабушек и дедушек с их намоленными иконами, с их Евангелиями и молитвословами — пускай не на видном месте в избе или в городской комнате. Так что вера теплилась в душах людей, и в случае с разведчиками Господь послал маловерам чудо: один да спасся. Благополучно миновав околицу, он при свете закатного солнца блаженно увидел, как в деревню «входят наши цепи, и пыль от перебежек стелется»...

Балладу отличает укorenенное в сознании народа, вопреки четвертьвековому советскому нигилизму, христианское отношение к судьбе:

Их было трое, откровенно  
 Отчаянных до молодчества,  
 Избавленных от пуль и плена  
 Молитвами в глуби отечества.

В популярнейшем в войну стихотворении К. Симонова «Жди меня» любимая спасает лирического героя своим ожиданием. У Пастернака же избавляет от беды молитва близких<sup>2</sup>.

Христианские мотивы в эпическо-балладной лирике Пастернака по времени совпали с восстановлением (в 1943 году) Патриаршего Престола. Знамя марксизма-ленинизма, убедился Сталин, не вдохновляет народ на борьбу с врагом. Когда на оккупированных территориях появилась возможность горестного, но все же выбора, их население стало обращаться к вере отцов, связывая с Богом свои личные и национальные упования. По настоянию местных жителей немцы открывали храмы и монастыри; началось повальное крещение детей, молодежи, да и взрослых, из тех, кто прежде пренебрегал Христом. И Сталин отреагировал: из лагерей были выпущены уцелевшие священники. Церковь получила возможность кормить паству — под присмотром власть предержащих...

Сегодняшний читатель едва ли способен представить, с каким чувством облегчения россияне в кинотеатрах смотрели кадры хроники, показывающие иерархов (в полном облачении) и прихожан на церемонии освящения танковой колонны, построенной на деньги, собранные мирянами.

Выросший в семье крещеных иудеев, то есть в кругу традиций христианской культуры, Пастернак всем сердцем отозвался на возвращение Церкви ее места в отечестве. Казалось, сама Россия возвращается на крути своя. Разумеется, поэт с горечью видел ограничения, накладываемые на церковную деятельность. Но шла Великая война, и советская власть, поминаемая в храмах, как-никак руководила борьбой против иноземных захватчиков. Предпочтя «родного» Сталина бесноватому Гитлеру, народ, как выяснилось десятилетия спустя, не ошибся: трагический путь к освобождению от коммунистической тирании лежал через Берлин.

Неизбежный откат к национальным истокам Борис Пастернак предугадывал еще в конце 30-х. А 15 апреля 1944 года в газете «Литература и искусство» была опубликована баллада «Ожившая фреска». Ее герой в осажденном Сталинограде, будучи местным уроженцем, иногда по ночам «под огнем противника своих проведывал». Попадавшиеся ему на пути «дома с бездонными проломами» напоминали нечто «сказочно-знакомое»:

И вдруг он вспомнил детство, детство,  
И монастырский сад, и грешников,  
И с общиною по соседству  
Свист соловьев и пересмешников.  
Он мать сжимал рукой сыновней.  
И от копья архистратига ли  
По темной росписи часовни  
В такие ямы черти прыгали.  
И мальчик облакался в латы,  
За мать в воображеньи ратуя,  
И налетал на супостата  
С такой же свастикой хвостатой.  
А рядом в конном поединке  
Сиял над змеем лик Георгия...

Часовня, настенные лики святых, монастырский сад с прудом, где «цвели кувшинки», а на берегу пахло березовыми почками, — все это не отзвук ли детских впечатлений самого Пастернака, оставшихся в памяти как олицетворение отчужденности?

Вместо заключительных строф (о которых речь ниже) в первом варианте стихотворения герой оказывался командиром дивизии, переброшенной с берегов Волги под Орел — туда, где Пастернак (с группой писателей) имел возможность познакомиться с фронтовой обстановкой, поразиться «новизне народной роли»...

В «Ожившей фреске» комдиву, сраженному пулей, в предсмертные мгновения вновь грезится родной город: «ангелы и отошедшие» продолжают там сражаться. Здесь присутствует уже глубоко религиозный взгляд на связь между зем-

<sup>2</sup> В одном из стихотворений К. Симонова солдаты шепчут бойцам: «Господь вас спаси!» — и прадеды, «всем миром сойдясь... молятся... за внуков», но поэт не забывает оговориться, что последние — «в бога не верящие». Симонов, в отличие от Пастернака, и тут подчеркивает свою идейность.

лей и Небом. Однако в окончательной редакции Пастернак поостерегся ставить точку над *i*. В результате смысл стихотворения затемнен. С одной стороны, герой «топчет (подобно Георгию Победоносцу. — Г. III.) вражеские танки с их грозной чешуей драконьею!» (значит, как будто цел и невредим), но с другой стороны, «перешел земли границы», так что

...будущность, как ширь небесная,  
Уже *бушует*, а не снится,  
Приблизившаяся, чудесная.

Несомненно, в окончательной редакции стихотворения герой гибнет. В момент перехода границ земного мира ему, столь же несомненно, открывается мир загробный — вечность, названная (чтоб не дразнить Главлит) *будущностью*, «приблизившейся, чудесной»... Слава Архистратига Михаила и Георгия Победоносца (а вражье войско сравнил с драконом), трактуя смерть в христианском духе, поэт обращался к сердцу и уму миллионов соотечественников. Чтоб знали и веровали: кончина на поле брани — счастливая кончина, ибо освящена народной памятью и спасительна по отношению к душе павшего бойца<sup>3</sup>.

Избрав темой стихотворения наступление наших войск, Пастернак предпочел дать заголовок «Преследование» (1944), в котором имеется привкус охоты на хищников, чувствуется азарт погони за преступником — существом аморальным. Рассказ ведется от имени самих солдат: преследуя врага, они «всегда припоминали подобранную в поле девочку, которой тешили каналы».

В неистовстве как бы *молчаливом*  
От трупов бедного ребенка  
Летели мы по рвам и рытвинам  
За душегубами вдогонку.

Точнее не скажешь. В данном случае жажда отмщения и впрямь — святое чувство. В подтексте стихотворения все та же христианская точка зрения на обстоятельства войны, утверждение неизбежности наказания фашистских бесов («этих бестий») — силы сатанинской.

Некоторое сближение поэтики Пастернака военного периода с поэтикой М. Исаковского (о чем пишет А. Кушнер) указывает лишь на то, что в своих высших достижениях (например, стихи «Враги сожгли родную хату...») творчество последнего заслуживает отнюдь не снисходительно-разборного разбора. Подобно тому как «опрошение» Льва Толстого, столь глубоко отразившееся на всем его творчестве, явилось следствием изменившихся взглядов писателя на жизнь, «опрошение» Пастернака, его «простота, общедоступность» (А. Кушнер) — дань не подлому сталинскому стилю, а результат духовного переворота, предпосылки к которому возникли еще перед войной: Пастернаковская «общедоступность» как раз и выросла из внутренней потребности поэта сопротивляться тоталитаризму. И отнюдь не случайно еще в 30-х Борис Леонидович желанную «неслыханную простоту» приравнял... к ереси! С вышеуказанной точки зрения перечеитаем такие стихи, как «Старый парк», «На ранних поездах».

Первое поколение читателей «Старого парка» (1943) справедливо усмотрело в нем программное произведение. Для мальчиков, родившихся в 20-х (будущих шестидесятников), образ раненого юнца, потомка славянофила Ю. Ф. Самарина, был нов, необычен, странен и потому важен. Важны его почти неведомые корни, важны и его планы:

<sup>3</sup> В № 1 журнала «Новая Европа» о военных стихах Пастернака, прежде всего имея в виду «Ожившую фреску», бегло высказался Сергей Аверинцев: «...великий поэт с немислимой для него как раньше, так и позже беспроблемностью стилизовал облик советского воина под иконописный лик Св. Георгия Драконоборца». Однако в чем же ученый усмотрел *беспроблемность*? Не в том ли, что тысячи политезков, отбросив на время внутренние проблемы, стали добиваться отправки из лагерей на фронт? Ибо тогда мысли о бесчеловечном режиме, о внутреннем неустройстве народ в массе своей отодвинул на потом... Что же касается «советского воинства», то, строго говоря, к нему можно отнести лишь элитные части НКВД. В целом же фашистам противостояли миллионы людей, в той или иной мере еще помнявших «другую жизнь» и не израсходовавших запас традиционных духовных ценностей.



Если только хватит силы,  
Он, как дед, энтузиаст,  
Прадеда-славянофила  
*Пересмотрит* и издаст.

Мальчики, вернувшиеся с фронтов Отечественной, мы знали, почитали декабристов и Чернышевского, народовольцев и большевиков, но уж никак не Ю. Ф. Самарина, не славянофилов, принадлежавших к тому пласту мыслителей, который тщательно замалчивался советской историографией. Пастернак совершил если не прорыв, то, во всяком случае, прокол в идеологическом «железном занавесе», подготавливая встречу читателей с другой Россией.

Раненый герой стихотворения в госпитале обдумывает, чем станет заниматься в мирное время. Помимо всего, «напишет пьесу, вдохновленную войной»:

Там он жизни *небывалой*  
Невообразимый ход  
Языком провинциала  
В строй и ясность приведет.

И привел бы (вместе с такими, как он), если бы не маховик новых репрессий, запущенный Сталиным, который был напуган веяниями свободы, одним видом победителей фашизма, вернувшихся из европейских столиц с сознанием своего высокого общественного предназначения.

К «Старому парку» по направленности примыкает стихотворение «На ранних поездах», несмотря на то что оно написано еще до войны.

Именно этому стихотворению Александр Купшнер уделил особое внимание: «Стихи... написанные «превозмогая обожанье», читать неловко»:

В них не было следов холопства,  
Которые кладет нужда.  
И новости и неудобства  
Они несли как господя.

«Пряники на меду», «черемуховое мыло», которым восхищается поэт в этом стихотворении, — слагаемые стиля «à la russe», простительного иностранцу, но не человеку, знающему про колхозы, коммуналки, карточки, бараки...

Здесь были бабы, слобожане,  
Учащиеся, слесаря...

Можно подумать, речь идет не о советском поезде с его мешочниками и угрозой проверки документов, но о поезде какого-нибудь благополучного 1910 года.

Читать это досадно. Стихотворение хотя и написано до войны, в марте сорок первого, но опубликовано (в журнале «Красная новь») в октябре, когда немцы стояли у стен Москвы и было, в общем-то, не до художественных произведений. Широкого читателя стихотворение получило только вскоре после Победы, и фронтовое поколение неспроста связало его со своими ожиданиями благих перемен в отечестве.

Само же время, на которое пришлось создание «На ранних поездах», было весьма непростое и — не побоюсь утверждать — с некоторым уклоном в сторону либеральности. По советским меркам, разумеется. Перед войной деревня уже притерпелась к колхозному строю. Кой-какой хлебушек перепадал на трудодни, а в крепких хозяйствах было даже сносно. Сотни тысяч раскулаченных — из тех, кто выжил, — успели рассосаться по стройкам, заводам и рудникам, а иные осесть на землю вдали от родных мест. Спала волна террора, прозванного «ежовщиной». Конечно, режим каким был свирепым, таким и остался, но все, как известно, познается в сравнении... «К сорок первому, в общем, уже можно было жить», — говаривали бойцы на фронте и рабочие в тылу, вспоминая полтора-два предвоенных года. К тому же в состав Союза вошла частица западного мира — от Бессарабии на юге до Эстонии на севере, и начался довольно интенсивный обмен жизненным опытом между населением запада и востока, способствовавший расширению умственного горизонта советских граждан, молодежи особенно. НКВД пришлось свое главное внимание переключить на

миллионы новых подданных, что невольно смягчило общественный климат «метрополии». Кроме того, после пакта с фашистской Германией в умах возник разброд, возник своеобразный плюрализм мнений, на который власти смотрели сквозь пальцы. И едва в начале войны образовалась антигитлеровская коалиция, не совсем на пустом месте зародились надежды на возвращение страны в сообщество цивилизованных государств...

Наконец, характерно, что в 1941 году Сталинской премии удостоились Михаил Шолохов за роман «Тихий Дон» и Николай Вирта за роман «Одиночество», посвященный восстанию Антонова на Тамбовщине. Две книги, и обе — о трагедии крестьянства, о русской судьбе.

Вся совокупность вышеупомянутых факторов производила впечатление не то передышки, не то задуманного Кремлем, в обстановке идущей в Европе второй мировой войны, какого-то подобия консолидации общества и возвращения к народным началам. Итак, вникнем в стихотворение «На ранних поездах». В январскую темь поэт вышел из своего переделкинского дома, чтобы, как обычно, поспеть на пригородный, отправляющийся в 6.25 утра. Поезд, возможно, из тех, что тогда назывались *рабочими*. Пассажиры в нем соответственные: «бабы, слобожане, учащиеся, слесаря»... «В горячей духоте вагона» он тотчас же «отдавался целиком порыву *слабости* врожденной», порыву, «восанному с молоком» матери. Слабость, в которой сознается поэт, — не что иное, как любовь-жалость, чувство породненности с так называемыми простолюдинами, граничащее с обожаньем. Глядя на баб (вероятно, молочниц), на слобожан, едущих на работу в столицу, на подростков (скорее всего, фезеушников), рассеявшихся «во всем разнообразии поз» и читающих книжки взахлеб, «как заведенные», Пастернак преисполнен нежности:

Сквозь прошлого перипетии  
И годы войн и *нищеты*  
Я молча узнавал России  
Неповторимые черты.

Александр Кушнер почему-то не заметил, что поэт и на сей раз сказал жестокую правду. О нищете. О нужде. Но была правда и в том, что поэт в вагоне рабочего поезда не обнаружил на лицах своих попутчиков «следов холопства, которые кладет нужда». Более того — подсмотрел нечто прямо противоположное: новости, быть может, и плохие (например, указ об опозданиях?), и неудобства в пути люди «несли как господа», сознавая свою роль кормильцев страны, роль умельцев, владеющих наинужнейшими профессиями.

Вообще нужда не исключает не только чувства собственного достоинства в простолюдине, но и опрятности, уюта в домах бедняков. И отнюдь не делает недоступными для слободских детей скромные лакомства. К тому же в слободках, расположенных вокруг больших городов, спокон веку жилось сытнее, чем где-либо: здесь хозяева сдавали комнаты на весь дачный сезон, здесь же сочетали преимущества близости к городу с выгодами, извлекаемыми из сада и огорода. Так оно и было в марте сорок первого:

Потомство тискалось к перилам  
И обдавало на ходу  
*Черемуховым свежим мылом*  
И пряниками на меду.

Коллективизация, продовольственные карточки (отмененные к 1935 году), коммуналки, бараки (которые, мол, проигнорировал Пастернак) не смогли умертвить «золото, золото — сердце народное!». Его-то и воспел Борис Пастернак, предвосхитив будущую «новизну народной роли», а уж дело читателя-друга — мысленно заменить «новизну» словом *главенство*, словом, которое по цензурным соображениям поэт не мог себе позволить, но в 1943 году в набросках к поэме «Зарево» именно так сформулировал суть неизбежных перемен в России.

В качестве иллюстрации псевдонародного стиля Кушнер в своей статье также привел начало третьего стихотворения из цикла «Путевые заметки»:

Счастлив, кто целиком  
 Без тени чужеродья  
 Всем детством — с бедняком,  
 Всей кровию — в народе.

Комментарий к строфе дан жесткий, категоричный: Пастернаку «исподволь мстит не только каждое слово, но и его грамматическая форма: „чужеродья”, „кровию”»...

Между тем цитируемое стихотворение, пожалуй, — одно из самых трагических. Дата его написания — лето 1936 года. Время провозглашения партией на весь мир, что социализм, «построенный в боях», успешно задействован на одной шестой земшара. Но одновременно и пора, когда правящие круги посчитали необходимым заняться следующим этапом так называемого «общественного развития», который должен означать переход к бесклассовому, «общенародному государству» с обновленной — патристическо-националистской — идеологией. Именно с той поры в советской империи набирала темпы русификация окраин. Именно тогда партией были взлелеяны кадры следователей, через полгодика заоравших на допросах в лицо подледственным: «Жидовское отродье!»

Пастернак видел, к чему идет дело: перевод Сталиным стрелок на часах русской истории означал крах революционного идеализма, которым в 20-е годы переболел поэт, создавая свои знаменитые поэмы. Вот почему в третьем стихотворении вышеупомянутого цикла поднята тема крови, тема чужеродья.

Пастернак (об этом есть свидетельства) болезненно, часто с детской беспомощностью перед нападками юдофобов воспринимал свое еврейское происхождение. Притом «усугубленное» (в отличие, скажем, от М. Светлова) детством, не знавшим бедности, пролетарских «университетов»... Никуда от суровой реальности не деться: в середине 30-х, в конкретных условиях советской действительности, протекающей на фоне разгула фашизма в Европе, Пастернак порой испытывал нечто похожее на зависть к тем, кто «всей кровию — в народе».

Однако, думается, такой блистательный поэт играючи справился бы с версификационной задачей — построить строфу так, чтобы слово «к р о в ь» в творительном падеже имело современную форму окончания — «к р о в ь ю». Если бы считал нужным. Но при создании стихотворения мысли Пастернака, скорее всего, вертелись вокруг своей родословной (точно так же, как однажды у Пушкина в довольно сходной ситуации), а значит, и вокруг своей некогда причастности к христианству с его песнопениями, где форма слова «кровию» несет на себе печать как церковности, так и народной древности: «Помози рабом Твоим, ихже честною Кровию искупил еси»...

Тяга русской интеллигенции к социальному экспериментаторству не обошла стороной Пастернака. Еще в начале 30-х он настолько увлекся обещаниями сильных (большевиков. — Г. Ш.) изжить «последние язвы, одолевавшие нас», что восторженно писал, обращаясь к «дали социализма»:

Во имя жизни, где сошлись мы, —  
 Переправляй, но только ты!

И свою книгу, где поместил эти строки, многозначительно назвал «Второе рождение»...

Разочарование и как следствие кризис творчества не заставили себя ждать. Тогда Борис Леонидович с надеждой обратил свои взоры к демосу (цикл «Путевые заметки»), доверительно посчитав «мечты и цели» человека не более чем народным изделием. Пройдут долгих семнадцать лет, когда поэт (в стихотворении «В больнице») наконец впервые назовет человека Божьим изделием, а «себя и свой жребий» — «бесценным подарком» Творца.

Борис Пастернак вновь обрел веру на рубеже 1941 — 1942 годов. Тем не менее на его стихах тех лет — печать двойственности: религиозное мироощущение если не пасует перед «внутренним редактором», то перемежается с привычной «общегуманистической» зыбкостью. Тогда он лишь нащупывал художественные подходы, адекватные его новому, религиозному, сознанию. Шедевры появились позднее. «Рождественская звезда», «Чудо», «Магдалина», «Гефсиманский сад» помечены 1946 — 1953 годами...

Впрочем, Борис Пастернак сам объяснил случившееся с ним:

Ты значил все в моей судьбе.  
Потом пришла война, разруха<sup>4</sup>,  
И долго-долго о Тебе  
Ни слуху не было, ни духу.

И через много-много лет  
Твой голос вновь меня встревожил.  
Всю ночь читал я Твой завет  
И как от обморока ожил.

(«Рассвет»)

От затянувшегося «обморока» поэт пришел в себя в годы испытаний Великой Отечественной войны: тогда и состоялось его «третье рождение».

Григорий ШУРМАК.

## ДЕРЖАТЕЛИ ХАРТЛЕНДА ИЛИ ОБИТАТЕЛИ ОСТРОВА?

**З**а последние полтора десятка лет на Западе сложилось весьма интересное направление исследований — школа мир-системного анализа, созданная Иммануэлем Валлерстайном. Основные постулаты этой школы помогают понять очень многое из наших непростых отношений с Западом, а также взглянуть на самих себя глазами того же Запада — как на потенциально очень сильного экономического соперника, но на данный момент не понимающего ни своего места в мире, ни реального (а не прокламируемого) отношения к себе со стороны «цивилизованных».

Ключевое понятие концепции Валлерстайна — «Мир-система». Это отнюдь не «мировая система» или «миросистема». Мир-система сама по себе есть особый мир. Мир-системы делятся на два типа: мир-экономики и мир-империи. Первые основываются на рынке, вторые — на редистрибуции (перераспределении). Современная капиталистическая мир-экономика состоит из ядра, полупериферии и периферии.

Ядро захватывает монопольные позиции в передовых технологиях и верхние этажи иерархии товарных цепей, то есть конечные высокотехнологичные производства, отгирая полупериферию на средние, а периферию на нижние этажи товарных цепочек (поставка сырья для стран, захвативших более высокие иерархические уровни). Отсюда становятся понятными; казалось бы, разрозненные, но многочисленные факты удушения российских высоких технологий нашими вновь обретенными западными друзьями, их настойчивые попытки полностью заблокировать все рынки сбыта российской наукоемкой продукции: России уготовано место периферии, а гегемония «ядра» в современной мир-системе способна «загнать» в оборонительную позицию даже сверхсовременные производства в тех странах, которые не принадлежат к клубу избранных. А этот клуб уже не может расширяться: если в него прорвется «новичок» (например, Россия), кому-то из клуба придется уйти. Поэтому Валлерстайн считает, что национальное развитие для большинства стран недостижимо никаким способом, а те немногие, которые способны добиться успеха, могут сделать это только за счет других. Страны-гегемоны капиталистической мир-системы способны сделать неприбыльными любые альтернативные, даже более эффективные, даже уникальные российские технологии.

Самоочевидно, что Россию Запад в свой клуб избранных не пустит. Как это ни парадоксально звучит, но для Запада более выгоден был тоталитарный СССР, нежели грядущая, по-западному «обустроенная» Россия. Прежний СССР, представляя настоящую головную боль для США «со товарищи» в качестве военной и политической сверхдержавы-антагониста, был в то же время экономи-

<sup>4</sup> «Война, разруха» — это, конечно, эпоха 1917 — 1921 годов.

чески весьма комплементарен Западу в качестве экономической полупериферии. «Мир 60 — 80-х годов был остроумно организованным механизмом, где Запад сбывал остаточный продукт — соцлагерю, а тот, в свою очередь, уже свой остаточный продукт «третьему миру». Такая система сознательно поддерживалась заинтересованными сторонами через искусственное завышение цен на западную продукцию и занижение на советскую» (Гейдар Джемаль). Запад готов был терпеть военно-политическую конкуренцию СССР в по-своему равновесном биполярном мире при условии полного отсутствия с его стороны конкуренции экономической. Но экономического конкурента в лице обновленной России Запад не потерпит, даже если Россия будет демократической и миролюбивой. Не выгодно! Российские либералы могут сколь угодно тешиться «общечеловеческими ценностями», «цивилизованным мироустройством», «торжеством международного права» и прочими маниловскими бирюльками, но в России есть и другие силы, способные бороться с Западом за мировые рынки наукоемкой продукции, то есть претендовать на святая святых — нарушить установившуюся иерархию в международном разделении труда: русские самим фактом наличия у них высоких технологий дерзнули войти в круг «ядра». Наказание последовало незамедлительно: «Ах, вам не нравится быть полупериферией! Ну так станьте же просто периферией! Вон из «приличного дома»! В «третий мир» ступайте, русские дикари». И в самом деле, у «дикарей» за период с 1990 по 1994 год производство наукоемкой, высокотехнологичной продукции упало в десять раз (!) на фоне общего падения промышленного производства немногим более чем в два раза. И если последнюю цифру не так уж трудно отнести на счет общей технической отсталости и структурной «извращенности» российской экономики, то подобное объяснение никак не применимо к колоссальной катастрофе в сфере российского «хайтека»<sup>1</sup> — ведь погибли именно самые передовые производства, долженствующие «вытащить» Россию в XXI век. Думается, что до сих пор нами по достоинству не оценен тот несомненный вклад, который внесено в дело удешевления российских передовых технологий нашими западными (особенно американскими) друзьями. Странно выглядит эта близорукость. Ведь отсечение нас от рынков сбыта, нечестная конкуренция, неэкономические, политико-силовые барьеры на пути российских товаров, вульгарное разворовывание наших ноу-хау (многие из которых опережают аналогичные американские на десять—пятнадцать лет) — все это происходит сейчас на наших глазах. Цели свои наши «цивилизованные» доброты не скрывают: методы и способы удешевления российского «хайтека» широко обсуждаются на страницах западной прессы, «озвучиваются» западными официальными лицами. (Но это почему-то не попадает на страницы наших газет, столь охочих до перепечатывания всего, что встречается на страницах западной печати.)

В клуб избранных не пускают из милости, за хорошее поведение. В «ядро» прорываются с боем, нахраписто работая локтями и круша кости конкурентам. И тем самым добиваются не только привилегированного места в мир-системе, но и уважения к себе. Предельно откровенно эту позицию Запада изложил американский политолог Уолтер Рассел Мид: «Если Жириновский станет завтра президентом России, мы будем обходиться с ним лучше, чем с Ельциным. ...Мы будем прислушиваться к России более тщательно и соблюдать ее национальные интересы более скрупулезно, чем мы это делаем сегодня». Это высказывание — вполне в духе И. Валлерстайна, который писал: «Поскольку экономическое неравенство есть результат политического соотношения сил, экономические изменения требуют применения силы». На такой шаг наше нынешнее руководство не способно «по определению». Более того, нас уже вытеснили с полупериферийных позиций и превратили в периферийную страну, в экспорте которой сырье занимает 85 процентов, а продукция машиностроения — 5 процентов.

Итак, в «приличный западный дом» нас не пускают. А мы скажем: «Нам и не надо было». В «третий мир», на периферию (то бишь на паперть) мы тоже не пойдем — не на таких напали. Ориентироваться надо не на США, ЕС и Японию, а на высокоразвитых аутсайдеров — так называемые НИС (новые индустриальные страны), — на «малых драконов», на Индию, Бразилию, Чили и Аргентину.

<sup>1</sup> «Хайтек» — аббревиатура (от *англ.* high technology), обозначающая понятие «высокие технологии». (Здесь и далее *примеч. автора.*)

Даже наиболее процветающие НИС жестоко страдают от «высокотехнологического неомеркантилизма» стран «ядра», сохраняющих полный контроль над высокими технологиями и передающих НИС лишь устаревшие и неперспективные технологии. Технический протекционизм снижает конкурентоспособность товаров НИС, блокируя их переход к новым поколениям «хайтека». Например, около 90 процентов совместных предприятий Индии получили технологию из США и Японии, которой там пользовались уже не менее пятнадцати лет. 47 процентов СП, созданных на базе американских технологий, получили в свое распоряжение технологические процессы тридцатилетней давности. То же самое и в Латинской Америке: препятствие передачи Севером передовых технологий и отсутствие допуска латиноамериканцев на рынки со своими высокими технологиями. Как видим, проблемы у России и НИС в сфере «хайтека» одинаковы. Разница лишь в том, что российские наукоемкие технологии на несколько порядков выше по уровню и гораздо шире по ассортименту, нежели то, что есть у НИС. Наверное, многие читатели недоуменно пожмут плечами: «О каких таких наших высоких технологиях, да к тому же еще и превосходящих западные образцы, вообще ведется здесь речь? Да вы оглянитесь вокруг, мы так отстали от Запада во всем, что нам только копировать его технику и осталось». Внесу необходимые разъяснения. Шокирующий «демонстрационный эффект» от сравнения западного изобилия и нашей нищеты основывается лишь на сопоставлении производства ширпотреба у них и у нас. Все это — на поверхности, на виду. И в самом деле, на долю сектора группы «Б» у нас приходилось лишь 14 процентов основных производственных фондов, в том числе на долю легкой промышленности — 3,7 процента. С 1960 по 1985 год доля вложений в группу «Б» устойчиво находилась на уровне 4 — 5 процентов. В настоящий же момент эта отрасль переживает обвальный крах, так что в этой сфере нам действительно не то что соперничать с Западом, но даже и на глаза ему показываться — стыдобушки не оберешься. Высокие же технологии создавались в недрах ВПК, и лишь сейчас, когда они поступили на дешевую распродажу, мы видим, что у нас было и чего нас лишают. ВПК — это не какой-то нарост на теле нашего хозяйства и даже не его сердцевинное ядро. ВПК — синоним всей нашей экономики, а его конверсия — синоним экономической реформы. Еще до перестройки 52 процента продукции ВПК имели мирное назначение.

У несравненной Японии — непревзойденные компьютеры и прочая электроника, а у нас — киркомотыги и лопаты? Но на настоящий момент самые мощные и самые быстродействующие в мире суперЭВМ — это российские «Весна» и «Эльбрус-3-1». А есть ли у той же Японии космические корабли, атомная индустрия и авиастроение? Единственное «форте» японцев в авиастроении — среднего уровня стоместный гражданский самолет. Попытки запуска в космос японского спутника «Хризантема-6» привели к тому, что, по признанию самих же японских средств массовой информации, на орбите оказался двухтонный кусок «космического мусора». Потерян не только миллиард долларов, но и надежда на скорое подключение к прибыльному и престижному рынку космических запусков. Россия же, по оценкам американских экспертов, все еще занимает передовые позиции примерно в половине космических технологий. По результатам многочисленных вояжей американских экспертов по СНГ ими был составлен список из более чем трех тысяч наименований технологий, которых у США либо нет вообще, либо в их разработке налицо значительное отставание. А вы говорите: мы отстаем! Это утверждение очень выгодно нашим западным конкурентам и их компрадорским поделщикам в России. Но оно не соответствует действительности. И у нас есть что предложить НИС. Между Россией и этими странами налицо взаимная комплементарность: если «ядро» мир-системы предлагает НИС старье пятнадцатилетней давности, то Россия может предложить разработки, опережающие западные аналоги на тот же временной отрезок, то есть разработки XXI века. По словам президента Республики Корея Ким Ён Сама, его страна стремится в отношениях с Россией к принципу «взаимодополняемости», следуя которому «обе страны смогли бы укрепить свою международную конкурентоспособность». Корея проявляет заинтересованность в российском «хайтеке», в частности в области авиастроения. Схожий интерес проявили Индия и страны Латинской Америки, которых точно так же душит технологическая блокада «ядра». Единственный возможный для них источник высоких технологий — Россия. И за них там готовы платить полновесной валютой или поставками необхо-

димых России товаров, а не воровать наши технологии, как это делают представители уважаемой «великолепной семерки». Особый интерес вызывают у НИС российские военные технологии. Поставки военной техники в эти страны могут спасти наш ВПК от коллапса.

Итак, вырисовывается крайне выгодная для России схема внешнеэкономических связей и отношений: жесткая и бескомпромиссная борьба с привилегированной «семеркой» за место на мировых рынках высоких технологий. Во внешнехозяйственных связях — ориентация не на Запад, а на НИС.

Возникнет уникальная мир-хозяйственная система, где Россия, диверсифицировав свои экономические связи между перечисленными странами, станет для них экономическим ядром — носителем и источником высоких технологий. На Россию станут замыкаться и из России будут исходить во все концы мира технологические цепочки. Тогда не надо будет выключивать у «семерки» квоты, льготы и преференции.

Новые экономические союзники России внесут в общую копилку свои рыночные навыки, способы организации и управления современным производством, свои технологические заделы (как правило, намного уступающие российским), свои капиталы. Россия обеспечит им за это (на строго эквивалентной и равноправной основе) доступ к своим высоким технологиям, в том числе и к таким, каких нет ни у одной страны мира. Попытка же пожить за счет России будет невозможна: диверсификация экономических и технологических связей позволит России-«ядру» мгновенно «отключить» потенциального трутня, то есть отсеять его от исходного пункта технологических цепочек и перераспределить идущие по ним потоки технологий, ресурсов и продукции на других контрагентов.

Создав единый рынок товаров, финансов, технологий и услуг, новая мир-система окажется независимой от МВФ, МБРР, ГАТТ<sup>2</sup>, КОКОМ<sup>3</sup> (который, кстати, уже раз двадцать «отменяли», но никогда на самом деле не отменяют) и прочих политико-силовых механизмов «выкручивания рук» со стороны стран «ядра» старой мир-системы. Мир вновь обретет двухполюсную структуру, но не политико-военно-идеологическую, где капиталистической мир-экономике противостояла советская мир-империя, а рыночно-экономическую, где старому «ядру», захватившему и подмявшему под себя всю мировую экономику, бросит вызов новое «ядро», создавшее мощный таран для взламывания ворот на закрытые, привилегированные рынки и прочие экономические заповедники Запада.

Крах Великого Либерального Мифа с его идеями равноправного партнерского обмена с Западом, основанного на равных для всех правилах игры, «общечеловеческих ценностях» и международном праве, привел Россию к мироощущению изгоя, потерпевшего поражение в «холодной» войне и цинично третируемого обожаемым Западом. На первый план вышла максима, сформулированная Александром III в политическом завещании своему престолонаследнику Николаю: «Помнить — у России нет друзей». Ощущение государственного одиночества привело к пониманию того, что, по словам политолога Александра Панарина, «Россия самоценна, и нет таких целей и ценностей, во имя которых можно пожертвовать Россией». На смену маниловской рефлексии «нового мышления» пришли простые и однозначные, как удар топора, максимы геополитики. Пафос отчаянной борьбы за выживание России, борьбы в одиночку с беспощадным и циничным противником, овладел умами. Наряду с геополитикой актуализировались идеи «борьбы цивилизаций», России — как особенного «культурно-исторического типа» (в духе Н. Я. Данилевского), различные варианты «евразийства» и противостоящая им идея сдружества стран «византийского культурного круга».

Рассмотрим геополитические концепции. Они явно неоднородны, а зачастую и противоречат друг другу. В качестве двух наиболее теоретически проработанных геополитических альтернатив для России можно выделить концепции России как держателя «хартленда», с одной стороны, и России как своеобразного геополитического «острова», отделенного от других геополитических «платформ» системой геополитических же «проливов».

<sup>2</sup> Генеральное соглашение о тарифах и торговле.

<sup>3</sup> Координационный комитет по контролю над экспортом в коммунистические страны.

Понятие «heartland» («сердце земли») было впервые выдвинуто английским геополитиком Х. Дж. Маккиндером для обозначения определенного территориального массива, своеобразного осевого пространства мира. Огромный евразийский монолит — «хартленд» противостоит разрозненной массе океанических держав. Итак, мир дихотомичен: он состоит из держав морских и континентальных. «Коренное различие между океанической сферой и евразийским хартлендом состоит в том, что первая является мозаичным, полицентричным пространством, тогда как второй образует монолит, представленный одной-двумя сверхдержавами», — разъясняет А. Панарин.

Функция держателя евразийского «хартленда» не является а priori прерогативой только России. В случае ее ослабления или дробления альтернативными «держателями» могут выступить Германия или (что вероятнее) Китай. Политика океанических держав — в том, чтобы «уравновесить» слишком легкую часть Евразии с тяжестью восточного евразийского монолита. Наиболее простой способ решения этой задачи — всемерное ослабление и дробление России как держателя «хартленда». Но в этом же коренится и опасность для «океанического Запада»: место старого и знакомого российского визави может занять новый — незнакомый и непредсказуемый. В этой связи становятся ясными слова А. Солженицына из интервью журналу «Форбс», которые так и остались непонятными интервьюеру. На вопрос об угрозе для США со стороны России Солженицын ответил: «Если смотреть далеко в будущее, то можно прозреть в XXI веке и такое время, когда США вместе с Европой еще сильно возмущаются в России как в союзнице.

— Загадочно.

— Это загадочно для тех, кто не видит вдаль и не видит, какие силы растут в мире».

Наиболее последовательный сторонник теоретического обоснования идеи геополитической роли России как держателя «хартленда» Александр Панарин считает, что «пространство СНГ никогда в точности не уподобится западному. Тяжесть евразийского «хартленда» такова, что носителем его может быть только особый евразийский народ, более склонный к героике и жертвенности, чем гедонистически ориентированные народы Запада. ...Я лично сомневаюсь в реалистичности полной деидеологизации и демилитаризации — ожиданий, соответствующих утопии «нового мирового порядка». Вместе с тем я убежден, что эти функции нужно вырвать из рук местных этнократий, способствующих их бюрократизации и варваризации, и вернуть их центру новой федерации государств СНГ».

Критики этой концепции подчеркивают неподъемность, да и ненужность для России функции держателя «хартленда», ибо это уже привело к истощению ее людских и природных ресурсов, деградации всех сторон национального существования.

Наиболее целостную теоретическую концепцию, альтернативную теории России-«хартленда», предлагает В. Л. Цымбурский («Полис», 1993, № 5, стр. 7—8). «Нам не поможет, — пишет он, — знаменитая концепция Х. Маккиндера, описывающая мировую роль России через контроль над т. н. сердцевиной суши (heartland)... Не более приемлема и та версия теории «хартленда», которую без упоминания имени Маккиндера пропагандировал П. Н. Савицкий, видя генотип государственности «России — Евразии» в географическом и экономическом соединении «лесного» и «степного» компонентов, с особым акцентированием роли степи. Для нас... эти концепции бесполезны постольку, поскольку они никак не обозначают границ российской самостоительности». Россия — не просто территориальный евразийский массив (хартленд), нуждающийся в организующе-структурирующей силе «держателя», а особая этноцивилизационная платформа, окаймленная геополитическими зонами («проливами»), отделяющими ее от платформ-соседей и на Западе, и на Востоке. Поглощение Россией «проливов» и попытка слиться с иными «платформами» приводят к потере самоидентичности, к непомерной растрате сил на «обустройство» не самой России (как «острова»), а «хартленда» и в конечном счете к отбрасыванию России в исходное «островное» состояние. Центральная и Восточная Европа вновь становятся западным «проливом», а Средняя Азия — южным. Их функция для России — оборонительная, поэтому нельзя пытаться интегрировать их в геополитическое «тело» России, поставив ее тем самым лицом к лицу с холодной отчужденностью Запада или с огненной дугой бурлящего Юга.



Цымбурский резко отрицательно относится к евразийству, рассматривая его как концепцию, имплицитно ориентированную на «похищение Европы» при опоре на консолидированную под эгидой России Азию. То есть евразийство подразумевает противостоющее слияние российской, западноевропейской и центральноазиатской «платформ», что ничего хорошего самой России не сулит. Именно в этом духе теоретизируют сейчас и европейские «новые правые», и их духовные соратники из газеты «Завтра» (бывшего «Дня»): выдвигается проект некоего невиданного «Евразийского мира», в котором на геополитическую ось «Германия — Россия — Китай» будут «нанизаны» страны от Северной Атлантики до Желтого моря, а острие самой оси будет иметь явно антиамериканскую направленность.

Цымбурский говорит о так и не реализованной до сих пор стратегии, укорененной еще в XVII веке, «когда отчужденная от Европы Россия прорывалась своими авангардами на Тихий океан...». Эта тенденция оживает вновь, и геополитический фокус страны будет смещаться на ее перспективные, но так и не освоенные за столетия «трудные пространства». «Пока Средняя Азия нас хранит от Юга, восточный крен с опорой на Сибирь мог бы вывести Россию из ареала столкновения ислама с либерализмом, ставя ее вообще вне распри «имущего» и «неимущего» миров».

Переворачивается иерархия геополитических приоритетов, и на первое место выходит геополитика внутренняя, нацеленная на развитие «трудных пространств», так и не освоенных нами за триста лет.

Резюме Цымбурского: *«Для России сейчас очень хорошее время, дело только за политиками, которые это поймут».*

Давно уже пора заявить всему миру, как это было сделано при схожей ситуации в XIX веке (после проигрыша Крымской кампании): «Россия сосредотачивается». Не разбрасывать силы истощенной страны на удержание «территорий-проливов», а сосредоточить их на территории самой России. Какие именно силы следует сконцентрировать?

Есть у России два главных резерва, два источника ресурсов для ее будущего возрождения. Их всемерное использование должно составить приоритетные направления российской стратегии развития. Наряду со спасением российской науки и наукоемкого производства не менее серьезным приоритетом является радикальное решение проблемы «других русских» — наших соотечественников, не по своей воле оказавшихся на положении париев в большинстве государств ближнего зарубежья (да и в некоторых собственно российских «национальных республиках»). На повестку дня встает упреждающая и организованная эвакуация «русскоязычных» из Средней Азии и Закавказья и воссоздание в кратчайшие сроки южной границы России с этими странами. Но при этом, как считает председатель Конгресса русских общин Дмитрий Рогозин, необходимо «препятствовать выезду этнических россиян из Казахстана, Прибалтики и Украины. Мы должны добиваться гарантий их прав там, где они живут. И наоборот, если русские не хотят ассимилироваться в Средней Азии, они оттуда уедут. Усиление среднеазиатских теократических режимов и закавказские войны ставят проблему «санитарного кордона». Пограничная линия из русских казаков на юге — неизбежная реальность».

Переселение «русскоязычных» приняло необратимый характер. Все ссылки на то, что Россия не выдержит наплыва репатриантов, не имеют смысла, ибо наплыв этот будет усиливаться, и, чтобы его остановить, нынешним российским властям придется применять силу против масс беженцев, дабы не пустить их в Россию. Надо не препятствовать возвращению «других русских» на их историческую Родину, а наоборот — принять меры по их социальной реабилитации, адаптации и укоренению на новом месте жительства. В Россию возвращается самая трудолюбивая и предприимчивая часть нации: у «других русских» выше детность, меньше разводов, ниже уровень алкоголизации, но гораздо выше общий уровень этической, бытовой и трудовой культуры. Они, по словам генерала Лебеда, «самые славянистые из славян. Ратуют за интересы России больше, чем те, кто в ней живет». Россия — слабозаселенная страна с отрицательным приростом населения. Неподъемная тяжесть империи обескровила и обезлюдилла центральные области России, а к востоку от Урала живут всего 32 миллиона человек, из них на Дальнем Востоке — 8 миллионов. Но свято место пусто не бывает: если мы эти «трудные пространства» не заселим, это за нас сделают другие. Репатриация

создаст большие нагрузки, внутренние напряжения, но позитивные последствия ее перекроют все временные издержки.

Есть у проблемы «других русских» кроме экономико-демографической еще и морально-политическая сторона: да, беженцы не любят нынешнюю российскую власть; да, они неизбежно пополняют ряды недовольных. Но они имеют на это моральное право, ибо отношение к ним со стороны властей иначе как бессердечным не назовешь. И что самое отвратительное — не только властей, но и коренных российских аборигенов: «Понаехали тут всякие, когда самим есть нечего...»

Не может быть морально здоровым народ, допустивший надругательство над миллионами своих собратьев за рубежом, — иудин грех не смыть и через тысячу лет. А народ, морально «опущенный», не имеет будущего. Ни одна нация в мире не допустила бы того, что допускает Россия по отношению к 25 миллионам своих зарубежных соотечественников. Мы выставлены на всемирное посмешище. Ради пятисот американских граждан правительство США произвело высадку десанта на Гренаде, а ведь там их не насиловали, не грабили и не убивали, как это делается с русскими во многих республиках СНГ. Но «что дозволено Юпитеру, то не дозволено быку».

Одержимость холопским недугом перед Западом обернулась для нас системой двойных стандартов. На Западе нас стали откровенно презирать за безволие и бесхребетность нашей внешней политики. Здесь я затрагиваю уже другой приоритет нашей стратегии, который существует объективно, но субъективно полностью игнорируется нашим руководством. Россия — «нищий на золотом троне», но «золотым трон» являются отнюдь не запасы нашего природного сырья, а умы наших ученых и высокие технологии. Так вот, агентство Ассошиэйтед Пресс оценило посещение делегацией из Ливермора нескольких российских НИИ следующим образом: «Впервые американская военная лаборатория покупает сведения у бывшего главного врага, причем это та информация, за которой годами охотилось ЦРУ». Массовая скупка за гроши бесценных российских технологий цинично именуется за рубежом «сезоном охоты на дураков».

Спасение нашей экономики — не в бесполезных монетаристских манипуляциях по рецептам МВФ, а в защите наших высокотехнологичных отраслей от зарубежных мародеров и в беспощадной борьбе с ними на мировом рынке наукоемкой продукции. Если завоюем себе на этом рынке место, достойное великой державы, все остальное приложится (и «макроэкономическая стабилизация» в том числе).

Евгений СТАРИКОВ.

Тула.



**ПОЗДРАВЛЯЕМ**  
нашего автора Владимира Соколова  
с присуждением Пушкинской премии  
в области поэзии за 1995 год.

## КОРОТКО О КНИГАХ



**ЭНЦИКЛОПЕДИЯ ЗЕМЛИ ВЯТСКОЙ.** Т. 1. Города. Составитель В. Ф. Пономарев. Киров. 1994. 448 стр.; Т. 2. Литература. Составитель В. А. Поздеев. 1995. 576 стр.

О децентрализации культурной и литературной жизни в России говорят по-прежнему вскользь и между прочим. А между тем для нашей литературы это свершившееся событие не менее важно, чем для России, например, Февральская революция.

Многие в российской провинции (прежде всего литературная молодежь лет эдак до пятидесяти) с облегчением вздохнули — тихо и незаметно развалилось московское литературное единодержавство, единогласие и единоначалие. Слава богу, минули те времена, когда все мы читали один московский очень прогрессивный журнал, один просто либеральный и один реакционный.

Политическая самостоятельность регионов, подкрепленная даже в наше нищее время правом самостоятельно распоряжаться своим областным бюджетом, сыграла роль и в развитии региональных литератур. Местным властям уже не нужно оглядываться на московские литературные образцы. Что им нужно от литературы, власти, может, и не осознают до конца, но чувствуют: сегодня в фаворе работы краеведческого профиля — о местных древностях, деятелях и прочее. Ведь нынешнюю свою краевую самостоятельность надо как-то обосновать. И наконец, на местах появились реально богатые люди, которые пусть зачастую из прихоти, личной дружбы или чуждества, но готовы издать книгу местного литератора. Выходят сборники стихов (дешево и сердито), томики рассказов, повестей, лежавшие бог весть сколько в загашнике. В нашей Вятке, например, в 1994 году издано в четыре — пять раз больше названий книг местных авторов, чем выходило в застойные годы по плану регионального

издательства. В большинстве своем — все это не члены Союза писателей. И слава богу! Наконец-то личная инициатива, энергия и способности перестали целиком зависеть от воли вышестоящего начальства.

Реальная потребность осмыслить местные литературные и культурные традиции находит свое проявление в создании (или в попытках создания) многотомных энциклопедических работ по истории, архитектуре, культуре и литературе родного края. Реализовать эти начинания позволяет финансовое содействие местных властей. В Нижнем Новгороде, Казани, Вятке (Кирове) уже вышли первые тома такого рода изданий.

В Вятском крае инициатором масштабного десяти томного издания «Энциклопедия земли Вятской» стала областная писательская организация. Идея была разработана руководителями этого проекта Владимиром Арсентьевичем Ситниковым и Надеждой Ильиничной Перминовой. В проспекте издания продекларирована опора на добротный фактический материал по самым разным отраслям знания: истории и литературе, этнографии и фольклору, книговедению и народным промыслам Вятского края, — то есть энциклопедический характер будущего издания позволяет надеяться, что книги эти действительно не умрут в ближайшие год-два, а станут надежной основой библиотеки всякого местного интеллигента.

Существенная задача этого замысла — объединить в авторский коллектив лучшую часть местной пишущей гуманитарной интеллигенции — безусловно, удалась. Историки, литераторы, краеведы, журналисты работают сейчас над томами: «История Вятского края», «Биографический словарь деятелей Вятской земли», «Архитектура», «Самобытные ремесла», «Этнография и фольклор», «Искусство и культура», рядом других.

Подобного по масштабу издания на Вятской земле до сих пор не было.

Хотя следует отметить, что мощная краеведческая традиция жила здесь еще в XIX веке: более пятидесяти томов «Памятных книжек Вятской губернии» (вторая половина XIX — начало XX века) наполнены интереснейшими и живыми статьями о прошлом и настоящем Вятки. Активно функционировал с 1922 по 1941 год Вятский научно-исследовательский институт краеведения. Иными словами, почва для предпринятого сейчас многотомного издания готовилась несколькими поколениями вятичей.

К настоящему времени вышли два первых тома издания.

Первый посвящен двадцати трем городам и районным центрам области. «Что ни город — то норов», — говорили в старину. И это справедливо: у каждого свое прошлое, свои традиции. Города Котельнич, Орлов, Слободской, Советск (Кукарка), Уржум, Яранск, Малмыж сохранили своеобразие в говоре местных жителей, в образе жизни, занятиях.

Очерки о городах невелики по объему — около одного печатного листа. При всем стремлении составителя поддержать их в едином ключе из-за большого числа авторов не удалось. Материалы зачастую разномастны и разностильны, порой сыроваты. Однако, несмотря на отдельные просчеты (низкое качество фотографий, не всегда удачный характер документальных приложений и хронологических таблиц), том, несомненно, будет полезен не одному поколению вятичей.

Своеобразной антологией местной литературы, начиная с XVI века и до сегодняшнего дня, стал второй том.

Материал, расположенный в хронологическом порядке — от средневековой литературы до наших дней, в небольших отрывках представляет наиболее характерные произведения того или иного писателя. Тексты сопровождаются биографическими справками и историко-литературными статьями.

В разделе «Вятская литература XVII — XVIII веков» даются отрывки из «Жития Трифона Вятского», басни и сагиры авторов, группировавшихся вокруг местной духовной семинарии.

Материалы раздела «Вятская литература XIX века» позволяют увидеть и оценить след, оставленный движением народников, в творчестве авторов из среды местной интеллигенции (М. Е. Селенкина, М. И. Осокина, Н. Н. Блинова). Широко представле-

ны работы ныне действующих литераторов, в том числе творчество писателей-земляков, вятских по своим корням. Можно оспорить право на их присутствие в томе, но его качество это явно не ухудшило. Печалит же во втором томе то, что в его основу положена небогатая идея школьной хрестоматии. Серьезным недостатком является и отсутствие библиографии после очерков о писателях. Хотя справедливости ради следует сказать, что большую работу проделала библиограф С. П. Кокурина, создав масштабную «Хронику событий литературной жизни Вятки».

В целом же, судя даже по первым томам, можно сказать, что издание получается оригинальное и очень полезное для концентрации духовной культуры края.

Виктор Бердинских.

✱

**В. Д. КОНЕН.** Третий пласт. Новые массовые жанры в музыке XX века. М. «Музыка». 1994. 160 стр.

За рамками академического музыковедения Валентина Джозефовна Конен известна как автор книги «Рождение джаза» — одного из немногих серьезных и обобщающих отечественных исследований по джазовой тематике. «Третий пласт» — последняя работа, подготовленная ею к печати, вышла в свет, к сожалению, уже посмертно.

Основная идея книги: отказ от привычного дуализма в делении музыки на профессионально-композиторское оперно-симфоническое творчество и фольклор — делении, при котором все, не укладывающееся в подобную примитивную схему, или притягивается за уши к какому-либо из этих полюсов (вспомним ходячую формулу тех времен, когда вынырнули на поверхность барды и отечественная рок-музыка: якобы дело здесь мы имеем с каким-то «новым городским фольклором»), или рассматривается как сниженное качество при отсчете опять-таки от «чистых» классических образцов (например, эстрадная песня по сравнению с оперной арией). Конен же различает в мировой музыкальной культуре отчетливо выделенный «третий пласт», включающий в себя музыку по преимуществу бытовую и развлека-

тельную, существующий вполне самостоятельно как бы между двумя традиционно определенными, дистанцированными от обоих, хотя и взаимодействующий с ними, и развивающийся по своим собственным законам. По мысли автора, именно на его почве возникают в XX веке массовые музыкальные жанры, обретающие зачастую феноменальную популярность и немислимые прежде масштабы потребления.

Концепция как будто очевидна настолько, что не сразу и понятно, в чем, собственно, заключено здесь открытие и почему такие простые слова никем до сих пор не были еще проговорены. Но: достаточно просмотреть хотя бы пару статей (на такие была мода в первые перестроечные годы), где об этой, с их точки зрения, низовой музыке рассуждают композиторы-академисты, как сразу же бросается в глаза абсолютная, едва ли не патологическая глухота и к ее собственным смыслам, и к особенностям ее культурного бытования. Что говорить, если даже в высшей степени чуткий Шнитке вводит в свои сочинения знаки нефилармонических звучаний чаще всего только как символы некоего «нового варварства». Здесь, положим, многое можно объяснить незнакомством, незнанием. Однако оно уже не оправдывает упорства, с которым привычные критерии и методы оценки пытаются прилагать к тому, что этим критериям ни в какой мере не подчиняется, поскольку где наработало, а где и изначально имело свои. Конен была и осталась музыковедом того же, консерваторского, академического толка (справедливости ради стоит отметить, что дела с музыковедением иным не всегда хороши не только у нас, но и на Западе: джаз там, несомненно, глубоко проанализирован и осмыслен, а вот подходить серьезно к явлениям рок-культуры как-то не принято, так что статей именно в музыкальном плане аналитических не отыщешь — критика в подавляющем большинстве смакует наряды, прически, сценические выходы и тиражи пластинок, в лучших же случаях имеет характер скорее культурологический). И умный пафос книги — в стремлении донести до соотечественников по гильдии элементарную, в сущности, мысль: независимо от их признания в музыке всегда существовало (а ныне, в высших своих достижениях, и по уровню художественности — но опять-таки совершенно своеобразной, своей! — не уступает уже и эта-

лонным образцам классики, по крайней мере XX века) многое, что не только для оценки, но и просто для понимания требует иных мер, иных углов зрения и систем отсчета; наконец — обыкновенной непредвзятости.

История «третьего пласта» прослежена с позднего средневековья (трубадуры, карнавалы) до наших дней (джаз и рок-музыка). Главы о взаимопроникновениях «третьего пласта» и «высокой» композиции богаты интересными подробностями и являются собственно исследовательской частью книги. Странно, что Конен не делает вывода, который из всего хода ее рассуждений напрашивается сам собой: что джаз и рок не просто очередные формы того музыкального слоя, который до сих пор оставался традиционно потребительским и развлекательным, но что именно в них «третий пласт» впервые порывает с утилитарностью (ибо джаз в своем магистральном развитии ушел в сторону от коммерческой музыки еще в середине 40-х годов; рок, в авангардных стилистических, — уже в конце 60-х) и начинает настойчиво требовать себе места уже в сфере «чистого» искусства. Любопытно, что даже весьма отдаленные возникающие здесь ассоциации так или иначе работают на подтверждение концепции: скажем, в качестве примера музыки «третьего пласта» в России и некоторых европейских странах Конен приводит роговую музыку — вспоминается, что участник группы «Лед Зеппелин» Джон Пол Джонс, увлекавшийся, после распада знаменитого состава, направлением «нью-эйдж», сочинял музыку для синтезаторов, имитируя звучание именно роговых оркестров.

Главы о джазе представляют собой краткое самоцитирование из «Рождения...» — впрочем, задача книги и не предполагает здесь расширения темы. Обращает на себя внимание некоторая невнимательность автора к джазу второй половины века, значительно расширившему свои границы как концептуально, так и инструментально. Во всяком случае, утверждение, что ни флейты, ни скрипки не привились в джазе в качестве инструментов мелодических, вызывает определенное недоумение, если вспомнить, что в 50-е джаз начали играть даже на валторнах и арфах. Упущением можно считать и то, что не прослеживается структурная и конструирующая для развития многих современных музыкальных жанров

роль средств звукозаписи, фиксирования музыки в конкретном звуке. Однако предположения Конен о влиянии звуковоспроизводящей техники (особенно в ранний период) на формирование тембрового мышления музыкантов оригинальны и небезосновательны.

Главе, посвященной рок-музыке, пожалуй, несколько не хватает строительного материала. Издатели восполняют это, подмонтировав к монографии статью «инфильтрованного» в рок-культуру музыковед Д. Ухова.

Михаил Бутов.

\*

**МАРК ФРЕЙДКИН. Опыты. М. «Carte blanche». 1994. 398 стр.**

Эту книгу я прочитал залпом и, пока читал, все восхищался и никак не мог понять, что же я, наконец, читаю, что же это за поток такой льется на меня, почему я обезоружен?! Это другая книга, совсем не такая, как прочие, она живая в полном смысле слова, потому что автор является героем, а герой автором, как будто в окно больницы палаты вошел к тебе Мастер и начал свой сокровенный рассказ. О чем? Обо всем, что придет на ум, без подготовки, без задней мысли, все как на духу. Все ли? О, есть такие тайны в человеке, что о них под дулом пистолета не расскажешь! Исповедь невозможна. Может быть, поэтому Марка Фрейдкина потянуло в эту степь невозможностей?

Без всяческих приемов, без героя-посредника, о себе, от первого лица: «...с 16 лет состоял на учете в психдиспансере!» Да кто же об этом вслух говорит, а?! Дорогой Марк Ильич, у нас так не принято о себе рассказывать. А он продолжает: «Меня признали сумасшедшим, и это пригодится мне на всю жизнь!»

Чтобы выжить в «стране героев», нужно было постоянно прикидываться кем-то, или по-простому: работать под дурака. И никакого искусства М. Фрейдкину не потребовалось, чтобы «стать сумасшедшим», поскольку он догадался: «Любой врач во многом подобен следователю, а следователь, как мне объяснил один из старших товарищей во дворе, знает о нас только то, что мы сами ему расскажем». Это точнейшее смысловое попадание автора, по которому я, собственно, и сужу о нем.

Если я скажу, что Фрейдкин — брачный аферист, то он не обидится, поскольку сам мне рассказывает об этом в «Записках брачного афериста», которые начинает так: «Считаю своим долгом предупредить читателя, что в силу особенностей своего литературного дарования я совершенно не владею искусством художественного переосмысления действительности. Таким образом, все описанное ниже — это абсолютно подлинные факты моей, к сожалению, небезупречной биографии, которые я не умел приукрасить ни целомудренным преувеличением, ни циничным умолчанием». И далее идет рассказ о фиктивном браке с некой Верой, которой была необходима московская прописка, о некой Наде, которая хотела навязать себя автору, прислав такую телеграмму: «Марк, если ты на мне не женишься, у меня от тебя будет ребенок», а дочка у этой Нади была от другого, так же, как и сын Веры, но Фрейдкин потом признал сына своим — Семеном Марковичем Фрейдкиным, «под каковым именем он с того дня и значился в моем паспорте и в выданном мне свидетельстве о рождении».

Итак, по этим двум вещам книги я понял, что имею дело с сумасшедшим и аферистом, далее узнаю, что автор — еврей: «Из воспоминаний еврея-грузчика». Уже смешно! Потому что непрофильно. Когда он работал на станции Курская-товарная, поражался своему бригадиру, выпивавшему сразу пару бутылок водки из горла. После чего командовал Фрейдкиным, который покорно поднимал и переносил тяжести. Тащит он и думает: «...мне случалось обращать внимание на тот, казалось бы, парадоксальный факт, что большие физические нагрузки не только не угнетают иных проявлений человеческой активности, но и до определенной степени стимулируют их. Не возьмусь объяснять механизм этой стимуляции, но интересно, что, по моим наблюдениям, специфика тяжелого физического труда и его социальные корни подразумевают в профессионале помимо неординарных атлетических данных еще и всевозможные нетривиальные душевные наклонности, и при этом зачастую акцентуированное стремление к реализации вторых является своеобразной материализацией первых или не прямой проекцией их в сферы, непосредственно не связанные с основной деятельностью». Каков стиль у грузчика, какова лексика! Складывается впе-

чатление, что тогда таланты работали грузчиками, а бездарности заседали в Союзе писателей, выпуская кирпичи, которые и приходилось таскать этим грузчиком! Случилось как-то Фрейдкину доставлять пианино на квартиру Новеллы Матвеевой. «Я, конечно, не буду здесь излагать свои косные взгляды на ее творчество — скажу только, что жила она на восьмом, кажется, этаже большого старого дома неподалеку от Колонного зала Дома союзов...» Главное здесь, разумеется, для грузчика — восьмой этаж. Без лифта. Узкая лестница. Тащить неудобно. На одном вираже погнули педаль пианино. Из-за этого Фрейдкина замучила совесть. Он попросил у хозяйки листок бумаги и написал извинительные вирши, которые демонстративно спрятал под крышку пианино. Там были такие строки:

Душа моя не так ранима,  
Как это Ваше пианино,  
И потому его педаль  
Слегка погнулась. Очень жаль...

«К сожалению, мне неизвестно, как понравился Новелле Матвеевой мой экспромт, поскольку, хотя с тех пор прошло уже много лет, она не сделала ни одной попытки сообщить мне о своем впечатлении», — резюмирует автор.

В «Эскизе генеалогического древа» он пытается добраться до своих корней через бесконечные расспросы «обидчивых еврейских родственников». Несмотря на все усилия, автору удалось углубиться в историю своих предков лишь до шестого колена. А подвигла на этот

эскиз Фрейдкина смерть его отца. До этого события он придерживался запальчивого утверждения юного Мандельштама: «Свое родство и скучное соседство мы презирать заведомо вольны». «...и только гораздо позже, когда надуманный пафос изгоя и блудного сына стал во мне несколько утихать, я понял, сколько горя и незаслуженных обид я принес своим близким».

Завершает «Опыты» вещь с характерным для автора названием «Книги ни о чем». Для Фрейдкина предмет рассуждений вторичен, для него главное — говорить, рассказывать, писать, графоманить. Под графоманией понимаю нечто бессодержательное. У Фрейдкина же из ничего, из, казалось бы, воздуха, пустоты получается великолепное содержание. Потому что он на каждом шагу мыслит. Фрейдкину присущ дар мыслителя, который не стесняется своих мыслей, какими бы они ни были. В «Книге ни о чем» он вдруг обращается к алкогольной тематике, актуальной для страны, но не для автора. Он выстраивает синонимический ряд для глагола «выпить», и этот ряд растягивается на десять страниц: «...бабахнуть, бацнуть, бормотнуть, булькнуть, бухнуть, вздрогнуть, вландырить...» Прочитывая этот бесконечный ряд, где-то ловишь себя на том, что ты уже хочешь! Потом автор естественно переходит на песни и шарады, потом на умозаключения и примеры из собственной биографии, потом... Куда хочет, туда и выходит, или его выносит волна вдохновения, вслед за ним подхватывая и нас.

Юрий Кувалдин.

---

---

## РУССКАЯ КНИГА ЗА РУБЕЖОМ



**Е. А. ЕФИМОВСКИЙ.** Встречи на жизненном пути. Париж. [Без изд-ва]. 1994. 135 стр.

**Е. А. ЕФИМОВСКИЙ.** Статьи. Париж. [Без изд-ва]. 1994. [306 стр.].

Можно с уверенностью утверждать, что автор обеих книжек, хотя и принадлежит к напумевшей «первой волне» российской эмиграции, практически неизвестен в своем отечестве. И это ужасно обидно. Ведь Евгений Амвросиевич Ефимовский может чрезвычайно пригодиться в «нашей личной и общественной жизни». Правда, сегодня, в эпоху рекламных преувеличений и ложных репутаций, к моим словам могут отнестись как к привычной гиперболе. И это тоже будет обидно.

Между тем Ефимовский (1885 — 1964), сверх того, что он являл собой редкий тип ответственного политического деятеля, был идееносным публицистом, блестящим оратором, неустанным организатором печатного слова, — настоящий экзистенциальный герой. «Рыцарь без страха и упрека», в своей благородной верности российскому прошлому, болезни которого он сердечно переживал и над которым постоянно раздумывал, бросавший вызов ближайшей (и дальней) среде с ее неуклонно левым уклоном, сумевший — при своем легендарном добродушии — разойтись с большинством кадетских соратников, членов Временного правительства; нетерпимый к несправедливостям и посприанию чести дуэлянт, конфликтующий с царствующими особами и президентами; отзывчивый на любую нужду бессребреник; родственник императорской фамилии, часто живший впроголодь и ночевавший в гараже у знакомых шоферов, и это будучи уже европейски известным деятелем; храбрец, решавшийся на опаснейшие предприятия, например, на противодействие революционной пропаганде среди солдат; сидевший более полугодя в гестапо как защитник евреев и пытавшийся покончить жизнь самоубийством из боязни кого-нибудь выдать под пыткой; русский идалго — и внешне схожий с Дон Кихотом, худой, высокий, с живым светящимся взором, — прошедший жизнь в битвах за Россию. Его донкихотство улавливается и в воспоминаниях известного эмигрантского публициста В. Рудинского, сотрудничавшего с Ефимовским в газетах «Русский путь», «Русское Воскресенье», в журнале «Возрождение»: «Ефимовский был компетентным юристом <...> и личностью многообразно одаренной <...>, но решительно не приспособленной к жизни на Западе, хотя, между прочим, он отлично владел французским и немецким языками и умел найти нужный тон в любом обществе как остроумный и интересный собеседник» («Голос зарубежья», Мюнхен, 1992, № 67, стр. 31). Ведя такую напряженную, неустроенную, наконец, опасную жизнь, Е. А. Ефимовский ощущал себя «баловнем судьбы», потому что был убежден — дело его правое.

А вот, по свидетельству его современников и сотрудников, круг главных идей и тем Ефимовского: «Таких неуклонно верных своей Правде людей, как Е. А., невозможно оценить достаточно высоко в наше смутное, изобилующее «перелетами», время <...> Евгений Амвросиевич был не просто политическим деятелем: поэт в душе, он был бардом России, пророком ее грядущего возрождения и певцом русской монархии в ее лучших проявлениях и возможностях. Один из последних полноценных представителей русской культуры, историк по образованию, он знал пороки нашего прошлого. Ему был глубоко чужд столь распространенный умильно-дубочный стиль почитателей никогда не бывшего. Но его умственному взору всегда предносился идеал монархии как строя, естественно вытекающего из органических данных русской исторической жизни и из русского, в основе своей религиозного, мироощущения <...>. По роду своей профессии, как присяжный поверенный, он соприкасался со всеми слоями населения, знакомился с их нуждами и



чаяниями и смолоду излечился от утопического доктринерства и неистовств левого лагеря. Уже в России вся его деятельность была проникнута одновременно любовью к страждущим, государственным чувством и реформаторским духом <...>. И его сознательный монархизм устоял в момент, когда после февральского переворота партия Народной свободы (то есть кадеты, к которым Ефимовский тогда принадлежал. — *Р. Г.*) объявила себя республиканской. <...> В эмиграции, на довольно сером фоне политически большей частью неподготовленных правых, Е. А. возглавлял конституционное крыло монархизма <...>. Та же подлинная любовь к живым людям, к русскому народу и к его государственности побуждала Е. А., при теперешнем развале коммунизма, намечать пути к *мирному обновлению России*» (из некролога, помещенного редакцией «Возрождения», 1964, № 154). «Ефимовский, — пишет его соратник по славянскому движению А. Колачевский, — был законченный тип либерала-государственника <...> всю жизнь сражаясь с нашим русским беспочвенным радикализмом, он всегда был поборником права и свободы <...>. Анализируя причины революции и великих потрясений России <...> он всегда подчеркивал мысль, что потрясения эти не могут быть объяснены только происками иноземных врагов и работой ее внутренних предателей, но были следствием противоречий русского государственного уклада, — в противоположении государственного аппарата и развивающейся самостоятельности общества. Уйти от повторения старых ошибок — значит найти формулу сочетаний идеи законной народной монархии и политической свободы с возвращением Государству Российскому его русского национального облика. В этом отношении его положения близки и общи с И. Л. Солоневичем. <...> Правильное народное представительство являлось для него залогом прочности и устойчивости престола. <...> Его широта взглядов и терпимость позволили одно время создать во Франции общий монархический фронт, в который входили все течения монархической мысли».

«Встречи на жизненном пути» — книга, Ефимовским не законченная, состоящая из одиннадцати очерков, и приложения, куда составители включили его неопубликованную статью «На суд истории. Конституционно-монархическая самокритика. Полвека борьбы» и статьи о нем. Эта книга должна была, по замыслу автора, выразить «голос целого поколения, попавшего под удары судьбы, вызванные разрушением векового здания Российской Империи и похоронившего под ее развалинами и наши мечты, и самую нашу жизнь». «Наше стремление, — пишет далее Ефимовский от имени группы единомышленников, — было направлено к созиданию на родной земле. Их (то есть левого блока. — *Р. Г.*) лозунгом было „Долой неограниченное самодержавие“ даже тогда, когда его уже не было в действительности. Нашим — „Да здравствует великая и свободная Россия“».

Нам понятно, что группа конституционных монархистов, единомышленников Ефимовского, невелика. Из его записок это становится еще яснее: если под «ударами судьбы» действительно оказался довольно широкий круг россиян, попавших в эмиграцию, то что касается «лозунгов», наш герой, бывало, попадал в положение одинокого стрелка. Ибо и тогда, как и сегодня, в большинстве оказывались те, кто определения «великая» и «свободная» применительно к России воспринимает раздельно: одни, справа, стоят только за «великую», другие, слева, только за «свободную», отчего — как можно умозаключить и из текстов Ефимовского — не будет в итоге ни той, ни другой.

Мемуары Ефимовского начинаются с описания семейного уклада, открывающего секрет воспитания личной стойкости, воспитания, в основе которого был заложен императив «ты — должен»; годы детства и ранней юности, проведенные в «морально требовательной обстановке», автор называет «золотыми». Вспоминает встречи с профессорами Московского университета, кадетскими идеологами — В. О. Ключевским, А. А. Кизеветтером, С. Н. Трубецким, П. Н. Новгородцевым, П. Н. Милоковым, Ф. Ф. Кокошкиным, В. А. Маклаковым... Политическая деятельность Ефимовского, начавшаяся на студенческой скамье в бурные 1903 — 1905 годы, выглядит совершенно непривычным для нас образом: он сразу выступил наперерез революционно и социалистически настроенным молодежным агитаторам, был избран председателем студенческой фракции конституционных демократов и начал вести борьбу на два фронта: против правых «бездвижников» среди монархистов и против социалистических партий. Принимал участие в общеславянском движении. Вместе с Ефимовским-добровольцем мы соприкасаемся с обстановкой на фронтах — Бессарабском и Румынском, присутствуем на предвыборном

солдатском митинге, где молодой монархист одерживает победу над большевистским агитатором, а затем становится объектом погони «опомнившихся» слушателей. Самым существенным моментом его идейной биографии, как отмечает один из чествователей Ефимовского на его юбилее в Париже в 1958 году Н. В. Станюкович, «надо признать разрыв Ефимовского с монархической конституционно-демократической партией при ее превращении в республиканскую. Для деятеля, сформированного и сроднившегося с партией, связанного с нею всеми корнями российских воспоминаний, это должно было быть трагически трудно, но <...> слепое поклонение европейским образцам без вздумчивого учета наших российских особенностей, характерное для русской либеральной политической мысли, Евгения Амвросиевича не захватило». В книге рассказывается о беседах с Шульгиным, встречах с военачальниками, дается описание военного Киева, которое можно принять за своего рода историко-политический комментарий к булгаковской «Белой гвардии».

Ефимовский вспоминает, как весной 1919 года, получив от генерала Деникина задание по налаживанию межславянских связей, он отправился в Югославию и Болгарию. Старая идея свободного объединения славянских народов вокруг императорской России, борющейся с «привычными угнетателями славянства вовне России», стала в 1919 году безнадежным анахронизмом, зато «коренной пересмотр русско-польских и украинских отношений в самой России», за который ратовал Ефимовский, был живым делом тогда и остается благотворным залогом на будущее. Автор описал «демаркационную линию», по которой произошел раскол неославянства, сформулировав при этом и оставив нам в наследство ряд дилемм: «Что — Российская империя есть синтез властвующих и подчиненных народностей или она есть «имперский отчий дом», где все равны и все родные? Что — русский народ есть «primus inter pares» (первый среди равных. — *Р. Г.*) или счастливый победитель, несущий староримское «vae victis» (горе побежденным. — *Р. Г.*)? Что — лозунгом российского государства должно быть евангельское «мир всем» или <...> требование благодарности от пожираемых им народностей?» Нам нетрудно догадаться, что предлагалось выбирать — тогда и всегда. По ходу миссии как бы в преддверии исхода русских сама собой готовилась почва для их приема в Европе, «открывалась новая страница — славянского гостеприимства». Этим путем — через Прагу в Берлин и Париж — следовал, как описано во «Встречах...», и сам автор, организовавший и возглавивший в 1922 году во французской столице среди многого прочего Народно-монархический союз.

Как видим, «Встречи...» — очерки не только мемуарные, но вплотную приближенные к тридцати четырем статьям, составившим вторую книгу Ефимовского. Эти статьи (в числе которых тоже есть заметки-воспоминания, например, о любопытной встрече с женой Л. Н. Толстого) публиковались в журнале «Возрождение» с 1956 по 1964 год. Часто они приурочены к памятным датам политической истории (например, «Правда и милость. К столетию великих реформ», «Мечты и действительность. Полвека неославизма», «Между сциллой и харибдой. К сорокалетию Народно-монархического союза конституционных демократов», «Лицо и изнанка. Двенадцать лет в партии Народной свободы») или к выходу связанных с этой тематикой книг («Перед судом истории. О «Воспоминаниях» П. Н. Милюкова», «Один из могикиан. Памяти В. А. Маклакова», «Политический сфинкс. Георгий Адамович о Василии Алексеевиче Маклакове»).

Но есть очерки с преимущественным теоретическим уклоном — «Долг чести», «Истоки и параллели», «Две правды. Мысли в Татьянин день», «Нравственный облик Императорской России», «Причины и следствия», «Политические силуэты. Лицо и изнанка», «Роковые вопросы», «Точки зрения». Они оправдывают слова автора: «В мою задачу входит не изложение череды внешних исторических событий, а попытка анализа их внутреннего смысла, то есть моральных импульсов; их взнос в мировую сокровищницу правды и красоты». Такой «взнос» Ефимовский видит в «жертвенном подвиге» России в первой мировой войне. Оставаясь верной союзником, она не только спасла Францию, как цитирует автор маршала Фоша, от «стирания с лица Европы», но, главное, «защитила свою национальную честь», то есть выполнила неотменимый «категорический императив», забвение которого обесчещивает — в частной ли, в национальной ли жизни. С горечью отмечен контраст между чуткостью бывшей России в делах национальной чести во внешних отношениях и «отсутствием чуткости и твердости» в защите традиционных устоев своей государственности. Накануне революции страна в лице всех слоев

общества была в полной неготовности к ней: «Что же встретил перед собой <...> вооруженный до зубов революционный фронт?» С безбожием должна была бороться церковь, монархию должны были защищать монархисты, общество должны были защищать реформаторы. А у нас, обличает автор на сей раз правых, анархически «смешали понятия „социальности с социализмом“». Боролись против требовавшихся социальных реформ и защищались от них соображениями о „преждевременности социализма“».

Ефимовский — наследник «Вех», критик отщепенства и утопического проективизма атеистической интеллигенции. У него мы находим любопытные ракурсы, связанные, в соответствии с обеими его профессиями, с русской историей, с одной стороны, и теорией права — с другой. Он рассматривает понятие революции и практику ее в России в отношении к правовым нормам. Легкость победы революции, разжигаемой интеллигенцией, «снобизирующими верхами», левыми либералами, проистекала из «неуважения к закону», которое поддерживалось двумя факторами: его «невыполнением из корыстных соображений органами исполнительной власти и отсутствием правосудия в России до реформ императора Александра II»; истоки же надо искать в глубинах «отравленного» крепостным правом сознания. Однако, при всех грехах власти, «все, что было хорошего» в государстве Российском, по Ефимовскому, все-таки «было создано монархией», а не ее политическими противниками. Любимые слова Ефимовского — «девиз» и «знамя». Что написано у вас на знаменах? — обращается он к самосознанию политиков и в России и в эмиграции — и в этом свете рассматривает шансы возрождения России после коммунистического господства. Девиз же, под которым работал последние годы в журнале «Возрождение» сам Ефимовский, был «Величие и свобода России, достоинство и права человека, преемственность и рост культуры».

Рената ГАЛЬЦЕВА.



Редакция журнала «НОВЫЙ МИР» уведомляет зарубежных книгораспространителей, что законным образом отправляются зарубежным читателям номера «НОВОГО МИРА» только в специальном экспортном исполнении — в белой (а не голубой) обложке с эмблемой «NOVY MIR».

---

---

## КНИЖНАЯ ПОЛКА



**Владимир Батшев.** Записки тунеядца. Роман-документ. М. «Голос». 1994. 368 стр. 5000 экз.

Лирико-публицистические мемуары «смоговца» 60-х и диссидентствующего литератора 70 — 80-х годов, написанные в начале 70-х об истории своей ссылки.

**Василий Белов.** Кануны. Хроника конца 20-х годов. М. «Голос». 1994. 478 стр. 10 000 экз.

**Василий Белов.** Год великого перелома. Хроника начала 30-х годов. М. «Голос». 1994. 474 стр. 10 000 экз.

**Михаил Бузник.** Красота Елены — летопись света. Стихи. Париж. «УМСА-PRESS». 1995. 103 стр.

Книжка коротких верлибров о любви.

**Анна Васяева.** Тяжелый снег. Книга стихотворений. Составитель Татьяна Костандогло. М. Гуманитарный фонд содействия культуре. 1994. 48 стр. 500 экз.

Посмертное издание стихов поэтессы, известной в литературных кругах 80-х годов, но не публиковавшейся при жизни.

**Ивлин Во.** Собрание сочинений. Том 1. Упадок и разрушение. Мерзкая плоть. Рассказы. Перевод с английского С. Белова, В. Орла, М. Лорие, Р. Облонской. Составление, общая редакция О. Г. Сосиной. М. «Эхо». 1994. 396 стр. 20 000 экз.

**Виктория Волченко.** Стихотворения. М. Гуманитарный фонд содействия культуре. 1994. 32 стр. 300 экз.

**Вятские сказки, подготовленные Виктором Бердинских.** Сборник. Киров. «Вятка». 1995. 72 стр. 5000 экз.

Малоизвестные сказки из фонда вятского собирателя И. А. Мохирева, а также четыре сказки, публикуемые впервые в записи и в пересказе составителя.

**Сигизмунд Кржижановский.** «Страны, которых нет». Статьи о литературе и театре. Записные тетради. Составление, предисловие, примечание В. Перельмутера. М. «Радикс». 1994. 156 стр. 1500 экз.

**Юрий Нагибин.** Дневник. М. «Книжный сад». 1995. 576 стр. 11 000 экз.

Дневники, точнее — интимная автобиографическая художественная проза, которую писал Нагибин с 1942 по 1986 год исключительно для себя и которую решил передать издателю буквально за несколько дней до смерти.

**Анатолий Приставкин.** Кукушата. Избранная проза. М. СП «Квадрат». 1994. 688 стр. 25 000 экз.

**Георг Тракл.** Избранное. Перевод с немецкого, составление, предисловие, примечания О. Бараш. М. «Catalaxu». 1994. 222 стр.

**Элиан.** Пестрые рассказы. Перевод с древнегреческого, статья, примечания, указатель С. В. Поляковой. М. «Ладомир», «Наука». 1995. 186 стр. 2000 экз.

**Томас Элиот.** Избранная поэзия. Поэмы, лирика, драматургическая поэзия. Составление, вступительная статья Л. Аринштейн. СПб. «Северо-Запад». 1994. 448 стр. 25 000 экз.

Самый полный из всех издававшихся на русском языке сборник Элиота. Переводы сопровождаются параллельными текстами оригинала.



**Мартин Бубер.** Два образа веры. Составители П. С. Гуревич, С. Я. Левит. М. «Республика». 1995. 464 стр. 26 000 экз.

**Ян Гус. Мартин Лютер. Жан Кальвин. Торквемада. Лойола.** Биографические очерки. М. «Республика». 1995. 384 стр. 21 000 экз.

**Рене Декарт.** Размышления о Первоначальной Философии. На латинском и русском языке. СПб. «Абрис-книга». 1995. 192 стр. 5000 экз.

**Жан Делюмо.** Ужасы на Западе. М. «Голос». 1994. 416 стр.

Исследование французского историка и культуролога социальной психологии жителей Европы в эпоху Возрождения.

**В. Кашкова.** Я повторяю знакомое название... Тверь. Тверское областное книжно-журнальное издательство. 1994. 180 стр. 1000 экз.

Литературно-краеведческие очерки о селе Прямухино Тверской губернии, связанном с историей семьи Бакуниных и оставившем след в судьбе и творчестве Тургенева, Станкевича, Белинского, Толстого.

**Н. И. Конрад.** Синология. Составление Н. И. Фельдман-Конрад. Репринтное издание. М. «Ладомир». 1995. 662 стр. 2000 экз.

**В. В. Леонтович.** История либерализма в России. 1762 — 1914. Перевод с немецкого И. Иловойской. М. «Русский путь», «Полиграфресурсы». 1995. 550 стр. 50 000 экз.

**Мир Пушкина.** Автографы, прижизненные портреты, пейзажи, отрывки из сочинений и писем, свидетельства современников. Альбом. Введение С. Фомичева. Составление Э. Лебедева и других. М. «Русская книга», «Полиграфресурсы». 1995. 204 стр. 10 000 экз.

**И. В. Нестьев.** Дягилев и музыкальный театр XX века. М. «Музыка». 1994. 224 стр. 2000 экз.

**Платон.** Протагор. М. «Прогресс». 1994. 174 стр. 5000 экз.

**Ростислав Янович Плятт.** Воспоминания друзей и коллег. Составитель Л. Ф. Лосев. М. Театр им. Моссовета. Издательство «Материк». 1994. 320 стр. 5000 экз.

**Постсимволизм как явление культуры.** Сборник. М. РГГУ. 1995. 49 стр.

Материалы международной научной конференции, проходившей в Российском государственном гуманитарном университете 10 — 11 марта 1995 года. Среди участников ученые из Польши, Германии, Швеции, Хорватии.

**В. В. Похлебкин.** Чай и водка в истории России. Красноярск. Книжное издательство. Новосибирск. Книжное издательство. 1995. 464 стр. 20 000 экз.

Новая книга нашего знаменитого историографа мировой кулинарии.

**Эрнст Трёлъч.** Историзм и его проблемы. Логическая проблема философии истории. Перевод с немецкого М. И. Левиной, С. Д. Сказкина. М. «Юрист». 1994. 719 стр. 11 000 экз.

Впервые на русском языке, видимо, самый значительный труд немецкого философа и теолога Эрнста Трёлъча (1865 — 1923), в котором предпринята попытка исследования «культурного синтеза европеизма» на основе всеобщей истории европеизма и поиска ориентиров для возрождения европейской культуры после первой мировой войны. Построенное в форме дискуссии с философами и историками прошлого и настоящего, исследование представляет ценность еще и как редкий по полноте компендиум историко-философских идей от Гегеля до мыслителей 20-х годов нашего столетия.

Книгой Трёлъча издательство «Юрист» продолжает серию «Лики культуры», начатую в 1992 году выпуском избранных произведений Макса Вебера. В ближайших планах издательства книги Карла Манхейма, Пауля Тиллиха, Ричарда Нибура, Рут Бенедикт, Эрнста Кассирера и других. Подготовлены антологии «Культурология. XX век», «Нравственные идеалы итальянского Возрождения», хрестоматия «Народы Европы на рубеже эпох (IV — XI века)».

Составитель С. Костырко.



---

---

## ПЕРИОДИКА



«Арион», «День и ночь», «Дружба народов», «Знамя», «Знание — сила», «Иностранная литература», «Москва», «Нева», «Общая газета», «Октябрь», «Русская мысль», «Урал», «Юность»

**Федор Абрамов.** Белая лошадь. Фрагменты незавершенной повести. Публикация, вступление и комментарии Л. Крутиковой-Абрамовой. — «Знамя», 1995, № 3.

Материалы к ненаписанной военной повести. О судьбе и личности однокурсника Ф. Абрамова — талантливого Семена Рогинского, погибшего на фронте.

**Федор Абрамов.** Наводнение. Публикация Л. Крутиковой-Абрамовой. — «Нева», 1995, № 2.

Запись в дневнике 16 октября 1955 года о ленинградском наводнении.

**Николай Агнивцев.** Галантная история о некоем кавалере де-Рошефоре. Подготовка текста и публикация Н. Кавина. — «День и ночь» (Красноярск), 1994, № 5 (сентябрь — октябрь).

Эротическая (в меру) поэма, приписываемая поэту Н. Я. Агнивцеву (1888 — 1932). Из архива писателя М. В. Борисоглебского, хранящегося в отделе рукописей Российской национальной библиотеки.

**Анатолий Азольский.** Нора. Повесть. — «Дружба народов», 1994, № 10.

Не Но́ра, а — но́ра. У каждого человека должна быть своя нора. Ради нее идут на преступление.

**Роман Арбитман.** Мы одни плюс разбитое зеркало. Фантастика сегодня: воспоминания о будущем и предсказания назад. — «Дружба народов», 1994, № 9.

О новом жанре в нашей беллетристике: «роман вялотекущей катастрофы».

**Брендан Биэн.** Говоря о веревке. Трагикомедия в трех актах. Перевод с английского Иосифа Бродского. — «Иностранная литература», 1995, № 2.

Пьесу ирландского драматурга И. Бродский перевел еще в пору своего жительства в Ленинграде. Перевод переработан специально для настоящей публикации.

**Андрей Битов.** Неистовый Роландо, или Как правильно смотреть телевизор. — «День и ночь» (Красноярск), 1994, № 4 (июль — август).

Дискурс, посвященный прозаику Евгению Попову, датирован 6.03.82.

**Михаил Борисоглебский.** Верховный правитель. Главы из романа. Подготовка текста и публикация Н. Кавина. — «День и ночь» (Красноярск), 1994, № 5 (сентябрь — октябрь).

Книга забытого ныне, репрессированного литератора М. В. Борисоглебского (1897 — 1942) о Колчаке написана в 1926 — 1928 годах. Авторизованная машинопись хранится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки.

**Александр Бородиня.** Самолет над квадратным озером. Историческая поэма. — «Дружба народов», 1994, № 9.

Повесть 1989 года. Большой Соловецкий остров. Теплоход «Казань». Группы.

**Михаил Бутов.** Музыка для посвященных. Повесть. — «Знамя», 1995, № 3.

Повесть из современной жизни. Литератор и его семья.

**Петр Вайль.** Улица и дом. — «Иностранная литература», 1995, № 2.

Новая журнальная рубрика «Гений места». Дублин Джойса и Лондон Конан Дойля.

**Светлана Васильева.** Вечная жена чекиста. Рассказ. — «День и ночь» (Красноярск), 1994, № 4 (июль — август).

Маленькая семейная история.

**Николай Глазков.** Похождения Великого Гуманиста. Публикация Николая Глазкова-сына. — «Общая газета», 1995, № 13, 30 марта — 5 апреля.

Короткие прозаические миниатюры 1949 — 1952 годов, связанные общим персонажем (альтер эго автора). Предисловие Михаила Поздняева.

**Валерий Исхаков.** Екатеринбург. Роман. — «Урал», 1995, № 1, 2, 3.

В Екатеринбурге, городе поистине фантастическом, живут и действуют известный писатель Федор Удилов, его литературный агент Егор Годунов, кинокритик Гриня Кутилин и прочие персонажи, чьих прототипов (если они имеются) нам все равно не угадать.

**Уильям Батлер Йейтс.** Единственная ревность Эмер. Пьеса для танцовщиков. Перевод с английского Г. Кружкова. — «Иностранная литература», 1995, № 2.

Пьеса 1916 — 1917 годов, основанная на эпизоде из ирландских саг. Поэт У. Б. Йейтс был также одним из создателей Ирландского национального театра (Театра Аббатства), его директором, автором и режиссером.

**Юрий Каграманов.** Если завтра война. — «Дружба народов», 1994, № 9.

«Тень «завтрашних спящих войн» (М. Цветаева), очень не похожих на все предыдущие войны, обязывает нас выработать какую-то новую философию войны и военного дела или хотя бы заложить в ее основание первые камни».

**Сергей Кузнецихин.** Санитарный вариант, или Седьмая жена поэта Есенина. Повесть. — «День и ночь» (Красноярск), 1994, № 4 (июль — август).

Истории из психушки. «Двадцать шесть бакинских комиссаров поймали поручика Лермонтова» и так далее — о Платонове, Фадееве, Белинском, Маяковском...

**Валентин Курбатов.** Последний (?) парад. — «Москва», 1995, № 2.

Статья псковского критика о «деревенской» прозе: «...то, что мы называем собственно русской литературой, сложившейся в XIX веке и почти не требующей определения... заканчивается именно на наших глазах. ...Не о конце истории речь, а о природе таланта и об усталости этой природы». Ср. со словами Валентина Распутина в том же номере «Москвы»: «Сейчас вспоминать о «деревенской» литературе — все равно, что вспоминать о художниках-передвижниках прошлого века. Кажется: то и другое бесконечно далеко».

**Анатолий Лянциков.** Почему я стал американофобом. — «Москва», 1995, № 2.

«Если я имею в виду Америку до Портсмута или «Америку Рузвельта», то я ощущаю себя американофилом. Если же я имею в виду Америку после второй мировой войны и особенно в последнее десятилетие, то я поневоле становлюсь американофобом, ибо эта Америка предает не только своих давних и верных союзников, но и свои лучшие традиции...»

**Юлия Латынина.** Искусство стяжания. — «Знание — сила», 1995, № 1.

«На протяжении тысячелетий культурные элиты предлагали обществу идеальные модели мира, в которых не было места предпринимателю. Для многих культур «естественно и рационально накапливать не деньги, а престиж, не собственность, а власть».

**Виктор Лихоносов.** Сними проклятие, Господи... — «Москва», 1995, № 2.

«Тут и поклонился...», «Сними проклятие, Господи...», «Запонки с гербом» — три рассказа 1994 года.

**Юрий Лотман.** Нам все необходимо. Лишнего в мире нет. — «Дружба народов», 1994, № 10.

Одна из последних публикаций знаменитого ученого. Заметки и беседы о культуре.

**Александр Мелихов.** Прыжок в царство свободы. — «Нева», 1995, № 2.

Автор «Изгнания из Эдема» («Новый мир», 1994, № 1) размышляет о современной школе и культуре: «культура гибнет не от подавления, а от безразличия», «культура — это возделанность, а не равноправие роз и репейников», «полная свобода — это пустырь, заросший бурьяном».

**Петр Митурич.** Дневник 1922 года. Вступительная статья, публикация, подготовка текста и примечания М. Митурича-Хлебникова. — «Арион». Журнал поэзии, 1994, № 4.

Публикуемый впервые дневник художника П. В. Митурича рассказывает о последних днях жизни и о кончине Велимира Хлебникова.

**Евгений Носов.** Кулики-сороки. Рассказ. — «Москва», 1995, № 2.

Деревенская проза.

**Виктор Пелевин.** Зомбификация. Опыт сравнительной антропологии. — «День и ночь» (Красноярск), 1994, № 4 (июль — август).

Текст конца 80-х годов, перепечатанный из «Нового журнала» (Нью-Йорк), 1990, № 197.

**Григорий Померанц.** Встречи с Бубером. — «Знание — сила», 1995, № 1.

Тут же печатаются фрагменты работы М. Бубера «Затмение Бога». Сборник произведений философа, богослова и поэта Мартина (Мордехая) Бубера (1878 — 1965) с предисловием Григория Померанца вышел в издательстве «Республика».

**Григорий Померанц.** Литературный процесс и литературная поножовщина. Отрывочные заметки. — «Нева», 1994, № 12.

О литературно-критических откликах на книги В. Шарова «Репетиция» и «До и во время», А. Мелихова «Изгнание из Элема», Е. Федорова «Одиссея» и «Жареный петух».

**Геннадий Прашкевич.** Сидение на Погыче. (Первые сибиряки). — «День и ночь» (Красноярск), 1994, № 4 (июль — август).

Историческая повесть.

**Александр Просекин.** Книжная повесть. — «Октябрь», 1995, № 3.

О том, как некий провинциальный прозаик пошел работать в некое провинциальное издательство. Любопытные и уже подзабытые подробности того, как издавали и торговали книгами три года назад (время действия — 1992 год).

**Вильгельм Райх.** Неспособность к свободе. Глава из книги «Массовая психология фашизма». Перевод с немецкого Владимира Закса. — «Дружба народов», 1994, № 10.

В. Райх (1897 — 1957) — австро-американский врач, психолог и социолог, представитель леворадикального фрейдизма. Тайна всех войн заключается, по его мнению, в том, что «человеческие массы, которые тысячи лет уродовались социальной средой и воспитанием, оцепенели биологически и... не в состоянии обустроить мирное существование». К счастью, «ежедневно рождаются новые люди». Главное: «Грядущие поколения необходимо при всех обстоятельствах и всеми средствами (!) уберечь от влияния биологического оцепенения старого поколения». И да здравствует сексуальная революция! Опубликовано в журнале без каких-либо комментариев.

**Бenedикт Сарнов.** Величие и падение «мовизма». — «Октябрь», 1995, № 3.

Журнальный вариант отчаянно смелой статьи 1978 года о «новой» (тогда) прозе В. Катаева. Полностью статья печатается в книге Б. Сарнова «Если бы Пушкин жил в наше время...», которая выходит в издательстве «Фолио» (Харьков).

**Священник С. Соколов.** Прощеный день. Из воспоминаний детства. — «Москва», 1995, № 3.

Повесть издавалась в 1910 году в Харькове скромным тиражом. Шмелевское «Лето Господне» было написано только несколько десятилетий спустя.

**Александр Солженицын.** Земство — ключевая проблема в судьбе России. — «Русская мысль» (Париж), 1995, № 4067, 2 — 8 марта.

Выступление А. Солженицына на Всероссийском совещании о местном самоуправлении (Москва, 17 февраля с. г.). Печатается по магнитофонной записи. Газета также регулярно печатает записи бесед Солженицына на 1-м канале ТВ.

**Александр Солженицын.** Размышления над Февральской революцией. — «Москва», 1995, № 2.

«Эти обзорные статьи по Февральской революции написаны мною 15 — 12 лет назад, при работе над «Мартом Семнадцатого»... Но читая их сегодняшними глазами — нельзя не удивиться, сколько предупреждений о возможных, вероятных ошибках, промахах и даже государственных преступлениях содержится здесь для нашей сегодняшней зыбкой обстановки...»

**Юрий Стефанович.** Из последних записей. — «Урал», 1995, № 1.

Воспоминания и мысли, надиктованные уже тяжело больным прозаиком на магнитофон и литературно обработанные Василием Субботиным.

**Олег Тарутин.** Сертификатный роман. — «Нева», 1995, № 2, 3.

Советские геологи в Иране.

**Николай Шмелев.** Безумная Грета. Повесть. — «Дружба народов», 1994, № 9.

О Питере Брейгеле.

**Эдуард Шульман.** Дело о происшедшем поединке. — «Дружба народов», 1994, № 10.

О том, как молодой офицер Мартынов «имел несчастье убить на дуэли Лермонтова» («Брокгауз и Ефрон», т. 18).

**Александр Янов.** Иваниана. — «Знание — сила», 1995, № 1.

Роль Ивана Грозного в русской истории. Глава из книги «Происхождение автократии».

Составитель А. Василевский.



## SUMMARY



The poetry section of the issue contains poems by Igor Melamed, Ilya Dadashidze, Aleksandr Lavrin, Andrei Sergeev, Vladimir Golovanov and Yuz-Fu (Yuz Aleshkovsky).

We are publishing the narrative «Windows Looking South. (A Sketch for a Portrait of the New Russians)» by Zoya Boguslavskaya, as well as the beginning of the book «A Novel of Education» by Nina Gorlanova and Vyacheslav Bukur (to be ended in No. 9).

The selection «Motley Stories» contains short stories by Igor Martynov, Igor Kuznetsov, Vasily Kilyakov, Aleksandr Gankin and Marina Filatova.

The section «Publicistics» presents the essays «Destructive Tendencies in Russian Culture» by Grigory Pomeranets and «Fortunes of «the Educated Estate» in Russia» by Sergei Kirilov.

In the section «Diaries. Memoirs» we are publishing the memoirs «An Institute for Noble Maidens» by Tatyana Morozova.

The section «Ecology of Russia» contains readers' comments of the A. Yablokov's article on nuclear power engineering («NM», 1995, No. 2).

The section «Literary Criticism» presents an essay by Vladislav Kulakov, «Poems and the Time», accompanying by polemical comments by Yury Kublanovsky and Irina Rodnyanskaya.

Polemical reflections by Alla Marchenko are being published in the section «By the Way».

In the section «Book Review» Aleksandr Sokolyansky reviews the collected plays by Nikolai Kolyada; Anatoly Kuznetsov reviews the book of conversations by composer Alfred Shnitke; Sergei Larin reviews the war memoirs by Boris Runin.

In the section «Editor's Mail» you can find materials by Yevgeny Starikov, «Holders of a Heartland or Inhabitants of an Isle?», and by Grigory Shurmak, about the war poetry by Boris Pasternak, entering into polemics with the article by A. Kushner published before.

In the section «Briefly About Books» V. Berdinskikh reviews «The Encyclopaedia of Vyatka Land»; Mikhail Butov reviews the book «The Third Layer. New Mass Genres in Music of the 20th Century» by V. Konen; Yury Kuvaldin reviews the book «Experiences» by Mark Freidkin.

The issue also contains our traditional sections «Russian Books Abroad», «Bookshelf» and «Periodics».

---

**Рукописи не рецензируются и не возвращаются.**

**Редакция не имеет возможности ходатайствовать по частным делам.**

**Главный редактор С. П. Зальгин**

**Редакционная коллегия:**

**С. С. Аверинцев, В. П. Астафьев, А. Г. Битов, А. В. Василевский (ответственный секретарь), Д. А. Гранин, А. А. Ким, С. П. Костырко, Ю. М. Кублановский, С. И. Ларин, Д. С. Лихачев, А. М. Марченко, П. А. Николаев, И. Б. Роднянская, З. М. Фаткудинов, М. О. Чудакова, О. Г. Чухонцев, С. А. Яковлев (зам. главного редактора)**

**Коммерческий директор В. Д. Васковский**

---

Свидетельство о регистрации № 138 от 27 сентября 1990 г. в Министерстве печати и массовой информации РСФСР.

---

Адрес редакции: 103806, ГСП, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

---

Сдано в набор 20.4.95 г. Подписано к печати 10.6.95 г. Оригинал-макет изготовлен на компьютерах редакции журнала «Новый мир». Формат бумаги 70x108 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>. Бумага кн.-журн. Высокая печать. Объем 16 п. л. (22,4 усл. печ. л., 22,58 усл. кр.-отт.). 28,02 уч.-изд. л.

---

Тираж 31 510 экз. Зак. 2251. Цена договорная.

---

При участии издательства «Известия». Москва, Пушкинская пл., 5.

Типография имени И. И. Скворцова-Степанова издательства «Известия». 103798, Москва, Пушкинская пл., 5.

## ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 1995 ГОДА И В 1996 ГОДУ «НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

С. С. АВЕРИНЦЕВ. О слове в Откровении и слове в поэзии;  
АЛЕКСАНДР АРХАНГЕЛЬСКИЙ. Первый и последний (ста-  
рец Федор Кузьмич и император Александр I);

ВИКТОР АСТАФЬЕВ. Прокляты и убиты (роман, часть  
третья);

В. БОГОМОЛОВ. Алина (повесть);

СЕРГЕЙ БОЧАРОВ. «Событие бытия» (о Михаиле Бахтине);

ДМИТРИЙ ГОЛУБКОВ. Рассказы (из наследия);

СЕРГЕЙ ЗАЛЫГИН. Повесть без сюжета;

ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Отчего затянулась «гибель богов»?  
(фашизм как феномен европейской культуры);

Н. КОРЖАВИН. В соблазнах кровавой эпохи (воспоминания,  
часть вторая);

МИХАИЛ КУРАЕВ. «Встречайте Ленина!» (рассказ);

ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новый роман;

Е. Э. МАНДЕЛЬШТАМ. Воспоминания;

ВЛАДИМИР НАБОКОВ. Образчик разговора, 1945 (рассказ,  
перевод с английского);

ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина (роман); Митина каша (рассказ);

ИРИНА РОДНЯНСКАЯ. Маканин нового времени;

СВЕТЛАНА СЕМЕНОВА. Воскрешенный роман Андрея Пла-  
тонова (опыт прочтения «Счастливой Москвы»);

ВИКТОРИЯ ТОКАРЕВА. Груда камней голубых (повесть);

ТОРНТОН УАЙЛДЕР. Каббала. К небу мой путь (романы,  
перевод с английского);

ПАВЕЛ ФЛОРЕНСКИЙ. Упырь (рассказ, из наследия);

МАРИЭТТА ЧУДАКОВА. К истории национал-большевизма в  
России;

ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. Косточка авокадо (рассказ); Love-  
стория (повесть);

Е. Р. ЭЙГЕС. Записки о Сергее Есенине;

АРИАДНА ЭФРОН. «Наш Север манит нас... — зла не помня-  
щих» (путевые записки, из наследия);

а также новые произведения АНДРЕЯ БИТОВА, МИХАИЛА  
БУТОВА, РЕНАТЫ ГАЛЬЦЕВОЙ, БОРИСА ЕКИМОВА, АНА-  
ТОЛИЯ КИМА, ИГОРЯ КЛЯМКИНА, МАРКА КОСТРОВА,  
ЮЛИИ ЛАТЫНИНОЙ, ДМИТРИЯ ЛИХАЧЕВА, АНДРЕЯ  
НЕМЗЕРА, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИНЫ  
ПАЛЕЙ, НИКОЛАЯ ПЕТРАКОВА, ЛЮДМИЛЫ ПЕТРУШЕВ-  
СКОЙ, БЕЛЛЫ УЛАНОВСКОЙ, ЛЮДМИЛЫ УЛИЦКОЙ,  
ЮЛИЯ ШРЕЙДЕРА, ДОРЫ ШТУРМАН, ДМИТРИЯ ШУША-  
РИНА и других авторов.

**НЕ ЗАБУДЬТЕ ВОВРЕМЯ  
ПРОДЛИТЬ ВАШУ ПОДПИСКУ!**